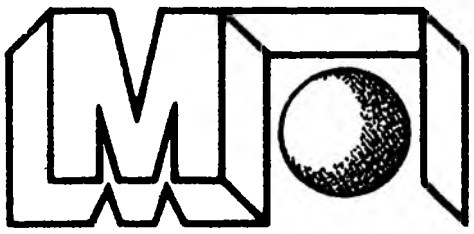
Мир приключений

Оскар УАЙЛЬД

Портрет Дориана Грея

Scan Kreyder - 11.06.2014
STERLITAMAK



Мир приключений

Оскар УАЙЛЬД

Портрет Дориана Грея

Рассказы

Пьесы

МОСКВА · ИЗДАТЕЛЬСТВО « ПРАВДА »
1987

84.4 Вл
У 13

Переводы с английского

Послесловие
С. И. Бэлзы

Иллюстрации
А. П. Мелик-Саркисяна

У $\frac{4703000000—1351}{080(02)—87}$ 1351—87

© Издательство «Правда», 1987. Составление.
Послесловие. Иллюстрации.

Портрет Дориана Грея

РОМАН

ПРЕДИСЛОВИЕ

Художник — тот, кто создает прекрасное.

Раскрыть людям себя и скрыть художника — вот к чему стремится искусство.

Критик — это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного.

Высшая, как и низшая, форма критики — один из видов автобиографии.

Те, кто в прекрасном находят дурное,— люди испорченные, и притом испорченность не делает их привлекательными. Это большой грех.

Те, кто способен узреть в прекрасном его высокий смысл,— люди культурные. Они не безнадежны.

Но избранник — тот, кто в прекрасном видит лишь одно: Красоту.

Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все.

Ненависть девятнадцатого века к Реализму — это ярость Калибана, увидевшего себя в зеркале.

Ненависть девятнадцатого века к Романтизму — это ярость Калибана, не находящего в зеркале своего отражения.

Для художника нравственная жизнь человека — лишь одна из тем его творчества. Этика же искусства — в совершенном применении несовершенных средств.

Художник не стремится что-то доказывать. Доказать можно даже неоспоримые истины.

Художник не моралист. Подобная склонность художника рождает непростительную манерность стиля.

Не приписывайте художнику нездоровых тенденций: ему дозволено изображать все.

Мысль и Слово для художника — средства Искусства.

Порок и Добродетель — материал для его творчества.

Если говорить о форме,— прообразом всех искусств является искусство музыканта. Если говорить о чувстве — искусство актера.

Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности, и символ.

Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск.

И кто раскрывает символ, идет на риск.

В сущности, Искусство — зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь.

Если произведение искусства вызывает споры,— значит, в нем есть нечто новое, сложное и значительное.

Пусть критики расходятся во мнениях,— художник остается верен себе.

Можно простить человеку, который делает нечто полезное, если только он этим не восторгается. Тому же, кто создает бесполезное, единственным оправданием служит лишь страстная любовь к своему творению.

Всякое искусство совершенно бесполезно.

Оскар Уайльд

Глава I

Густой аромат роз наполнял мастерскую художника, а когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника.

С покрытого персидскими чепраками дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст ракитника — его золотые и душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия; по временам на длинных шелковых занавесях громадного окна мелькали причудливые тени пролетавших мимо птиц, создавая на миг подобие японских рисунков,— и тогда лорд Генри думал о желтолицых художниках далекого Токио, стремившихся передать движение и порыв средствами искусства, по природе своей статичного. Сердитое жужжание пчел, пробиравшихся в нескошенной высокой траве или однообразно и настойчиво круживших над осыпанной золотой пылью кудрявой жимолостью, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа.

Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты, а перед мольбертом, немного поодаль, сидел и художник, тот самый Бэзил Холлуорд, чье внезапное исчезновение несколько лет назад так взволновало лондонское общество и вызвало столько самых фантастических предположений.

Художник смотрел на прекрасного юношу, с таким искусством отображенного им на портрете, и довольная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться.

— Это лучшая твоя работа, Бэзил, лучшее из всего того, что тобой написано,— лениво промолвил лорд Генри.— Непременно надо в будущем году послать ее на выставку в Гровенор. В Академию не стоит: Академия слишком обширна и общедоступна. Когда ни придешь, встречаешь там столько людей, что не видишь картин, или столько картин, что не удается людей посмотреть. Первое очень неприятно, второе еще хуже. Нет, единственное подходящее место — это Гровенор.

— А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет,— отозвался художник, откинув голову, по своей характерной привычке, над которой, бывало, трунили его товарищи в Оксфордском университете.— Нет, никуда я его не пошлю.

Удивленно подняв брови, лорд Генри посмотрел на Бэзила сквозь голубой дым, причудливыми кольцами поднимавшийся от его пропитанной опиумом папиросы.

— Никуда не пошлешь? Это почему же? По какой такой причине, мой милый? Чудаки, право, эти художники! Из кожи лезут, чтобы добиться известности, а когда слава приходит, они как будто тяготятся ею. Как это глупо! Если неприятно, когда о тебе много говорят, то еще хуже, когда о тебе совсем не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, Бэзил, много выше всех молодых художников Англии, а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще еще способны испытывать какие-либо чувства.

— Знаю, ты будешь надо мною смеяться,— возразил художник,— но я, право, не могу выставить напоказ этот портрет... Я вложил в него слишком много самого себя.

Лорд Генри расхохотался, поудобнее устраиваясь на диване.

— Ну вот, я так и знал, что тебе это покажется смешным. Тем не менее это истинная правда.

— Слишком много самого себя? Ей-богу, Бэзил, я не подозревал в тебе такого самомнения. Не вижу

ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый, суроволицый друг, и этим юным Адонисом, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Бэзил, он — Нарцисс, а ты... Ну конечно, лицо у тебя одухотворенное, и все такое. Но красота, подлинная красота, исчезает там, где появляется одухотворенность. Высокоразвитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия, он нарушает гармонию лица. Как только человек начнет мыслить, у него непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или что-нибудь другое портит его лицо. Посмотри на выдающихся деятелей любой ученой профессии — как они уродливы! Исключение составляют, конечно, наши духовные пастыри,— но эти ведь не утруждают своих мозгов. Епископ в восемьдесят лет продолжает твердить то, что ему внушали, когда он был восемнадцатилетним юнцом,— естественно, что лицо его сохраняет красоту и благообразие. Судя по портрету, твой таинственный молодой приятель, чье имя ты упорно не хочешь назвать, очарователен,— значит, он никогда ни о чем не думает. Я в этом совершенно убежден. Наверное, он — безмозглое и прелестное божье создание, которое нам следовало бы всегда иметь перед собой: зимой, когда нет цветов,— чтобы радовать глаза, а летом — чтобы освежать разгоряченный мозг. Нет, Бэзил, не льсти себе: ты ничуть на него не похож.

— Ты меня не понял, Гарри,— сказал художник.— Разумеется, между мною и этим мальчиком нет никакого сходства. Я это отлично знаю. Да я бы и не хотел быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами, не веришь? А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически или духовно совершенных, есть что-то роковое — точно такой же рок на протяжении всей истории как будто направлял неверные шаги королей. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире всегда остаются в барыше глупцы и уроды. Они могут сидеть спокойно и смотреть на борьбу других. Им не дано узнать торжество побед, но зато они избавлены от горечи поражений. Они живут так, как следовало бы жить всем нам,— без всяких треволнений, безмятежно, ко всему равнодушные. Они никого не губят и сами не гибнут от вражеской руки... Ты знатен и богат, Гарри, у меня есть интеллект и талант, как бы он ни был мал, у До-

риана Грея — его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь, заплатим тяжкими страданиями.

— Дориана Грея? Ага, значит, вот как его зовут? — спросил лорд Генри, подходя к Холлуорду.

— Да. Я не хотел называть его имя...

— Но почему же?

— Как тебе объяснить... Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно что отдать другим какую-то частицу дорогого тебе человека. И знаешь — я стал скрытен, мне нравится иметь от людей тайны. Это, пожалуй, единственное, что может сделать для нас современную жизнь увлекательной и загадочной. Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда еду. Скажи я им — и все удовольствие пропадет. Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что это ужасно глупо?

— Нисколько,— возразил лорд Генри.— Нисколько, дорогой Бэзил! Ты забываешь, что я человек женатый, а в том и состоит единственная прелесть брака, что обеим сторонам неизбежно приходится изощряться во лжи. Я никогда не знаю, где моя жена, и моя жена не знает, чем занят я. При встречах,— а мы с ней иногда встречаемся, когда вместе обедаем в гостях или бываем с визитом у герцога,— мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жена делает это гораздо лучше, чем я. Она никогда не запутается, а со мной это бывает постоянно. Впрочем, если ей случается меня уличить, она не сердится и не устраивает сцен. Иной раз мне это даже досадно. Но она только подшучивает надо мной.

— Терпеть не могу, когда ты в таком тоне говоришь о своей семейной жизни, Гарри,— сказал Бэзил Холлуорд, подходя к двери в сад.— Я уверен, что на самом деле ты прекрасный муж, но стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек! Никогда не говоришь ничего нравственного и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм — только поза.

— Знаю, что быть естественным — это поза, и самая ненавистная людям поза! — воскликнул лорд Генри со смехом.

Молодые люди вышли в сад и уселись на бамбуковой скамье в тени высокого лаврового куста. Солнечные зайчики скользили по его блестящим, словно лакированным листьям. В траве тихонько покачивались белые маргаритки.

Некоторое время хозяин и гость сидели молча. Потом лорд Генри посмотрел на часы.

— Ну, к сожалению, мне пора, Бэзил,— сказал он.— Но раньше, чем я уйду, ты должен ответить мне на вопрос, который я задал тебе.

— Какой вопрос?— спросил художник, не поднимая глаз.

— Ты отлично знаешь какой.

— Нет, Гарри, не знаю.

— Хорошо, я тебе напомню. Объясни, пожалуйста, почему ты решил не посылать на выставку портрет Дориана Грея. Я хочу знать правду.

— Я и сказал тебе правду.

— Нет. Ты сказал, что в этом портрете слишком много тебя самого. Но ведь это же ребячество!

— Пойми, Гарри.— Холлуорд посмотрел в глаза лорду Генри.— Всякий портрет, написанный с любовью,— это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. И я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души. Потому и не хочу его выставлять.

Лорд Генри расхохотался.

— И что же это за тайна?— спросил он.

— Так и быть, расскажу тебе,— начал Холлуорд как-то смущенно.

— Ну-с? Я сгораю от нетерпения, Бэзил,— настаивал лорд Генри, поглядывая на него.

— Да говорить-то тут почти нечего, Гарри... И вряд ли ты меня поймешь. Пожалуй, даже не поверишь.

Лорд Генри только усмехнулся в ответ и, наклонясь, сорвал в траве розовую маргаритку.

— Я совершенно уверен, что пойму,— отозвался он, внимательно разглядывая золотистый с белой опушкой пестик цветка.— А поверить я способен во что угодно, и тем охотнее, чем оно невероятнее.

Налетевший ветерок стряхнул несколько цветков с деревьев; тяжелые кисти сирени, словно сотканные из звездочек, медленно закачались в разнеженной зноем сонной тишине. У стены трещал кузнечик. Длин-

ной голубой нитью на прозрачных коричневых крылышках промелькнула в воздухе стрекоза... Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди Бэзила, и он пытался угадать, что будет дальше.

— Ну, так вот...— заговорил художник, немного помолчав.— Месяца два назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе, хотя бы для того, чтобы показать людям, что мы не дикари. Помню твои слова, что во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека.

В гостиной леди Брэндон я минут десять беседовал с разряженными в пух и прах знатными вдовами и с нудными академиками, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я оглянулся и тут-то в первый раз увидел Дориана Грея. Глаза наши встретились, и я почувствовал, что бледнею. Меня охватил какой-то инстинктивный страх, и я понял: передо мной человек настолько обаятельный, что, если я поддамся его обаянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже мое искусство. А я не хотел никаких посторонних влияний в моей жизни. Ты знаешь, Генри, какой у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин... во всяком случае, до встречи с Дорианом Греем. Ну а тут... не знаю, как и объяснить тебе... Внутренний голос говорил мне, что я накануне страшного перелома в жизни. Я смутно предчувствовал, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения. Мне стало жутко, и я уже шагнул было к двери, решив уйти. Сделал я это почти бессознательно, из какой-то трусости. Конечно, попытка сбежать не делает мне чести. По совести говоря...

— Совесть и трусость, в сущности, одно и то же, Бэзил. «Совесть» — официальное название трусости, вот и все.

— Не верю я этому, Гарри, да и ты, мне думается, не веришь... Словом, не знаю, из каких побуждений,— быть может, из гордости, так как я очень горд,— я стал пробираться к выходу. Однако у двери меня, конечно, перехватила леди Брэндон. «Уж не намерены ли вы сбежать так рано, мистер Холлуорд?» — закричала она. Знаешь, какой у нее пронзительный голос!

— Еще бы! Она — настоящий павлин, только без его красоты,— подхватил лорд Генри, разрывая маргаритку длинными нервными пальцами.

— Мне не удалось от нее отделаться. Она представила меня высочайшим особам, потом разным сановникам в звездах и орденах Подвязки и каким-то старым дамам в огромных диадемах и с крючковатыми носами. Всем она рекомендовала меня как своего лучшего друга, хотя видела меня второй раз в жизни. Видно, она забрала себе в голову включить меня в свою коллекцию знаменитостей. Кажется, в ту пору какая-то из моих картин имела большой успех,— во всяком случае, о ней болтали в грошовых газетах, а в наше время это патент на бессмертие.

И вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, который с первого взгляда вызвал в моей душе столь странное волнение. Он стоял так близко, что мы почти столкнулись. Глаза наши встретились снова. Тут я безрассудно попросил леди Брэндон познакомить нас. Впрочем, это, пожалуй, было не такое уж безрассудство: все равно, если бы нас и не познакомили, мы неизбежно заговорили бы друг с другом. Я в этом уверен. Это же самое сказал мне потом Дориан. И он тоже сразу почувствовал, что нас свел не случай, а судьба.

— А что же леди Брэндон сказала тебе об этом очаровательном юноше? — спросил лорд Генри.— Я ведь знаю ее манеру давать беглую характеристику каждому гостю. Помню, как она раз подвела меня к какому-то грозному краснолицему старцу, увешанному орденами и лентами, а по дороге трагическим шепотом — его, наверное, слышали все в гостиной — сообщала мне на ухо самые ошеломительные подробности его биографии. Я просто-напросто сбежал от нее. Я люблю сам, без чужой помощи, разбираться в людях. А леди Брэндон описывает своих гостей точь-в-точь как оценщик на аукционе продающиеся с молотка вещи: она либо рассказывает о них самое сокровенное, либо сообщает вам все, кроме того, что вы хотели бы узнать.

— Бедная леди Брэндон! Ты слишком уж строг к ней, Гарри,— рассеянно заметил Холлуорд.

— Дорогой мой, она стремилась создать у себя «салон», но получился попросту ресторан. А ты хо-

чешь, чтобы я ею восхищался? Ну, бог с ней, скажи-ка мне лучше, как она отозвалась о Дориане Грее?

— Пробормотала что-то такое вроде: «Прелестный мальчик... мы с его бедной матерью были неразлучны... Забыла, чем он занимается... Боюсь, что ничем... Ах да, играет на рояле... Или на скрипке, дорогой мистер Грей?» Оба мы не могли удержаться от смеха, и это нас как-то сразу сблизило.

— Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается,— заметил лорд Генри, срывая еще одну маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

— Ты не знаешь, что такое настоящая дружба, Гарри,— сказал он тихо.— Да и вражда настоящая тебе тоже незнакома. Ты любишь всех, а любить всех — значит не любить никого. Тебе все одинаково безразличны.

— Как ты несправедлив ко мне! — воскликнул лорд Генри. Сдвинув шляпу на затылок, он смотрел на облачка, проплывавшие в бирюзовой глубине летнего неба и похожие на растрепанные мотки блестящего шелка.— Да, да, возмутительно несправедлив! Я далеко не одинаково отношусь к людям. В близкие друзья выбираю себе людей красивых, в приятели — людей с хорошей репутацией, врагов завожу только умных. Тщательнее всего следует выбирать врагов. Среди моих недругов нет ни единого глупца. Все они — люди мыслящие, достаточно интеллигентные и потому умеют меня ценить. Ты скажешь, что мой выбор объясняется тщеславием? Что ж, пожалуй, это верно.

— И я так думаю, Гарри. Между прочим, согласно твоей схеме, я тебе не друг, а просто приятель?

— Дорогой мой Бэзил, ты для меня гораздо больше, чем «просто приятель».

— И гораздо меньше, чем друг? Значит, что-то вроде брата, не так ли?

— Ну, нет! К братьям своим я не питаю нежных чувств. Мой старший брат никак не хочет умереть, а младшие только это и делают.

— Гарри! — остановил его Холлуорд, нахмурив брови.

— Дружище, это же говорится не совсем всерьез. Но, признаюсь, я действительно не терплю свою родню. Это потому, должно быть, что мы не выносим людей с теми же недостатками, что у нас. Я глубоко

сочувствую английским демократам, которые возмущаются так называемыми «пороками высших классов». Люди низшего класса инстинктивно понимают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть *их* привилегиями, и если кто-либо из *нас* страдает этими пороками, он тем самым как бы узурпирует их права. Когда бедняга Саутуорк вздумал развестись с женой, негодование масс было прямо-таки великолепно. Между тем, я не поручусь за то, что хотя бы десять процентов пролетариев ведет добродетельный образ жизни.

— Во всем, что ты тут нагородил, нет ни единого слова, с которым можно согласиться, Гарри! И ты, конечно, сам в это не веришь.

Лорд Генри погладил каштановую бородку, похлопал своей черной тростью с кисточкой по носку лакированного ботинка.

— Какой ты истый англичанин, Бэзил! Вот уже второй раз я слышу от тебя это замечание. Попробуй высказать какую-нибудь мысль типичному англичанину,— а это большая неосторожность! — так он и не подумает разобраться, верная это мысль или неверная. Его интересует только одно: убежден ли ты сам в том, что говоришь. А между тем важна идея, независимо от того, искренне ли верит в нее тот, кто ее высказывает. Идея, пожалуй, имеет тем большую самостоятельную ценность, чем менее верит в нее тот, от кого она исходит, ибо она тогда не отражает его желаний, нужд и предрассудков... Впрочем, я не собираюсь обсуждать с тобой политические, социологические или метафизические вопросы. Люди меня интересуют больше, чем их принципы, а интереснее всего — люди без принципов. Поговорим о Дориане Грее. Часто вы встречаетесь?

— Каждый день. Я чувствовал бы себя несчастным, если бы не виделся с ним ежедневно. Я без него жить не могу.

— Вот чудеса! А я-то думал, что ты всю жизнь будешь любить только свое искусство.

— Дориан для меня теперь — все мое искусство,— сказал художник серьезно.— Видишь ли, Гарри, иногда я думаю, что в истории человечества есть только два важных момента. Первый — это появление в искусстве новых средств выражения, второй — появление в нем нового образа. И лицо Дориана Грея

когда-нибудь станет для меня тем, чем было для венецианцев изобретение масляных красок в живописи или для греческой скульптуры — лик Антиноя. Конечно, я пишу Дориана красками, рисую, делаю эскизы... Но дело не только в этом. Он для меня гораздо больше, чем модель или натурщик. Я не говорю, что не удовлетворен своей работой, я не стану тебя уверять, что такую красоту невозможно отобразить в искусстве. Нет ничего такого, чего не могло бы выразить искусство. Я вижу — то, что я написал со времени моего знакомства с Дорианом Греем, написано хорошо, это моя лучшая работа. Не знаю, как это объяснить и поймешь ли ты меня... Встреча с Дорианом словно дала мне ключ к чему-то совсем новому в живописи, открыла мне новую манеру письма. Теперь я вижу вещи в ином свете и все воспринимаю по-иному. Я могу в своем искусстве воссоздавать жизнь средствами, которые прежде были мне неведомы. «Мечта о форме в дни, когда царствует мысль»,— кто это сказал? Не помню. И такой мечтой стал для меня Дориан Грей. Одно присутствие этого мальчика — в моих глазах он еще мальчик, хотя ему уже минуло двадцать лет... ах, не знаю, можешь ли ты себе представить, что́ значит для меня его присутствие! Сам того не подозревая, он открывает мне черты какой-то новой школы, школы, которая будет сочетать в себе всю страстность романтизма и все совершенство эллинизма. Гармония духа и тела — как это прекрасно! В безумии своем мы разлучили их, мы изобрели вульгарный реализм и пустой идеализм. Ах, Гарри, если бы ты только знал, что для меня Дориан Грей! Помнишь тот пейзаж, за который Эгнью предлагал мне громадные деньги, а я не захотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих картин. А почему? Потому что, когда я ее писал, Дориан Грей сидел рядом. Какое-то его неуловимое влияние на меня помогло мне впервые увидеть в обыкновенном лесном пейзаже чудо, которое я всегда искал и не умел найти.

— Бэзил, это поразительно! Я должен увидеть Дориана Грея!

Холлуорд поднялся и стал ходить по саду. Через несколько минут он вернулся к скамье.

— Пойми, Гарри,— сказал он,— Дориан Грей для меня попросту мотив в искусстве. Ты, быть может,

ничего не увидишь в нем, а я вижу все. И в тех моих картинах, на которых Дориан не изображен, его влияние чувствуется всего сильнее. Как я уже тебе сказал, он словно подсказывает мне новую манеру письма. Я нахожу его, как откровение, в изгибах некоторых линий, в нежной прелести иных тонов. Вот и все.

— Но почему же тогда ты не хочешь выставить его портрет? — спросил лорд Генри.

— Потому что я невольно выразил в этом портрете ту непостижимую влюбленность художника, в которой я, разумеется, никогда не признавался Дориану. Дориан о ней не знает. И никогда не узнает. Но другие люди могли бы отгадать правду, а я не хочу обнажать душу перед их любопытными и близорукими глазами. Никогда я не позволю им рассматривать мое сердце под микроскопом. Понимаешь теперь, Гарри? В это полотно я вложил слишком много души, слишком много самого себя.

— А вот поэты — те не так стыдливы, как ты. Они прекрасно знают, что о любви писать выгодно, на нее большой спрос. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.

— Я презираю таких поэтов! — воскликнул Холлуорд. — Художник должен создавать прекрасные произведения искусства, не внося в них ничего из своей личной жизни. В наш век люди думают, что произведение искусства должно быть чем-то вроде автобиографии. Мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту. Я надеюсь когда-нибудь показать миру, что такое абстрактное чувство прекрасного,— и потому-то мир никогда не увидит портрет Дориана Грея.

— По-моему, ты не прав, Бэзил, но не буду с тобой спорить. Спорят только безнадежные кретины. Скажи, Дориан Грей очень тебя любит?

Художник задумался.

— Дориан ко мне привязан,— ответил он после недолгого молчания.— Знаю, что привязан. Оно и понятно: я ему всячески льщу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, которые говорить не следовало бы,— хоть я и знаю, что потом пожалею об этом. В общем, он относится ко мне очень хорошо, и мы проводим вдвоем целые дни, беседуя на тысячу тем. Но иногда он бывает ужасно не чуток,

и ему как будто очень нравится мучить меня. Тогда я чувствую, Гарри, что отдал всю душу человеку, для которого она — то же, что цветок в петлице, украшение, которым он будет тешить свое тщеславие только один летний день.

— Летние дни долги, Бэзил,— сказал вполголоса лорд Генри.— И, быть может, ты пресытишься раньше, чем Дориан. Как это ни печально, Гений, несомненно, долговечнее Красоты. Потому-то мы так и стремимся сверх всякой меры развивать свой ум. В жестокой борьбе за существование мы хотим сохранить хоть что-нибудь устойчивое, прочное, и начиняем голову фактами и всяким хламом в бессмысленной надежде удержать за собой место в жизни. Высокообразованный, сведущий человек — вот современный идеал. А мозг такого высокообразованного человека — это нечто страшное! Он подобен лавке антиквария, набитой всяким пыльным старьем, где каждая вещь оценена гораздо выше своей настоящей стоимости... Да, Бэзил, я все-таки думаю, что ты пресытишься первый. В один прекрасный день ты взглянешь на своего друга — и красота его покажется тебе уже немного менее гармоничной, тебе вдруг не понравится тон его кожи или что-нибудь еще. В душе ты горько упрекнешь в этом *его* и самым серьезным образом начнешь думать, будто он в чем-то виноват перед тобой. При следующем свидании ты будешь уже совершенно холоден и равнодушен. И можно только очень пожалеть об этой будущей перемене в тебе. То, что ты мне сейчас рассказал,— настоящий роман. Можно сказать, роман на почве искусства. А пережив роман своей прежней жизни, человек — увы! — становится так прозаичен!

— Не говори так, Гарри. Я на всю жизнь пленен Дорианом. Тебе меня не понять: ты такой непостоянный.

— Ах, дорогой Бэзил, именно поэтому я и способен понять твои чувства. Тем, кто верен в любви, доступна лишь ее банальная сущность. Трагедию же любви познают лишь те, кто изменяет.

Достав изящную серебряную спичечницу, лорд Генри закурил папиросу с самодовольным и удовлетворенным видом человека, сумевшего вместить в одну фразу всю житейскую мудрость.

В блестящих зеленых листьях плюща возились и чирикали воробьи, голубые тени облаков, как стаи быстрых ласточек, скользили по траве. Как хорошо было в саду! «И как увлекательно-интересны чувства людей, гораздо интереснее их мыслей! — говорил себе лорд Генри.— Собственная душа и страсти друзей — вот что самое занятное в жизни».

Он с тайным удовольствием вспомнил, что, засидевшись у Бэзила Холлуорда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки. У нее, несомненно, завтракает сегодня лорд Гудбоди, и разговор все время вертится вокруг образцовых столовых и ночлежных домов, которые необходимо открыть для бедняков. При этом каждый восхваляет те добродетели, в которых ему самому нет надобности упражняться: богачи проповедуют бережливость, а бездельники красноречиво распространяются о великом значении труда. Как хорошо, что на сегодня он избавлен от всего этого!

Мысль о тетушке вдруг вызвала в уме лорда Генри одно воспоминание. Он повернулся к Холлуорду.

— Знаешь, я сейчас вспомнил...

— Что вспомнил, Гарри?

— Вспомнил, где я слышал про Дориана Грея.

— Где же? — спросил Холлуорд, сдвинув брови.

— Не смотри на меня так сердито, Бэзил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказывала, что нашла премилого молодого человека, который обещал помогать ей в Ист-Энде, и зовут его Дориан Грей. Заметь, она и словом не упомянула о его красоте. Женщины,— во всяком случае, добродетельные женщины,— не ценят красоту. Тетушка сказала только, что он юноша серьезный, с прекрасным сердцем,— и я сразу представил себе субъекта в очках, с прямыми волосами, веснушчатой физиономией и огромными ногами. Жаль, я тогда не знал, что этот Дориан — твой друг.

— А я очень рад, что ты этого не знал, Гарри.

— Почему?

— Я не хочу, чтобы вы познакомились.

— Не хочешь, чтобы мы познакомились?

— Нет.

— Мистер Дориан Грей в студии, сэр,— доложил лакей, появляясь в саду.

— Ага, теперь тебе волей-неволей придется нас познакомить! — со смехом воскликнул лорд Генри.

Художник повернулся к лакею, который стоял, жмурясь от солнца.

— Попросите мистера Грея подождать, Паркер: я сию минуту приду.

Лакей поклонился и пошел по дорожке к дому. Тогда Холлуорд посмотрел на лорда Генри.

— Дориан Грей — мой лучший друг,— сказал он.— У него открытая и светлая душа — твоя тетушка была совершенно права. Смотри, Гарри, не испорти его! Не пытайся на него влиять. Твое влияние было бы гибельно для него. Свет велик, в нем много интереснейших людей. Так не отнимай же у меня единственного человека, который вдохнул в мое искусство то прекрасное, что есть в нем. Все мое будущее художника зависит от него. Помни, Гарри, я надеюсь на твою совесть!

Он говорил очень медленно, и слова, казалось, вырывались у него помимо воли.

— Что за глупости! — с улыбкой перебил лорд Генри и, взяв Холлуорда под руку, почти насильно повел его в дом.

Глава II

В мастерской они застали Дориана Грея. Он сидел за роялем, спиной к ним, и перелистывал шумановский альбом «Лесные картинки».

— Что за прелесть! Я хочу их разучить,— сказал он, не оборачиваясь.— Дайте их мне на время, Бэзил.

— Дам, если вы сегодня будете хорошо позировать, Дориан.

— Ох, надоело мне это! И я вовсе не стремлюсь иметь свой портрет в натуральную величину,— возразил юноша капризно. Повернувшись на табурете, он увидел лорда Генри и поспешно встал, порозовев от смущения.— Извините, Бэзил, я не знал, что у вас гость.

— Знакомьтесь, Дориан, это лорд Генри Уоттон, мой старый товарищ по университету. Я только что говорил ему, что вы превосходно позируете, а вы своим брюзжанием все испортили!

— Но ничуть не испортили мне удовольствия познакомиться с вами, мистер Грей,—сказал лорд Генри, подходя к Дориану и протягивая ему руку.—

Я много наслышался о вас от моей тетушки. Вы — ее любимец и, боюсь, одна из ее жертв.

— Как раз теперь я у леди Агаты на плохом счету,— отозвался Дориан с забавно-покаянным видом.— Я обещал в прошлый вторник поехать с ней на концерт в один уайтчеплский клуб — и совершенно забыл об этом. Мы должны были там играть с ней в четыре руки,— кажется, даже целых три дуэта. Уж не знаю, как она теперь меня встретит. Боюсь показаться ей на глаза.

— Ничего, я вас помирю. Тетушка Агата вас очень любит. И то, что вы не выступили вместе с нею на концерте, вряд ли так уж важно. Публика, вероятно, думала, что исполняется дуэт,— ведь за роялем тетя Агата вполне может нашуметь за двоих.

— Такое мнение крайне обидно для нее и не очень-то лестно для меня,— сказал Дориан, смеясь.

Лорд Генри смотрел на Дориана, любуясь его ясными голубыми глазами, золотистыми кудрями, изящным рисунком алого рта. Этот юноша в самом деле был удивительно красив, и что-то в его лице сразу внушало доверие. В нем чувствовалась искренность и чистота юности, ее целомудренная пылкость. Легко было поверить, что жизнь еще ничем не загрязнила этой молодой души. Недаром Бэзил Холлуорд боготворил Дориана!

— Ну, можно ли такому очаровательному молодому человеку заниматься благотворительностью! Нет, вы для этого слишком красивы, мистер Грей,— сказал лорд Генри и, развалясь на диване, достал свой портсигар.

Художник тем временем приготовил кисти и смешивал краски на палитре. На хмуром его лице было заметно сильное беспокойство. Услышав последнее замечание лорда Генри, он быстро оглянулся на него и после минутного колебания сказал:

— Гарри, мне хотелось бы окончить сегодня портрет. Ты не обидишься, если я попрошу тебя уйти?

Лорд Генри с улыбкой посмотрел на Дориана.

— Уйти мне, мистер Грей?

— Ах нет, лорд Генри, пожалуйста, не уходите! Бэзил, я вижу, сегодня опять в дурном настроении, а я терпеть не могу, когда он сердится. Притом вы еще не объяснили, почему мне не следует заниматься благотворительностью?

— Стоит ли объяснять это, мистер Грей? На такую скучную тему говорить пришлось бы серьезно. Но я, конечно, не уйду, раз вы меня просите остаться. Ты ведь не будешь возражать, Бэзил? Ты сам не раз говорил мне, что любишь, когда кто-нибудь занимает тех, кто тебе позирует.

Холлуорд закусил губу.

— Конечно, оставайся, раз Дориан этого хочет. Его прихоти — закон для всех, кроме него самого.

Лорд Генри взял шляпу и перчатки.

— Несмотря на твои настояния, Бэзил, я, к сожалению, должен вас покинуть. Я обещал встретиться кое с кем в Орлеанском клубе. До свиданья, мистер Грей. Навестите меня как-нибудь на Керзон-стрит. В пять я почти всегда дома. Но лучше вы сообщите заранее, когда захотите прийти: было бы обидно, если бы вы меня не застали.

— Бэзил,— воскликнул Дориан Грей,— если лорд Генри уйдет, я тоже уйду! Вы никогда рта не раскрываете во время работы, и мне ужасно надоедает стоять на подмостках и все время мило улыбаться. Попросите его не уходить!

— Оставайся, Гарри. Дориан будет рад, и меня ты этим очень обяжешь,— сказал Холлуорд, не отводя глаз от картины.— Я действительно всегда молчу во время работы и не слушаю, что мне говорят, так что моим бедным натурщикам, должно быть, нестерпимо скучно. Пожалуйста, посиди с нами.

— А как же мое свидание в клубе?

Художник усмехнулся.

— Не думаю, чтобы это было так уж важно. Садись, Гарри. Ну а вы, Дориан, станьте на подмостки и поменьше вертитесь. Да не очень-то слушайте лорда Генри — он на всех знакомых, кроме меня, оказывает самое дурное влияние.

Дориан Грей с видом юного мученика взошел на помост и, сделав недовольную гримасу, переглянулся с лордом Генри. Этот друг Бэзила ему очень нравился. Он и Бэзил были совсем разные, составляли прелюбопытный контраст. И голос у лорда Генри был такой приятный! Выждав минуту, Дориан спросил:

— Лорд Генри, вы в самом деле так вредно влияете на других?

— Хорошего влияния не существует, мистер Грей. Всякое влияние уже само по себе безнравственно,— безнравственно с научной точки зрения.

— Почему же?

— Потому что влиять на другого человека — это значит передать ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями, пылать не своими страстями. И добродетели у него будут не свои, и грехи,— если предположить, что таковые вообще существуют,— будут заимствованные. Он станет отголоском чужой мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него написана. Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем. А в наш век люди стали бояться самих себя. Они забыли, что высший долг — это долг перед самим собой. Разумеется, они милосердны. Они накормят голодного, оденут нищего. Но их собственные души наги и умирают с голоду. Мы утратили мужество. А может быть, его у нас никогда и не было. Боязнь общественного мнения, эта основа морали, и страх перед богом, страх, на котором держится религия,— вот что властвует над нами. Между тем...

— Будьте добры, Дориан, поверните-ка голову немного вправо,— попросил художник. Поглощенный своей работой, он ничего не слышал и только подметил на лице юноши выражение, какого до сих пор никогда не видел.

— А между тем,— своим низким, певучим голосом продолжал лорд Генри с характерными для него плавными жестами, памятными всем, кто знавал его еще в Итоне,— мне думается, что, если бы каждый человек мог бы жить полной жизнью, давая волю каждому чувству и выражение каждой мысли, осуществляя каждую свою мечту,— мир ощутил бы вновь такой мощный порыв к радости, что забыты были бы все болезни средневековья, и мы вернулись бы к идеалам эллинизма, а может быть, и к чему-либо еще более ценному и прекрасному. Но и самый смелый из нас боится самого себя. Самоотречение, этот трагический пережиток тех диких времен, когда люди себя калечили, омрачает нам жизнь. И мы расплачиваемся за это самоограничение. Всякое желание, которое мы стараемся подавить, бродит в нашей душе и отравляет нас. А согрешив, человек избавляется от влечения к греху, ибо осуществление — это путь к очищению.

После этого остаются лишь воспоминания о наслаждении или сладострастие раскаяния. Единственный способ отделаться от искушения — уступить ему. А если вздумаешь бороться с ним, душу будет томить влечение к запретному, и тебя измучают желания, которые чудовищный закон, тобой же созданный, признал порочными и преступными. Кто-то сказал, что величайшие события в мире — это те, которые происходят в мозгу у человека. А я скажу, что и величайшие грехи мира рождаются в мозгу, и только в мозгу. Да ведь и в вас, мистер Грей, даже в пору светлого отрочества и розовой юности, уже бродили страсти, пугавшие вас, мысли, которые вас приводили в ужас. Вы знали мечты и сновидения, при одном воспоминании о которых вы краснеете от стыда...

— Постойте, постойте! — пробормотал, запинаясь, Дориан Грей.— Вы смутили меня, я не знаю, что сказать... С вами можно бы поспорить, но я сейчас не нахожу слов... Не говорите больше ничего! Дайте мне подумать... Впрочем, лучше не думать об этом!

Минут десять Дориан стоял неподвижно, с полуоткрытым ртом и странным блеском в глазах. Он смутно сознавал, что в нем просыпаются какие-то совсем новые мысли и чувства. Ему казалось, что они пришли не извне, а поднимались из глубины его существа. Да, он чувствовал, что несколько слов, сказанных этим другом Бэзила, сказанных, вероятно, просто так, между прочим, и намеренно парадоксальных, затронули в нем какую-то тайную струну, которой до сих пор не касался никто, и сейчас она трепетала, вибрировала порывистыми толчками.

До сих пор так волновала его только музыка. Да, музыка не раз будила в его душе волнение, но волнение смутное, бездумное. Она ведь творит в душе не новый мир, а скорее — новый хаос. А тут прозвучали *слова!* Простые слова — но как они страшны! От них никуда не уйдешь. Как они ясны, неотразимо сильны и жестоки! И вместе с тем — какое в них таится коварное очарование! Они, казалось, придавали зримую и осязаемую форму неопределенным мечтам, и в них была своя музыка, сладостнее звуков лютни и виолы. Только слова! Но есть ли что-либо весомее слов?

Да, в ранней юности он, Дориан, не понимал некоторых вещей. Сейчас он понял все. Жизнь вдруг

засверкала перед ним жаркими красками. Ему казалось, что он шагает среди бушующего пламени. И как он до сих пор не чувствовал этого?

Лорд Генри с тонкой усмешкой наблюдал за ним. Он знал, когда следует помолчать. Дориан живо заинтересовал его, и он сам сейчас удивлялся тому впечатлению, какое произвели на юношу его слова. Ему вспомнилась одна книга, которую он прочитал в шестнадцать лет; она открыла ему тогда многое такое, чего он не знал раньше. Быть может, Дориан Грей сейчас переживает то же самое? Неужели стрела, пущенная наугад, просто так, в пространство, попала в цель? Как этот мальчик мил!..

Холлуорд писал с увлечением, как всегда, чудесными, смелыми мазками, с тем подлинным изяществом и утонченностью, которые — в искусстве по крайней мере — всегда являются признаком мощного таланта. Он не замечал наступившего молчания.

— Бэзил, я устал стоять,— воскликнул вдруг Дориан.— Мне надо побыть на воздухе, в саду. Здесь очень душно!

— Ах, простите, мой друг! Когда я пишу, я забываю обо всем. А вы сегодня стояли, не шелохнувшись. Никогда еще вы так хорошо не позировали. И я поймал то выражение, какое все время искал. Полуоткрытые губы, блеск в глазах... Не знаю, о чем тут разглагольствовал Гарри, но, конечно, это он вызвал на вашем лице такое удивительное выражение. Должно быть, наговорил вам кучу комплиментов? А вы не верьте ни единому его слову.

— Нет, он говорил мне вещи совсем не лестные. Поэтому я и не склонен ему верить.

— Ну, ну, в душе вы отлично знаете, что поверили всему,— сказал лорд Генри, задумчиво глядя на него своими томными глазами.— Я, пожалуй, тоже выйду с вами в сад, здесь невыносимо жарко. Бэзил, прикажи подать нам какого-нибудь питья со льдом... и хорошо бы с земляничным соком.

— С удовольствием, Гарри. Позвони Паркеру, и я скажу ему, что принести. Я приду к вам в сад немного погодя, надо еще подработать фон. Но не задерживай Дориана надолго. Мне сегодня, как никогда, хочется писать. Этот портрет будет моим шедевром. Даже в таком виде, как сейчас, он уже чудо как хорош.

Выйдя в сад, лорд Генри нашел Дориана у куста сирени: зарывшись лицом в прохладную массу цветов, он упивался их ароматом, как жаждущий — вином. Лорд Генри подошел к нему вплотную и дотронулся до его плеча.

— Вот это правильно,— сказал он тихо.— Душу лучше всего лечить ощущениями, а от ощущений лечит только душа.

Юноша вздрогнул и отступил. Он был без шляпы, и ветки растрепали его непокорные кудри, спутав золотистые пряди. Глаза у него были испуганные, как у внезапно разбуженного человека. Тонко очерченные ноздри нервно вздрагивали, алые губы трепетали от какого-то тайного волнения.

— Да,— продолжал лорд Генри,— надо знать этот великий секрет жизни: лечите душу ощущениями, а ощущения пусть врачует душа. Вы — удивительный человек, мистер Грей. Вы знаете больше, чем вам это кажется, но меньше, чем хотели бы знать.

Дориан Грей нахмурился и отвел глаза. Ему безотчетно нравился высокий и красивый человек, стоявший рядом с ним. Смуглое романтическое лицо лорда Генри, его усталое выражение вызывало интерес, и что-то завораживающее было в низком и протяжном голосе. Даже руки его, прохладные, белые и нежные, как цветы, таили в себе странное очарование. В движениях этих рук, как и в голосе, была музыка, и казалось, что они говорят своим собственным языком.

Дориан чувствовал, что боится этого человека,— и стыдился своего страха. Зачем нужно было, чтобы кто-то чужой научил его понимать собственную душу? Ведь вот с Бэзилом Холлуордом он давно знаком, но дружба их ничего не изменила в нем. И вдруг приходит этот незнакомец — и словно открывает перед ним тайны жизни. Но все-таки чего же ему бояться? Он не школьник и не девушка. Ему бояться лорда Генри просто глупо.

— Давайте сядем где-нибудь в тени,— сказал лорд Генри.— Вот Паркер уже несет нам питье. А если вы будете стоять на солнцепеке, вы подурнеете, и Бэзил больше не захочет вас писать. Загар будет вам не к лицу.

— Эка важность, подумаешь! — засмеялся Дориан Грей, садясь на скамью в углу сада.

— Для вас это очень важно, мистер Грей.

— Почему же?

— Да потому, что вам дана чудесная красота молодости, а молодость — единственное богатство, которое стоит беречь.

— Я этого не думаю, лорд Генри.

— Теперь вы, конечно, этого не думаете. Но когда вы станете безобразным стариком, когда думы избороздят ваш лоб морщинами, а страсти своим губительным огнем иссушат ваши губы,— вы поймете это с неумолимой ясностью. Теперь, куда бы вы ни пришли, вы всех пленяете. Но разве так будет всегда? Вы удивительно хороши собой, мистер Грей. Не хмурьтесь, это правда. А Красота — один из видов Гения, она еще выше Гения, ибо не требует понимания. Она — одно из великих явлений окружающего нас мира, как солнечный свет, или весна, или отражение в темных водах серебряного щита луны. Красота неоспорима. Она имеет высшее право на власть и делает царями тех, кто ею обладает. Вы улыбаетесь? О, когда вы ее утратите, вы не будете улыбаться... Иные говорят, что Красота — это тщета земная. Быть может. Но, во всяком случае, она не так тщетна, как Мысль. Для меня Красота — чудо из чудес. Только пустые, ограниченные люди не судят по внешности. Подлинная тайна жизни заключена в зримом, а не в сокровенном... Да, мистер Грей, боги к вам милостивы. Но боги скоро отнимают то, что дают. У вас впереди не много лет для жизни настоящей, полной и прекрасной. Минет молодость, а с нею красота — и вот вам вдруг станет ясно, что время побед прошло, или придется довольствоваться победами столь жалкими, что в сравнении с прошлым они вам будут казаться горше поражений. Каждый уходящий месяц приближает вас к этому тяжкому будущему. Время ревниво, оно покушается на лилии и розы, которыми одарили вас боги. Щеки ваши пожелтеют и ввалятся, глаза потускнеют. Вы будете страдать ужасно... Так пользуйтесь же своей молодостью, пока она не ушла. Не тратьте понапрасну золотые дни, слушая нудных святош, не пытайтесь исправлять то, что неисправимо, не отдавайте свою жизнь невеждам, пошлякам и ничтожествам, следуя ложным идеям и нездоровым стремлениям нашей эпохи. Живите! Живите той чудесной жизнью, что скрыта в вас. Ничего не упускайте, вечно ищите все новых ощущений! Ничего не бойтесь! Новый гедо-

низм — вот что нужно нашему поколению. И вы могли бы стать его зримым символом. Для такого, как вы, нет ничего невозможного. На короткое время мир принадлежит вам... Я с первого взгляда понял, что вы себя еще не знаете, не знаете, чем вы могли бы быть. Многое в вас меня пленило, и я почувствовал, что должен помочь вам познать самого себя. Я думал: «Как было бы трагично, если бы эта жизнь пропала даром!» Ведь молодость ваша пройдет так быстро! Простые полевые цветы вянут, но опять расцветают. Будущим летом ракитник в июне будет так же сверкать золотом, как сейчас. Через месяц зацветет пурпурными звездами ломонос, и каждый год в зеленой ночи его листьев будут загораться все новые пурпурные звезды. А к нам молодость не возвращается. Слабеет пульс радости, что бьется так сильно в двадцать лет, дряхлеет тело, угасают чувства. Мы превращаемся в отвратительных марионеток с неотвязными воспоминаниями о тех страстях, которых мы слишком боялись, и соблазнах, которым мы не посмели уступить. Молодость! Молодость! В мире нет ничего ей равного!

Дориан Грей слушал с жадным вниманием, широко раскрыв глаза. Веточка сирени выскользнула из его пальцев и упала на гравий. Тотчас подлетела мохнатая пчела, с минуту покружилась над нею, жужжа, потом стала путешествовать по всей кисти, переползая с одной звездочки на другую. Дориан наблюдал за ней с тем неожиданным интересом, с каким мы сосредоточиваем порой внимание на самых незначительных мелочах, когда нам страшно думать о самом важном, или когда нас волнует новое чувство, еще неясное нам самим, или какая-нибудь страшная мысль осаждает мозг и принуждает нас сдаться. Пчела скоро полетела дальше. Дориан видел, как она забралась в трубчатую чашечку вьюнка. Цветок, казалось, вздрогнул и тихонько закачался на стебельке.

Неожиданно в дверях мастерской появился Холлуорд и энергичными жестами стал звать своих гостей в дом. Лорд Генри и Дориан переглянулись.

— Я жду,— крикнул художник.— Идите же! Освещение сейчас для работы самое подходящее... А пить вы можете и здесь.

Они поднялись и медленно зашагали по дорожке. Мимо пролетели две бледно-зеленые бабочки, в дальнем углу сада на груше запел дрозд.

— Ведь вы довольны, что познакомились со мной, мистер Грей? — сказал лорд Генри, глядя на Дориана.

— Да, сейчас я этому рад. Не знаю только, всегда ли так будет.

— Всегда!.. Какое ужасное слово! Я содрогаюсь, когда слышу его. Его особенно любят женщины. Они портят всякий роман, стремясь, чтобы он длился вечно. Притом «всегда» — это пустое слово. Между капризом и «вечной любовью» разница только та, что каприз длится несколько дольше.

Они уже входили в мастерскую. Дориан Грей положил руку на плечо лорда Генри.

— Если так, пусть наша дружба будет капризом,— шепнул он, краснея, смущенный собственной смелостью. Затем взошел на подмостки и стал в позу.

Лорд Генри, расположившись в широком плетеном кресле, наблюдал за ним. Тишину в комнате нарушали только легкий стук и шуршание кисти по полотну, затихавшее, когда Холлуорд отходил от мольберта, чтобы издали взглянуть на свою работу. В открытую дверь лились косые солнечные лучи, в них плясали золотые пылинки. Приятный аромат роз словно плавал в воздухе.

Прошло с четверть часа. Художник перестал работать. Он долго смотрел на Дориана Грея, потом, так же долго,— на портрет, хмурясь и покусывая кончик длинной кисти.

— Готово! — воскликнул он наконец и, нагнувшись, подписал свое имя длинными красными буквами в левом углу картины.

Лорд Генри подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть ее. Несомненно, это было дивное произведение искусства, да и сходство было поразительное.

— Дорогой мой Бэзил, поздравляю тебя от всей души,— сказал он.— Я не знаю лучшего портрета во всей современной живописи. Подойдите же сюда, мистер Грей, и судите сами.

Юноша вздрогнул, как человек, внезапно очнувшийся от сна.

— В самом деле кончено? — спросил он, сходя с подмостков.

— Да, да. И вы сегодня прекрасно позировали. Я вам за это бесконечно благодарен.

— За это надо благодарить меня,— вмешался лорд Генри.— Правда, мистер Грей?

Дориан, не отвечая, с рассеянным видом, прошел мимо мольберта, затем повернулся к нему лицом. При первом взгляде на портрет он невольно сделал шаг назад и вспыхнул от удовольствия. Глаза его блеснули так радостно, словно он в первый раз увидел себя. Он стоял неподвижно, погруженный в созерцание, смутно сознавая, что Холлуорд что-то говорит ему, но не вникая в смысл его слов. Как откровение пришло к нему сознание своей красоты. До сих пор он как-то ее не замечал, и восхищение Бэзила Холлуорда казалось ему трогательным ослеплением дружбы. Он выслушивал его комплименты, подсмеивался над ними и забывал их. Они не производили на него никакого впечатления. Но вот появился лорд Генри, прозвучал его восторженный гимн молодости, грозное предостережение о том, что она быстротечна. Это взволновало Дориана, и сейчас, когда он смотрел на отражение своей красоты, перед ним вдруг с поразительной ясностью встало то будущее, о котором говорил лорд Генри. Да, наступит день, когда его лицо поблекнет и сморщится, глаза потускнеют, выцветут, стройный стан согнется, станет безобразным. Годы унесут с собой алость губ и золото волос. Жизнь, формируя его душу, будет разрушать его тело. Он станет отталкивающе некрасив, жалок и страшен.

При этой мысли острая боль, как ножом, пронзила Дориана, и каждая жилка в нем затрепетала. Глаза потемнели, став из голубых аметистовыми, и затуманились слезами. Словно ледяная рука легла ему на сердце.

— Разве портрет вам не нравится?— воскликнул наконец Холлуорд, немного задетый непонятным молчанием Дориана.

— Ну конечно, нравится,— ответил за него лорд Генри.— Кому он мог бы не понравиться? Это один из шедевров современной живописи. Я готов отдать за него столько, сколько ты потребуешь. Этот портрет должен принадлежать мне.

— Я не могу его продать, Гарри. Он не мой.

— А чей же?

— Дориана, разумеется,— ответил художник.

— Вот счастливец!

— Как это печально! — пробормотал вдруг Дориан Грей, все еще не отводя глаз от своего портрета.— Как печально! Я состарюсь, стану противным уродом, а мой портрет будет вечно молод. Он никогда не станет старше, чем в этот июньский день... Ах, если бы могло быть наоборот! Если бы старел этот портрет, а я навсегда остался молодым! За это... за это я отдал бы все на свете. Да, ничего не пожалел бы! Душу бы отдал за это!

— Тебе, Бэзил, такой порядок вещей вряд ли понравился бы! — воскликнул лорд Генри со смехом.— Тяжела тогда была бы участь художника!

— Да, я горячо протестовал бы против этого,— отозвался Холлуорд.

Дориан Грей обернулся и в упор посмотрел на него.

— О Бэзил, в этом я не сомневаюсь! Свое искусство вы любите больше, чем друзей. Я вам не дороже какой-нибудь позеленевшей бронзовой статуэтки. Нет, пожалуй, ею вы дорожите больше.

Удивленный художник смотрел на него во все глаза. Очень странно было слышать такие речи от Дориана. Что это с ним? Он, видимо, был очень раздражен, лицо его пылало.

— Да, да,— продолжал Дориан.— Я вам не так дорог, как ваш серебряный фавн или Гермес из слоновой кости. *Их* вы будете любить всегда. А долго ли будете любить меня? Вероятно, до первой морщинки на моем лице. Я теперь знаю — когда человек теряет красоту, он теряет все. Ваша картина мне это подсказала. Лорд Генри совершенно прав: молодость — единственное, что ценно в нашей жизни. Когда я замечу, что старею, я покончу с собой.

Холлуорд побледнел и схватил его за руку.

— Дориан, Дориан, что вы такое говорите! У меня не было и не будет друга ближе вас. Что это вы вздумали завидовать каким-то неодушевленным предметам? Да вы прекраснее их всех!

— Я завидую всему, чья красота бессмертна. Завидую этому портрету, который вы с меня написали. Почему он сохранит то, что мне суждено утратить? Каждое уходящее мгновение отнимает что-то у меня и дарит ему. О, если бы было наоборот! Если бы портрет менялся, а я мог всегда оставаться таким, как

сейчас! Зачем вы его написали? Придет время, когда он будет дразнить меня, постоянно насмехаться надо мной!

Горячие слезы подступили к глазам Дориана, он вырвал свою руку из руки Холлуорда и, упав на диван, спрятал лицо в подушки.

— Это ты наделал, Гарри! — сказал художник с горечью.

Лорд Генри пожал плечами.

— Это заговорил настоящий Дориан Грей, вот и все.

— Неправда.

— А если нет, при чем же тут я?

— Тебе следовало уйти, когда я просил тебя об этом.

— Я остался по твоей же просьбе,— возразил лорд Генри.

— Гарри, я не хочу поссориться разом с двумя моими близкими друзьями... Но вы оба сделали мне ненавистной мою лучшую картину. Я ее уничтожу. Что ж, ведь это только холст и краски. И я не допущу, чтобы она омрачила жизнь всем нам.

Дориан Грей поднял голову с подушки и, бледнея, заплаканными глазами следил за художником, который подошел к своему рабочему столу у высокого, занавешенного окна. Что он там делает? Шарит среди беспорядочно нагроможденных на столе тюбиков с красками и сухих кистей,— видимо, разыскивает что-то. Ага, это он искал длинный шпатель с тонким и гибким стальным лезвием. И нашел его наконец. Он хочет изрезать портрет!

Всхлипнув, юноша вскочил с дивана, подбежал к Холлуорду и, вырвав у него из рук шпатель, швырнул его в дальний угол.

— Не смейте, Бэзил! Не смейте! — крикнул он.— Это все равно что убийство!

— Вы, оказывается, все-таки цените мою работу? Очень рад,— сказал художник сухо, когда опомнился от удивления.— А я на это уже не надеялся.

— Ценю ее? Да я в нее влюблен, Бэзил. У меня такое чувство, словно этот портрет — часть меня самого.

— Ну и отлично. Как только вы высохнете, вас покроют лаком, вставят в раму и отправят домой. Тогда можете делать с собой, что хотите.

Пройдя через комнату, Холлуорд позвонил.

— Вы, конечно, не откажетесь выпить чаю, Дориан? И ты тоже, Гарри? Или ты не охотник до таких простых удовольствий?

— Я обожаю простые удовольствия,— сказал лорд Генри.— Они — последнее прибежище для сложных натур. Но драматические сцены я терплю только на театральных подмостках. Какие вы оба нелепые люди! Интересно, кто это выдумал, что человек — разумное животное? Что за скороспелое суждение! У человека есть что угодно, только не разум. И, в сущности, это очень хорошо!.. Однако мне неприятно, что вы ссоритесь из-за портрета. Вы бы лучше отдали его мне, Бэзил! Этому глупому мальчику вовсе не так уж хочется его иметь, а мне *очень* хочется.

— Бэзил, я вам никогда не прощу, если вы его отдадите не мне! — воскликнул Дориан Грей.— И я никому не позволю обзывать меня «глупым мальчиком».

— Я уже сказал, что дарю портрет вам, Дориан. Я так решил еще прежде, чем начал его писать.

— А на меня не обижайтесь, мистер Грей,— сказал лорд Генри.— Вы сами знаете, что вели себя довольно глупо. И не так уж вам неприятно, когда вам напоминают, что вы еще мальчик.

— Еще сегодня утром мне было бы это очень неприятно, лорд Генри.

— Ах, утром! Но с тех пор вы многое успели пережить.

В дверь постучали, вошел лакей с чайным подносом и поставил его на японский столик. Звякали чашки и блюдца, пыхтел большой старинный чайник. За лакеем мальчик внес два шарообразных фарфоровых блюда.

Дориан Грей подошел к столу и стал разливать чай. Бэзил и лорд Генри не спеша подошли тоже и, приподняв крышки, посмотрели, что лежит на блюдах.

— А не пойти ли нам сегодня вечером в театр? — предложил лорд Генри.— Наверное, где-нибудь идет что-нибудь интересное. Правда, я обещал одному человеку обедать сегодня с ним у Уайта, но это мой старый приятель, ему можно телеграфировать, что я заболел или что мне помешало прийти более позднее приглашение... Пожалуй, такого рода отговорка

ему даже больше понравится своей неожиданной откровенностью.

— Ох, надевать фрак! Как это скучно! — буркнул Холлуорд.— Терпеть не могу фраки!

— Да,— лениво согласился лорд Генри.— Современные костюмы безобразны, они угнетают своей мрачностью. В нашей жизни не осталось ничего красочного, кроме порока.

— Право, Гарри, тебе не следует говорить таких вещей при Дориане!

— При котором из них? При том, кто наливает нам чай, или том, что на портрете?

— И при том, и при другом.

— Я с удовольствием пошел бы с вами в театр, лорд Генри,— промолвил Дориан.

— Прекрасно. Значит, едем. И вы с нами, Бэзил?

— Нет, право, не могу. У меня уйма дел.

— Ну, так мы пойдем вдвоем — вы и я, мистер Грей.

— Как я рад!

Художник, закусив губу, с чашкой в руке подошел к портрету.

— А я останусь с подлинным Дорианом,— сказал он грустно.

— Так, по-вашему, это — подлинный Дориан? — спросил Дориан Грей, подходя к нему.— Неужели я в самом деле такой?

— Да, именно такой.

— Как это чудесно, Бэзил!

— По крайней мере, внешне вы такой. И на портрете всегда таким останетесь,— со вздохом сказал Холлуорд.— А это чего-нибудь да стоит.

— Как люди гонятся за постоянством! — воскликнул лорд Генри.— Господи, да ведь и в любви верность — это всецело вопрос физиологии, она ничуть не зависит от нашей воли. Люди молодые хотят быть верны — и не бывают, старики хотели бы изменять, но где уж им! Вот и все.

— Не ходите сегодня в театр, Дориан,— сказал Холлуорд.— Останьтесь у меня, пообедаем вместе.

— Не могу, Бэзил.

— Почему?

— Я же обещал лорду Генри пойти с ним.

— Думаете, он станет хуже относиться к вам, если вы не сдержите слова? Он сам никогда не выполняет своих обещаний. Я вас очень прошу, не уходите.

Дориан засмеялся и покачал головой.

— Умоляю вас!

Юноша в нерешимости посмотрел на лорда Генри, который, сидя за чайным столом, с улыбкой слушал их разговор.

— Нет, я должен идти, Бэзил.

— Как знаете.— Холлуорд отошел к столу и поставил свою чашку на поднос.— В таком случае не теряйте времени. Уже поздно, а вам еще надо переодеться. До свиданья, Гарри. До свиданья, Дориан. Приходите поскорее — ну, хотя бы завтра. Придете?

— Непременно.

— Не забудете?

— Нет, конечно, нет! — заверил его Дориан.

— И вот еще что... Гарри!

— Что, Бэзил?

— Помни то, о чем я просил тебя утром в саду!

— А я уже забыл, о чем именно.

— Смотри! Я тебе доверяю.

— Хотел бы я сам себе доверять! — сказал лорд Генри со смехом.— Идемте, мистер Грей, мой кабриолет у ворот, и я могу довезти вас до дому. До свиданья, Бэзил. Мы сегодня очень интересно провели время.

Когда дверь закрылась за гостями, художник тяжело опустился на диван. По лицу его видно было, как ему больно.

Глава III

На другой день в половине первого лорд Генри Уоттон вышел из своего дома на Керзон-стрит и направился к Олбени. Он хотел навестить своего дядю, лорда Фермора, добродушного, хотя и резковатого старого холостяка, которого за пределами светского круга считали эгоистом, ибо он ничем особенно не был людям полезен, а в светском кругу — щедрым и добрым, ибо лорд Фермор охотно угощал тех, кто его развлекал. Отец лорда Фермора состоял английским послом в Мадриде в те времена, когда королева Изабелла была молода, а Прима еще и в помине не было. Под влиянием минутного каприза он ушел с дипломатической службы, рассерженный тем, что его не назначили послом в Париж, хотя на этот пост ему давали полное право его происхож-

дение, праздность, прекрасный слог дипломатических депеш и неумеренная страсть к наслаждениям. Сын, состоявший при отце секретарем, ушел вместе с ним — что тогда все считали безрассудством — и, несколько месяцев спустя унаследовав титул, принялся серьезно изучать великое аристократическое искусство ничегонеделания. У него в Лондоне было два больших дома, но он предпочитал жить на холостую ногу в наемной меблированной квартире, находя это менее хлопотливым, а обедал и завтракал чаще всего в клубе. Лорд Фермор уделял некоторое внимание своим угольным копям в центральных графствах и оправдывал этот нездоровый интерес к промышленности тем, что, владея углем, он имеет возможность, как это прилично джентльмену, топить свой камин дровами. По политическим убеждениям он был консерватор, но только не тогда, когда консерваторы приходили к власти,—в такие периоды он энергично ругал их, называя шайкой радикалов. Он героически воевал со своим камердинером, который держал его в ежовых рукавицах. Сам же он, в свою очередь, терроризировал многочисленную родню. Породить его могла только Англия, а между тем он был ею недоволен и всегда твердил, что страна идет к гибели. Принципы его были старомодны, зато многое можно было сказать в защиту его предрассудков.

В комнате, куда вошел лорд Генри, дядя его сидел в толстой охотничьей куртке, с сигарой в зубах и читал «Таймс», ворчливо выражая вслух свое недовольство этой газетой.

— А, Гарри! — сказал почтенный старец.— Что это ты так рано? Я думал, что вы, денди, встаете не раньше двух часов дня и до пяти не выходите из дому.

— Поверьте, дядя Джордж, меня привели к вам в такой ранний час исключительно родственные чувства. Мне от вас кое-что нужно.

— Денег, вероятно? — сказал лорд Фермор с кислым видом.— Ладно, садись и рассказывай. Нынешние молодые люди воображают, что деньги — это все.

— Да,— согласился лорд Генри, поправляя цветок в петлице.— А с годами они в этом убеждаются. Но мне деньги не нужны, дядя Джордж,— они нужны тем, кто имеет привычку платить долги, а я своим кредиторам никогда не плачу. Кредит — это единственный капитал младшего сына в семье, и на этот капитал можно

отлично прожить. Кроме того, я имею дело только с поставщиками Дартмура,— и, естественно, они меня никогда не беспокоят. К вам я пришел не за деньгами, а за сведениями. Разумеется, не за полезными: за бесполезными.

— Ну что ж, от меня ты можешь узнать все, что есть в любой Синей книге Англии, хотя нынче в них пишут много ерунды. В те времена, когда я был дипломатом, это делалось гораздо лучше. Но теперь, говорят, дипломатов зачисляют на службу только после того, как они выдержат экзамен. Так чего же от них ожидать? Экзамены, сэр,— это чистейшая чепуха, от начала до конца. Если ты джентльмен, так тебя учить нечему, тебе достаточно того, что ты знаешь. А если ты *не* джентльмен, то знания тебе только во вред.

— Мистер Дориан Грей в Синих книгах не числится, дядя Джордж,— небрежно заметил лорд Генри.

— Мистер Дориан Грей? А кто же он такой? — спросил лорд Фермор, хмуря седые косматые брови.

— Вот это-то я и пришел у вас узнать, дядя Джордж. Впрочем, кто он, мне известно: он — внук последнего лорда Келсо. Фамилия его матери была Девере, леди Маргарет Девере. Расскажите мне, что вы знаете о ней. Какая она была, за кого вышла замуж? Ведь вы знали в свое время весь лондонский свет,— так, может, и ее тоже? Я только что познакомился с мистером Греем, и он меня очень интересует.

— Внук Келсо! — повторил старый лорд.— Внук Келсо... Как же, как же, я очень хорошо знал его мать. Помнится, даже был на ее крестинах. Красавица она была необыкновенная, эта Маргарет Девере, и все мужчины бесновались, когда она убежала с каким-то молодчиком, полнейшим ничтожеством без гроша за душой,— он был офицерик пехотного полка или что-то в таком роде. Да, да, помню все, как будто это случилось вчера. Бедняга был убит на дуэли в Спа через несколько месяцев после того, как они поженились. Насчет этого ходили тогда скверные слухи. Говорили, что Келсо подослал какого-то прохвоста, бельгийского авантюриста, чтобы тот публично оскорбил его зятя... понимаешь, подкупил его, заплатил подлецу,— и тот на дуэли насадил молодого человека на свою шпагу, как голубя на вертел. Дело замяли, но, ей-богу, после этого Келсо долгое время ел в клубе свой бифштекс в полном одиночестве. Мне расска-

зывали, что дочь он привез домой, но с тех пор она не говорила с ним до самой смерти. Да, скверная история! И дочь умерла очень скоро — года не прошло. Так ты говоришь, после нее остался сын? А я и забыл об этом. Что он собой представляет? Если похож на мать, так, наверное, красивый малый.

— Да, очень красивый,— подтвердил лорд Генри.

— Надеюсь, он попадет в хорошие руки,— продолжал лорд Фермор.— Если Келсо его не обидел в завещании, у него, должно быть, куча денег. Да и у Маргарет было свое состояние. Все поместье Селби перешло к ней от деда. Ее дед ненавидел Келсо, называл его скаредом. Он и в самом деле был скряга. Помню, он приезжал в Мадрид, когда я жил там. Ей-богу, я краснел за него! Королева несколько раз спрашивала меня, кто этот английский пэр, который постоянно торгуется с извозчиками. О нем там анекдоты ходили. Целый месяц я не решался показываться при дворе. Надеюсь, Келсо был щедрее к своему внуку, чем к мадридским извозчикам?

— Этого я не знаю,— отозвался лорд Генри.— Дориан еще несовершеннолетний. Но думаю, что он будет богат. Селби перешло к нему, это я слышал от него самого... Так вы говорите, его мать была очень красива?

— Маргарет Девере была одна из прелестнейших девушек, каких я видывал в жизни. Я никогда не мог понять, что ее толкнуло на такой странный брак. Ведь она могла выйти за кого бы ни пожелала. Сам Карлингтон был от нее без ума. Но вся беда в том, что она обладала романтическим воображением. В их роду все женщины были романтичны. Мужчины немногого стоили, но женщины, ей-богу, были замечательные... Карлингтон на коленях стоял перед Маргарет — он сам мне это говорил. А ведь в Лондоне в те времена все девушки были влюблены в него. Но Маргарет только смеялась над ним. Да, кстати о дурацких браках,— что это за вздор молол твой отец насчет Дартмура,— будто он хочет жениться на американке? Неужели англичанки для него недостаточно хороши?

— Видите ли, дядя Джордж, жениться на американках теперь очень модно.

— Ну а я — за англичанок и готов спорить с целым светом! — Лорд Фермор стукнул кулаком по столу.

— Ставка нынче только на американок.

— Я слышал, что их ненадолго хватает,— буркнул дядя Джордж.

— Их утомляют долгие заезды, но в скачках с препятствиями они великолепны. На лету берут барьеры. Думаю, что Дартмуру несдобровать.

— А кто ее родители?— ворчливо осведомился лорд Фермор.— Они у нее вообще имеются?

Лорд Генри покачал головой.

— Американские девицы так же ловко скрывают своих родителей, как английские дамы — свое прошлое,— сказал он, вставая.

— Должно быть, папаша ее — экспортер свинины?

— Ради Дартмура, дядя Джордж, я желал бы,чтобы это было так. Говорят, в Америке это самое прибыльное дело. Выгоднее его только политика.

— А его американка, по крайней мере, хорошенькая?

— Как большинство американок, она изображает из себя красавицу. В этом — секрет их успеха.

— И отчего они не сидят у себя в Америке? Ведь нас всегда уверяют, что там для женщин — рай.

— Так оно и есть. Потому-то они, подобно прамате-
ри Еве, и стремятся выбраться оттуда,— пояснил лорд Генри.— Ну, до свиданья, дядя Джордж. Я должен идти, иначе опоздаю к завтраку. Спасибо за сведения о Дориане. Я люблю знать все о своих новых знакомых и ничего — о старых.

— А где ты сегодня завтракаешь, Гарри?

— У тетушки Агаты. Я напросился сам и пригласил мистера Грея. Он — ее новый протеже.

— Гм!.. Так вот что, Гарри: передай своей тетушке Агате, чтобы она перестала меня атаковать воззваниями о пожертвованиях. Надоели они мне до смерти. Эта добрая женщина вообразила, что у меня другого дела нет, как только выписывать чеки на ее дурацкие благотворительные затеи.

— Хорошо, дядя Джордж, передам. Но ведь это бесполезно. Филантропы, увлекаясь благотворительностью, теряют всякое человеколюбие. Это их отличительная черта.

Старый джентльмен одобрительно хмыкнул и позвонил лакею, чтобы тот проводил гостя.

Лорд Генри прошел пассажем на Берлингтон-стрит и направился к Берклей-сквер. Он вспоминал то, что

услышал от дяди о родных Дориана Грея. Даже рассказанная в общих чертах, история эта взволновала его своей необычайностью, своей почти современной романтичностью. Прекрасная девушка, пожертвовавшая всем ради страстной любви. Несколько недель безмерного счастья, разбитого гнусным преступлением. Потом — месяцы новых страданий, рожденный в муках ребенок. Мать унесена смертью, удел сына — сиротство и тирания бессердечного старика. Да, это интересный фон, он выгодно оттеняет облик юноши, придает ему еще больше очарования. За прекрасным всегда скрыта какая-нибудь трагедия. Чтобы зацвел самый скромный цветочек, миры должны претерпеть родовые муки.

...Как обворожителен был Дориан вчера вечером, когда они обедали вдвоем в клубе! В его ошеломленном взоре и приоткрытых губах читались тревога и робкая радость, а в тени красных абажуров лицо казалось еще розовее и еще ярче выступала его дивная расцветающая красота. Говорить с этим мальчиком было все равно что играть на редкостной скрипке. Он отзывался на каждое прикосновение, на малейшую дрожь смычка...

А как это увлекательно — проверять силу своего влияния на другого человека! Ничто не может с этим сравниться. Перелить свою душу в другого, дать ей побыть в нем; слышать отзвуки собственных мыслей, усиленные музыкой юности и страсти; передавать другому свой темперамент, как тончайший флюид или своеобразный аромат,— это истинное наслаждение, самая большая радость, быть может, какая дана человеку в наш ограниченный и пошлый век с его грубо-чувственными утехами и грубо-примитивными стремлениями.

...К тому же этот мальчик, с которым он по столь счастливой случайности встретился в мастерской Бэзила,— замечательный тип... или, во всяком случае, из него можно сделать нечто замечательное. У него есть все — обаяние, белоснежная чистота юности и красота, та красота, какую запечатлели в мраморе древние греки. Из него можно вылепить что угодно, сделать его титаном — или игрушкой. Как жаль, что такой красоте суждено увянуть!..

А Бэзил? Как психологически интересно то, что он говорил! Новая манера в живописи, новое вос-

приятие действительности, неожиданно возникшее благодаря одному лишь присутствию человека, который об этом и не подозревает... Душа природы, обитавшая в дремучих лесах, бродившая в чистом поле, дотоле незримая и безгласная, вдруг, как Дриада, явилась художнику без всякого страха, ибо его душе, давно ее искавшей, дана та вдохновенная прозорливость, которой только и открываются дивные тайны; и простые формы, образы вещей обрели высокое совершенство и некий символический смысл, словно являя художнику иную, более совершенную форму, которая из смутной грезы превратилась в реальность. Как это все необычайно!

Нечто подобное бывало и в прошлые века. Платон, для которого мышление было искусством, первый задумался над этим чудом. А Буонарроти? Разве не выразил он его в своем цикле сонетов, высеченных в цветном мраморе? Но в наш век это удивительно...

И лорд Генри решил, что ему следует стать для Дориана Грея тем, чем Дориан, сам того не зная, стал для художника, создавшего его великолепный портрет. Он попытается покорить Дориана,— собственно, он уже наполовину этого достиг,— и душа чудесного юноши будет принадлежать ему. Как щедро одарила судьба это дитя Любви и Смерти!

Лорд Генри вдруг остановился и окинул взглядом соседние дома. Увидев, что он уже миновал дом своей тетушки и отошел от него довольно далеко, он, посмеиваясь над собой, повернул обратно. Когда он вошел в темноватую прихожую, дворецкий доложил ему, что все уже в столовой. Лорд Генри отдал одному из лакеев шляпу и трость и прошел туда.

— Ты, как всегда, опаздываешь, Гарри! — воскликнула его тетушка, укоризненно качая головой.

Он извинился, тут же придумав какое-то объяснение, и, сев на свободный стул рядом с хозяйкой дома, обвел глазами собравшихся гостей. С другого конца стола ему застенчиво кивнул Дориан, краснея от удовольствия. Напротив сидела герцогиня Харли, очень любимая всеми, кто ее знал, дама в высшей степени кроткого и веселого нрава и тех архитектурных пропорций, которые современные историки называют тучностью (когда речь идет не о герцогинях!). Справа от герцогини сидел сэр Томас Бэрден, член парламента, радикал. В общественной жизни он был верным сторонником своего лидера, а в частной—

сторонником хорошей кухни, то есть следовал общеизвестному мудрому правилу: «Выступай с либералами, а обедай с консерваторами». По левую руку герцогини занял место мистер Эрскин из Тредли, пожилой джентльмен, весьма культурный и приятный, но усвоивший себе дурную привычку всегда молчать в обществе, ибо, как он однажды объяснил леди Агате, еще до тридцати лет высказал все, что имел сказать.

Соседкой лорда Генри за столом была миссис Ванделер, одна из давнишних приятельниц его тетушки, поистине святая женщина, но одетая так безвкусно и крикливо, что ее можно было сравнить с молитвенником в скверном аляповатом переплете. К счастью для лорда Генри, соседом миссис Ванделер с другой стороны оказался лорд Фаудел, мужчина средних лет, большого ума, но посредственных способностей, бесцветный и скучный, как отчет министра в палате общин. Беседа между ним и миссис Ванделер велась с той усиленной серьезностью, которой, по его же словам, непростительно грешат все добродетельные люди и от которой никто из них никак не может вполне освободиться.

— Мы говорим о бедном Дартмуре,— громко сказала лорду Генри герцогиня, приветливо кивнув ему через стол.— Как вы думаете, он в самом деле женится на этой обворожительной американке?

— Да, герцогиня. Она, кажется, решила сделать ему предложение.

— Какой ужас! — воскликнула леди Агата.— Право, следовало бы помешать этому!

— Я слышал из самых верных источников, что ее отец в Америке торгует галантереей или каким-то другим убогим товаром,— с презрительной миной объявил сэр Томас Бэрден.

— А мой дядя утверждает, что свининой, сэр Томас.

— Что это еще за «убогий» товар? — осведомилась герцогиня, в удивлении поднимая полные руки.

— Американские романы,— пояснил лорд Генри, принимаясь за куропатку.

Герцогиня была озадачена.

— Не слушайте его, дорогая,— шепнула ей леди Агата.— Он никогда ничего не говорит серьезно.

— Когда была открыта Америка...— начал радикал — и дальше пошли всякие скучнейшие сведения.

Как все ораторы, которые ставят себе целью исчерпать тему, он исчерпал терпение слушателей. Герцогиня вздохнула и воспользовалась своей привилегией перебивать других.

— Было бы гораздо лучше, если бы эта Америка совсем не была открыта! — воскликнула она.— Ведь американки отбивают у наших девушек всех женихов. Это безобразие!

— Пожалуй, я сказал бы, что Америка вовсе не открыта,— заметил мистер Эрскин.— Она еще только *обнаружена.*

— О, я видела представительниц ее населения,— неопределенным тоном отозвалась герцогиня.— И должна признать, что большинство из них — прехорошенькие. И одеваются прекрасно. Все туалеты заказывают в Париже. Я, к сожалению, не могу себе этого позволить.

— Есть поговорка, что хорошие американцы после смерти отправляются в Париж,— изрек, хихикая, сэр Томас, у которого имелся в запасе большой выбор потрепанных острот.

— Вот как! А куда же отправляются после смерти дурные американцы? — поинтересовалась герцогиня.

— В Америку,— пробормотал лорд Генри.

Сэр Томас сдвинул брови.

— Боюсь, что ваш племянник предубежден против этой великой страны,— сказал он леди Агате.— Я изъездил ее всю вдоль и поперек,— мне предоставляли всегда специальные вагоны, тамошние директора весьма любезны,— и, уверяю вас, поездки в Америку имеют большое образовательное значение.

— Неужели же, чтобы стать образованным человеком, необходимо повидать Чикаго? — жалобно спросил мистер Эрскин.— Я не чувствую себя в силах совершить такое путешествие.

Сэр Томас махнул рукой.

— Для мистера Эрскина мир сосредоточен на его книжных полках. А мы, люди дела, хотим своими глазами все видеть, не только читать обо всем. Американцы — очень интересный народ и обладают большим здравым смыслом. Я считаю, что это их самая отличительная черта. Да, да, мистер Эрскин, это весьма здравомыслящие люди. Поверьте мне, американец никогда не делает глупостей.

— Какой ужас! — воскликнул лорд Генри.— Я еще могу примириться с грубой силой, но грубая, тупая

рассудочность совершенно невыносима. Руководствоваться рассудком — в этом есть что-то неблагородное. Это значит — предавать интеллект.

— Не понимаю, что вы этим хотите сказать,— отозвался сэр Томас, побагровев.

— А я вас понял, лорд Генри,— с улыбкой пробормотал мистер Эрскин.

— Парадоксы имеют свою прелесть, но...— начал баронет.

— Разве это был парадокс? — спросил мистер Эрскин.— А я и не догадался... Впрочем, может быть, вы правы. Ну, так что же? Правда жизни открывается нам именно в форме парадоксов. Чтобы постигнуть Действительность, надо видеть, как она балансирует на канате. И только посмотрев все те акробатические штуки, какие проделывает Истина, мы можем правильно судить о ней.

— Господи, как мужчины любят спорить! — вздохнула леди Агата.— Никак не могу взять в толк, о чем вы говорите. А на тебя, Гарри, я очень сердита. Зачем это ты отговариваешь нашего милого мистера Грея работать со мной в Ист-Энде? Пойми, он мог бы оказать нам неоценимые услуги: его игра так всем нравится.

— А я хочу, чтобы он играл для меня,— смеясь, возразил лорд Генри и, глянув туда, где сидел Дориан, встретил его ответный радостный взгляд.

— Но в Уайтчепле видишь столько людского горя! — не унималась леди Агата.

— Я сочувствую всему, кроме людского горя.— Лорд Генри пожал плечами.— Ему я сочувствовать не могу. Оно слишком безобразно, слишком ужасно и угнетает нас. Во всеобщем сочувствии к страданиям есть нечто в высшей степени нездоровое. Сочувствовать надо красоте, ярким краскам и радостям жизни. И как можно меньше говорить о темных ее сторонах.

— Но Ист-Энд — очень серьезная проблема,— внушительно заметил сэр Томас, качая головой.

— Несомненно,— согласился лорд Генри.— Ведь это — проблема рабства, и мы пытаемся разрешить ее, увеселяя рабов.

Старый политикан пристально посмотрел на него.

— А что же вы предлагаете взамен? — спросил он.

Лорд Генри рассмеялся.

— Я ничего не желал бы менять в Англии, кроме погоды, и вполне довольствуюсь философским созер-

цанием. Но девятнадцатый век пришел к банкротству из-за того, что слишком щедро расточал сострадание. И потому, мне кажется, наставить людей на путь истинный может только Наука. Эмоции хороши тем, что уводят нас с этого пути, а Наука — тем, что она не знает эмоций.

— Но ведь на нас лежит такая ответственность! — робко вмешалась миссис Ванделер.

— Громадная ответственность! — поддержала ее леди Агата.

Лорд Генри через стол переглянулся с мистером Эрскином.

— Человечество преувеличивает свою роль на земле. Это — его первородный грех. Если бы пещерные люди умели смеяться, история пошла бы по другому пути.

— Вы меня очень утешили,— проворковала герцогиня.— До сих пор, когда я бывала у вашей милой тетушки, мне всегда становилось совестно, что я не интересуюсь Ист-Эндом. Теперь я буду смотреть ей в глаза, не краснея.

— Но румянец женщине очень к лицу, герцогиня,— заметил лорд Генри.

— Только в молодости,— возразила она.— А когда краснеет такая старуха, как я, это очень дурной признак. Ах, лорд Генри, хоть бы вы мне посоветовали, как снова стать молодой!

Лорд Генри подумал с минуту.

— Можете вы, герцогиня, припомнить какую-нибудь большую ошибку вашей молодости? — спросил он, наклонясь к ней через стол.

— Увы, и не одну!

— Тогда совершите их все снова,— сказал он серьезно.— Чтобы вернуть молодость, стоит только повторить все ее безумства.

— Замечательная теория! — восхитилась герцогиня.— Непременно проверю ее на практике.

— Теория опасная! — процедил сэр Томас сквозь плотно сжатые губы. А леди Агата покачала головой, но невольно засмеялась. Мистер Эрскин слушал молча.

— Да,— продолжал лорд Генри.— Это одна из великих тайн жизни. В наши дни большинство людей умирает от ползучей формы рабского благоразумия, и все слишком поздно спохватываются, что единственное, о чем никогда не пожалеешь, это наши ошибки и заблуждения.

За столом грянул дружный смех.

А лорд Генри стал своенравно играть этой мыслью, давая волю фантазии: он жонглировал ею, преображал ее, то отбрасывал, то подхватывал снова; заставлял ее искриться, украшая радужными блестками своего воображения, окрылял парадоксами. Этот гимн безумствам воспарил до высот Философии, а Философия обрела юность и, увлеченная дикой музыкой Наслаждения, как вакханка в залитом вином наряде и венке из плюща, понеслась в исступленной пляске по холмам жизни, насмехаясь над трезвостью медлительного Силена. Факты уступали ей дорогу, разлетались, как испуганные лесные духи. Ее обнаженные ноги попирали гигантский камень давильни, на котором восседает мудрый Омар, и журчащий сок винограда вскипал вокруг этих белых ног волнами пурпуровых брызг, растекаясь затем красной пеной по отлогим черным стенкам чана.

То была блестящая и оригинальная импровизация. Лорд Генри чувствовал, что Дориан Грей не сводит с него глаз, и сознание, что среди слушателей есть человек, которого ему хочется пленить, оттачивало его остроумие, придавало красочность речам. То, что он говорил, было увлекательно, безответственно, противоречило логике и разуму. Слушатели смеялись, но были невольно очарованы и покорно следовали за полетом его фантазии, как дети — за легендарным дудочником. Дориан Грей смотрел ему в лицо не отрываясь, как завороженный, и по губам его то и дело пробегала улыбка, а в потемневших глазах восхищение сменялось задумчивостью.

Наконец Действительность в костюме нашего века вступила в комнату в образе слуги, доложившего герцогине, что экипаж ее подан. Герцогиня в шутливом отчаянии заломила руки.

— Экая досада! Приходится уезжать. Я должна заехать в клуб за мужем и отвезти его на какое-то глупейшее собрание, на котором он будет председательствовать. Если опоздаю, он обязательно рассердится, а я стараюсь избегать сцен, когда на мне эта шляпка: она чересчур воздушна, одно резкое слово может ее погубить. Нет, нет, не удерживайте меня, милая Агата. До свидания, лорд Генри! Вы — прелесть, но настоящий демон-искуситель. Я положительно не знаю, что думать о ваших теориях. Непременно приезжайте к нам обедать. Ну, скажем, во вторник. Во вторник вы никуда не приглашены?

— Для вас, герцогиня, я готов изменить всем,— сказал с поклоном лорд Генри.

— О, это очень мило с вашей стороны, но и очень дурно!— воскликнула почтенная дама.— Так помните же, мы вас ждем.— И она величаво выплыла из комнаты, а за ней — леди Агата и другие дамы.

Когда лорд Генри снова сел на свое место, мистер Эрскин, усевшись рядом, положил ему руку на плечо.

— Ваши речи интереснее всяких книг,— начал он.— Почему вы не напишете что-нибудь?

— Я слишком люблю читать книги, мистер Эрскин, и потому не пишу их. Конечно, хорошо бы написать роман, роман чудесный, как персидский ковер, и столь же фантастический. Но у нас в Англии читают только газеты, энциклопедические словари да учебники. Англичане меньше всех народов мира понимают красоты литературы.

— Боюсь, что вы правы,— отозвался мистер Эрскин.— Я сам когда-то мечтал стать писателем, но давно отказался от этой мысли... Теперь, мой молодой друг,— если позволите вас так называть,— я хочу задать вам один вопрос: вы действительно верите во все, что говорили за завтраком?

— А я уже совершенно не помню, что говорил.— Лорд Генри улыбнулся.— Какую-нибудь ересь?

— Да, безусловно. На мой взгляд, вы — человек чрезвычайно опасный, и если с нашей милой герцогиней что-нибудь стрясется, все мы будем считать вас главным виновником... Я хотел бы побеседовать с вами о жизни. Люди моего поколения прожили жизнь скучно. Как-нибудь, когда Лондон вам надоест, приезжайте ко мне в Тредли. Там вы изложите мне свою философию наслаждения за стаканом чудесного бургундского, которое у меня, к счастью, еще сохранилось.

— С большим удовольствием. Сочту за счастье побывать в Тредли, где такой радушный хозяин и такая замечательная библиотека.

— Вы ее украсите своим присутствием,— отозвался старый джентльмен с учтивым поклоном.— Ну а теперь пойду прощусь с вашей добрейшей тетушкой. Мне пора в Атенеум. В этот час мы обычно дремлем там.

— В полном составе, мистер Эрскин?

— Да, сорок человек в сорока креслах. Таким образом мы готовимся стать Английской академией литературы.

Лорд Генри расхохотался.

— Ну а я пойду в Парк,— сказал он, вставая.

У двери Дориан Грей дотронулся до его руки.

— Можно и мне с вами?

— Но вы, кажется, обещали навестить Бэзила Холлуорда?

— Мне больше хочется побыть с вами. Да, да, мне непременно надо пойти с вами. Можно? И вы обещаете все время говорить со мной? Никто не говорит так интересно, как вы.

— Ох, я сегодня уже достаточно наговорил! — с улыбкой возразил лорд Генри.— Теперь мне хочется только наблюдать жизнь. Пойдемте и будем наблюдать вместе, если хотите.

Глава IV

Однажды днем, месяц спустя, Дориан Грей, расположившись в удобном кресле, сидел в небольшой библиотеке лорда Генри, в его доме на Мэйфер. Это была красивая комната, с высокими дубовыми оливково-зелеными панелями, желтоватым фризом и лепным потолком. По кирпично-красному сукну, покрывавшему пол, разбросаны были шелковые персидские коврики с длинной бахромой. На столике красного дерева стояла статуэтка Клодиона, а рядом лежал экземпляр «Les Cent Nouvelles»[1] в переплете работы Кловиса Эв. Книга принадлежала некогда Маргарите Валуа, и переплет ее был усеян золотыми маргаритками — этот цветок королева избрала своей эмблемой. На камине красовались пестрые тюльпаны в больших голубых вазах китайского фарфора. В окна с частым свинцовым переплетом вливался абрикосовый свет летнего лондонского дня.

Лорд Генри еще не вернулся. Он поставил себе за правило всегда опаздывать, считая, что пунктуальность — вор времени. И Дориан, недовольно хмурясь, рассеянно перелистывал превосходно иллюстрированное издание «Манон Леско», найденное им в одном из книжных шкафов. Размеренно тикали часы в стиле Людовика Четырнадцатого, и даже это раздражало

---

[1] «Сто новелл» *(фр.)*.

Дориана. Он уже несколько раз порывался уйти, не дождавшись хозяина.

Наконец за дверью послышались шаги, и она отворилась.

— Как вы поздно, Гарри! — буркнул Дориан.

— К сожалению, это не Гарри, мистер Грей,— отозвался высокий и резкий голос.

Дориан поспешно обернулся и вскочил.

— Простите! Я думал...

— Вы думали, что это мой муж. А это только его жена,— разрешите представиться. Вас я уже очень хорошо знаю по фотографиям. У моего супруга их, если не ошибаюсь, семнадцать штук.

— Будто уж семнадцать, леди Генри?

— Ну, не семнадцать, так восемнадцать. И потом я недавно видела вас с ним в опере.

Говоря это, она как-то беспокойно посмеивалась и внимательно смотрела на Дориана своими бегающими, голубыми, как незабудки, глазами. Все туалеты этой странной женщины имели такой вид, как будто они были задуманы в припадке безумия и надеты в бурю. Леди Уоттон всегда была в кого-нибудь влюблена — и всегда безнадежно, так что она сохранила все свои иллюзии. Она старалась быть эффектной, но выглядела только неряшливой. Звали ее Викторией, и она до страсти любила ходить в церковь — это превратилось у нее в манию.

— Вероятно, на «Лоэнгрине», леди Генри?

— Да, на моем любимом «Лоэнгрине». Музыку Вагнера я предпочитаю всякой другой. Она такая шумная, под нее можно болтать в театре весь вечер, не боясь, что тебя услышат посторонние. Это очень удобно, не так ли, мистер Грей?

Тот же беспокойный и отрывистый смешок сорвался с ее узких губ, и она принялась вертеть в руках длинный черепаховый нож для разрезания бумаги.

Дориан с улыбкой покачал головой.

— Извините, не могу с вами согласиться, леди Генри. Я всегда слушаю музыку внимательно и не болтаю, если она хороша. Ну а скверную музыку, конечно, следует заглушать разговорами.

— Ага, это мнение Гарри, не так ли, мистер Грей? Я постоянно слышу мнения Гарри от его друзей. Только таким путем я их и узнаю. Ну а музыка... Вы не подумайте, что я ее не люблю. Хорошую музыку

я обожаю, но боюсь ее — она настраивает меня чересчур романтично. Пианистов я прямо-таки боготворю, иногда влюбляюсь даже в двух разом — так уверяет Гарри. Не знаю, что в них так меня привлекает... Может быть, то, что они иностранцы? Ведь они, кажется, все иностранцы? Даже те, что родились в Англии, со временем становятся иностранцами, не правда ли? Это очень разумно с их стороны и создает хорошую репутацию их искусству, делает его космополитичным. Не так ли, мистер Грей?.. Вы, кажется, не были еще ни на одном из моих вечеров? Приходите непременно. Орхидей я не заказываю, это мне не по средствам, но на иностранцев денег не жалею — они придают гостиной такой живописный вид! Ага! Вот и Гарри! Гарри, я зашла, чтобы спросить у тебя кое-что,— не помню, что именно,— и застала здесь мистера Грея. Мы с ним очень интересно поговорили о музыке. И совершенно сошлись во мнениях... впрочем, нет — кажется, совершенно разошлись. Но он такой приятный собеседник, и я очень рада, что познакомилась с ним.

— Я тоже очень рад, дорогая, очень рад,— сказал лорд Генри, поднимая темные изогнутые брови и с веселой улыбкой глядя то на жену, то на Дориана.— Извините, что заставил вас ждать, Дориан. Я ходил на Уордор-стрит, где присмотрел кусок старинной парчи, и пришлось торговаться за нее добрых два часа. В наше время люди всему знают цену, но понятия не имеют о подлинной ценности.

— Как ни жаль, мне придется вас покинуть! — объявила леди Генри, прерывая наступившее неловкое молчание, и засмеялась — как всегда, неожиданно и некстати.— Я обещала герцогине поехать с ней кататься. До свиданья, мистер Грей! До свиданья, Гарри. Ты, вероятно, обедаешь сегодня в гостях? Я тоже. Может быть, встретимся у леди Торнбэри?

— Очень возможно, дорогая,— ответил лорд Генри, закрывая за ней дверь. Когда его супруга, напоминая райскую птицу, которая целую ночь пробыла под дождем, выпорхнула из комнаты, оставив после себя легкий запах жасмина, он закурил папиросу и развалился на диване.

— Ни за что не женитесь на женщине с волосами соломенного цвета,— сказал он после нескольких затяжек.

— Почему, Гарри?

— Они ужасно сентиментальны.

— А я люблю сентиментальных людей.

— Да и вообще лучше не женитесь, Дориан. Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства. И тем и другим брак приносит разочарование.

— Вряд ли я когда-нибудь женюсь, Гарри. Я слишком влюблен. Это тоже один из ваших афоризмов. Я его претворю в жизнь, как и все, что вы проповедуете.

— В кого же это вы влюблены? — спросил лорд Генри после некоторого молчания.

— В одну актрису,— краснея, ответил Дориан Грей.

Лорд Генри пожал плечами.

— Довольно банальное начало.

— Вы не сказали бы этого, если бы видели ее, Гарри.

— Кто же она?

— Ее зовут Сибила Вэйн.

— Никогда не слыхал о такой актрисе.

— Никто еще не слыхал. Но когда-нибудь о ней узнают все. Она гениальна.

— Мой мальчик, женщины не бывают гениями. Они — декоративный пол. Им нечего сказать миру, но они говорят — и говорят премило. Женщина — это воплощение торжествующей над духом материи, мужчина же олицетворяет собой торжество мысли над моралью.

— Помилуйте, Гарри!..

— Дорогой мой Дориан, верьте, это святая правда. Я изучаю женщин, как же мне не знать! И, надо сказать, не такой уж это трудный для изучения предмет. Я пришел к выводу, что в основном женщины делятся на две категории: ненакрашенные и накрашенные. Первые нам очень полезны. Если хотите приобрести репутацию почтенного человека, вам стоит только пригласить такую женщину поужинать с вами. Женщины второй категории очаровательны. Но они совершают одну ошибку: красятся лишь для того, чтобы казаться моложе. Наши бабушки красились, чтобы прослыть остроумными и блестящими собеседницами: в те времена «rouge» [1] и «esprit» [2] считались

---

[1] румяна *(фр.)*.

[2] остроумие *(фр.)*.

неразлучными. Нынче все не так. Если женщина добилась того, что выглядит на десять лет моложе своей дочери, она этим вполне удовлетворяется. А остроумной беседы от них не жди. Во всем Лондоне есть только пять женщин, с которыми стоит поговорить, да и то двум из этих пяти не место в приличном обществе... Ну, все-таки расскажите мне про своего гения. Давно вы с ней знакомы?

— Ах, Гарри, ваши рассуждения приводят меня в ужас.

— Пустяки. Так когда же вы с ней познакомились?

— Недели три назад.

— И где?

— Сейчас расскажу. Но не вздумайте меня расхолаживать, Гарри. В сущности, не встреться я с вами, ничего не случилось бы: ведь это вы разбудили во мне страстное желание узнать все о жизни. После нашей встречи у Бэзила я не знал покоя, во мне трепетала каждая жилка. Шатаясь по Парку или Пикадилли, я с жадным любопытством всматривался в каждого встречного и пытался угадать, какую жизнь он ведет. К некоторым меня тянуло. Другие внушали мне страх. Словно какая-то сладкая отрава была разлита в воздухе. Меня мучила жажда новых впечатлений... И вот раз вечером, часов в семь, я пошел бродить по Лондону в поисках этого нового. Я чувствовал, что в нашем сером огромном городе с мириадами жителей, мерзкими грешниками и пленительными пороками — так вы описывали мне его — припасено кое-что и для меня. Я рисовал себе тысячу вещей... Даже ожидающие меня опасности я предвкушал с восторгом. Я вспоминал ваши слова, сказанные в тот чудесный вечер, когда мы в первый раз обедали вместе: «Подлинный секрет счастья — в искании красоты». Сам не зная, чего жду, я вышел из дому и зашагал по направлению к Ист-Энду. Скоро я заблудился в лабиринте грязных улиц и унылых бульваров без зелени. Около половины девятого я проходил мимо какого-то жалкого театрика с большими газовыми рожками и кричащими афишами у входа. Препротивный еврей в уморительной жилетке, какой я в жизни не видывал, стоял у входа и курил дрянную сигару. Волосы у него были сальные, завитые, а на грязной манишке сверкал громадный бриллиант. «Не угодно ли ложу, милорд?» — предложил он, увидев меня,

и с подчеркнутой любезностью снял шляпу. Этот урод показался мне занятным. Вы, конечно, посмеетесь надо мной — но представьте, Гарри, я вошел и заплатил целую гинею за ложу у сцены. До сих пор не понимаю, как это вышло. А ведь не сделай я этого,— ах, дорогой мой Гарри, не сделай я этого, я пропустил бы прекраснейший роман моей жизни!.. Вы смеетесь? Честное слово, это возмутительно!

— Я не смеюсь, Дориан. Во всяком случае, смеюсь не над вами. Но не надо говорить, что это прекраснейший роман вашей жизни. Скажите лучше: «первый». В вас всегда будут влюбляться, и вы всегда будете влюблены в любовь. Grande passion[1] — привилегия людей, которые проводят жизнь в праздности. Это единственное, на что способны нетрудящиеся классы. Не бойтесь, у вас впереди много чудесных переживаний. Это только начало.

— Так вы меня считаете настолько поверхностным человеком? — воскликнул Дориан Грей.

— Наоборот, глубоко чувствующим.

— Как так?

— Мой мальчик, поверхностными людьми я считаю как раз тех, кто любит только раз в жизни. Их так называемая верность, постоянство — лишь летаргия привычки или отсутствие воображения. Верность в любви, как и последовательность и неизменность мыслей,— это попросту доказательство бессилия... Верность! Когда-нибудь я займусь анализом этого чувства. В нем — жадность собственника. Многое мы охотно бросили бы, если бы не боязнь, что кто-нибудь другой это подберет... Но не буду больше перебивать вас. Рассказывайте дальше.

— Так вот — я очутился в скверной, тесной ложе у сцены, и перед глазами у меня был аляповато размалеванный занавес. Я стал осматривать зал. Он был отделан с мишурной роскошью, везде — купидоны и рога изобилия, как в дешевом свадебном торте. Галерея и задние ряды были переполнены, а первые ряды обтрепанных кресел пустовали, да и на тех местах, что здесь, кажется, называют балконом, не видно было ни души. Между рядами ходили продавцы имбирного пива и апельсинов, и все зрители ожесточенно щелкали орехи.

---

[1] Великая страсть *(фр.)*.

— Точь-в-точь как в славные дни расцвета британской драмы!

— Да, наверное. Обстановка эта действовала угнетающе. И я уже подумывал, как бы мне выбраться оттуда, но тут взгляд мой упал на афишу. Как вы думаете, Гарри, что за пьеса шла в тот вечер?

— Ну что-нибудь вроде «Идиота» или «Немой невиновен». Деды наши любили такие пьесы. Чем дальше я живу на свете, Дориан, тем яснее вижу: то, чем удовлетворялись наши деды, для нас уже не годится. В искусстве, как и в политике, les grand-pères ont toujours tort[1].

— Эта пьеса, Гарри, и для нас достаточно хороша: это был Шекспир, «Ромео и Джульетта». Признаться, сначала мне стало обидно за Шекспира, которого играют в такой дыре. Но в то же время это меня немного заинтересовало. Во всяком случае, я решил посмотреть первое действие. Заиграл ужасающий оркестр, которым управлял молодой еврей, сидевший за разбитым пианино. От этой музыки я чуть не сбежал из зала, но наконец занавес поднялся, и представление началось. Ромео играл тучный пожилой мужчина с наведенными жженой пробкой бровями и хриплым трагическим голосом. Фигурой он напоминал пивной бочонок. Меркуцио был немногим лучше. Эту роль исполнял комик, который привык играть в фарсах. Он вставлял в текст отсебятину и был в самых дружеских отношениях с галеркой. Оба эти актера были так же нелепы, как и декорации, и все вместе напоминало ярмарочный балаган. Но Джульетта!.. Гарри, представьте себе девушку лет семнадцати, с нежным, как цветок, личиком, с головкой гречанки, обвитой темными косами. Глаза — синие озера страсти, губы — лепестки роз. Первый раз в жизни я видел такую дивную красоту! Вы сказали как-то, что никакой пафос вас не трогает, но красота, одна лишь красота способна вызвать у вас слезы. Так вот, Гарри, я с трудом мог разглядеть эту девушку, потому что слезы туманили мне глаза. А голос! Никогда я не слышал такого голоса! Вначале он был очень тих, но каждая его глубокая, ласкающая нота как будто отдельно вливалась в уши. Потом он стал громче и звучал, как флейта или далекий гобой. Во время

---

[1] деды всегда не правы *(фр.)*.

сцены в саду в нем зазвенел тот трепетный восторг, что звучит перед зарей в песне соловья. Бывали мгновения, когда слышалось в нем исступленное пение скрипок. Вы знаете, как может волновать чей-нибудь голос. Ваш голос и голос Сибилы Вэйн мне не забыть никогда! Стоит мне закрыть глаза — и я слышу ваши голоса. Каждый из них говорит мне другое, и я не знаю, которого слушаться... Как мог я не полюбить ее? Гарри, я ее люблю. Она для меня все. Каждый вечер я вижу ее на сцене. Сегодня она — Розалинда, завтра — Имоджена. Я видел ее в Италии умирающей во мраке склепа, видел, как она в поцелуе выпила яд с губ возлюбленного. Я следил за ней, когда она бродила по Арденнским лесам, переодетая юношей, прелестная в этом костюме — коротком камзоле, плотно обтягивающих ноги штанах, изящной шапочке. Безумная, приходила она к преступному королю и давала ему руту и горькие травы. Она была невинной Дездемоной, и черные руки ревности сжимали ее тонкую, как тростник, шейку. Я видел ее во все века и во всяких костюмах. Обыкновенные женщины не волнуют нашего воображения. Они не выходят за рамки своего времени. Они не способны преображаться как по волшебству. Их души нам так же знакомы, как их шляпки. В них нет тайны. По утрам они катаются верхом в Парке, днем болтают со знакомыми за чайным столом. У них стереотипная улыбка и хорошие манеры. Они для нас — открытая книга. Но актриса!.. Актриса — совсем другое дело. И отчего вы мне не сказали, Гарри, что любить стоит только актрису?

— Оттого, что я любил очень многих актрис, Дориан.

— О, знаю я каких: этих ужасных женщин с крашеными волосами и размалеванными лицами.

— Не презирайте крашеные волосы и размалеванные лица, Дориан! В них порой находишь какую-то удивительную прелесть.

— Право, я жалею, что рассказал вам о Сибиле Вэйн!

— Вы не могли не рассказать мне, Дориан. Вы всю жизнь будете мне поверять все.

— Да, Гарри, пожалуй, вы правы. Я ничего не могу от вас скрыть. Вы имеете надо мной какую-то непонятную власть. Даже если бы я когда-нибудь совер-

шил преступление, я пришел бы и признался вам. Вы поняли бы меня.

— Такие, как вы, Дориан,— своенравные солнечные лучи, озаряющие жизнь,— не совершают преступлений. А за лестное мнение обо мне спасибо! Ну, теперь скажите... Передайте мне спички, пожалуйста! Благодарю... Скажите, как далеко зашли ваши отношения с Сибилой Вэйн?

Дориан вскочил, весь вспыхнув, глаза его засверкали.

— Гарри! Сибила Вэйн для меня святыня!

— Только святыни и стоит касаться, Дориан,— сказал лорд Генри с ноткой пафоса в голосе.— И чего вы рассердились? Ведь рано или поздно, я полагаю, она будет вашей. Влюбленность начинается с того, что человек обманывает себя, а кончается тем, что он обманывает другого. Это и принято называть романом. Надеюсь, вы уже, по крайней мере, познакомились с нею?

— Ну, разумеется. В первый же вечер тот противный старый еврей после спектакля пришел в ложу и предложил провести меня за кулисы и познакомить с Джульеттой. Я вскипел и сказал ему, что Джульетта умерла несколько сот лет тому назад и прах ее покоится в мраморном склепе в Вероне. Он слушал меня с величайшим удивлением,— наверное, подумал, что я выпил слишком много шампанского...

Вполне возможно.

— Затем он спросил, не пишу ли я в газетах. Я ответил, что даже не читаю их. Он, видимо, был сильно разочарован и сообщил мне, что все театральные критики в заговоре против него и все они продажны.

— Пожалуй, в этом он совершенно прав. Впрочем, судя по их виду, большинство критиков продаются за недорогую цену.

— Ну, и он, по-видимому, находит, что ему они не по карману,— сказал Дориан со смехом.— Пока мы так беседовали, в театре стали уже гасить огни, и мне пора было уходить. Еврей настойчиво предлагал мне еще какие-то сигары, усиленно их расхваливая, но я и от них отказался. В следующий вечер я, конечно, опять пришел в театр. Увидев меня, еврей отвесил низкий поклон и объявил, что я щедрый покровитель искусства. Пренеприятный субъект,— однако, надо вам сказать, он страстный поклонник Шекспира. Он

с гордостью сказал мне, что пять раз прогорал только из-за своей любви к «барду» (так он упорно величает Шекспира). Он, кажется, считает это своей великой заслугой.

— Это и в самом деле заслуга, дорогой мой, великая заслуга! Большинство людей становятся банкротами из-за чрезмерного пристрастия не к Шекспиру, а к прозе жизни. И разориться из-за любви к поэзии — это честь... Ну, так когда же вы впервые заговорили с мисс Сибилой Вэйн?

— В третий вечер. Она тогда играла Розалинду. Я наконец сдался и пошел к ней за кулисы. До того я бросил ей цветы, и она на меня взглянула... По крайней мере так мне показалось... А старый еврей все приставал ко мне — он, видимо, решил во что бы то ни стало свести меня к Сибиле. И я пошел... Не правда ли, это странно, что мне так не хотелось с ней знакомиться?

— Нет, ничуть не странно.

— А почему же, Гарри?

— Объясню как-нибудь потом. Сейчас я хочу дослушать ваш рассказ об этой девушке.

— О Сибиле? Она так застенчива и мила. В ней много детского. Когда я стал восторгаться ее игрой, она с очаровательным изумлением широко открыла глаза — она совершенно не сознает, какой у нее талант! Оба мы в тот вечер были, кажется, порядком смущены. Еврей торчал в дверях пыльного фойе и, ухмыляясь, красноречиво разглагольствовал, а мы стояли и молча смотрели друг на друга, как дети! Старик упорно величал меня «милордом», и я поторопился уверить Сибилу, что я вовсе не лорд. Она сказала простодушно: «Вы скорее похожи на принца. Я буду называть вас «Прекрасный Принц».

— Клянусь честью, мисс Сибила умеет говорить комплименты!

— Нет, Гарри, вы не понимаете: для нее я — все равно что герой какой-то пьесы. Она совсем не знает жизни. Живет с матерью, замученной, увядшей женщиной, которая в первый вечер играла леди Капулетти в каком-то красном капоте. Заметно, что эта женщина знавала лучшие дни.

— Встречал я таких... Они на меня всегда наводят тоску,— вставил лорд Генри, разглядывая свои перстни.

— Еврей хотел рассказать мне ее историю, но я не стал слушать, сказал, что меня это не интересует.

— И правильно сделали. В чужих драмах есть что-то безмерно жалкое.

— Меня интересует только сама Сибила. Какое мне дело до ее семьи и происхождения? В ней все — совершенство, все божественно — от головы до маленьких ножек. Я каждый вечер хожу смотреть ее на сцене, и с каждым вечером она кажется мне все чудеснее.

— Так вот почему вы больше не обедаете со мной по вечерам! Я так и думал, что у вас какой-нибудь роман. Однако это не совсем то, чего я ожидал.

— Гарри, дорогой, ведь мы каждый день либо завтракаем, либо ужинаем вместе! И, кроме того, я несколько раз ездил с вами в оперу,— удивленно возразил Дориан.

— Да, но вы всегда бессовестно опаздываете.

— Что поделаешь! Я должен видеть Сибилу каждый вечер, хотя бы в одном акте. Я уже не могу жить без нее. И когда я подумаю о чудесной душе, заключенной в этом хрупком теле, словно выточенном из слоновой кости, меня охватывает благоговейный трепет.

— А сегодня, Дориан, вы не могли бы пообедать со мной?

Дориан покачал головой.

— Сегодня она — Имоджена. Завтра вечером будет Джульеттой.

— А когда же она бывает Сибилой Вэйн?

— Никогда.

— Ну, тогда вас можно поздравить!

— Ах, Гарри, как вы несносны! Поймите, в ней живут все великие героини мира! Она более чем одно существо. Смеетесь? А я вам говорю: она — гений. Я люблю ее: я сделаю все, чтобы и она полюбила меня. Вот вы постигли все тайны жизни — так научите меня, как приворожить Сибилу Вэйн! Я хочу быть счастливым соперником Ромео, заставить его ревновать. Хочу, чтобы все жившие когда-то на земле влюбленные услышали в своих могилах наш смех и опечалились, чтобы дыхание нашей страсти потревожило их прах, пробудило его и заставило страдать. Боже мой, Гарри, если бы вы знали, как я ее обожаю!

Так говорил Дориан, в волнении шагая из угла в угол. На щеках его пылал лихорадочный румянец. Он был сильно возбужден.

Лорд Генри наблюдал за ним с тайным удовольствием. Как непохож был Дориан теперь на того застенчивого и робкого мальчика, которого он встретил в мастерской Бэзила Холлуорда! Все его существо раскрылось, как цветок, расцвело пламенно-алым цветом. Душа вышла из своего тайного убежища, и Желание поспешило ей навстречу.

— Что же вы думаете делать? — спросил наконец лорд Генри.

— Я хочу, чтобы вы и Бэзил как-нибудь поехали со мной в театр и увидели ее на сцене. Ничуть не сомневаюсь, что и вы оцените ее талант. Потом надо будет вырвать ее из рук этого еврея. Она связана контрактом на три года,— впрочем, теперь осталось уже только два года и восемь месяцев. Конечно, я заплачу ему. Когда все будет улажено, я сниму какой-нибудь театр в Вест-Энде и покажу ее людям во всем блеске. Она сведет с ума весь свет, точно так же как свела меня.

— Ну, это вряд ли, милый мой!

— Вот увидите! В ней чувствуется не только замечательное артистическое чутье, но и яркая индивидуальность! И ведь вы не раз твердили мне, что в наш век миром правят личности, а не идеи.

— Хорошо, когда же мы отправимся в театр?

— Сейчас соображу... Сегодня вторник. Давайте завтра! Завтра она играет Джульетту.

— Отлично. Встретимся в восемь, в «Бристоле». Я привезу Бэзила.

— Только не в восемь, Гарри, а в половине седьмого. Мы должны попасть в театр до поднятия занавеса. Я хочу, чтобы вы ее увидели в той сцене, когда она в первый раз встречается с Ромео.

— В половине седьмого! В такую рань! Да это все равно что унизиться до чтения английского романа. Нет, давайте в семь. Ни один порядочный человек не обедает раньше семи. Может, вы перед этим съездите к Бэзилу? Или просто написать ему?

— Милый Бэзил! Вот уже целую неделю я не показывался ему на глаза. Это просто бессовестно — ведь он прислал мне мой портрет в великолепной раме, заказанной по его рисунку... Правда, я немножко завидую этому портрету, который на целый месяц моложе меня, но, признаюсь, я от него в восторге. Пожалуй, лучше будет, если *вы* напишете

Бэзилу. Я не хотел бы с ним встретиться с глазу на глаз — все, что он говорит, нагоняет на меня скуку. Он постоянно дает мне добрые советы.

Лорд Генри улыбнулся.

— Некоторые люди очень охотно отдают то, что им самим крайне необходимо. Вот что я называю верхом великодушия!

— Бэзил — добрейшая душа, но, по-моему, он немного филистер. Я это понял, когда узнал вас, Гарри.

— Видите ли, мой друг, Бэзил все, что в нем есть лучшего, вкладывает в свою работу. Таким образом, для жизни ему остаются только предрассудки, моральные правила и здравый смысл. Из всех художников, которых я знавал, только бездарные были обаятельными людьми. Талантливые живут своим творчеством и поэтому сами по себе совсем неинтересны. Великий поэт — подлинно великий — всегда оказывается самым прозаическим человеком. А второстепенные — обворожительны. Чем слабее их стихи, тем эффектнее наружность и манеры. Если человек выпустил сборник плохих сонетов, можно заранее сказать, что он совершенно неотразим. Он вносит в свою жизнь ту поэзию, которую не способен внести в свои стихи. А поэты другого рода изливают на бумаге поэзию, которую не имеют смелости внести в жизнь.

— Не знаю, верно ли это, Гарри,— промолвил Дориан Грей, смачивая свой носовой платок духами из стоявшего на столе флакона с золотой пробкой.— Должно быть, верно, раз вы так говорите... Ну, я ухожу, меня ждет Имоджена. Не забудьте же о завтрашней встрече. До свиданья.

Оставшись один, лорд Генри задумался, опустив тяжелые веки. Несомненно, мало кто интересовал его так, как Дориан Грей, однако то, что юноша страстно любил кого-то другого, не вызывало в душе лорда Генри ни малейшей досады или ревности. Напротив, он был даже рад этому: теперь Дориан становится еще более любопытным объектом для изучения. Лорд Генри всегда преклонялся перед научными методами естествоиспытателей, но область их исследований находил скучной и незначительной. Свои собственные исследования он начал с вивисекции над самим собой, затем стал производить вивисекцию над другими. Жизнь человеческая — вот что казалось ему единственно достойным изучения. В сравнении с нею

все остальное ничего не стоило. И, разумеется, наблюдатель, изучающий кипение жизни в ее своеобразном горниле радостей и страданий, не может при этом защитить лицо стеклянной маской и уберечься от удушливых паров, дурманящих мозг и воображение чудовищными образами, жуткими кошмарами. В этом горниле возникают яды столь тонкие, что изучить их свойства можно лишь тогда, когда сам отравишься ими, и гнездятся болезни столь странные, что понять их природу можно, лишь переболев ими. А все-таки какая великая награда ждет отважного исследователя! Каким необычайным предстанет перед ним мир! Постигнуть удивительно жестокую логику страсти и расцвеченную эмоциями жизнь интеллекта, узнать, когда та и другая сходятся и когда расходятся, в чем они едины и когда наступает разлад — что за наслаждение! Не все ли равно, какой ценой оно покупается? За каждое новое неизведанное ощущение не жаль заплатить чем угодно.

Лорд Генри понимал (и при этой мысли его темные глаза весело заблестели), что именно его речи, музыка этих речей, произнесенных его певучим голосом, обратили душу Дориана к прелестной девушке и заставили его преклониться перед ней. Да, мальчик был в значительной мере *его* созданием и благодаря ему так рано пробудился к жизни. А это разве не достижение? Обыкновенные люди ждут, чтобы жизнь сама открыла им свои тайны, а немногим избранникам тайны жизни открываются раньше, чем поднимется завеса. Иногда этому способствует искусство (и главным образом литература), воздействуя непосредственно на ум и чувства. Но бывает, что роль искусства берет на себя в этом случае какой-нибудь человек сложной души, который и сам представляет собой творение искусства,— ибо Жизнь, подобно поэзии, или скульптуре, или живописи, также создает свои шедевры.

Да, Дориан рано созрел. Весна его еще не прошла, а он уже собирает урожай. В нем весь пыл и жизнерадостность юности, но при этом он уже начинает разбираться в самом себе. Наблюдать его — истинное удовольствие! Этот мальчик с прекрасным лицом и прекрасной душой вызывает к себе живой интерес. Не все ли равно, *чем* все кончится, *какая* судьба ему уготована? Он подобен тем славным героям пьес или

мистерий, чьи радости нам чужды, но чьи страдания будят в нас любовь к прекрасному. Их раны — красные розы.

Душа и тело, тело и душа — какая это загадка. В душе таятся животные инстинкты, а телу дано испытать минуты одухотворяющие. Чувственные порывы способны стать утонченными, а интеллект — отупеть. Кто может сказать, *когда* умолкает плоть и начинает говорить душа? Как поверхностны и произвольны авторитетные утверждения психологов! И при всем том — как трудно решить, которая из школ ближе к истине! Действительно ли душа человека — лишь тень, заключенная в греховную оболочку? Или, как полагал Джордано Бруно, тело заключено в духе? Расставание души с телом — такая же непостижимая загадка, как их слияние.

Лорд Генри задавал себе вопрос, сможет ли когда-нибудь психология благодаря нашим усилиям стать абсолютно точной наукой, раскрывающей малейшие побуждения, каждую сокровенную черту нашей внутренней жизни? Сейчас мы еще не понимаем самих себя и редко понимаем других. Опыт не имеет никакого морального значения; опытом люди называют свои ошибки. Моралисты, как правило, всегда видели в опыте средство предостережения и считали, что он влияет на формирование характера. Они славили опыт, ибо он учит нас, чему надо следовать и чего избегать. Но опыт не обладает движущей силой. В нем так же мало действенного, как и в человеческом сознании. По существу, он только свидетельствует, что наше грядущее обычно бывает подобно нашему прошлому и что грех, совершенный однажды с содроганием, мы повторяем в жизни много раз — но уже с удовольствием.

Лорду Генри было ясно, что только экспериментальным путем можно прийти к научному анализу страстей. А Дориан Грей — под рукой, он, несомненно, подходящий объект, и изучение его обещает дать богатейшие результаты. Его мгновенно вспыхнувшая безумная любовь к Сибиле Вэйн — очень интересное психологическое явление. Конечно, немалую роль тут сыграло любопытство — да, любопытство и жажда новых ощущений. Однако эта любовь — чувство не примитивное, а весьма сложное. То, что в ней порождено чисто чувственными инстинктами юности, са-

мому Дориану представляется чем-то возвышенным, далеким от чувственности,— и по этой причине оно еще опаснее. Именно те страсти, природу которых мы неверно понимаем, сильнее всего властвуют над нами. А слабее всего бывают чувства, происхождение которых нам понятно. И часто человек воображает, будто он производит опыт над другими, тогда как в действительности производит опыт над самим собой.

Так размышлял лорд Генри, когда раздался стук в дверь. Вошел камердинер и напомнил ему, что пора переодеваться к обеду. Лорд Генри встал и выглянул на улицу. Закатное солнце обливало пурпуром и золотом верхние окна в доме напротив, и стекла сверкали, как листы раскаленного металла. Небо над крышами было блекло-розовое. А лорд Генри думал о пламенной юности своего нового друга и пытался угадать, какая судьба ждет Дориана.

Вернувшись домой около половины первого ночи, он увидел на столе в прихожей телеграмму. Дориан Грей извещал его о своей помолвке с Сибилой Вэйн.

Глава V

— Мама, мама, я так счастлива! — шептала девушка, прижимаясь щекой к коленям женщины с усталым, поблекшим лицом, которая сидела спиной к свету, в единственном кресле убогой и грязноватой гостиной.— Я так счастлива,— повторила Сибила.— И ты тоже должна радоваться!

Миссис Вэйн судорожно обняла набеленными худыми руками голову дочери.

— Радоваться? — отозвалась она.— Я радуюсь, Сибила, только тогда, когда вижу тебя на сцене. Ты не должна думать ни о чем, кроме театра. Мистер Айзекс сделал нам много добра. И мы еще до сих пор не вернули ему его деньги...

Девушка подняла голову и сделала недовольную гримаску.

— Деньги? — воскликнула она.— Ах, мама, какие пустяки! Любовь важнее денег.

— Мистер Айзекс дал нам вперед пятьдесят фунтов, чтобы мы могли уплатить долги и как следует снарядить в дорогу Джеймса. Не забывай этого,

Сибила. Пятьдесят фунтов — большие деньги. Мистер Айзекс к нам очень внимателен...

— Но он не джентльмен, мама! И мне противна его манера разговаривать со мной,— сказала девушка, вставая и подходя к окну.

— Не знаю, что бы мы стали делать, если бы не он,— ворчливо возразила мать.

Сибила откинула голову и рассмеялась.

— Он нам больше не нужен, мама. Теперь нашей жизнью будет распоряжаться Прекрасный Принц.

Она вдруг замолчала. Кровь прилила к ее лицу, розовой тенью покрыла щеки. От учащенного дыхания раскрылись лепестки губ. Они трепетали. Знойный ветер страсти налетел и, казалось, даже шевельнул мягкие складки платья.

— Я люблю его,— сказала Сибила просто.

— Глупышка! Ох, глупышка! — как попугай твердила мать в ответ. И движения ее скрюченных пальцев, унизанных дешевыми перстнями, придавали этим словам что-то жутко-нелепое.

Девушка снова рассмеялась. Радость плененной птицы звенела в ее смехе. Той же радостью сияли глаза, и Сибила на мгновение зажмурила их, словно желая скрыть свою тайну. Когда же она их снова открыла, они были затуманены мечтой.

Узкогубая мудрость взывала к ней из обтрепанного кресла, проповедуя благоразумие и осторожность, приводя сентенции из книги трусости, выдающей себя за здравый смысл. Сибила не слушала. Добровольная пленница Любви, она в эти минуты была не одна. Ее принц, Прекрасный Принц, был с нею. Она призвала Память, и Память воссоздала его образ. Она выслала душу свою на поиски, и та привела его. Его поцелуй еще пылал на ее губах, веки еще согревало его дыхание.

Мудрость между тем переменила тактику и заговорила о необходимости проверить, навести справки... Этот молодой человек, должно быть, богат. Если так, надо подумать о браке... Но волны житейской хитрости разбивались об уши Сибилы, стрелы коварства летели мимо. Она видела только, как шевелятся узкие губы, и улыбалась.

Вдруг она почувствовала потребность заговорить. Насыщенное словами молчание тревожило ее.

— Мама, мама,— воскликнула она.— За что он так любит меня? Я знаю, за что я полюбила его: он прекрасен, как сама Любовь. Но что он нашел во мне? Ведь я его не стою... А все-таки,— не знаю отчего,— хотя я совсем его недостойна, я ничуть не стыжусь этого. Я горда, ох, как горда своей любовью! Мама, ты моего отца тоже любила так, как я люблю Прекрасного Принца?

Лицо старой женщины побледнело под толстым слоем дешевой пудры, сухие губы искривила судорожная гримаса боли. Сибила подбежала к матери, обняла ее и поцеловала.

— Прости, мамочка! Я знаю, тебе больно вспоминать об отце. Это потому, что ты горячо его любила. Ну, не будь же так печальна! Сегодня я счастлива, как ты была двадцать лет назад. Ах, не мешай мне стать счастливой на всю жизнь!

— Дитя мое, ты слишком молода, чтобы влюбляться. И притом — что тебе известно об этом молодом человеке? Ты даже имени его не знаешь. Все это в высшей степени неприлично. Право, в такое время, когда Джеймс уезжает от нас в Австралию и у меня столько забот, тебе следовало бы проявить больше чуткости... Впрочем, если окажется, что он богат...

— Ах, мама, мама, не мешай моему счастью!

Миссис Вэйн взглянула на дочь — и заключила ее в объятия. Это был один из тех театральных жестов, которые у актеров часто становятся как бы «второй натурой». В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел коренастый, несколько неуклюжий юноша с взлохмаченными темными волосами и большими руками и ногами. В нем не было и следа того тонкого изящества, которое отличало его сестру. Трудно было поверить, что они в таком близком родстве.

Миссис Вэйн устремила глаза на сына, и улыбка ее стала шире. Сын в эту минуту заменял ей публику, и она чувствовала, что они с дочерью представляют интересное зрелище.

— Ты могла бы оставить и для меня несколько поцелуев, Сибила,— сказал юноша с шутливым упреком.

— Да ты же не любишь целоваться, Джим,— отозвалась Сибила.— Ты — угрюмый старый медведь! — Она подскочила к брату и обняла его.

Джеймс Вэйн нежно заглянул ей в глаза.

— Пойдем погуляем напоследок, Сибила. Наверное, я никогда больше не вернусь в этот противный Лондон. И вовсе не жалею об этом.

— Сын мой, не говори таких ужасных вещей! — пробормотала миссис Вэйн со вздохом и, достав какой-то мишурный театральный наряд, принялась чинить его. Она была несколько разочарована тем, что Джеймс не принял участия в трогательной сцене,— ведь эта сцена тогда была бы еще эффектнее.

— А почему не говорить, раз это правда, мама?

— Ты очень огорчаешь меня, Джеймс. Я надеюсь, что ты вернешься из Австралии состоятельным человеком. В колониях не найдешь хорошего общества. Да, ничего похожего на приличное общество там и в помине нет... Так что, когда наживешь состояние, возвращайся на родину и устраивайся в Лондоне.

— «Хорошее общество», подумаешь! — буркнул Джеймс.— Очень оно мне нужно! Мне бы только заработать денег, чтобы ты и Сибила могли уйти из театра. Ненавижу я его!

— Ах, Джеймс, какой же ты ворчун! — со смехом сказала Сибила.— Так ты вправду хочешь погулять со мной? Чудесно! А я боялась, что ты уйдешь прощаться со своими товарищами, с Томом Харди, который подарил тебе эту безобразную трубку, или Недом Лэнгтоном, который насмехается над тобой, когда ты куришь. Очень мило, что ты решил провести последний день со мной. Куда же мы пойдем? Давай сходим в Парк!

— Нет, я слишком плохо одет,— возразил Джеймс, нахмурившись.— В Парке гуляет только шикарная публика.

— Глупости, Джим! — шепнула Сибила, поглаживая рукав его потрепанного пальто.

— Ну, ладно,— сказал Джеймс после минутного колебания.— Только ты одевайся поскорее.

Сибила выпорхнула из комнаты, и слышно было, как она поет, взбегая по лестнице. Потом ее ножки затопотали где-то наверху.

Джеймс несколько раз прошелся из угла в угол. Затем повернулся к неподвижной фигуре в кресле и спросил:

— Мама, у тебя все готово?

— Все готово, Джеймс,— ответила она, не поднимая глаз от шитья. Последние месяцы миссис Вэйн

бывало как-то не по себе, когда она оставалась наедине со своим суровым и грубоватым сыном. Ограниченная и скрытная женщина приходила в смятение, когда их глаза встречались. Часто задавала она себе вопрос, не подозревает ли сын что-нибудь.

Джеймс не говорил больше ни слова, и это молчание стало ей невтерпеж. Тогда она пустила в ход упреки и жалобы. Женщины, защищаясь, всегда переходят в наступление. А их наступление часто кончается внезапной и необъяснимой сдачей.

— Дай бог, чтобы тебе понравилась жизнь моряка, Джеймс,— начала миссис Вэйн.— Не забывай, что ты сам этого захотел. А ведь мог бы поступить в контору какого-нибудь адвоката. Адвокаты — весьма почтенное сословие, в провинции их часто приглашают в самые лучшие дома.

— Не терплю контор и чиновников,— отрезал Джеймс.— Что я сам сделал выбор — это верно. Свою жизнь я проживу так, как мне нравится. А тебе, мама, на прощанье скажу одно: береги Сибилу. Смотри, чтобы с ней не случилось беды! Ты должна охранять ее!

— Не понимаю, зачем ты это говоришь, Джеймс. Разумеется, я Сибилу оберегаю.

— Я слышал, что какой-то господин каждый вечер бывает в театре и ходит за кулисы к Сибиле. Это правда? Что ты на это скажешь?

— Ах, Джеймс, в этих вещах ты ничего не смыслишь. Мы, актеры, привыкли, чтобы нам оказывали самое любезное внимание. Меня тоже когда-то засыпали букетами. В те времена люди умели ценить наше искусство. Ну а что касается Сибилы... Я еще не знаю, прочно ли ее чувство, серьезно ли оно. Но этот молодой человек, без сомнения, настоящий джентльмен. Он всегда так учтив со мной. И по всему заметно, что богат,— он посылает Сибиле чудесные цветы.

— Но ты даже имени его не знаешь! — сказал юноша резко.

— Нет, не знаю,— с тем же безмятежным спокойствием ответила мать.— Он не открыл еще нам своего имени. Это очень романтично. Наверное, он из самого аристократического круга.

Джеймс Вэйн прикусил губу.

— Береги Сибилу, мама! — сказал он опять настойчиво.— Смотри за ней хорошенько!

— Сын мой, ты меня очень обижаешь. Разве я мало забочусь о Сибиле? Конечно, если этот джентльмен богат, почему ей не выйти за него? Я уверена, что он знатного рода. Это по всему видно. Сибила может сделать блестящую партию. И они будут прелестной парой,— он замечательно красив, его красота всем бросается в глаза.

Джеймс проворчал что-то себе под нос, барабаня пальцами по стеклу. Он обернулся к матери и хотел что-то еще сказать, но в эту минуту дверь отворилась и вбежала Сибила.

— Что это у вас обоих такой серьезный вид? — воскликнула она.— В чем дело?

— Ни в чем,— сказал Джеймс.— Не все же смеяться, иной раз надо и серьезным быть. Ну, прощай, мама. Я приду обедать к пяти. Все уложено, кроме рубашек, так что ты не беспокойся.

— До свидания, сын мой,— отозвалась миссис Вэйн и величественно, но с натянутым видом кивнула Джеймсу. Ее сильно раздосадовал тон, каким он говорил с ней, а выражение его глаз пугало ее.

— Поцелуй меня, мама,— сказала Сибила. Ее губы, нежные, как цветочные лепестки, коснулись увядшей щеки и согрели ее.

— О дитя мое, дитя мое! — воскликнула миссис Вэйн, поднимая глаза к потолку в поисках воображаемой галерки.

— Ну, пойдем, Сибила! — нетерпеливо позвал Джеймс. Он не выносил аффектации, к которой так склонна была его мать.

Брат и сестра вышли на улицу, где солнечный свет спорил с ветром, нагонявшим тучки, и пошли по унылой Юстон-Род. Прохожие удивленно посматривали на угрюмого и нескладного паренька в дешевом, плохо сшитом костюме, шедшего с такой изящной и грациозной девушкой. Он напоминал деревенщину-садовника с прелестной розой.

По временам Джим хмурился, перехватывая чей-нибудь любопытный взгляд. Он терпеть не мог, когда на него глазели,— чувство, знакомое гениям только на закате жизни, но никогда не оставляющее людей заурядных. Сибила же совершенно не замечала, что ею любуются. В ее смехе звенела радость любви. Она думала о Прекрасном Принце, но, чтобы ничто не мешало ей упиваться этими мыслями, не говорила

о нем, а болтала о корабле, на котором будет плавать Джеймс, о золоте, которое он непременно найдет в Австралии, о воображаемой красивой и богатой девушке, которую он спасет, освободив из рук разбойников в красных рубахах. Сибила и мысли не допускала, что Джеймс на всю жизнь останется простым матросом, или третьим помощником капитана, или кем-либо в таком роде. Нет, нет! Жизнь моряка ужасна! Сидеть, как птица в клетке, на каком-нибудь противном корабле, когда его то и дело атакуют с хриплым ревом горбатые волны, а злой ветер гнет мачты и рвет паруса на длинные свистящие ленты! Как только корабль прибудет в Мельбурн, Джеймсу следует вежливо сказать капитану «прости» и высадиться на берег, и сразу же отправиться на золотые прииски. Недели не пройдет, как он найдет большущий самородок чистого золота, какого еще никто никогда не находил, и перевезет его на побережье в фургоне под охраной шести конных полицейских. Скрывающиеся в зарослях бандиты трижды нападут на них, произойдет кровопролитная схватка, и бандиты будут отброшены... Или нет, не надо никаких золотых приисков, там ужас что творится, люди отравляют друг друга, в барах стрельба, ругань. Лучше Джеймсу стать мирным фермером, разводить овец. И в один прекрасный вечер, когда он верхом будет возвращаться домой, он увидит, как разбойник на черном коне увозит прекрасную знатную девушку; пустится за ним в погоню и спасет красавицу. Ну а потом она, конечно, влюбится в него, а он — в нее, и они поженятся, вернутся в Лондон и будут жить здесь, в большущем доме. Да, да, Джеймса ждут впереди чудесные приключения. Только он должен быть хорошим, не кипятиться и не транжирить денег.

— Ты слушайся меня, Джеймс. Хотя я старше тебя только на год, я гораздо лучше знаю жизнь... Да смотри же, пиши мне с каждой почтой! И молись перед сном каждый вечер, а я тоже буду молиться за тебя. И через несколько лет ты вернешься богатым и счастливым.

Джеймс слушал сестру угрюмо и молча. С тяжелым сердцем уезжал он из дому. Да и не только предстоящая разлука удручала его и заставляла сердито хмуриться. При всей своей неопытности юноша остро чувствовал, что Сибиле угрожает опасность. От этого

светского щеголя, который вздумал за ней ухаживать, добра не жди! Он был аристократ — и Джеймс ненавидел его, ненавидел безотчетно, в силу какого-то классового инстинкта, ему самому непонятного и потому еще более властного. Притом Джеймс, зная легкомыслие и пустое тщеславие матери, чуял в этом грозную опасность для Сибилы и ее счастья. В детстве мы любим родителей. Став взрослыми, судим их. И бывает, что мы их прощаем.

Мать! Джеймсу давно хотелось задать ей один вопрос — вопрос, который мучил его вот уже много месяцев. Фраза, случайно услышанная в театре, глумливое шушуканье, донесшееся до него раз вечером, когда он ждал мать у входа за кулисы, подняли в голове Джеймса целую бурю мучительных догадок. Воспоминание об этом и сейчас ожгло его, как удар хлыста по лицу. Он сдвинул брови так, что между ними прорезалась глубокая морщина, и с гримасой боли судорожно прикусил нижнюю губу.

— Да ты совсем меня не слушаешь, Джим! — воскликнула вдруг Сибила.— А я-то стараюсь, строю для тебя такие чудесные планы на будущее! Ну, скажи же что-нибудь!

— Что мне сказать?

— Хотя бы, что ты будешь пай-мальчиком и не забудешь нас,— сказала Сибила с улыбкой.

Джеймс пожал плечами.

— Скорее ты забудешь меня, чем я тебя, Сибила.

Сибила покраснела.

— Почему ты так думаешь, Джим?

— Да вот, говорят, у тебя появился новый знакомый. Кто он? Почему ты мне ничего о нем не рассказала? Это знакомство к добру не приведет.

— Перестань, Джим! Не смей дурно говорить о нем! Я его люблю.

— Господи, да тебе даже имя его неизвестно! — возразил Джеймс.— Кто он такой? Я, кажется, имею право это знать.

— Его зовут Прекрасный Принц. Разве тебе не нравится это имя? Ты его запомни, глупый мальчик. Если бы ты увидел моего Принца, ты понял бы, что лучше его нет никого на свете. Вот вернешься из Австралии, и тогда я вас познакомлю. Он тебе очень понравится, Джим. Он всем нравится, а я... я люблю его. Как жаль, что ты сегодня вечером не смо-

жешь быть в театре. Он обещал приехать. И я сегодня играю Джульетту. О, как я ее сыграю! Ты только представь себе, Джим,— играть Джульетту, когда сама влюблена и когда *он* сидит перед тобой. Играть для него! Я даже боюсь, что испугаю всех зрителей. Испугаю или приведу в восторг! Любовь возносит человека над самим собой... Этот бедный урод, мистер Айзекс, опять будет кричать в баре своим собутыльникам, что я гений. Он верит в меня, а сегодня будет на меня молиться. И это сделал мой Прекрасный Принц, моя чудесная любовь, бог красоты! Я так жалка по сравнению с ним... Ну, так что же? Пословица говорит: нищета вползает через дверь, а любовь влетает в окно. Наши пословицы следовало бы переделать. Их придумывали зимой, а теперь лето... Нет, для меня теперь весна, настоящий праздник цветов под голубым небом.

— Он — знатный человек,— сказал Джеймс мрачно.

— Он — принц! — пропела Сибила.— Чего тебе еще?

— Он хочет сделать тебя своей рабой.

— А я дрожу при мысли о свободе.

— Остерегайся его, Сибила!

— Кто его увидел, боготворит его, а кто узнал — верит ему.

— Сибила, да он тебя совсем с ума свел!

Сибила рассмеялась и взяла брата под руку.

— Джим, милый мой, ты рассуждаешь, как столетний старик. Когда-нибудь сам влюбишься, тогда поймешь, что это такое. Ну, не дуйся же! Ты бы радоваться должен, что, уезжая, оставляешь меня такой счастливой. Нам с тобой тяжело жилось, ужасно тяжело и трудно. А теперь все пойдет по-другому. Ты едешь, чтобы увидеть новый мир, а мне он открылся здесь, в Лондоне... Вот два свободных места, давай сядем и будем смотреть на нарядную публику.

Они уселись среди толпы отдыхающих, которые глазели на прохожих. На клумбах у дорожки тюльпаны пылали дрожащими языками пламени. В воздухе висела белая пыль, словно зыбкое облако ароматной пудры. Огромными пестрыми бабочками порхали и качались над головами зонтики ярких цветов.

Сибила настойчиво расспрашивала брата, желая, чтобы он поделился с нею своими планами и надеждами. Джеймс отвечал медленно и неохотно. Они

обменивались словами, как игроки обмениваются фишками. Сибилу угнетало то, что она не может заразить Джеймса своей радостью. Единственным откликом, который ей удалось вызвать, была легкая улыбка на его хмуром лице.

Вдруг перед ней промелькнули золотистые волосы, знакомые улыбающиеся губы: мимо в скрытом экипаже проехал с двумя дамами Дориан Грей.

Сибила вскочила.

— Он!

— Кто? — спросил Джим.

— Прекрасный Принц! — ответила она, провожая глазами коляску.

Тут и Джим вскочил и крепко схватил ее за руку.

— Где? Который? Да покажи же! Я должен его увидеть!

Но в эту минуту запряженный четверкой экипаж герцога Бервикского заслонил все впереди, а когда он проехал, коляска Дориана была уже далеко.

— Уехал! — огорченно прошептала Сибила.— Как жаль, что ты его не видел!

— Да, жаль. Потому что, если он тебя обидит, клянусь богом, я отыщу и убью его.

Сибила в ужасе посмотрела на брата. А он еще раз повторил свои слова. Они просвистели в воздухе, как кинжал, и люди стали оглядываться на Джеймса. Стоявшая рядом дама захихикала.

— Пойдем отсюда, Джим, пойдем! — шепнула Сибила. Она стала пробираться через толпу, и Джим, повеселевший после того, как облегчил душу, пошел за нею.

Когда они дошли до статуи Ахилла, девушка обернулась. Она с сожалением посмотрела на брата и покачала головой, а на губах ее трепетал смех.

— Ты дурачок, Джим, настоящий дурачок и злой мальчишка — вот и все. Ну, можно ли говорить такие ужасные вещи! Ты сам не понимаешь, что говоришь. Ты попросту ревнуешь и потому несправедлив к нему. Ах, как бы я хотела, чтобы и ты полюбил кого-нибудь! Любовь делает человека добрее, а ты сказал злые слова!

— Мне уже шестнадцать лет, — возразил Джим.— И я знаю, что говорю. Мать тебе не опора. Она не сумеет уберечь тебя. Экая досада, что я уезжаю!

Не подпиши я контракта, я послал бы к черту Австралию и остался бы с тобой.

— Полно, Джим! Ты точь-в-точь как герои тех дурацких мелодрам, в которых мама любила играть. Но я не хочу с тобой спорить. Ведь я только что видела его, а видеть его - это такое счастье! Не будем ссориться! Я уверена, что ты никогда не причинишь зла человеку, которого я люблю,— правда, Джим?

— Пока ты его любишь, пожалуй,— был угрюмый ответ.

— Я буду любить его вечно,— воскликнула Сибила.

— А он тебя?

— И он тоже.

— Ну, то-то. Пусть только попробует изменить!

Сибила невольно отшатнулась от брата. Но затем рассмеялась и положила ему руку на плечо. Ведь он в ее глазах был еще мальчик.

У Мраморной Арки они сели в омнибус, и он довез их до грязного, запущенного дома на Юстон-Род, где они жили. Был уже шестой час, а Сибиле полагалось перед спектаклем полежать час-другой. Джим настоял, чтобы она легла, объяснив, что он предпочитает проститься с нею в ее комнате, пока мать внизу. Мать непременно разыграла бы при прощании трагическую сцену, а он терпеть не может сцен.

И они простились в комнате Сибилы. В сердце юноши кипела ревность и бешеная ненависть к чужаку, который, как ему казалось, встал между ним и сестрой. Однако, когда Сибила обвила руками его шею и провела пальчиками по его волосам, Джим размяк и поцеловал ее с искренней нежностью. Когда он потом шел вниз по лестнице, глаза его были полны слез.

Внизу дожидалась мать. Она побранила его за опоздание. Джеймс ничего не ответил и принялся за скудный обед. Мухи жужжали над столом, ползали по грязной скатерти. Под грохот омнибусов и кебов Джеймс слушал монотонный голос, отравлявший ему последние оставшиеся минуты.

Скоро он отодвинул в сторону тарелку и подпер голову руками. Он твердил себе, что имеет право *знать*. Если правда то, что он подозревает,— мать давно должна была сказать ему об этом. Цепенея от страха, миссис Вэйн тайком наблюдала за ним. Слова механически слетали с ее губ, пальцы комкали грязный кружевной платочек. Когда часы пробили

шесть, Джим встал и направился к двери. Но по дороге остановился и оглянулся на мать. Взгляды их встретились, и в глазах ее он прочел горячую мольбу о пощаде. Это только подлило масла в огонь.

— Мама, я хочу задать тебе один вопрос,— начал он.

Мать молчала, ее глаза забегали по сторонам.

— Скажи мне правду, я имею право знать: ты была замужем за моим отцом?

У миссис Вэйн вырвался глубокий вздох. То был вздох облегчения. Страшная минута, которой она с такой тревогой ждала днем и ночью в течение многих месяцев, наконец наступила,— и вдруг ее страх исчез. Она даже была этим несколько разочарована. Грубая прямота вопроса требовала столь же прямого ответа. Решительная сцена без постепенной подготовки! Это было нескладно, напоминало плохую репетицию.

— Нет,— отвечала она, удивляясь про себя тому, что в жизни все так грубо и просто.

— Значит, он был подлец? — крикнул юноша, сжимая кулаки.

Мать покачала головой.

— Нет. Я знала, что он не свободен. Но мы крепко любили друг друга. Если бы он не умер, он бы нас обеспечил. Не осуждай его, сынок. Он был твой отец и джентльмен. Да, да, он был знатного рода.

У Джеймса вырвалось проклятие.

— Мне-то все равно,— воскликнул он.— Но ты смотри, чтобы с Сибилой не случилось того же! Ведь тот, кто в нее влюблен или притворяется влюбленным, тоже, наверное, «джентльмен знатного рода»?

На одно мгновение миссис Вэйн испытала унизительное чувство стыда. Голова ее поникла, она отерла глаза трясущимися руками.

— У Сибилы есть мать,— прошептала она.— А у меня ее не было.

Джеймс был тронут. Он подошел к матери и, наклонясь, поцеловал ее.

— Прости, мама, если я этими расспросами об отце сделал тебе больно,— сказал он.— Но я не мог удержаться. Ну, мне пора. Прощай! И помни: теперь тебе надо заботиться об одной только Сибиле. Можешь мне поверить, если этот человек обидит мою сестру, я узнаю, кто он, разыщу его и убью, как собаку. Клянусь!

Преувеличенная страстность угрозы и энергичные жесты, которыми сопровождалась эта мелодраматическая тирада, пришлись миссис Вэйн по душе, они словно окрашивали жизнь в более яркие краски. Сейчас она почувствовала себя в своей стихии и вздохнула свободнее. Впервые за долгое время она восхищалась сыном. Ей хотелось продлить эту волнующую сцену, но Джим круто оборвал разговор. Нужно было снести вниз чемоданы, разыскать запропастившийся куда-то теплый шарф. Слуга меблированных комнат, где они жили, суетился, то вбегая, то убегая. Потом пришлось торговаться с извозчиком... Момент был упущен, испорчен вульгарными мелочами. И миссис Вэйн с удвоенным чувством разочарования махала из окна грязным кружевным платочком вслед уезжавшему сыну. Какая прекрасная возможность упущена! Впрочем, она немного утешилась, объявив Сибиле, что теперь, когда на ее попечении осталась одна лишь дочь, в жизни ее образуется большая пустота. Эта фраза ей понравилась, и она решила запомнить ее. Об угрозе Джеймса она умолчала. Правда, высказана эта угроза очень эффектно и драматично, но лучше было о ней не поминать. Миссис Вэйн надеялась, что когда-нибудь они все дружно посмеются над нею.

Глава VI

— Ты, верно, уже слышал новость, Бэзил? — такими словами лорд Генри встретил в этот вечер Холлуорда, вошедшего в указанный ему лакеем отдельный кабинет ресторана «Бристоль», где был сервирован обед на троих.

— Нет, Гарри. А что за новость? — спросил художник, отдавая пальто и шляпу почтительно ожидавшему лакею.— Надеюсь, не политическая? Политикой я не интересуюсь. В палате общин едва ли найдется хоть один человек, на которого художнику стоило бы расходовать краски. Правда, многие из них очень нуждаются в побелке.

— Дориан Грей собирается жениться,— сказал лорд Генри, внимательно глядя на Холлуорда.

Холлуорд вздрогнул и нахмурился.

— Дориан! Женится! — воскликнул он.— Не может быть!

— Однако это сущая правда.

— На ком же?

— На какой-то актриске.

— Что-то мне не верится. Дориан не так безрассуден.

— Дориан настолько умен, мой милый Бэзил, что не может время от времени не делать глупостей.

— Но брак не из тех «глупостей», которые делают «время от времени», Гарри!

— Так думают в Англии, но не в Америке,— лениво возразил лорд Генри.— Впрочем, я не говорил, что Дориан женится. Я сказал только, что он *собирается* жениться. Это далеко не одно и то же. Я, например, явно помню, что женился, но совершенно не припоминаю, чтобы я *собирался* это сделать. И склонен думать, что такого намерения у меня никогда не было.

— Да ты подумай, Гарри, из какой семьи Дориан, как он богат, какое положение занимает в обществе! Такой неравный брак просто-напросто безумие!

— Если хочешь, чтобы он женился на этой девушке, скажи ему то, что ты сейчас сказал мне, Бэзил! Тогда он наверняка женится на ней. Самые нелепые поступки человек совершает всегда из благороднейших побуждений.

— Хоть бы это оказалась хорошая девушка! Очень печально, если Дориан навсегда будет связан с какой-нибудь дрянью и этот брак заставит его умственно и нравственно опуститься.

— Хорошая ли она девушка? Она — красавица, а это гораздо важнее,— бросил лорд Генри, потягивая из стакана вермут с померанцевой.— Дориан утверждает, что она красавица, а в этих вещах он редко ошибается. Портрет, который ты написал, научил его ценить красоту других людей. Да, да, и в этом отношении портрет весьма благотворно повлиял на него... Сегодня вечером мы с тобой увидим его избранницу, если только мальчик не забыл про наш уговор.

— Ты все это серьезно говоришь, Гарри?

— Совершенно серьезно, Бэзил. Не дай бог, чтобы мне пришлось говорить когда-нибудь еще серьезнее, чем сейчас.

— Но неужели ты одобряешь это, Гарри,— продолжал художник, шагая по комнате и кусая губы. — Не может быть! Это просто какое-то глупое увлечение.

— А я никогда ничего не одобряю и не порицаю,— это нелепейший подход к жизни. Мы посланы в сей мир не для того, чтобы проповедовать свои моральные предрассудки. Я не придаю никакого значения тому, что говорят пошляки, и никогда не вмешиваюсь в жизнь людей мне приятных. Если человек мне нравится, то все, в чем он себя проявляет, я нахожу прекрасным. Дориан Грей влюбился в красивую девушку, которая играет Джульетту, и хочет жениться на ней. Почему бы и нет? Женись он хотя бы на Мессалине — от этого он не станет менее интересен. Ты знаешь, я не сторонник брака. Главный вред брака в том, что он вытравливает из человека эгоизм. А люди неэгоистичные бесцветны, они утрачивают свою индивидуальность. Правда, есть люди, которых брачная жизнь делает сложнее. Сохраняя свое «я», они дополняют его множеством чужих «я». Такой человек вынужден жить более чем одной жизнью и становится личностью высокоорганизованной, а это, я полагаю, и есть цель нашего существования. Кроме того, всякое переживание ценно, и что бы ни говорили против брака,— это ведь, безусловно, какое-то новое переживание, новый опыт. Надеюсь, что Дориан женится на этой девушке, будет с полгода страстно обожать ее, а потом внезапно влюбится в другую. Тогда будет очень интересно понаблюдать его.

— Ты все это говоришь не всерьез, Гарри. Ведь, если жизнь Дориана будет разбита, ты больше всех будешь этим огорчен. Право, ты гораздо лучше, чем хочешь казаться.

Лорд Генри расхохотался.

— Все мы готовы верить в других по той простой причине, что боимся за себя. В основе оптимизма лежит чистейший страх. Мы приписываем нашим ближним те добродетели, из которых можем извлечь выгоду для себя, и воображаем, что делаем это из великодушия. Хвалим банкира, потому что хочется верить, что он увеличит нам кредит в своем банке, и находим хорошие черты даже у разбойника с большой дороги в надежде, что он пощадит наши карманы. Поверь, Бэзил, все, что я говорю, я говорю вполне серьезно. Больше всего на свете я презираю

оптимизм... Ты боишься, что жизнь Дориана будет разбита, а, по-моему, разбитой можно считать лишь ту жизнь, которая остановилась в своем развитии. Исправлять и переделывать человеческую натуру — значит только портить ее. Ну а что касается женитьбы Дориана... Конечно, это глупость. Но есть иные, более интересные формы близости между мужчиной и женщиной. И я неизменно поощряю их... А вот и сам Дориан! От него ты узнаешь больше, чем от меня.

— Гарри, Бэзил, дорогие мои, можете меня поздравить! — сказал Дориан, сбросив подбитый шелком плащ и пожимая руки друзьям. — Никогда еще я не был так счастлив. Разумеется, все это довольно неожиданно, как неожиданны все чудеса в жизни. Но, мне кажется, я всегда искал и ждал именно этого.

Он порозовел от волнения и радости и был в эту минуту удивительно красив.

— Желаю вам большого счастья на всю жизнь, Дориан,— сказал Холлуорд. — А почему же вы не сообщили мне о своей помолвке? Это непростительно. Ведь Гарри вы известили.

— А еще непростительнее то, что вы опоздали к обеду,— вмешался лорд Генри, с улыбкой положив руку на плечо Дориана. — Ну, давайте сядем за стол и посмотрим, каков новый здешний шеф-повар. И потом вы нам расскажете все по порядку.

— Да тут и рассказывать почти нечего,— отозвался Дориан, когда они уселись за небольшой круглый стол. — Вот как все вышло: вчера вечером, уйдя от вас, Гарри, я переоделся, пообедал в том итальянском ресторанчике на Руперт-стрит, куда вы меня водили, а в восемь часов отправился в театр. Сибила играла Розалинду. Декорации были, конечно, ужасные, Орландо просто смешон. Но Сибила! Ах, если бы вы ее видели! В костюме мальчика она просто загляденье. На ней была зеленая бархатная куртка с рукавами цвета корицы, коричневые короткие штаны, плотно обтягивавшие ноги, изящная зеленая шапочка с соколиным пером, прикрепленным блестящей пряжкой, и плащ с капюшоном на темно-красной подкладке. Никогда еще она не казалась мне такой прелестной! Своей хрупкой грацией она напоминала танагрскую статуэтку, которую я видел у вас в студии, Бэзил. Волосы обрамляли ее личико, как темные листья — бледную розу. А ее игра... ну, да вы сами сегодня увидите.

Она просто рождена для сцены. Я сидел в убогой ложе совершенно очарованный. Забыл, что я в Лондоне, что у нас теперь девятнадцатый век. Я был с моей возлюбленной далеко, в дремучем лесу, где не ступала нога человека... После спектакля я пошел за кулисы и говорил с нею. Мы сидели рядом, и вдруг в ее глазах я увидел выражение, какого никогда не замечал раньше. Губы мои нашли ее губы. Мы поцеловались... Не могу вам передать, что я чувствовал в этот миг. Казалось, вся моя жизнь сосредоточилась в этой чудесной минуте. Сибила вся трепетала, как белый нарцисс на стебле... И вдруг опустилась на колени и стала целовать мои руки. Знаю, мне не следовало бы рассказывать вам все это, но я не могу удержаться... Помолвка наша, разумеется,— строжайший секрет, Сибила даже матери ничего не сказала. Не знаю, что запоют мои опекуны. Лорд Рэдли, наверно, ужасно разгневается. Пусть сердится, мне все равно! Меньше чем через год я буду совершеннолетний и смогу делать что хочу. Ну, скажите, Бэзил, разве не прекрасно, что любить меня научила поэзия, что жену я нашел в драмах Шекспира? Губы, которые Шекспир учил говорить, прошептали мне на ухо свою тайну. Меня обнимали руки Розалинды, и я целовал Джульетту.

— Да, Дориан, мне кажется, вы правы,— с расстановкой отозвался Холлуорд.

— А сегодня вы с ней виделись? — спросил лорд Генри.

Дориан Грей покачал головой.

— Я оставил ее в Арденнских лесах — и встречу снова в одном из садов Вероны.

Лорд Генри в задумчивости отхлебнул глоток шампанского.

— А когда же именно вы заговорили с нею о браке, Дориан? И что она ответила? Или вы уже не помните?

— Дорогой мой, я не делал ей официального предложения, потому что для меня это был не деловой разговор. Я сказал, что люблю ее, а она ответила, что недостойна быть моей женой. Недостойна! Господи, да для меня весь мир — ничто в сравнении с ней!

— Женщины в высшей степени практичный народ,— пробормотал лорд Генри. — Они много практичнее нас. Мужчина в такие моменты частенько забывает поговорить о браке, а женщина всегда помнит об этом...

Холлуорд жестом остановил его.

— Перестань,.Гарри, ты обижаешь Дориана. Он не такой, как другие, он слишком благороден, чтобы сделать женщину несчастной.

Лорд Генри посмотрел через стол на Дориана.

— Дориан на меня никогда не сердится,— возразил он.— Я задал ему этот вопрос из самого лучшего побуждения, единственного, которое оправдывает какие бы то ни было вопросы: из простого любопытства. Хотел проверить свое наблюдение, что обычно не мужчина женщине, а она ему делает предложение. Только в буржуазных кругах бывает иначе. Но буржуазия ведь отстала от века.

Дориан Грей рассмеялся и покачал головой.

— Вы неисправимы, Гарри, но сердиться на вас невозможно. Когда увидите Сибилу Вэйн, вы поймете, что обидеть ее способен только негодяй, человек без сердца. Я не понимаю, как можно позорить ту, кого любишь. Я люблю Сибилу — и хотел бы поставить ее на золотой пьедестал, видеть весь мир у ног моей любимой. Что такое брак? Нерушимый обет. Вам это смешно? Не смейтесь, Гарри! Именно такой обет хочу я дать. Доверие Сибилы обязывает меня быть честным, ее вера в меня делает меня лучше! Когда Сибила со мной, я стыжусь всего того, чему вы, Гарри, научили меня, и становлюсь совсем другим. Да, при одном прикосновении ее руки я забываю вас и ваши увлекательные, но отравляющие и неверные теории.

— Какие именно? — спросил лорд Генри, принимаясь за салат.

— Ну, о жизни, о любви, о наслаждении. Вообще все ваши теории, Гарри.

— Единственное, что стоит возвести в теорию, это наслаждение,— медленно произнес лорд Генри своим мелодичным голосом.— Но, к сожалению, теорию наслаждения я не вправе приписывать себе. Автор ее не я, а Природа. Наслаждение — тот пробный камень, которым она испытывает человека, и знак ее благословения. Когда человек счастлив, он всегда хорош. Но не всегда хорошие люди бывают счастливы.

— А кого ты называешь хорошим? — воскликнул Бэзил Холлуорд.

— Да,— подхватил и Дориан, откинувшись на спинку стула и глядя на лорда Генри поверх пышного

букета пурпурных ирисов, стоявшего посреди стола.— Кто, по-вашему, хорош, Гарри?

— Быть хорошим — значит жить в согласии с самим собой,— пояснил лорд Генри, обхватив ножку бокала тонкими белыми пальцами.— А кто принужден жить в согласии с другими, тот бывает в разладе с самим собой. *Своя* жизнь — вот что самое главное. Филистеры или пуритане могут, если им угодно, навязывать другим свои нравственные правила, но я утверждаю, что вмешиваться в жизнь наших ближних — вовсе не наше дело. Притом у индивидуализма, несомненно, более высокие цели. Современная мораль требует от нас, чтобы мы разделяли общепринятые понятия своей эпохи. Я же полагаю, что культурному человеку покорно принимать мерило своего времени ни в коем случае не следует,— это грубейшая форма безнравственности.

— Но согласись, Гарри, жизнь только для себя покупается слишком дорогой ценой,— заметил художник.

— Да, в нынешние времена за все приходится платить слишком дорого. Пожалуй, трагедия бедняков — в том, что только самоотречение им по средствам. Красивые грехи, как и красивые вещи,— привилегия богатых.

— За жизнь для себя расплачиваешься не деньгами, а другим.

— Чем же еще, Бэзил?

— Ну, мне кажется, угрызениями совести, страданиями... сознанием своего морального падения.

Лорд Генри пожал плечами.

— Милый мой, средневековое искусство великолепно, но средневековые чувства и представления устарели. Конечно, для литературы они годятся,— но ведь для романа вообще годится только то, что в жизни уже вышло из употребления. Поверь, культурный человек никогда не раскаивается в том, что предавался наслаждениям, а человек некультурный не знает, что такое наслаждение.

— Я теперь знаю, что такое наслаждение,— воскликнул Дориан Грей.— Это — обожать кого-нибудь.

— Конечно, лучше обожать, чем быть предметом обожания,— отозвался лорд Генри, выбирая себе фрукты.— Терпеть чье-то обожание — это скучно и тягостно. Женщины относятся к нам, мужчинам, так

же, как человечество — к своим богам: они нам поклоняются — и надоедают, постоянно требуя чего-то.

— По-моему, они требуют лишь того, что первые дарят нам,— сказал Дориан тихо и серьезно. — Они пробуждают в нас Любовь и вправе ждать ее от нас.

— Вот это совершенно верно, Дориан! — воскликнул Холлуорд.

— Есть ли что абсолютно верное на свете? — возразил лорд Генри.

— Да, есть, Гарри,— сказал Дориан Грей. — Вы же не станете отрицать, что женщины отдают мужчинам самое драгоценное в жизни.

— Возможно,— согласился лорд Генри со вздохом. — Но они неизменно требуют его обратно — и все самой мелкой монетой. В том-то и горе! Как сказал один остроумный француз, женщины вдохновляют нас на великие дела, но вечно мешают нам их творить.

— Гарри, вы несносный циник. Право, не понимаю, за что я вас так люблю!

— Вы всегда будете меня любить, Дориан... Кофе хотите, друзья?.. Принесите нам кофе, коньяк и папиросы... Впрочем, папирос не нужно: у меня есть, Бэзил, я не дам тебе курить сигары, возьми папиросу! Папиросы — это совершеннейший вид высшего наслаждения, тонкого и острого, но оставляющего нас неудовлетворенными. Чего еще желать?.. Да, Дориан, вы всегда будете любить меня. В ваших глазах я — воплощение всех грехов, которые у вас не хватает смелости совершить.

— Вздор вы говорите, Гарри! — воскликнул молодой человек, зажигая папиросу от серебряного огнедышащего дракона, которого лакей поставил на стол. — Едемте-ка лучше в театр. Когда вы увидите Сибилу на сцене, жизнь представится вам совсем иной. Она откроет вам нечто такое, чего вы не знали до сих пор.

— Я все изведал и узнал,— возразил лорд Генри, и глаза его приняли усталое выражение. — Я всегда рад новым впечатлениям, боюсь, однако, что мне уже их ждать нечего. Впрочем, быть может, ваша чудодевушка и расшевелит меня. Я люблю сцену, на ней все гораздо правдивее, чем в жизни! Едем! Дориан, вы со мной. Мне очень жаль, Бэзил, что в моем кабриолете могут поместиться только двое. Вам придется ехать за нами в кебе.

Они встали из-за стола и, надев пальто, допили кофе стоя. Художник был молчалив и рассеян, им овладело уныние. Не по душе ему был этот брак, хотя он понимал, что с Дорианом могло случиться многое похуже.

Через несколько минут все трое сошли вниз. Как было решено, Холлуорд ехал один за экипажем лорда Генри. Глядя на мерцавшие впереди фонари, он испытывал новое чувство утраты. Он понимал, что никогда больше Дориан Грей не будет для него тем, чем был. Жизнь встала между ними...

Глаза Холлуорда затуманились, и ярко освещенные людные улицы расплывались перед ним мутными пятнами. К тому времени, когда кеб подкатил к театру, художнику уже казалось, что он сегодня постарел на много лет.

Глава VII

В этот вечер театр почему-то был полон, и толстый директор, встретивший Дориана и его друзей у входа, сиял и ухмылялся до ушей приторной, заискивающей улыбкой. Он проводил их в ложу весьма торжественно и подобострастно, жестикулируя пухлыми руками в перстнях и разглагольствуя во весь голос. Дориан наблюдал за ним с еще большим отвращением, чем всегда, испытывая чувства влюбленного, который пришел за Мирандой, а наткнулся на Калибана. Зато лорду Генри еврей, видимо, понравился. Так он, во всяком случае, объявил и непременно захотел пожать ему руку, уверив его, что гордится знакомством с человеком, который открыл подлинный талант и разорился из-за любви к поэту. Холлуорд рассматривал публику партера. Жара стояла удушающая, и большая люстра пылала, как гигантский георгин с огненными лепестками. На галерке молодые люди, сняв пиджаки и жилеты, развесили их на барьере. Они переговаривались через весь зал и угощали апельсинами безвкусно разодетых девиц, сидевших с ними рядом. В партере громко хохотали какие-то женщины. Их визгливые голоса резали слух. Из буфета доносилось щелканье пробок.

— И в таком месте вы нашли свое божество! — сказал лорд Генри.

— Да,— отозвался Дориан Грей. — Здесь я нашел ее, богиню среди простых смертных. Когда она играет, забываешь все на свете. Это неотесанное простонародье, люди с грубыми лицами и вульгарными манерами, совершенно преображаются, когда она на сцене. Они сидят, затаив дыхание, и смотрят на нее. Они плачут и смеются по ее воле. Она делает их чуткими, как скрипка, она их одухотворяет, и тогда я чувствую — это люди из той же плоти и крови, что и я.

— Из той же плоти и крови? Ну, надеюсь, что нет! — воскликнул лорд Генри, разглядывавший в бинокль публику на галерке.

— Не слушайте его, Дориан,— сказал художник. — Я понимаю, что вы хотите сказать, и верю в эту девушку. Если вы ее полюбили, значит, она хороша. И, конечно, девушка, которая *так* влияет на людей, обладает душой прекрасной и возвышенной. Облагораживать свое поколение — это немалая заслуга. Если ваша избранница способна вдохнуть душу в тех, кто до сих пор существовал без души, если она будит любовь к прекрасному в людях, чья жизнь грязна и безобразна, заставляет их отрешиться от эгоизма и проливать слезы сострадания к чужому горю,— она достойна вашей любви, и мир должен преклоняться перед ней. Хорошо, что вы женитесь на ней. Я раньше был другого мнения, но теперь вижу, что это хорошо. Сибилу Вэйн боги создали для вас. Без нее жизнь ваша была бы неполна.

— Спасибо, Бэзил,— сказал Дориан Грей, пожимая ему руку. — Я знал, что вы меня поймете. А Гарри просто в ужас меня приводит своим цинизмом... Ага, вот и оркестр! Он прескверный, но играет только каких-нибудь пять минут. Потом поднимется занавес, и вы увидите ту, которой я отдам всю жизнь, которой я уже отдал лучшее, что есть во мне.

Через четверть часа на сцену под гром рукоплесканий вышла Сибила Вэйн. Ею и в самом деле можно было залюбоваться, и даже лорд Генри сказал себе, что никогда еще не видывал девушки очаровательнее. В ее застенчивой грации и робком выражении глаз было что-то, напоминавшее молодую лань. Когда она увидела переполнявшую зал восторженную толпу, на щеках ее вспыхнул легкий румянец, как тень розы в серебряном зеркале. Она отступила на несколько шагов, и губы ее дрогнули. Бэзил Холлуорд вскочил

и стал аплодировать. Дориан сидел неподвижно, как во сне, и не сводил с нее глаз. А лорд Генри все смотрел в бинокль и бормотал: «Прелесть! Прелесть!»

Сцена представляла зал в доме Капулетти. Вошел Ромео в одежде монаха, с ним Меркуцио и еще несколько приятелей. Снова заиграл скверный оркестр, и начались танцы. В толпе неуклюжих и убого одетых актеров Сибила Вэйн казалась существом из другого, высшего мира. Когда она танцевала, стан ее покачивался, как тростник над водой. Шея изгибом напоминала белоснежную лилию, а руки были словно выточены из слоновой кости.

Однако она оставалась до странности безучастной. Лицо ее не выразило никакой радости, когда она увидела Ромео. И впервые слова Джульетты:

Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно
К своей руке: лишь благочестье в ней.
Есть руки у святых: их может верно,
Коснуться пилигрим рукой своей[1],—

как и последовавшие за ними реплики во время короткого диалога, прозвучали фальшиво. Голос был дивный, но интонации совершенно неверные. И этот неверно взятый тон делал стихи неживыми, выраженное в них чувство — неискренним.

Дориан Грей смотрел, слушал — и лицо его становилось все бледнее. Он был поражен, встревожен. Ни лорд Генри, ни Холлуорд не решались заговорить с ним. Сибила Вэйн казалась им совершенно бездарной, и они были крайне разочарованы.

Понимая, однако, что подлинный пробный камень для всякой актрисы, играющей Джульетту,— это сцена на балконе во втором акте, они выжидали. Если Сибиле и эта сцена не удастся, значит, у нее нет даже искры таланта.

Она была обворожительно хороша, когда появилась на балконе в лунном свете,— этого нельзя было отрицать. Но игра ее была нестерпимо театральна — и чем дальше, тем хуже. Жесты были искусственны до нелепости, произносила она все с преувеличенным пафосом. Великолепный монолог:

Мое лицо под маской ночи скрыто,
Но все оно пылает от стыда
За то, что ты подслушал нынче ночью,—

---

[1] Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.

она произнесла с неуклюжей старательностью ученицы, обученной каким-нибудь второразрядным учителем декламации. А когда, наклонясь через перила балкона, дошла до следующих дивных строк:

Нет, не клянись. Хоть радость ты моя,
Но сговор наш ночной мне не на радость.
Он слишком скор, внезапен, необдуман,
Как молния, что исчезает раньше,
Чем скажем мы: «Вот молния!» О милый,
Спокойной ночи! Пусть росток любви
В дыханье теплом лета расцветет
Цветком прекрасным в миг, когда мы снова
Увидимся...—

она проговорила их так механически, словно смысл их не дошел до нее. Этого нельзя было объяснить нервным волнением. Напротив, Сибила, казалось, вполне владела собой. Это была попросту очень плохая игра. Видимо, актриса была совершенно бездарна.

Даже некультурная публика задних рядов и галерки утратила всякий интерес к тому, что происходило на сцене. Все зашумели, заговорили громко, послышались даже свистки. Еврей-антрепренер, стоявший за скамьями балкона, топал ногами и яростно бранился. И только девушка на сцене оставалась ко всему безучастна.

Когда окончилось второе действие, в зале поднялась буря шиканья. Лорд Генри встал и надел пальто.

— Она очень красива, Дориан,— сказал он.— Но играть не умеет. Пойдемте!

— Нет, я досижу до конца,— возразил Дориан резко и с горечью.— Мне очень совестно, что вы из-за меня потеряли вечер, Гарри. Прошу прощения у вас обоих.

— Дорогой мой, мисс Вэйн, наверное, сегодня нездорова,— перебил его Холлуорд.— Мы придем как-нибудь в другой раз.

— Хотел бы я думать, что она больна,— возразил Дориан.— Но вижу, что она просто холодна и бездушна. Она совершенно изменилась. Вчера еще она была великой артисткой. А сегодня только самая заурядная средняя актриса.

— Не надо так говорить о любимой женщине, Дориан. Любовь выше искусства.

— И любовь и искусство — только формы подражания,— сказал лорд Генри.— Ну, пойдемте, Бэзил. И вам, Дориан, тоже не советую здесь оставаться.

Смотреть плохую игру вредно для души... Наконец, вряд ли вы захотите, чтобы ваша жена оставалась актрисой,—так не все ли вам равно, что она играет Джульетту, как деревянная кукла? Она очень мила. И если в жизни она понимает так же мало, как в искусстве, то более близкое знакомство с ней доставит вам много удовольствия. Только два сорта людей по-настоящему интересны — те, кто знает о жизни все решительно, и те, кто ничего о ней не знает... Ради бога, дорогой мой мальчик, не принимайте этого так трагично! Секрет сохранения молодости в том, чтобы избегать волнений, от которых дурнеешь. Поедемте-ка со мной и Бэзилом в клуб! Мы будем курить и пить за Сибилу Вэйн. Она красавица. Чего вам еще?

— Уходите, Гарри,—крикнул Дориан.—Я хочу побыть один. Бэзил, и вы уходите. Неужели вы не видите, что у меня сердце разрывается на части?

К глазам его подступили горячие слезы, губы дрожали. Отойдя в глубь ложи, он прислонился к стене и закрыл лицо руками.

— Пойдем, Бэзил,—промолвил лорд Генри с неожиданной для него теплотой. И оба вышли из ложи.

Через несколько минут снова вспыхнули огни рампы, занавес поднялся, и началось третье действие. Дориан Грей вернулся на свое место. Он был бледен, и на лице его застыло выражение высокомерного равнодушия. Спектакль продолжался; казалось, ему не будет конца. Зал наполовину опустел, люди уходили, стуча тяжелыми башмаками и пересмеиваясь. Провал был полный.

Последнее действие шло почти при пустом зале. Наконец занавес опустился под хихиканье и громкий ропот.

Как только окончился спектакль, Дориан Грей помчался за кулисы. Сибила стояла одна в своей уборной. Лицо ее светилось торжеством, глаза ярко блестели, от нее словно исходило сияние. Полуоткрытые губы улыбались какой-то одной ей ведомой тайне.

Когда вошел Дориан Грей, она посмотрела на него с невыразимой радостью и воскликнула:

— Как скверно я сегодня играла, Дориан!

— Ужасно! — подтвердил он, глядя на нее в полном недоумении. — Отвратительно! Вы не больны? Вы и представить себе не можете, как это было ужасно и как я страдал!

Девушка все улыбалась.

— Дориан.— Она произнесла его имя певуче и протяжко, упиваясь им, словно оно было слаще меда для алых лепестков ее губ.— Дориан, как же вы не поняли? Но сейчас вы уже понимаете, да?

— Да то, *почему* я так плохо играла сегодня... И всегда буду плохо играть. Никогда больше не смогу играть так, как прежде.

Дориан пожал плечами.

— Вы, должно быть, заболели. Вам не следовало играть, если вы нездоровы. Ведь вы становитесь посмешищем. Моим друзьям было нестерпимо скучно. Да и мне тоже.

Сибила, казалось, не слушала его. Она была в каком-то экстазе счастья, совершенно преобразившем ее.

— Дориан, Дориан!— воскликнула она.— Пока я вас не знала, я жила только на сцене. Мне казалось, что это — моя настоящая жизнь. Один вечер я была Розалиндой, другой — Порцией. Радость Беатриче была моей радостью, и страдания Корделии — моими страданиями. Я верила всему. Те жалкие актеры, что играли со мной, казались мне божественными, размалеванные кулисы составляли мой мир. Я жила среди призраков и считала их живыми людьми. Но ты пришел, любимый, и освободил мою душу из плена. Ты показал мне настоящую жизнь. И сегодня у меня словно открылись глаза. Я увидела всю мишурность, фальшь и нелепость той бутафории, которая меня окружает на сцене. Сегодня вечером я впервые увидела, что Ромео стар, безобразен, накрашен, что лунный свет в саду не настоящий и сад этот — не сад, а убогие декорации. И слова, которые я произносила, были не настоящие, не *мои* слова, не то, что *мне* хотелось бы говорить. Благодаря тебе. я узнала то, что выше искусства. Я узнала любовь настоящую. Искусство — только ее бледное отражение. О радость моя, мой Прекрасный Принц! Мне надоело жить среди теней. Ты мне дороже, чем все искусство мира. Что мне эти марионетки, которые окружают меня на сцене? Когда я сегодня пришла в театр, я просто удивилась: все сразу стало мне таким чужим! Думала, что буду играть чудесно,— а оказалось, что ничего у меня

не выходит. И вдруг я душой поняла, *отчего* это так, и мне стало радостно. Я слышала в зале шиканье — и только улыбалась. Что они знают о такой любви, как наша? Возьми меня отсюда, Дориан, уведи меня туда, где мы будем совсем одни. Я теперь ненавижу театр. Я

меня, как огонь. Ах, Дориан, Дориан, ты меня понимаешь? Ведь мне сейчас играть влюбленную — это профанация! Благодаря тебе я теперь это знаю.

Дориан порывистым движением отвернулся от Сибилы и сел на диван.

— Вы убили мою любовь,— пробормотал он, не поднимая глаз.

Сибила удивленно посмотрела на него и рассмеялась. Дориан молчал. Она подошла к нему и легко, одними пальчиками коснулась его волос. Потом стала на колени и прильнула губами к его рукам. Но Дориан вздрогнул, отдернул руки. Потом, вскочив с дивана, шагнул к двери.

— Да, да,— крикнул он,— вы убили мою любовь! Раньше вы волновали мое воображение,— теперь вы не вызываете во мне никакого интереса. Вы мне просто безразличны. Я вас полюбил, потому что вы играли чудесно, потому что я видел в вас талант, потому что вы воплощали в жизнь мечты великих поэтов, облекали в живую, реальную форму бесплотные образы искусства. А теперь все это кончено. Вы оказались только пустой и ограниченной женщиной. Боже, как я был глуп!.. Каким безумием была моя любовь к вам! Сейчас вы для меня ничто. Я не хочу вас больше видеть. Я никогда и не вспомню о вас, имени вашего не произнесу. Если бы вы могли понять, *чем* вы были для меня... О господи, да я... Нет, об этом и думать больно. Лучше бы я вас никогда не знал! Вы испортили самое прекрасное в моей жизни. Как мало вы знаете о любви, если можете говорить, что она убила в вас артистку! Да ведь без вашего искусства вы — ничто! Я хотел сделать вас великой, знаменитой. Весь мир преклонился бы перед вами, и вы носили бы мое имя. А что вы теперь? Третьеразрядная актриса с хорошеньким личиком.

Сибила побледнела и вся дрожала. Сжав руки, она прошептала с трудом, словно слова застревали у нее в горле:

— Вы ведь не серьезно это говорите, Дориан? Вы словно играете.

— Играю? Нет, играть я предоставляю вам,— вы это делаете так хорошо! — едко возразил Дориан.

Девушка поднялась с колен и подошла к нему. С трогательным выражением душевной муки она положила ему руку на плечо и заглянула в глаза. Но Дориан оттолкнул ее и крикнул:

— Не трогайте меня!

У Сибилы вырвался глухой стон, и она упала к его ногам. Как затоптанный цветок, лежала она на полу.

— Дориан, Дориан, не покидайте меня! — шептала она с мольбой.— Я так жалею, что плохо играла сегодня. Это оттого, что я все время думала о вас. Я попробую опять... Да, да, я постараюсь... Любовь пришла так неожиданно. Я, наверное, этого и не знала бы, если бы вы меня не поцеловали... если бы мы не поцеловались тогда... Поцелуй меня еще раз, любимый! Не уходи, я этого не переживу... Не бросай меня! Мой брат... Нет, нет, он этого не думал, он просто пошутил... Ох, неужели ты не можешь меня простить? Я буду работать изо всех сил и постараюсь играть лучше. Не будь ко мне жесток, я люблю тебя больше всего на свете. Ведь я только раз не угодила тебе. Ты, конечно, прав, Дориан,— мне не следовало забывать, что я артистка... Это было глупо, но я ничего не могла с собой поделать. Не покидай меня, Дориан, не уходи!..

Захлебываясь бурными слезами, она корчилась на полу, как раненое животное, а Дориан Грей смотрел на нее сверху с усмешкой высокомерного презрения на красиво очерченных губах. В страданиях тех, кого разлюбили, всегда есть что-то смешное. И слова и слезы Сибилы казались Дориану нелепо-мелодраматичными и только раздражали его.

— Ну, я ухожу,— сказал он наконец спокойно и громко.— Не хотел бы я быть бессердечным, но я не могу больше встречаться с вами. Вы меня разочаровали.

Сибила тихо плакала и ничего не отвечала, но подползла ближе. Она, как слепая, протянула вперед руки, словно ища его. Но он отвернулся и вышел. Через несколько минут он был уже на улице.

Он шел, едва сознавая, куда идет. Смутно вспоминалось ему потом, что он бродил по каким-то плохо освещенным улицам мимо домов зловещего вида,

под высокими арками, где царила черная тьма. Женщины с резким смехом хриплыми голосами зазывали его. Шатаясь, брели пьяные, похожие на больших обезьян, бормоча что-то про себя или грубо ругаясь. Дориан видел жалких, заморенных детей, прикорнувших на порогах домов, слышал пронзительные крики и брань, доносившиеся из мрачных дворов.

На рассвете он очутился вблизи Ковент-Гардена. Мрак рассеялся, и пронизанное бледными огнями небо сияло над землей, как чудесная жемчужина. По словно отполированным мостовым еще безлюдных улиц медленно громыхали большие телеги, полные лилий, покачивавшихся на длинных стеблях. Воздух был напоен ароматом этих цветов. Прелесть их утоляла душевную муку Дориана. Шагая за возами, он забрел на рынок. Стоял и смотрел, как их разгружали. Один возчик в белом балахоне предложил ему вишен. Дориан поблагодарил и стал рассеянно есть их, удивляясь про себя тому, что возчик отказался взять деньги. Вишни были сорваны в полночь, и от них словно исходила прохлада лунного света. Мимо Дориана прошли длинной вереницей мальчики с корзинами полосатых тюльпанов и желтых и красных роз, прокладывая себе дорогу между высокими грудами нежно-зеленых овощей. Под портиком, между серыми, залитыми солнцем колоннами, слонялись простоволосые и обтрепанные девицы. Другая группа их теснилась у дверей кафе на Пьяцце. Неповоротливые ломовые лошади спотыкались на неровной мостовой, дребезжали сбруей и колокольцами. Некоторые возчики спали на мешках. Розовоногие голуби с радужными шейками суетились вокруг, клюя рассыпанное зерно.

Наконец Дориан кликнул извозчика и поехал домой. Минуту-другую он постоял в дверях, озирая тихую площадь, окна домов, наглухо закрытые ставнями или пестрыми шторами. Небо теперь было чистейшего опалового цвета, и на его фоне крыши блестели, как серебро. Из трубы соседнего дома поднималась тонкая струя дыма и лиловатой лентой вилась в перламутровом воздухе.

В большом золоченом венецианском фонаре, некогда похищенном, вероятно, с гондолы какого-нибудь дожа и висевшем теперь на потолке в просторном холле с дубовыми панелями, еще горели три

газовых рожка, мерцая узкими голубыми лепестками в обрамлении белого огня. Дориан погасил их и, бросив на столик шляпу и плащ, прошел через библиотеку к двери в спальню, большую осьмиугольную комнату в первом этаже, которую он, в своем новом увлечении роскошью, недавно отделал заново и увешал стены редкими гобеленами времен Ренессанса, найденными на чердаке его дома в Селби. В ту минуту, когда он уже взялся за ручку двери, взгляд его упал на портрет, написанный Бэзилом Холлуордом. Дориан вздрогнул и отступил, словно чем-то пораженный, затем вошел в спальню. Однако, вынув бутоньерку из петлицы, он остановился в нерешительности — что-то его, видимо, смущало. В конце концов он вернулся в библиотеку и, подойдя к своему портрету, долго всматривался в него. При слабом свете, затененном желтыми шелковыми шторами, лицо на портрете показалось ему изменившимся. Выражение было какое-то другое,— в складке рта чувствовалась жестокость. Как странно!

Отвернувшись от портрета, Дориан подошел к окну и раздвинул шторы. Яркий утренний свет залил комнату и разогнал причудливые тени, прятавшиеся по сумрачным углам. Однако в лице портрета по-прежнему заметна была какая-то странная перемена, она даже стала явственнее. В скользивших по полотну ярких лучах солнца складка жестокости у рта видна была так отчетливо, словно Дориан смотрелся в зеркало после какого-то совершенного им преступления.

Он вздрогнул и, торопливо взяв со стола овальное ручное зеркало в украшенной купидонами рамке слоновой кости (один из многочисленных подарков лорда Генри), погляделся в него. Нет, его алые губы не безобразила такая складка, как на портрете. Что же это могло значить?

Дориан протер глаза и, подойдя к портрету вплотную, снова стал внимательно рассматривать его. Краска, несомненно, была нетронута, никаких следов подрисовки. А между тем выражение лица явно изменилось. Нет, это ему не почудилось — страшная перемена бросалась в глаза. Сев в кресло, Дориан усиленно размышлял. И вдруг в его памяти всплыли слова, сказанные им в мастерской Бэзила Холлуорда в тот день, когда портрет был окончен. Да, он их

отлично помнил. Он тогда высказал безумное желание, чтобы портрет старел вместо него, а он оставался вечно молодым, чтобы его красота не .поблекла, а печать страстей и пороков ложилась на лицо портрета. Да, он хотел, чтобы следы страданий и тяжких дум бороздили лишь его изображение на полотне, а сам он сохранил весь нежный цвет и прелесть своей, тогда еще впервые осознанной, юности. Неужели его желание исполнилось? Нет, таких чудес не бывает! Страшно даже и думать об этом. А между тем — вот перед ним его портрет со складкой жестокости у губ.

Жестокость? Разве он поступил жестоко? Виноват во всем не он, виновата Сибила. Он воображал ее великой артисткой и за это полюбил. А она его разочаровала. Она оказалась ничтожеством, недостойным его любви. Однако сейчас он с безграничной жалостью вспомнил ту минуту, когда она лежала у его ног и плакала, как ребенок, вспомнил, с каким черствым равнодушием смотрел тогда на нее. Зачем он так создан, зачем ему дана такая душа?..

Однако разве и он не страдал? За те ужасные три часа, пока шел спектакль, он пережил столетия терзаний, вечность мук. Его жизнь, уж во всяком случае, равноценна ее жизни. Пусть он ранил Сибилу навек — но и она на время омрачила его жизнь. Притом женщины переносят горе легче, чем мужчины, так уж они созданы! Они живут одними чувствами, только ими и заняты. Они и любовников заводят лишь для того, чтобы было кому устраивать сцены. Так говорит лорд Генри, а лорд Генри знает женщин.

К чему же тревожить себя мыслями о Сибиле Вэйн? Ведь она больше для него не существует.

Ну а портрет? Как тут быть? Портрет хранит тайну его жизни и может всем ее поведать. Портрет научил его любить собственную красоту,— неужели тот же портрет заставит его возненавидеть собственную душу? Как ему и смотреть теперь на это полотно?

Нет, нет, все это только обман чувств, вызванный душевным смятением. Он пережил ужасную ночь — вот ему и мерещится что-то. В мозгу его появилось то багровое пятнышко, которое делает человека безумным. Портрет ничуть не изменился, и воображать это — просто сумасшествие.

Но человек на портрете смотрел на него с жестокой усмешкой, портившей прекрасное лицо. Золотистые

волосы сияли в лучах утреннего солнца, голубые глаза встречались с глазами живого Дориана. Чувство беспредельной жалости проснулось в сердце Дориана — жалости не к себе, а к своему портрету. Человек на полотне уже изменился и будет меняться все больше! Потускнеет золото кудрей и сменится сединой. Увянут белые и алые розы юного лица. Каждый грех, совершенный им, Дорианом, будет ложиться пятном на портрет, портя его красоту...

Нет, нет, он не станет больше грешить! Будет ли портрет меняться или нет,— все равно этот портрет станет как бы его совестью. Надо отныне бороться с искушениями. И больше не встречаться с лордом Генри — или, по крайней мере, не слушать его опасных, как тонкий яд, речей, которые когда-то в саду Бэзила Холлуорда впервые пробудили в нем, Дориане, жажду невозможного.

И Дориан решил вернуться к Сибиле Вэйн, загладить свою вину. Он женится на Сибиле и постарается снова полюбить ее. Да, это его долг. Она, наверное, сильно страдала, больше, чем он. Бедняжка! Он поступил с ней, как бессердечный эгоист. Любовь вернется, они будут счастливы. Жизнь его с Сибилой будет чиста и прекрасна.

Он встал с кресла и, с содроганием взглянув последний раз на портрет, заслонил его высоким экраном.

— Какой ужас! — пробормотал он про себя и, подойдя к окну, распахнул его.

Он вышел в сад, на лужайку, и жадно вдохнул всей грудью свежий утренний воздух. Казалось, ясное утро рассеяло все темные страсти, и Дориан думал теперь только о Сибиле. В сердце своем он слышал слабый отзвук прежней любви. Он без конца твердил имя возлюбленной. И птицы, заливавшиеся в росистом саду, как будто рассказывали о ней цветам.

Глава VIII

Когда Дориан проснулся, было далеко за полдень. Его слуга уже несколько раз на цыпочках входил в спальню — посмотреть, не зашевелился ли молодой хозяин, и удивлялся тому, что он сегодня спит так долго. Наконец из спальни раздался звонок,

и Виктор, бесшумно ступая, вошел туда с чашкой чаю и целой пачкой писем на подносе старого севрского фарфора. Он раздвинул зеленые шелковые портьеры на блестящей синей подкладке, закрывавшие три высоких окна.

— Вы сегодня хорошо выспались, мосье,— сказал он с улыбкой.

— А который час, Виктор?— сонно спросил Дориан.

— Четверть второго, мосье.

— Ого, как поздно!— Дориан сел в постели и, попивая чай, стал разбирать письма. Одно было от лорда Генри, его принес посыльный сегодня утром. После минутного колебания Дориан отложил его в сторону и бегло просмотрел остальные письма. Это были, как всегда, приглашения на обеды, билеты на закрытые вернисажи, программы благотворительных концертов и так далее — обычная корреспонденция, которой засыпают светского молодого человека в разгаре сезона. Был здесь и счет на довольно крупную сумму — за туалетный прибор чеканного серебра в стиле Людовика Пятнадцатого (счет этот Дориан не решился послать своим опекунам, людям старого закала, крайне отсталым, которые не понимали, что в наш век только бесполезные вещи и необходимы человеку), было и несколько писем от ростовщиков с Джермин-стрит, в весьма учтивых выражениях предлагавших ссудить какую угодно сумму по первому требованию и за самые умеренные проценты.

Минут через десять Дориан встал и, накинув элегантный кашемировый халат, расшитый шелком, прошел в облицованную ониксом ванную комнату. После долгого сна холодная вода очень освежила его. Он, казалось, уже забыл обо всем, пережитом вчера. Только раз-другой мелькнуло воспоминание, что он был участником какой-то необычайной драмы, но вспоминалось это смутно, как сон.

Одевшись, он прошел в библиотеку и сел за круглый столик у раскрытого окна, где для него был приготовлен легкий завтрак на французский манер. День стоял чудесный. Теплый воздух был насыщен пряными ароматами. В комнату влетела пчела и, жужжа, кружила над стоявшей перед Дорианом синей китайской вазой с желтыми розами. И Дориан чувствовал себя совершенно счастливым.

Но вдруг взгляд его остановился на экране, которым он накануне заслонил портрет,— и он вздрогнул.

— Мосье холодно? — спросил лакей, подававший ему в эту минуту омлет. — Не закрыть ли окно?

Дориан покачал головой.

— Нет, мне не холодно.

Так неужели же все это было на самом деле? И портрет действительно изменился? Или это игра расстроенного воображения, и ему просто показалось, что злобное выражение сменило радостную улыбку на лице портрета? Ведь не могут же меняться краски на полотне! Какой вздор! Надо будет как-нибудь рассказать Бэзилу — это его изрядно позабавит!

Однако как живо помнится все! Сначала в полумраке, потом в ярком свете утра он увидел ее, эту черту жестокости, искривившую рот. И сейчас он чуть не со страхом ждал той минуты, когда лакей уйдет из комнаты. Он знал, что, оставшись один, не выдержит, непременно примется снова рассматривать портрет. И боялся узнать правду.

Когда лакей, подав кофе и папиросы, шагнул к двери, Дориану страстно захотелось остановить его. И не успела еще дверь захлопнуться, как он вернул Виктора. Лакей стоял, ожидая приказаний. Дориан с минуту смотрел на него молча.

— Кто бы ни пришел, меня нет дома, Виктор,— сказал он наконец со вздохом. Лакей поклонился и вышел.

Тогда Дориан встал из-за стола, закурил папиросу и растянулся на кушетке против экрана, скрывавшего портрет. Экран был старинный, из позолоченной испанской кожи с тисненым, пестро раскрашенным узором в стиле Людовика Четырнадцатого. Дориан пристально всматривался в него, спрашивая себя, доводилось ли этому экрану когда-нибудь прежде скрывать тайну человеческой жизни.

Что же — отодвинуть его? А не лучше ли оставить на месте? Зачем узнавать? Будет ужасно, если все окажется правдой. А если нет,— так незачем и беспокоиться.

Ну а если по роковой случайности чей-либо посторонний глаз заглянет за этот экран и увидит страшную перемену? Как быть, если Бэзил Холлуорд придет и захочет взглянуть на свою работу? А Бэзил непременно захочет... Нет, портрет во что бы то ни стало

надо рассмотреть еще раз — и немедленно. Нет ничего тягостнее мучительной неизвестности.

Дориан встал и запер на ключ обе двери. Он хотел, по крайней мере, быть один, когда увидит свой позор! Он отодвинул в сторону экран и стоял теперь лицом к лицу с самим собой.

Да, сомнений быть не могло: портрет изменился.

Позднее Дориан часто,— и всякий раз с немалым удивлением — вспоминал, что в первые минуты он смотрел на портрет с почти объективным интересом. Казалось невероятным, что такая перемена может произойти,— а между тем она была налицо. Неужели же есть какое-то непостижимое сродство между его душой и химическими атомами, образующими на полотне формы и краски? Возможно ли, что эти атомы отражают на полотне все движения души, делают ее сны явью? Или тут кроется иная, еще более страшная причина?

Задрожав при этой мысли, Дориан отошел и снова лег на кушетку. Отсюда он с ужасом, не отрываясь, смотрел на портрет.

Утешало его только сознание, что кое-чему портрет уже научил его. Он помог ему понять, как несправедлив, как жесток он был к Сибиле Вэйн. Исправить это еще не поздно. Сибила станет его женой. Его эгоистичная и, быть может, надуманная любовь под ее влиянием преобразится в чувство более благородное, и портрет, написанный Бэзилом, всегда будет указывать ему путь в жизни, руководить им, как одними руководит добродетель, другими — совесть и всеми людьми — страх перед богом. В жизни существуют наркотики против угрызений совести, средства, усыпляющие нравственное чутье. Но здесь перед его глазами — видимый символ разложения, наглядные последствия греха. И всегда будет перед ним это доказательство, что человек способен погубить собственную душу.

Пробило три часа, четыре. Прошло еще полчаса, а Дориан не двигался с места. Он пытался собрать воедино алые нити жизни, соткать из них какой-то узор, отыскать свой путь в багровом лабиринте страстей, где он блуждал. Он не знал, что думать, что делать. Наконец он подошел к столу и стал писать пылкое письмо любимой девушке, в котором молил о прощении и называл себя безумцем. Страницу за

страницей исписывал он словами страстного раскаяния и еще более страстной муки. В самобичевании есть своего рода сладострастие. И когда мы сами себя виним, мы чувствуем, что никто другой не вправе более винить нас. Отпущение грехов дает нам не священник, а сама исповедь. Написав это письмо Сибиле, Дориан уже чувствовал себя прощенным.

Неожиданно постучали в дверь, и он услышал голос лорда Генри.

— Дориан, мне необходимо вас увидеть. Впустите меня сейчас же! Что это вы вздумали запираться?

Дориан сначала не отвечал и не трогался с места. Но стук повторился, еще громче и настойчивее. Он решил, что, пожалуй, лучше впустить лорда Генри. Надо объяснить ему, что он, Дориан, отныне начнет новую жизнь. Он не остановится и перед ссорой с Гарри или даже перед окончательным разрывом, если это окажется неизбежным.

Он вскочил, поспешно закрыл портрет экраном и только после этого отпер дверь.

— Ужасно все это неприятно, Дориан,— сказал лорд Генри, как только вошел.— Но вы старайтесь поменьше думать о том, что случилось.

— Вы хотите сказать — о Сибиле Вэйн? — спросил Дориан.

— Да, конечно.— Лорд Генри сел и стал медленно снимать желтые перчатки.— Вообще говоря, это ужасно, но вы не виноваты. Скажите... вы после спектакля ходили к ней за кулисы?

— Да.

— Я так и думал. И вы поссорились?

— Я был жесток, Гарри, бесчеловечно жесток! Но сейчас все уже в порядке. Я не жалею о том, что произошло,— это помогло мне лучше узнать самого себя.

— Я очень, очень рад, Дориан, что вы так отнеслись к этому. Я боялся, что вы терзаетесь угрызениями совести и в отчаянии рвете на себе свои золотые кудри.

— Через все это я уже прошел,— отозвался Дориан, с улыбкой тряхнув головой.— И сейчас я совершенно счастлив. Во-первых, я понял, что такое совесть. Это вовсе не то, что вы говорили, Гарри. Она — самое божественное в нас. И вы не смейтесь больше над этим — по крайней мере, при мне. Я хо-

чу быть человеком с чистой совестью. Я не могу допустить, чтобы душа моя стала уродливой.

— Какая прекрасная эстетическая основа нравственности, Дориан! Поздравляю вас. А с чего же вы намерены начать?

— С женитьбы на Сибиле Вэйн.

— На Сибиле Вэйн! — воскликнул лорд Генри, вставая и в величайшем удивлении и замешательстве глядя на Дориана. — Дорогой мой, но она...

— Ах, Гарри, знаю, что вы хотите сказать: какую-нибудь гадость о браке. Не надо! Никогда больше не говорите мне таких вещей. Два дня тому назад я просил Сибилу быть моей женой. И я своего слова не нарушу. Она будет моей женой.

— Вашей женой? Дориан! Да разве вы не получили моего письма? Я его написал сегодня утром, и мой слуга отнес его вам.

— Письмо? Ах да... Я его еще не читал, Гарри. Боялся найти в нем что-нибудь такое, что мне будет не по душе. Вы своими эпиграммами кромсаете жизнь на куски.

— Так вы ничего еще не знаете?

— О чем?

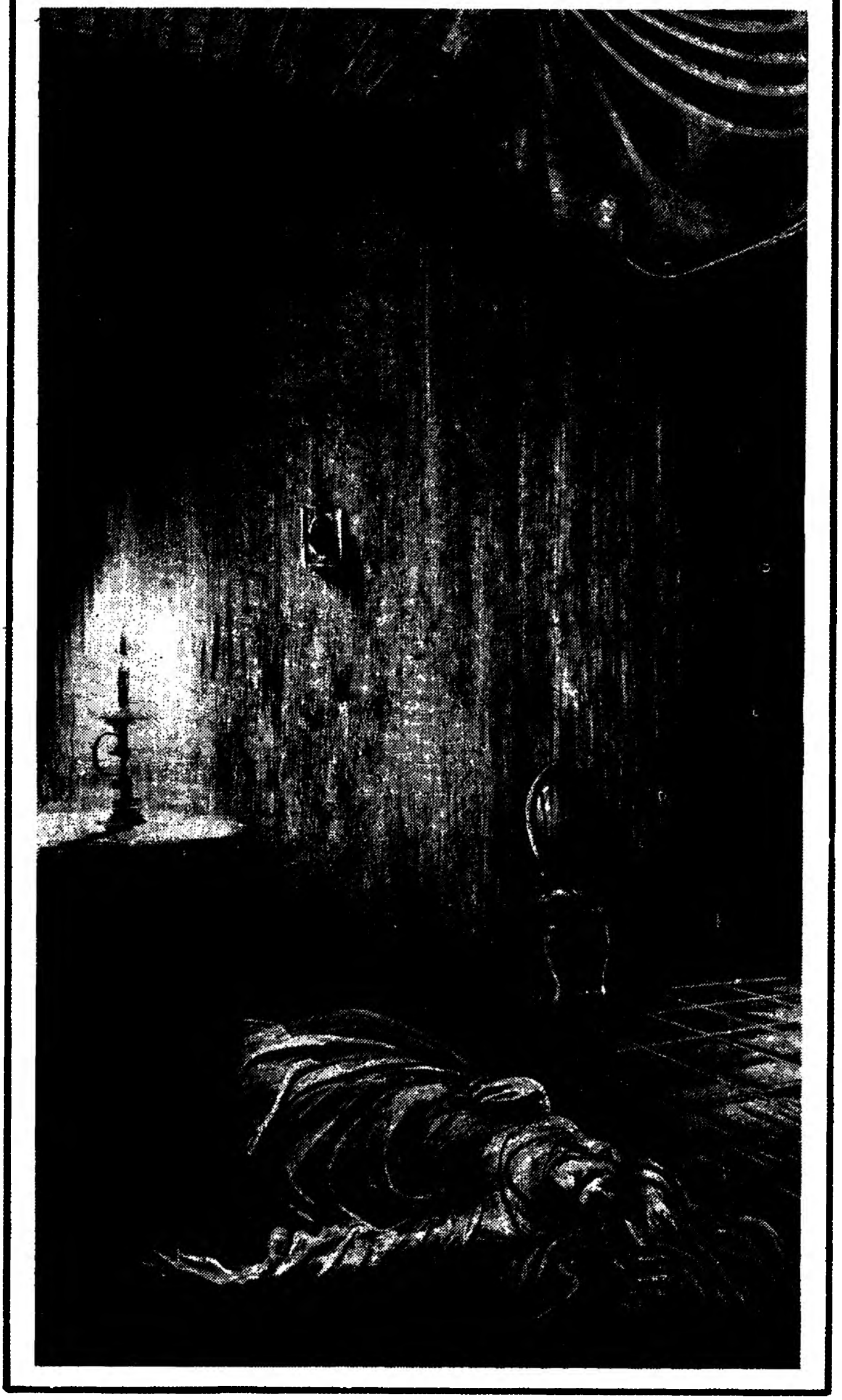
Лорд Генри прошелся по комнате, затем, сев рядом с Дорианом, крепко сжал его руки в своих.

— Дориан, в письме я... не пугайтесь... я вам сообщал, что Сибила Вэйн... умерла.

Горестный крик вырвался у Дориана. Он вскочил и высвободил руки из рук лорда Генри.

— Умерла! Сибила умерла! Неправда! Это ужасная ложь! Как вы смеете лгать мне!

— Это правда, Дориан,— сказал лорд Генри серьезно. — Об этом сообщают сегодня все газеты. Я вам писал, чтобы вы до моего прихода никого не принимали. Наверное, будет следствие, и надо постараться, чтобы вы не были замешаны в этой истории. В Париже подобные истории создают человеку известность, но в Лондоне у людей еще так много предрассудков. Здесь никак не следует начинать свою карьеру со скандала. Скандалы приберегают на старость, когда бывает нужно подогреть интерес к себе. Надеюсь, в театре не знали, кто вы такой? Если нет, тогда все в порядке. Видел кто-нибудь, как вы входили в уборную Сибилы? Это очень важно.



Дориан некоторое время не отвечал — он обомлел от ужаса. Наконец пробормотал, запинаясь, сдавленным голосом:

— Вы сказали — следствие? Что это значит? Разве Сибила... Ох, Гарри, я этого не вынесу!.. Отвечайте скорее! Скажите мне все!

— Не приходится сомневаться, Дориан, что это не просто несчастный случай, но надо, чтобы публика так думала. А рассказывают вот что: когда девушка в тот вечер уходила с матерью из театра — кажется, около половины первого, она вдруг сказала, что забыла что-то наверху. Ее некоторое время ждали, но она не возвращалась. В конце концов ее нашли мертвой на полу в уборной. Она по ошибке проглотила какое-то ядовитое снадобье, которое употребляют в театре для гримировки. Не помню, что именно, но в него входит не то синильная кислота, не то свинцовые белила. Вернее всего, синильная кислота, так как смерть наступила мгновенно.

— Боже, боже, какой ужас! — простонал Дориан.

— Да... Это поистине трагедия, но нельзя, чтобы вы оказались в нее замешанным... Я читал в «Стандарде», что Сибиле Вэйн было семнадцать лет. А на вид ей можно было дать еще меньше. Она казалась совсем девочкой, притом играла еще так неумело. Дориан, не принимайте этого близко к сердцу! Непременно поезжайте со мной обедать, а потом мы с вами заглянем в оперу. Сегодня поет Патти, и весь свет будет в театре. Мы зайдем в ложу моей сестры. Сегодня с нею приедут несколько эффектных женщин.

— Значит, я убил Сибилу Вэйн,— сказал Дориан Грей словно про себя.— Все равно что перерезал ей ножом горло. И, несмотря на это, розы все так же прекрасны, птицы все так же весело поют в моем саду. А сегодня вечером я обедаю с вами и поеду в оперу, потом куда-нибудь ужинать... Как необычайна и трагична жизнь! Прочти я все это в книге, Гарри, я, верно, заплакал бы. А сейчас, когда это случилось на самом деле, и случилось со мной, я так потрясен, что и слез нет. Вот лежит написанное мною страстное любовное письмо, первое в жизни любовное письмо. Не странно ли, что это первое письмо я писал мертвой? Хотел бы я знать, чувствуют они что-нибудь, эти безмолвные, бледные люди, которых мы называем мертвецами? Сибила!.. Знает ли она все, может ли меня слышать,

чувствовать что-нибудь? Ах, Гарри, как я ее любил когда-то! Мне кажется сейчас, что это было много лет назад. Тогда она была для меня всем на свете. Потом наступил этот страшный вечер,— неужели он был только вчера? — когда она играла так скверно, что у меня сердце чуть не разорвалось. Она мне потом все объяснила. Это было так трогательно... но меня ничуть не тронуло, и я назвал ее глупой. Потом случилось кое-что... не могу вам рассказать что, но это было страшно. И я решил вернуться к Сибиле. Я понял, что поступил дурно... А теперь она умерла... Боже, боже! Гарри, что мне делать? Вы не знаете, в какой я опасности! И теперь некому удержать меня от падения. *Она* могла бы сделать это. Она не имела права убивать себя. Это эгоистично!

— Милый Дориан,— отозвался лорд Генри, доставая папиросу из портсигара.— Женщина может сделать мужчину праведником только одним способом: надоесть ему так, что он утратит всякий интерес к жизни. Если бы вы женились на этой девушке, вы были бы несчастны. Разумеется, вы обращались бы с ней хорошо,— это всегда легко, если человек тебе безразличен. Но она скоро поняла бы, что вы ее больше не любите. А когда женщина почувствует, что ее муж равнодушен к ней, она начинает одеваться слишком кричаще и безвкусно или у нее появляются очень нарядные шляпки, за которые платит чужой муж. Не говоря уже об унизительности такого неравного брака, который я постарался бы не допустить,— я вас уверяю, что при всех обстоятельствах ваш брак с этой девушкой был бы крайне неудачен.

— Пожалуй, вы правы,— пробормотал Дориан. Он был мертвенно-бледен и беспокойно шагал из угла в угол.— Но я считал, что обязан жениться. И не моя вина, если эта страшная драма помешала мне выполнить долг. Вы как-то сказали, что над благими решениями тяготеет злой рок: они всегда принимаются слишком поздно. Так случилось и со мной.

— Благие намерения — попросту бесплодные попытки идти против природы. Порождены они бывают всегда чистейшим самомнением, и ничего ровно из этих попыток не выходит. Они только дают нам иногда блаженные, но пустые ощущения, которые тешат людей слабых. Вот и все. Благие намерения — это

чеки, которые люди выписывают на банк, где у них нет текущего счета.

— Гарри,— воскликнул Дориан Грей, подходя и садясь рядом с лордом Генри.— Почему я страдаю не так сильно, как хотел бы? Неужели у меня нет сердца? Как вы думаете?

— Назвать вас человеком без сердца никак нельзя после всех безумств, которые вы натворили за последние две недели,— ответил лорд Генри, ласково и меланхолически улыбаясь.

Дориан нахмурил брови.

— Мне не нравится такое объяснение, Гарри. Но я рад, что вы меня не считаете бесчувственным. Я не такой, знаю, что не такой! И все же — то, что случилось, не подействовало на меня так, как должно было бы подействовать. Оно для меня — как бы необычайная развязка какой-то удивительной пьесы. В нем — жуткая красота греческой трагедии, трагедии, в которой я сыграл видную роль, но которая не ранила моей души.

— Это любопытное обстоятельство,— сказал лорд Генри. Ему доставляло острое наслаждение играть на бессознательном эгоизме юноши.— Да, очень любопытное. И, думаю, объяснить это можно вот так: частенько подлинные трагедии в жизни принимают такую неэстетическую форму, что оскорбляют нас своим грубым неистовством, крайней нелогичностью и бессмысленностью, полным отсутствием изящества. Они нам претят, как все вульгарное. Мы чуем в них одну лишь грубую животную силу и восстаем против нее. Но случается, что мы в жизни наталкиваемся на драму, в которой есть элементы художественной красоты. Если красота эта — подлинная, то драматизм события нас захватывает. И мы неожиданно замечаем, что мы уже более не действующие лица, а только зрители этой трагедии. Или, вернее, то и другое вместе. Мы наблюдаем самих себя, и самая необычайность такого зрелища нас увлекает. Что, в сущности, произошло? Девушка покончила с собой из-за любви к вам. Жалею, что в моей жизни не было ничего подобного. Я тогда поверил бы в любовь и вечно преклонялся бы перед нею. Но все, кто любил меня,— таких было не очень много, но они были,— упорно жили и здравствовали еще много лет после того, как я разлюбил их, а они — меня. Эти женщины

растолстели, стали скучны и несносны. Когда мы встречаемся, они сразу же ударяются в воспоминания. Ах, эта ужасающая женская память, что за наказание! И какую косность, какой душевный застой она обличает! Человек должен вбирать в себя краски жизни, но никогда не помнить деталей. Детали всегда банальны.

— Придется посеять маки в моем саду,— со вздохом промолвил Дориан.

— В этом нет необходимости,— возразил его собеседник.— У жизни маки для нас всегда наготове. Правда, порой мы долго не можем забыть. Я когда-то в течение целого сезона носил в петлице только фиалки — это было нечто вроде траура по любви, которая не хотела умирать. Но в конце концов она умерла. Не помню, что ее убило. Вероятно, обещание любимой женщины пожертвовать для меня всем на свете. Это всегда страшная минута: она внушает человеку страх перед вечностью. Так вот, можете себе представить,— на прошлой неделе на обеде у леди Хэмпшайр моей соседкой за столом оказалась эта самая дама, и она во что бы то ни стало хотела начать все сначала, раскопать прошлое и расчистить дорогу будущему. Я похоронил этот роман в могиле под асфоделями, а она снова вытащила его на свет божий и уверяла меня, что я разбил ей жизнь. Должен констатировать, что за обедом она уписывала все с чудовищным аппетитом, так что я за нее ничуть не тревожусь. Но какова бестактность! Какое отсутствие вкуса! Ведь вся прелесть прошлого в том, что оно — прошлое. А женщины никогда не замечают, что занавес опустился. Им непременно подавай шестой акт! Они желают продолжать спектакль, когда всякий интерес к нему уже пропал. Если бы дать им волю, каждая комедия имела бы трагическую развязку, а каждая трагедия перешла бы в фарс. Женщины в жизни — прекрасные актрисы, но у них нет никакого артистического чутья. Вы оказались счастливее меня, Дориан. Клянусь вам, ни одна из женщин, с которыми я был близок, не сделала бы из-за меня того, что сделала из-за вас Сибила Вэйн. Обыкновенные женщины всегда утешаются. Одни — тем, что носят сентиментальные цвета. Не доверяйте женщине, которая, не считаясь со своим

возрастом, носит платья цвета mauve[1] или в тридцать пять лет питает пристрастие к розовым лентам: это, несомненно, женщина с прошлым. Другие неожиданно открывают всякие достоинства в своих законных мужьях — и это служит им великим утешением. Они выставляют напоказ свое супружеское счастье, как будто оно — самый соблазнительный адюльтер. Некоторые ищут утешения в религии. Таинства религии имеют для них всю прелесть флирта — так мне когда-то сказала одна женщина, и я этому охотно верю. Кроме того, ничто так не льстит женскому тщеславию, как репутация грешницы. Совесть делает всех нас эгоистами... Да, да, счету нет утешениям, которые находят себе женщины в наше время. А я не упомянул еще о самом главном...

— О чем, Гарри? — спросил Дориан рассеянно.

— Ну, как же! Самое верное утешение — отбить поклонника у другой, когда теряешь своего. В высшем свете это всегда реабилитирует женщину. Подумайте, Дориан, как непохожа была Сибила Вэйн на тех женщин, каких мы встречаем в жизни! В ее смерти есть что-то удивительно прекрасное. Я рад, что живу в эпоху, когда бывают такие чудеса. Они вселяют в нас веру в существование настоящей любви, страсти, романтических чувств, над которыми мы привыкли только подсмеиваться.

— Я был страшно жесток с ней. Это вы забываете.

— Пожалуй, жестокость, откровенная жестокость женщинам милее всего: в них удивительно сильны первобытные инстинкты. Мы им дали свободу, а они все равно остались рабынями, ищущими себе господина. Они любят покоряться... Я уверен, что вы были великолепны. Никогда не видел вас в сильном гневе, но представляю себе, как вы были интересны! И, наконец, позавчера вы мне сказали одну вещь... тогда я подумал, что это просто ваша фантазия, а сейчас вижу, что вы были абсолютно правы, и этим все объясняется.

— Что я сказал, Гарри?

— Что в Сибиле Вэйн вы видите всех романтических героинь. Один вечер она — Дездемона, другой — Офелия, и, умирая Джульеттой, воскресает в образе Имоджены.

---

[1] розовато-лиловый (*фр.*).

— Теперь она уже не воскреснет,— прошептал Дориан, закрывая лицо руками.

— Нет, не воскреснет. Она сыграла свою последнюю роль. Но пусть ее одинокая смерть в жалкой театральной уборной представляется вам как бы необычайным и мрачным отрывком из какой-нибудь трагедии семнадцатого века или сценой из Уэбстера, Форда или Сирила Тернера. Эта девушка, в сущности, не жила — и, значит, не умерла. Для вас, во всяком случае, она была только грезой, видением, промелькнувшим в пьесах Шекспира и сделавшим их еще прекраснее, она была свирелью, придававшей музыке Шекспира еще больше очарования и жизнерадостности. При первом же столкновении с действительной жизнью она была ранена и ушла из мира. Оплакивайте же Офелию, если хотите. Посыпайте голову пеплом, горюя о задушенной Корделии. Кляните небеса за то, что погибла дочь Брабанцио. Но не лейте напрасно слез о Сибиле Вэйн. Она была еще менее реальна, чем они все.

Наступило молчание. Вечерний сумрак окутал комнату. Бесшумно вползли из сада среброногие тени. Медленно выцветали все краски.

Немного погодя Дориан Грей поднял глаза.

— Вы мне помогли понять себя, Гарри,— сказал он тихо, со вздохом, в котором чувствовалось облегчение.— Мне и самому так казалось, но меня это как-то пугало, и я не все умел себе объяснить. Как хорошо вы меня знаете! Но не будем больше говорить о случившемся. Это было удивительное переживание — вот и все. Не знаю, суждено ли мне в жизни испытать еще что-нибудь столь же необыкновенное.

— У вас все впереди, Дориан. При такой красоте для вас нет ничего невозможного.

— А если я стану изможденным, старым, сморщенным? Что тогда?

— Ну, тогда,— лорд Генри встал, собираясь уходить.— Тогда, мой милый, вам придется бороться за каждую победу, а сейчас они сами плывут к вам в руки. Нет, нет, вы должны беречь свою красоту. Она нам нужна. В наш век люди слишком много читают, это мешает им быть мудрыми, и слишком много думают, а это мешает им быть красивыми. Ну, однако, вам пора одеваться и ехать в клуб. Мы и так уже опаздываем.

— Лучше я приеду прямо в оперу, Гарри. Я так устал, что мне не хочется есть. Какой номер ложи вашей сестры?

— Кажется, двадцать семь. Она в бельэтаже, и на дверях вы прочтете фамилию сестры. Но очень жаль, Дориан, что вы не хотите со мной пообедать.

— Право, я не в силах,— сказал Дориан устало.— Я вам очень, очень признателен, Гарри, за все, что вы сказали. Знаю, что у меня нет друга вернее. Никто не понимает меня так, как вы.

— И это еще только начало нашей дружбы,— подхватил лорд Генри, пожимая ему руку.— До свиданья. Надеюсь увидеть вас не позднее половины десятого. Помните — поет Патти.

Когда лорд Генри вышел и закрыл за собой дверь, Дориан позвонил, и через несколько минут появился Виктор. Он принес лампы и опустил шторы. Дориан с нетерпением дожидался его ухода. Ему казалось, что слуга сегодня бесконечно долго копается.

Как только Виктор ушел, Дориан Грей подбежал к экрану и отодвинул его. Никаких новых перемен в портрете не произошло. Видно, весть о смерти Сибилы Вэйн дошла до него раньше, чем узнал о ней он, Дориан. Этот портрет узнавал о событиях его жизни, как только они происходили. И злобная жестокость исказила красивый рот в тот самый миг, когда девушка выпила яд. Или, может быть, на портрете отражаются не деяния живого Дориана Грея, а только то, что происходит в его душе? Размышляя об этом, Дориан Грей спрашивал себя: а что, если в один прекрасный день портрет изменится у него на глазах? Он и желал этого, и содрогался при одной мысли об этом.

Бедная Сибила! Как все это романтично! Она часто изображала смерть на сцене, и вот Смерть пришла и унесла ее. Как сыграла Сибила эту последнюю страшную сцену? Проклинала его, умирая? Нет, она умерла от любви к нему, и отныне Любовь будет всегда для него святыней. Сибила, отдав жизнь, все этим искупила. Он не станет больше вспоминать, сколько он из-за нее выстрадал в тот ужасный вечер в театре. Она останется в его памяти как дивный трагический образ, посланный на великую арену жизни, чтобы явить миру высшую сущность Любви. Дивный трагический образ? При воспоминании о детском личике Сибилы, о ее пленительной живости и застенчивой грации

Дориан почувствовал на глазах слезы. Он торопливо смахнул их и снова посмотрел на портрет.

Он говорил себе, что настало время сделать выбор. Или выбор уже сделан? Да, сама жизнь решила за него — жизнь и его безграничный интерес к ней. Вечная молодость, неутолимая страсть, наслаждения утонченные и запретные, безумие счастья и еще более исступленное безумие греха — все будет ему дано, все он должен изведать! А портрет пусть несет бремя его позора — вот и все.

На миг он ощутил боль в сердце при мысли, что прекрасное лицо на портрете будет обезображено. Как-то раз он, дурашливо подражая Нарциссу, поцеловал — вернее, сделал вид, что целует эти нарисованные губы, которые сейчас так зло усмехались ему. Каждое утро он подолгу простаивал перед портретом, любуясь им. Иногда он чувствовал, что почти влюблен в него. И неужели же теперь каждая слабость, которой он, Дориан, поддастся, будет отражаться на этом портрете? Неужели он станет чудовищно безобразным и его придется прятать под замок, вдали от солнца, которое так часто золотило его чудесные кудри? Как жаль! Как жаль!

Одну минуту Дориану Грею хотелось помолиться о том, чтобы исчезла эта сверхъестественная связь между ним и портретом. Перемена в портрете возникла потому, что он когда-то пожелал этого,— так, быть может, после новой молитвы портрет перестанет меняться?

Но... Разве человек, хоть немного узнавший жизнь, откажется от возможности остаться вечно молодым, как бы ни была эфемерна эта возможность и какими бы роковыми последствиями она ни грозила? Притом — разве это действительно в его власти? Разве и в самом деле его мольба вызвала такую перемену? Не объясняется ли эта перемена какими-то неведомыми законами науки? Если мысль способна влиять на живой организм, так, быть может, она оказывает действие и на мертвые, неодушевленные предметы? Более того, даже без участия нашей мысли или сознательной воли не может ли то, что вне нас, звучать в унисон с нашими настроениями и чувствами, и атом — стремиться к атому под влиянием какого-то таинственного тяготения или удивительного сродства?.. Впрочем, не все ли равно, какова причина? Никогда больше он не станет призывать на помощь какие-то страшные, неведомые силы. Если портрету

суждено меняться, пусть меняется. Зачем так глубоко в это вдумываться?

Ведь наблюдать этот процесс будет истинным наслаждением! Портрет даст ему возможность изучать самые сокровенные свои помыслы. Портрет станет для него волшебным зеркалом. В этом зеркале он когда-то впервые по-настоящему увидел свое лицо, а теперь увидит свою душу. И когда для его двойника на полотне наступит зима, он, живой Дориан Грей, будет все еще оставаться на волнующе-прекрасной грани весны и лета. Когда с лица на портрете сойдут краски и оно станет мертвенной меловой маской с оловянными глазами, лицо живого Дориана будет по-прежнему сохранять весь блеск юности. Да, цвет его красоты не увянет, пульс жизни никогда не ослабнет. Подобно греческим богам, он будет вечно сильным, быстроногим и жизнерадостным. Не все ли равно, что станется с его портретом? Самому-то ему ничто не угрожает, а только это и важно.

Дориан Грей, улыбаясь, поставил экран на прежнее место перед портретом и пошел в спальню, где его ждал камердинер. Через час он был уже в опере, и лорд Генри сидел позади, облокотясь на его кресло.

Глава IX

На другое утро, когда Дориан сидел за завтраком, пришел Бэзил Холлуорд.

— Я очень рад, что застал вас, Дориан,— сказал он серьезным тоном.— Я заходил вчера вечером, но мне сказали, что вы в опере. Разумеется, я не поверил и жалел, что не знаю, где вы находитесь. Я весь вечер ужасно тревожился и, признаться, даже боялся, как бы за одним несчастьем не последовало второе. Вам надо было вызвать меня телеграммой, как только вы узнали... Я прочел об этом случайно в вечернем выпуске «Глоба», который попался мне под руку в клубе... Тотчас поспешил к вам, да, к моему великому огорчению, не застал вас дома. И сказать вам не могу, до чего меня потрясло это несчастье! Понимаю, как вам тяжело... А где вы вчера были? Вероятно, ездили к матери? В первую минуту я хотел поехать туда вслед за вами — адрес я узнал из газеты. Это, помнится, где-то на Юстон-Род? Но я побоялся, что буду там лишний,— чем можно облегчить такое горе? Несча-

стная мать! Воображаю, в каком она состоянии! Ведь это ее единственная дочь? Что она говорила?

— Мой милый Бэзил, откуда мне знать? — процедил Дориан Грей с недовольным и скучающим видом, потягивая желтоватое вино из красивого, усеянного золотыми бусинками венецианского бокала. — Я был в опере. Напрасно и вы туда не приехали. Я познакомился вчера с сестрой Гарри, леди Гвендолен, мы сидели у нее в ложе. Обворожительная женщина! И Патти пела божественно. Не будем говорить о неприятном. О чем не говоришь, того как будто и не было. Вот и Гарри всегда твердит, что только слова придают реальность явлениям. Ну а что касается матери Сибилы... Она не одна, у нее есть еще сын, и, кажется, славный малый. Но он не актер. Он моряк или что-то в этом роде. Ну, расскажите-ка лучше о себе. Что вы сейчас пишете?

— Вы... были... в опере? — с расстановкой переспросил Бэзил, и в его изменившемся голосе слышалось глубокое огорчение. — Вы поехали в оперу в то время, как Сибила Вэйн лежала мертвая в какой-то грязной каморке? Вы можете говорить о красоте других женщин и о божественном пении Патти, когда девушка, которую вы любили, еще даже не обрела покой в могиле? Эх, Дориан, вы бы хоть подумали о тех ужасах, которые еще предстоит пройти ее бедному маленькому телу!

— Перестаньте, Бэзил! Я не хочу ничего слушать! — крикнул Дориан и вскочил. — Не говорите больше об этом. Что было, то было. Что прошло, то уже прошлое.

— Вчерашний день для вас уже прошлое?

— При чем тут время? Только людям ограниченным нужны годы, чтобы отделаться от какого-нибудь чувства или впечатления. А человек, умеющий собой владеть, способен покончить с печалью так же легко, как найти новую радость. Я не желаю быть рабом своих переживаний. Я хочу ими насладиться, извлечь из них все, что можно. Хочу властвовать над своими чувствами.

— Дориан, это ужасно! Что-то сделало вас совершенно другим человеком. На вид вы все тот же славный мальчик, что каждый день приходил ко мне в мастерскую позировать. Но тогда вы были простодушны, непосредственны и добры, вы были самый неиспорченный юноша на свете. А сейчас... Не понимаю,

что на вас нашло! Вы рассуждаете, как человек без сердца, не знающий жалости. Все это — влияние Гарри. Теперь мне ясно...

Дориан покраснел и, отойдя к окну, с минуту смотрел на зыбкое море зелени в облитом солнцем саду.

— Я обязан Гарри многим,— сказал он наконец.— Больше, чем вам, Бэзил. Вы только разбудили во мне тщеславие.

— Что же, я за это уже наказан, Дориан... или буду когда-нибудь наказан.

— Не понимаю я ваших слов, Бэзил! — воскликнул Дориан, обернувшись.— И не знаю, чего вы от меня хотите. Ну, скажите, что вам нужно?

— Мне нужен тот Дориан Грей, которого я писал,— с грустью ответил художник.

— Бэзил,— Дориан подошел и положил ему руку на плечо,— вы пришли слишком поздно. Вчера, когда я узнал, что Сибила покончила с собой...

— Покончила с собой! Господи помилуй! Неужели?— ахнул Холлуорд, в ужасе глядя на Дориана.

— А вы думали, мой друг, что это просто несчастный случай? Конечно, нет! Она лишила себя жизни.

Художник закрыл лицо руками.

— Это страшно! — прошептал он, вздрогнув.

— Нет,— возразил Дориан Грей.— Ничего в этом нет страшного. Это — одна из великих романтических трагедий нашего времени. Обыкновенные актеры, как правило, ведут жизнь самую банальную. Все они — примерные мужья или примерные жены,— словом, скучные люди. Понимаете — мещанская добродетель и все такое. Как непохожа на них была Сибила! Она пережила величайшую трагедию. Она всегда оставалась героиней. В последний вечер, тот вечер, когда вы видели ее на сцене, она играла плохо оттого, что узнала любовь настоящую. А когда мечта оказалась несбыточной, она умерла, как умерла некогда Джульетта. Она снова перешла из жизни в сферы искусства. Ее окружает ореол мученичества. Да, в ее смерти — весь пафос напрасного мученичества, вся его бесполезная красота... Однако не думайте, Бэзил, что я не страдал. Вчера был такой момент... Если бы вы пришли около половины шестого... или без четверти шесть, вы застали бы меня в слезах. Даже Гарри — он-то и принес мне эту весть — не подозревает, что́ я пережил. Я страдал ужасно. А потом это прошло. Не могу я то же чувство переживать снова. И никто не

может, кроме очень сентиментальных людей. Вы ужасно несправедливы ко мне, Бэзил. Вы пришли меня утешать, это очень мило с вашей стороны. Но застáли меня уже утешившимся — и злитесь. Вот оно, людское сочувствие! Я вспоминаю анекдот, рассказанный Гарри, про одного филантропа, который двадцать лет жизни потратил на борьбу с какими-то злоупотреблениями или несправедливым законом — я забыл уже, с чем именно. В конце концов он добился своего — и тут наступило жестокое разочарование. Ему больше решительно нечего было делать, он умирал со скуки и превратился в убежденного мизантропа. Так-то, дорогой друг! Если вы действительно хотите меня утешить, научите, как забыть то, что случилось, или смотреть на это глазами художника. Кажется, Готье писал об утешении, которое мы находим в искусстве? Помню, однажды у вас в мастерской мне попалась под руку книжечка в веленевой обложке, и, листая ее, я наткнулся на это замечательное выражение: consolation des arts[1]. Право, я нисколько не похож на того молодого человека, про которого вы мне рассказывали, когда мы вместе ездили к Марло. Он уверял, что желтый атлас может служить человеку утешением во всех жизненных невзгодах. Я люблю красивые вещи, которые можно трогать, держать в руках. Старинная парча, зеленая бронза, изделия из слоновой кости, красивое убранство комнат, роскошь, пышность — все это доставляет столько удовольствия! Но для меня всего ценнее тот инстинкт художника, который они порождают или хотя бы выявляют в человеке. Стать, как говорит Гарри, зрителем собственной жизни — это значит уберечь себя от земных страданий. Знаю, вас удивят такие речи. Вы еще не уяснили себе, насколько я созрел. Когда мы познакомились, я был мальчик, сейчас я — мужчина. У меня появились новые увлечения, новые мысли и взгляды. Да, я стал другим, однако я не хочу, Бэзил, чтобы вы меня за это разлюбили. Я переменился, но вы должны навсегда остаться моим другом. Конечно, я очень люблю Гарри. Но я знаю, что вы лучше его. Вы не такой сильный человек, как он, потому что слишком боитесь жизни, но вы лучше. И как нам бывало хорошо вместе! Не оставляйте же меня, Бэзил, и не

---

[1] утешение в искусстве *(фр.)*.

спорьте со мной. Я таков, какой я есть,— ничего с этим не поделаешь.

Холлуорд был невольно тронут. Этот юноша был ему бесконечно дорог, и знакомство с ним стало как бы поворотным пунктом в его творчестве художника. У него не хватило духу снова упрекать Дориана, и он утешался мыслью, что черствость этого мальчика — лишь минутное настроение. Ведь у Дориана так много хороших черт, так много в нем благородства!

— Ну, хорошо, Дориан,— промолвил он наконец с грустной улыбкой.— Не стану больше говорить об этой страшной истории. И хочу надеяться, что ваше имя не будет связано с нею. Следствие назначено на сегодня. Вас не вызывали?

Дориан отрицательно покачал головой и досадливо поморщился при слове «следствие». Он находил, что во всех этих подробностях есть что-то грубое, пошлое.

— Моя фамилия там никому не известна,— пояснил он.

— Но девушка-то, наверное, ее знала?

— Нет, только имя. И потом я совершенно уверен, что она не называла его никому. Она мне рассказывала, что в театре все очень интересуются, кто я такой, но на их вопросы она отвечает только, что меня зовут Прекрасный Принц. Это очень трогательно, правда? Нарисуйте мне Сибилу, Бэзил. Мне хочется сохранить на память о ней нечто большее, чем воспоминания о нескольких поцелуях и нежных словах.

— Ладно, попробую, Дориан, если вам этого так хочется. Но вы и сами снова должны мне позировать. Я не могу обойтись без вас.

— Никогда больше я не буду вам позировать, Бэзил. Это невозможно!— почти крикнул Дориан, отступая.

Художник удивленно посмотрел на него.

— Это еще что за фантазия, Дориан? Неужели вам не нравится портрет, который я написал? А кстати, где он? Зачем его заслонили экраном? Я хочу на него взглянуть. Ведь это моя лучшая работа. Уберите-ка ширму, Дориан. Какого черта ваш лакей вздумал запрятать портрет в угол? То-то я, как вошел, сразу почувствовал, что в комнате чего-то недостает.

— Мой лакей тут ни при чем, Бэзил. Неужели вы думаете, что я позволю ему по своему вкусу переставлять вещи в комнатах? Он только цветы иногда

выбирает для меня — и больше ничего. А экран перед портретом я сам поставил: в этом месте слишком резкое освещение.

— Слишком резкое? Не может быть, мой милый. По-моему, самое подходящее. Дайте-ка взглянуть.

И Холлуорд направился в тот угол, где стоял портрет.

Крик ужаса вырвался у Дориана. Одним скачком опередив Холлуорда, он стал между ним и экраном.

— Бэзил,— сказал он, страшно побледнев,— не смейте! Я не хочу, чтобы вы на него смотрели.

— Вы шутите! Мне запрещается смотреть на мое собственное произведение? Это еще почему? — воскликнул Холлуорд со смехом.

— Только попытайтесь, Бэзил — и даю вам слово, что на всю жизнь перестану с вами встречаться. Я говорю совершенно серьезно. Объяснять ничего не буду, и вы меня ни о чем не спрашивайте. Но знайте — если вы тронете экран, между нами все кончено.

Холлуорд стоял как громом пораженный и во все глаза смотрел на Дориана. Никогда еще он не видел его таким: лицо Дориана побледнело от гнева, руки были сжаты в кулаки, зрачки метали синие молнии. Он весь дрожал.

— Дориан!

— Молчите, Бэзил!

— Господи, да что это с вами? Не хотите, так я, разумеется, не стану смотреть,— сказал художник довольно сухо и, круто повернувшись, отошел к окну. — Но это просто дико — запрещать мне смотреть на мою собственную картину! Имейте в виду, осенью я хочу послать ее в Париж на выставку, и, наверное, понадобится перед этим заново покрыть ее лаком. Значит, осмотреть ее я все равно должен,— так почему бы не сделать этого сейчас?

— На выставку? Вы хотите ее выставить? — переспросил Дориан Грей, чувствуя, как в душу его закрадывается безумный страх. Значит, все узнают его тайну? Люди будут с любопытством глазеть на самое сокровенное в его жизни? Немыслимо! Что-то надо тотчас же сделать, как-то это предотвратить. Но как?

— Да, в Париже. Надеюсь, против этого вы не станете возражать? — говорил между тем художник. — Жорж Пти намерен собрать все мои лучшие

работы и устроить специальную выставку на улице Сэз. Откроется она в первых числах октября. Портрет увезут не более как на месяц. Думаю, что вы вполне можете на такое короткое время с ним расстаться. Как раз в эту пору вас тоже не будет в Лондоне. И потом — если вы держите его за ширмой, значит, не так уж дорожите им.

Дориан Грей провел рукой по лбу, покрытому крупными каплями пота. Он чувствовал себя на краю гибели.

— Но всего лишь месяц назад вы говорили, что ни за что его не выставите! Почему же вы передумали? Вы из тех людей, которые гордятся своим постоянством, а на самом деле и у вас все зависит от настроения. Разница только та, что эти ваши настроения — просто необъяснимые прихоти. Вы торжественно уверяли меня, что ни за что на свете не пошлете мой портрет на выставку,— вы это, конечно, помните? И Гарри вы говорили то же самое.

Дориан вдруг умолк, и в глазах его блеснул огонек. Он вспомнил, как лорд Генри сказал полушутя: «Если хотите провести презанятные четверть часа, заставьте Бэзила объяснить вам, почему он не хочет выставлять ваш портрет. Мне он это рассказал, и для меня это было настоящим откровением». Ага, так, может быть, и у Бэзила есть своя тайна! Надо выведать ее.

— Бэзил,— начал он, подойдя к Холлуорду очень близко и глядя в глаза,— у каждого из нас есть свой секрет. Откройте мне ваш, и я вам открою свой. Почему вы не хотели выставлять мой портрет?

Художник вздрогнул и невольно отступил.

— Дориан, если я вам это скажу, вы непременно посмеетесь надо мной и, пожалуй, будете меньше любить меня. А с этим я не мог бы примириться. Раз вы требуете, чтобы я не пытался больше увидеть ваш портрет, пусть будет так. Ведь у меня остаетесь вы,— я смогу всегда видеть *вас*. Вы хотите скрыть от всех лучшее, что я создал в жизни? Ну что ж, я согласен. Ваша дружба мне дороже славы.

— Нет, вы все-таки ответьте на мой вопрос, Бэзил,— настаивал Дориан Грей.— Мне кажется, я имею право знать.

Страх его прошел и сменился любопытством. Он твердо решил узнать тайну Холлуорда.

— Сядемте, Дориан,— сказал тот, не умея скрыть своего волнения.— И прежде всего ответьте мне на один вопрос. Вы не приметили в портрете ничего особенного? Ничего такого, что сперва, быть может, в глаза не бросалось, но потом внезапно открылось вам?

— Ох, Бэзил!— вскрикнул Дориан, дрожащими руками сжимая подлокотники кресла и в диком испуге глядя на художника.

— Вижу, что заметили. Не надо ничего говорить, Дориан, сначала выслушайте меня. С первой вашей встречи я был словно одержим вами. Вы имели какую-то непонятную власть над моей душой, мозгом, талантом, были для меня воплощением того идеала, который всю жизнь витал перед художником как дивная мечта. Я обожал вас. Стоило вам заговорить с кем-нибудь,— и я уже ревновал к нему. Я хотел сохранить вас для себя одного и чувствовал себя счастливым, только когда вы бывали со мной. И даже если вас не было рядом, вы незримо присутствовали в моем воображении, когда я творил. Конечно, я никогда, ни единым словом не обмолвился об этом — ведь вы ничего не поняли бы. Да я и сам не очень-то понимал это. Я чувствовал только, что вижу перед собой совершенство, и оттого мир представлялся мне чудесным,— пожалуй, слишком чудесным, ибо такие восторги души опасны. Не знаю, что страшнее — власть их над душой или их утрата. Проходили недели, а я был все так же или еще больше одержим вами. Наконец мне пришла в голову новая идея. Я уже ранее написал вас Парисом в великолепных доспехах и Адонисом в костюме охотника, со сверкающим копьем в руках. В венке из тяжелых цветов лотоса вы сидели на носу корабля императора Адриана и глядели на мутные волны зеленого Нила. Вы склонялись над озером в одной из рощ Греции, любуясь чудом своей красоты в недвижном серебре его тихих вод. Эти образы создавались интуитивно, как того требует наше искусство, были идеальны, далеки от действительности. Но в один прекрасный день,— роковой день, как мне кажется иногда,— я решил написать ваш портрет, написать вас таким, какой вы есть, не в костюме прошлых веков, а в обычной вашей одежде и в современной обстановке. И вот... Не знаю, что сыграло тут роль, реалистическая манера письма или обаяние вашей индивидуальности, которая предстала

передо мной теперь непосредственно, ничем не замаскированная,— но, когда я писал, мне казалось, что каждый мазок, каждый удар кисти все больше раскрывает мою тайну. И я боялся, что, увидев портрет, люди поймут, как я боготворю вас, Дориан. Я чувствовал, что в этом портрете выразил слишком много, вложил в него слишком много себя. Вот тогда-то я и решил ни за что не выставлять его. Вам было досадно — ведь вы не подозревали, какие у меня на то серьезные причины. А Гарри, когда я заговорил с ним об этом, высмеял меня. Ну, да это меня ничуть не задело. Когда портрет был окончен, я, глядя на него, почувствовал, что я прав... А через несколько дней он был увезен из моей мастерской, и, как только я освободился от его неодолимых чар, мне показалось, что все это лишь моя фантазия, что в портрете люди увидят только вашу удивительную красоту и мой талант художника, больше ничего. Даже и сейчас мне кажется, что я заблуждался, что чувства художника не отражаются в его творении. Искусство гораздо абстрактнее, чем мы думаем. Форма и краски говорят нам лишь о форме и красках — и больше ни о чем. Мне часто приходит в голову, что искусство в гораздо большей степени *скрывает* художника, чем *раскрывает* его...

Поэтому, когда я получил предложение из Парижа, я решил, что ваш портрет будет гвоздем моей выставки. Мог ли я думать, что вы станете возражать? Ну а теперь я вижу, что вы правы, портрет выставлять не следует. Не сердитесь на меня, Дориан. Перед вами нельзя не преклоняться — вы созданы для этого. Я так и сказал тогда Гарри.

Дориан Грей с облегчением перевел дух. Щеки его снова порозовели. Губы улыбались. Опасность миновала. Пока ему ничто не грозит! Он невольно испытывал глубокую жалость к художнику, сделавшему ему такое странное признание, и спрашивал себя, способен ли он когда-нибудь оказаться всецело во власти чужой души? К лорду Генри его влечет, как влечет человека все очень опасное,— и только. Лорд Генри слишком умен и слишком большой циник, чтобы его можно было любить. Встретит ли он, Дориан, человека, который станет его кумиром? Суждено ли ему в жизни испытать и это тоже?

— Очень мне странно, Дориан, что вы сумели увидеть это в портрете,— сказал Бэзил Холлуорд.— Вы и вправду это заметили?

— Кое-что я заметил. И оно меня сильно поразило.

— Ну а теперь вы мне дадите взглянуть на портрет?

Дориан покачал головой.

— Нет, нет, и не просите, Бэзил. Я не позволю вам даже подойти близко.

— Так, может, потом когда-нибудь?

— Никогда.

— Что ж, может, вы и правы. Ну, прощайте, Дориан. Вы — единственный человек, который по-настоящему имел влияние на мое творчество. И всем, что я создал ценного, я обязан вам... Если бы вы знали, чего мне стоило сказать вам все то, что я сказал!

— Да что же вы мне сказали такого, дорогой Бэзил? Только то, что вы мною слишком восхищались? Право, это даже не комплимент.

— А я и не собирался говорить вам комплименты. Это была исповедь. И после нее я словно чего-то лишился. Пожалуй, никогда не следует выражать свои чувства словами.

— Исповедь ваша, Бэзил, обманула мои ожидания.

— Как так? Чего же вы ожидали, Дориан? Разве вы заметили в портрете еще чего-то другое?

— Нет, ничего. Почему вы спрашиваете? А о преклонении вы больше не говорите — это глупо. Мы с вами друзья, Бэзил, и должны всегда оставаться друзьями.

— У вас есть Гарри,— сказал Холлуорд уныло.

— Ах, Гарри! — Дориан рассмеялся. — Гарри днем занят тем, что *говорит* невозможные вещи, а по вечерам *творит* невероятные вещи. Такая жизнь как раз в моем вкусе. Но в тяжелую минуту я вряд ли пришел бы к Гарри. Скорее к вам, Бэзил.

— И вы опять будете мне позировать?

— Нет, этого я никак не могу!

— Своим отказом вы губите меня как художника. Никто не встречает свой идеал дважды в жизни. Да и один раз редко кто его находит.

— Не могу вам объяснить причины, Бэзил, но мне нельзя больше вам позировать. Есть что-то роковое в каждом портрете. Он живет своей особой жизнью... Я буду приходить к вам пить чай. Это не менее приятно.

— Для вас, пожалуй, даже приятнее,— огорченно буркнул Холлуорд. — До свидания, Дориан. Очень жаль, что вы не дали мне взглянуть на портрет. Ну, да что поделаешь! Я вас вполне понимаю.

Когда он вышел, Дориан усмехнулся про себя. Бедный Бэзил, как он в своих догадках далек от истины! И не странно ли, что ему, Дориану, не только не пришлось открыть свою тайну, но удалось случайно выведать тайну друга! После исповеди Бэзила Дориану многое стало ясно. Нелепые вспышки ревности и страстная привязанность к нему художника, восторженные дифирамбы, а по временам странная сдержанность и скрытность — все теперь было понятно. И Дориану стало грустно. Что-то трагичное было в такой дружбе, окрашенной романтической влюбленностью.

Он вздохнул и позвонил лакею. Портрет надо во что бы то ни стало убрать отсюда! Нельзя рисковать тем, что тайна раскроется. Безумием было бы и на один час оставить портрет в комнате, куда может прийти любой из друзей и знакомых.

Глава X

Когда Виктор вошел, Дориан пристально посмотрел на него, пытаясь угадать, не вздумал ли он заглянуть за экран. Лакей с самым невозмутимым видом стоял, ожидая приказаний. Дориан закурил папиросу и, подойдя к зеркалу, поглядел в него. В зеркале ему было отчетливо видно лицо Виктора. На этом лице не выражалось ничего, кроме спокойной услужливости. Значит, опасаться нечего. Все же он решил, что надо быть настороже.

Медленно отчеканивая слова, он приказал Виктору позвать к нему экономку, а затем сходить в багетную мастерскую и попросить хозяина немедленно прислать ему двух рабочих.

Ему показалось, что лакей, выходя из комнаты, покосился на экран. Или это только его фантазия?

Через несколько минут в библиотеку торопливо вошла миссис Лиф в черном шелковом платье и старомодных нитяных митенках на морщинистых руках. Дориан спросил у нее ключ от бывшей классной комнаты.

— От старой классной, мистер Дориан? — воскликнула она. — Да там полно пыли! Я сперва велю ее прибрать и все привести в порядок. А сейчас вам туда и заглянуть нельзя! Никак нельзя!

— Не нужно мне, чтобы ее убирали, Лиф. Мне только ключ нужен.

— Господи, да вы будете весь в паутине, сэр, если туда войдете. Ведь вот уже пять лет комнату не открывали — со дня смерти его светлости.

При упоминании о старом лорде Дориана передернуло: у него остались очень тягостные воспоминания о покойном деде.

— Пустяки,— ответил он.— Мне нужно только на минуту заглянуть туда, и больше ничего. Дайте мне ключ.

— Вот, возьмите, сэр.— Старушка неловкими дрожащими руками перебирала связку ключей.— Вот этот. Сейчас сниму его с кольца. Но вы же не думаете перебираться туда, сэр? Здесь внизу у вас так уютно!

— Нет, нет,— перебил Дориан нетерпеливо.— Спасибо, Лиф, можете идти.

Экономка еще на минуту замешкалась, чтобы поговорить о каких-то хозяйственных делах. Дориан со вздохом сказал ей, что во всем полагается на нее. Наконец она ушла очень довольная.

Как только дверь за ней захлопнулась, Дориан сунул ключ в карман и окинул взглядом комнату. Ему попалось на глаза атласное покрывало, пурпурное, богато расшитое золотом,— великолепный образец венецианского искусства конца XVII века,— привезенное когда-то его дедом из монастыря близ Болоньи. Да, этим покрывалом можно закрыть страшный портрет! Быть может, оно некогда служило погребальным покровом. Теперь эта ткань укроет картину разложения, более страшного, чем разложение трупа, ибо оно будет порождать ужасы, и ему не будет конца. Как черви пожирают мертвое тело, так пороки Дориана Грея будут разъедать его изображение на полотне. Они изгложут его красоту, уничтожат очарование. Они осквернят его и опозорят. И все-таки портрет будет цел. Он будет жить вечно.

При этой мысли Дориан вздрогнул и на миг пожалел, что не сказал правду Холлуорду. Бэзил поддержал бы его в борьбе с влиянием лорда Генри и с еще более опасным влиянием его собственного темперамента. Любовь, которую питает к нему Бэзил (а это, несомненно, самая настоящая любовь),— чувство благородное и возвышенное. Это не обыкновенное физическое влечение к красоте, порожденное чув-

ственными инстинктами и умирающее, когда они ослабевают в человеке. Нет, это любовь такая, какую знали Микеланджело, и Монтень, и Винкельман, и Шекспир. Да, Бэзил мог бы спасти его. Но теперь уже поздно. Прошлое всегда можно изгладить раскаянием, забвением или отречением, будущее же неотвратимо. Дориан чувствовал, что в нем бродят страсти, которые найдут себе ужасный выход, и смутные грезы, которые омрачат его жизнь, если осуществятся.

Он снял с кушетки пурпурно-золотое покрывало и, держа его в обеих руках, зашел за экран. Не стало ли еще противнее лицо на портрете? Нет, никаких новых изменений не было заметно. И все-таки Дориан смотрел на него теперь с еще бóльшим отвращением. Золотые кудри, голубые глаза и розовые губы — все как было. Изменилось только выражение лица. Оно ужасало своей жестокостью. В сравнении с этим обвиняющим лицом как ничтожны были укоры Бэзила, как пусты и ничтожны! С портрета на Дориана смотрела его собственная душа и призывала его к ответу.

С гримасой боли Дориан поспешно набросил на портрет роскошное покрывало. В эту минуту раздался стук в дверь, и он вышел из-за экрана как раз тогда, когда в комнату вошел лакей.

— Люди здесь, мосье.

Дориан подумал, что Виктора надо услать сейчас же, чтобы он не знал, куда отнесут портрет. У Виктора глаза умные, и в них светится хитрость, а может, и коварство. Ненадежный человек!

И, сев за стол, Дориан написал записку лорду Генри, в которой просил прислать что-нибудь почитать и напоминал, что они сегодня должны встретиться в четверть девятого.

— Передайте лорду Генри и подождите ответа,— сказал он Виктору, вручая ему записку.— А рабочих приведите сюда.

Через две-три минуты в дверь снова постучали, появился мистер Хаббард собственной персоной, знаменитый багетный мастер с Саут-Одли-стрит, и с ним его помощник, довольно неотесанный парень. Мистер Хаббард представлял собой румяного человечка с рыжими бакенбардами. Его поклонение искусству значительно умерялось хроническим безденежьем

большинства его клиентов — художников. Он не имел обыкновения ходить на дом к заказчикам, он ждал, чтобы они сами пришли к нему в мастерскую. Но для Дориана Грея он всегда делал исключение. В Дориане было что-то такое, что всех располагало к нему. Приятно было даже только смотреть на него.

— Чем могу служить, мистер Грей? — осведомился почтенный багетчик, потирая пухлые веснушчатые руки. — Я полагал, что мне следует лично явиться к вам. Я как раз приобрел чудесную раму, сэр. Она мне досталась на распродаже. Старинная флорентийская — должно быть, из Фонтхилла. Замечательно подойдет для картины с религиозным сюжетом, мистер Грей!

— Извините, что побеспокоил вас, мистер Хаббард. Я зайду, конечно, взглянуть на раму, хотя сейчас не особенно увлекаюсь религиозной живописью. Но сегодня мне требуется только перенести картину на верхний этаж. Она довольно тяжелая, поэтому я и попросил вас прислать людей.

— Помилуйте, мистер Грей, какое же беспокойство? Я очень рад, что могу вам быть полезен. Где картина, сэр?

— Вот она,— ответил Дориан, отодвигая в сторону экран. — Можно ее перенести как есть, не снимая покрывала? Я боюсь, как бы ее не исцарапали при переноске.

— Ничего тут нет трудного, сэр,— услужливо сказал багетчик и с помощью своего подручного начал снимать портрет с длинных медных цепей, на которых он висел. — А куда же прикажете ее перенести, мистер Грей?

— Я вам покажу дорогу, мистер Хаббард. Будьте добры следовать за мной. Или, пожалуй, лучше вы идите вперед. К сожалению, это на самом верху. Мы пройдем по главной лестнице, она шире.

Он распахнул перед ними дверь, и они прошли в холл, а оттуда стали подниматься по лестнице наверх. Из-за украшений массивной рамы портрет был чрезвычайно громоздким, и время от времени Дориан пытался помогать рабочим, несмотря на подобострастные протесты мистера Хаббарда, который, как все люди его сословия, не мог допустить, чтобы знатный джентльмен делал что-либо полезное.

— Груз немалый, сэр,— сказал он, тяжело дыша, когда они добрались до верхней площадки, и отер потную лысину.

— Да, довольно-таки тяжелый,— буркнул в ответ Дориан, отпирая дверь комнаты, которая отныне должна была хранить его странную тайну и скрывать его душу от людских глаз.

Больше четырех лет он не заходил сюда. Когда он был ребенком, здесь была его детская, потом, когда подрос,— классная комната. Эту большую, удобную комнату покойный лорд Келсо специально пристроил для маленького внука, которого он за поразительное сходство с матерью или по каким-то другим причинам терпеть не мог и старался держать подальше от себя. Дориан подумал, что с тех пор в комнате ничего не переменилось. Так же стоял здесь громадный итальянский сундук — cassone — с причудливо расписанными стенками и потускневшими от времени золочеными украшениями, в нем часто прятался маленький Дориан. На месте был и книжный шкаф красного дерева, набитый растрепанными учебниками, а на стене рядом висел все тот же ветхий фламандский гобелен, на котором сильно вылинявшие король и королева играли в шахматы в саду, а мимо вереницей проезжали на конях сокольничьи, держа на своих латных рукавицах соколов в клобучках. Как все это было знакомо Дориану! Каждая минута его одинокого детства вставала перед ним, пока он осматривался кругом. Он вспомнил непорочную чистоту той детской жизни, и жутко ему стало при мысли, что именно здесь будет стоять роковой портрет. Не думал он в те безвозвратные дни, что его ожидает такое будущее!

Но в доме нет другого места, где портрет был бы так надежно укрыт от любопытных глаз. Ключ теперь в руках у него, Дориана, и никто другой не может проникнуть сюда. Пусть лицо портрета под своим пурпурным саваном становится скотски тупым, жестоким и порочным. Что за беда? Ведь никто этого не увидит. Да и сам он не будет этого видеть. К чему наблюдать отвратительное разложение своей души? Он сохранит молодость — и этого довольно.

Впрочем, разве он не может исправиться? Разве позорное будущее так уж неизбежно? Быть может, в жизнь его войдет большая любовь и очистит его, убережет от новых грехов, рождающихся в душе и

теле,— тех неведомых, еще никем не описанных грехов, которым самая таинственность их придает коварное очарование. Быть может, настанет день, когда этот алый чувственный рот утратит жестокое выражение и можно будет показать миру шедевр Бэзила Холлуорда?..

Нет, на это надежды нет. Ведь с каждым часом, с каждой неделей человек на полотне будет становиться старше. Если даже на нем не отразятся тайные преступления и пороки,—безобразных следов времени ему не избежать. Щеки его станут дряблыми или ввалятся. Желтые «гусиные лапки» лягут вокруг потускневших глаз и уничтожат их красоту. Волосы утратят блеск, рот, как всегда у стариков, будет бессмысленно полуоткрыт, губы безобразно отвиснут. Морщинистая шея, холодные руки со вздутыми синими венами, сгорбленная спина — все будет как у его покойного деда, который был так суров к нему. Да, портрет надо спрятать, ничего не поделаешь!

— Несите сюда, мистер Хаббард,— устало сказал Дориан, обернувшись. — Извините, что задержал вас. Я задумался о другом и забыл, что вы ждете.

— Ничего, мистер Грей, я рад был передохнуть,— отозвался багетчик, все еще не отдышавшийся. — Куда прикажете поставить картину, сэр?

— Куда-нибудь, все равно. Ну, хотя бы тут. Вешать не надо. Просто прислоните ее к стене. Вот так, спасибо.

— Нельзя ли взглянуть на это произведение искусства, сэр?

Дориан вздрогнул.

— Не стоит. Оно вряд ли вам понравится, мистер Хаббард,— сказал он, в упор глядя на багетчика. Он готов был кинуться на него и повалить его на пол, если тот посмеет приподнять пышную завесу, скрывающую тайну его жизни. — Ну, не буду больше утруждать вас. Очень вам признателен, что вы были так любезны и пришли сами.

— Не за что, мистер Грей, не за что! Я всегда к вашим услугам, сэр!

Мистер Хаббард, тяжело ступая, стал спускаться с лестницы, а за ним — его подручный, который то и дело оглядывался на Дориана с выражением робкого восхищения на грубоватом лице: он в жизни не видел таких обаятельных и красивых людей.

Как только внизу затих шум шагов, Дориан запер дверь и ключ положил в карман. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Ничей глаз не увидит больше страшный портрет. Он один будет лицезреть свой позор.

Вернувшись в библиотеку, он увидел, что уже шестой час и чай подан. На столике темного душистого дерева, богато инкрустированном перламутром (это был подарок леди Рэдли, жены его опекуна, дамы, вечно занятой своими болезнями и прошлую зиму жившей в Каире), лежала записка от лорда Генри и рядом с нею — книжка в желтой, немного потрепанной обложке, а на чайном подносе — третий выпуск «Сент-Джеймс газетт». Очевидно, Виктор уже вернулся. Дориан спрашивал себя, не встретился ли его лакей с уходившими рабочими и не узнал ли от них, что они здесь делали. Виктор, разумеется, заметит, что в библиотеке нет портрета... Наверное, уже заметил, когда подавал чай. Экран был отодвинут, и пустое место на стене сразу бросалось в глаза. Чего доброго, он как-нибудь ночью накроет Виктора, когда тот будет красться наверх, чтобы взломать дверь классной. Ужасно это — иметь в доме шпиона! Дориану приходилось слышать о том, как богатых людей всю жизнь шантажировал кто-нибудь из слуг, которому удалось прочесть письмо или подслушать разговор, подобрать визитную карточку с адресом, найти у хозяина под подушкой увядший цветок или обрывок смятого кружева...

При этой мысли Дориан вздохнул и, налив себе чаю, распечатал письмо. Лорд Генри писал, что посылает вечернюю газету и книгу, которая, верно, заинтересует Дориана, а в четверть девятого будет ожидать его в клубе.

Дориан рассеянно взял газету и стал ее просматривать. На пятой странице ему бросилась в глаза заметка, отчеркнутая красным карандашом. Он прочел следующее:

«*Следствие по делу о смерти актрисы.* Сегодня утром в Бэлл-Тэверн на Хокстон-Род участковым следователем, мистером Дэнби, произведено было дознание о смерти молодой актрисы Сибилы Вэйн, последнее время выступавшей в Холборнском Королевском театре. Следствием установлена смерть от несчастного случая. Глубокое сочувствие вызы-

вала мать покойной, которая была в сильном волнении, когда давали показания она и доктор Бирелл, производивший вскрытие тела Сибилы Вэйн».

Дориан, нахмурившись, разорвал газету и выбросил клочки в корзину. Как все это противно! Как ужасны эти отвратительные подробности! Он рассердился на лорда Генри, приславшего ему эту заметку. А еще глупее то, что он обвел ее красным карандашом: ведь Виктор мог ее прочесть. Для этого он достаточно знает английский язык.

Да, может быть, лакей уже прочел и что-то подозревает... А впрочем, к чему беспокоиться? Какое отношение имеет Дориан Грей к смерти Сибилы Вэйн? Ему бояться нечего — он ее не убивал.

Взгляд Дориана случайно остановился на желтой книжке, присланной лордом Генри. «Интересно, что это за книга?» — подумал он и подошел к столику, на котором она лежала. Осьмиугольный, выложенный перламутром столик казался ему работой каких-то неведомых египетских пчел, лепивших свои соты из серебра. Взяв книгу, Дориан уселся в кресло и стал ее перелистывать. Не прошло и нескольких минут, как он уже погрузился в чтение.

Странная то была книга, никогда еще он не читал такой! Казалось, под нежные звуки флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чередой. Многое, о чем он только смутно грезил, вдруг на его глазах облеклось плотью. Многое, что ему и во сне не снилось, сейчас открывалось перед ним.

То был роман без сюжета, вернее — психологический этюд. Единственный герой его, молодой парижанин, всю жизнь был занят только тем, что в XIX веке пытался воскресить страсти и умонастроения всех прошедших веков, чтобы самому пережить все то, через что прошла мировая душа. Его интересовали своей искусственностью те формы отречения, которое люди безрассудно именуют добродетелями, и в такой же мере — те естественные порывы возмущения против них, которые мудрецы все еще называют пороками. Книга была написана своеобразным чеканным слогом, живым, ярким и в то же время туманным, изобиловавшим всякими арго и архаизмами, техническими терминами и изысканными парафразами. В таком стиле писали тончайшие художники фран-

цузской школы символистов. Встречались здесь метафоры, причудливые, как орхидеи, и столь же нежных красок. Чувственная жизнь человека описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было решить, что читаешь — описание религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или бесстыдные признания современного грешника. Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый запах курений поднимался от ее страниц и дурманил мозг. Самый ритм фраз, вкрадчивая монотонность их музыки, столь богатой сложными рефренами и нарочитыми повторами, склоняла к болезненной мечтательности. И, глотая одну главу за другой, Дориан не заметил, как день склонился к вечеру и в углах комнаты залегли тени.

Безоблачное малахитовое небо, на котором прорезалась одинокая звезда, мерцало за окном. А Дориан все читал при его неверном свете, пока еще можно было разбирать слова. Наконец, после неоднократных напоминаний лакея, что уже поздно, он встал, прошел в соседнюю комнату и, положив книгу на столик флорентинской работы, стоявший у кровати, стал переодеваться к обеду.

Было уже около девяти, когда он приехал в клуб. Лорд Генри сидел один, дожидаясь его, с весьма недовольным и скучающим видом.

— Ради бога, простите, Гарри! — воскликнул Дориан. — Но, в сущности, опоздал я по вашей вине. Книга, которую вы мне прислали, так меня околдовала, что я и не заметил, как прошел день.

— Я так и знал, что она вам понравится,— отозвался лорд Генри, вставая.

— Я не говорил, что она мне нравится. Я сказал: «околдовала». Это далеко не одно и то же.

— Ага, вы уже поняли разницу? — проронил лорд Генри. Они направились в столовую.

Глава XI

В течение многих лет Дориан Грей не мог освободиться от влияния этой книги. Вернее говоря, он вовсе не старался от него освободиться. Он выписал из Парижа целых девять экземпляров, роскошно изданных, и заказал для них переплеты

разных цветов,— цвета эти должны были гармонировать с его настроениями и прихотями изменчивой фантазии, с которой он уже почти не мог совладать.

Герой книги, молодой парижанин, в котором так своеобразно сочетались романтичность и трезвый ум ученого, казался Дориану прототипом его самого, а вся книга — историей его жизни, написанной раньше, чем он ее пережил.

В одном Дориан был счастливее героя этого романа. Он никогда не испытывал, и ему не суждено было никогда испытать болезненный страх перед зеркалами, блестящей поверхностью металлических предметов и водной гладью,— страх, который с ранних лет узнал молодой парижанин, когда внезапно утратил свою поразительную красоту. Последние главы книги, в которых с подлинно трагическим, хотя и несколько преувеличенным пафосом описывались скорбь и отчаяние человека, потерявшего то, что он больше всего ценил в других людях и в окружающем мире, Дориан читал с чувством, похожим на злорадство,— впрочем, в радости, как и во всяком наслаждении, почти всегда есть нечто жестокое.

Да, Дориан радовался, ибо его чудесная красота, так пленявшая Бэзила Холлуорда и многих других, не увядала и, по-видимому, была ему дана на всю жизнь. Даже те, до кого доходили темные слухи о Дориане Грее (а такие слухи об его весьма подозрительном образе жизни время от времени ходили по всему Лондону и вызывали толки в клубах), не могли поверить бесчестившим его сплетням: ведь он казался человеком, которого не коснулась грязь жизни. Люди, говорившие непристойности, умолкали, когда входил Дориан Грей. Безмятежная ясность его лица была для них как бы смущающим укором. Одно уж его присутствие напоминало им об утраченной чистоте. И они удивлялись тому, что этот обаятельный человек сумел избежать дурного влияния нашего века, века безнравственности и низменных страстей.

Часто, вернувшись домой после одной из тех длительных и загадочных отлучек, которые вызывали подозрения у его друзей или тех, кто считал себя таковыми, Дориан, крадучись, шел наверх, в свою бывшую детскую, и, отперев дверь ключом, с которым никогда не расставался, подолгу стоял с зеркалом в руках перед портретом, глядя то на отталкивающее

и все более старевшее лицо на полотне, то на прекрасное юное лицо, улыбавшееся ему в зеркале. Чем разительнее становился контраст между тем и другим, тем острее Дориан наслаждался им. Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с бо́льшим интересом наблюдал разложение своей души. С напряженным вниманием, а порой и с каким-то противоестественным удовольствием разглядывал он уродливые складки, бороздившие морщинистый лоб и ложившиеся вокруг отяжелевшего чувственного рта, и порой задавал себе вопрос, что страшнее и омерзительнее — печать порока или печать возраста? Он приближал свои белые руки к огрубевшим и дряблым рукам на портрете — и, сравнивая их, улыбался. Он издевался над этим обезображенным, изношенным телом.

Правда, иногда по ночам, когда он лежал без сна в своей благоухающей тонкими духами спальне или в грязной каморке подозрительного притона близ доков, куда он часто ходил переодетый и под вымышленным именем,— Дориан Грей думал о том, что он погубил свою душу, думал с отчаянием, тем более мучительным, что оно было вполне эгоистично. Но такие минуты бывали редко. Любопытство к жизни, которое впервые пробудил в нем лорд Генри в тот день, когда они сидели вдвоем в саду их общего друга Холлуорда, становилось тем острее, чем усерднее Дориан удовлетворял его. Чем больше он узнавал, тем больше жаждал узнать. Этот волчий голод становился тем неутолимее, чем больше он утолял его.

Однако Дориан не отличался безрассудной смелостью и легкомыслием — во всяком случае, он не пренебрегал мнением общества и соблюдал приличия. Зимой — раза два в месяц, а в остальное время года — каждую среду двери его великолепного дома широко раскрывались для гостей, и здесь самые известные и «модные» в то время музыканты пленяли их чудесами своего искусства. Его обеды, в устройстве которых ему всегда помогал лорд Генри, славились тщательным подбором приглашенных, а также изысканным убранством стола, представлявшим собой настоящую симфонию экзотических цветов, вышитых скатертей, старинной золотой и серебряной посуды. И много было (особенно среди зеленой молодежи) людей, видевших в Дориане Грее тот идеал, о котором они мечтали в студенческие годы,— сочетание под-

линной культурности ученого с обаянием и утонченной благовоспитанностью светского человека, «гражданина мира». Он казался им одним из тех, кто, как говорит Данте, «стремится облагородить душу поклонением красоте». Одним из тех, для кого, по словам Готье, и создан видимый мир.

И, несомненно, для Дориана сама Жизнь была первым и величайшим из искусств, а все другие искусства — только преддверием к ней. Конечно, он отдавал дань и Моде, которая на время может осуществить любую фантазию, добившись всеобщего ее признания, и Дендизму, как своего рода стремлению доказать абсолютность условного понятия о Красоте. Его манера одеваться, те моды, которыми он время от времени увлекался, оказывали заметное влияние на молодых щеголей, блиставших на балах в Мэйфере и в клубах Пэлл-Мэлла. Они подражали ему во всем, пытаясь достигнуть такого же изящества даже в случайных мелочах, которым сам Дориан не придавал никакого значения.

Дориан весьма охотно занял то положение в обществе, какое было ему предоставлено по достижении совершеннолетия, и его радовала мысль, что он может стать для Лондона наших дней тем, чем для Рима времен императора Нерона был автор «Сатирикона». Но в глубине души он желал играть роль более значительную, чем простой arbiter elegantiarum[1], у которого спрашивают совета, какие надеть драгоценности, как завязать галстук или носить трость. Он мечтал создать новую философию жизни, у которой будет свое разумное обоснование, свои последовательные принципы, и высший смысл жизни видел в одухотворении чувств и ощущения.

Культ жизни чувственной часто и вполне справедливо осуждался, ибо люди инстинктивно боятся страстей и ощущений, которые могут оказаться сильнее их и, как мы знаем, свойственны и существам низшим. Но Дориану Грею казалось, что истинная природа этих чувств еще до сих пор не понята и они остаются животными и необузданными лишь потому, что люди всегда старались их усмирить, не давая им пищи, или убить страданием, вместо того чтобы видеть в них элементы новой духовной жизни, в которой преоб-

---

[1] законодатель мод *(лат.)*.

ладающей чертой должно быть высокоразвитое стремление к Красоте.

Оглядываясь на путь человечества в веках, Дориан не мог отделаться от чувства глубокого сожаления. Как много упущено, сколько уступок сделано — и ради какой ничтожной цели! Бессмысленное, упрямое отречение, уродливые формы самоистязания и самоограничения, в основе которых лежал страх, а результатом было вырождение, безмерно более страшное, чем так называемое «падение», от которого люди в своем неведении стремились спастись. Недаром же Природа с великолепной иронией всегда гнала анахоретов в пустыню к диким зверям, давала святым отшельникам в спутники жизни четвероногих обитателей лесов и полей.

Да, прав был лорд Генри, предсказывая рождение нового гедонизма, который должен перестроить жизнь, освободив ее от сурового и нелепого пуританства, неизвестно почему возродившегося в наши дни. Конечно, гедонизм этот будет прибегать к услугам интеллекта, но никакими теориями или учениями не станет подменять многообразный опыт страстей. Цель гедонизма — именно этот опыт сам по себе, а не плоды его, горькие или сладкие. В нашей жизни не должно быть места аскетизму, умерщвляющему чувства, так же как и грубому распутству, притупляющему их. Гедонизм научит людей во всей полноте переживать каждое мгновение жизни, ибо и сама жизнь — лишь преходящее мгновение.

Кто из нас не просыпался порой до рассвета после сна без сновидений, столь сладкого, что нам становился почти желанным вечный сон смерти, или после ночи ужаса и извращенной радости, когда в клетках мозга возникают видения страшнее самой действительности, живые и яркие, как всякая фантастика, исполненные той властной силы, которая делает таким живучим готическое искусство, как будто созданное для тех, кто болен мечтательностью? Всем памятны эти пробуждения. Постепенно белые пальцы рассвета пробираются сквозь занавески, и кажется, будто занавески дрожат. Черные причудливые тени бесшумно уползли в углы комнаты и притаились там. А за окном среди листвы уже шумят птицы, на улице слышны шаги идущих на работу людей, порой вздохи и завывания ветра, который налетает с холмов

и долго бродит вокруг безмолвного дома, словно боясь разбудить спящих, но все же вынужден прогнать сон из его пурпурного убежища. Одна за другой поднимаются легкие, как вуаль, завесы мрака, все вокруг медленно обретает прежние формы и краски, и на ваших глазах рассвет возвращает окружающему миру его обычный вид. Тусклые зеркала снова начинают жить своей отраженной жизнью. Потушенные свечи стоят там, где их оставили накануне, а рядом — не до конца разрезанная книга, которую вчера читали, или увядший цветок, вчера вечером на балу украшавший вашу петлицу, или письмо, которое вы боялись прочесть или перечитывали слишком часто. Ничто как будто не изменилось. Из призрачных теней ночи снова встает знакомая действительность. Надо продолжать жизнь с того, на чем она вчера остановилась, и мы с болью сознаем, что обречены непрерывно тратить силы, вертясь все в том же утомительном кругу привычных стереотипных занятий. Иногда мы в эти минуты испытываем страстное желание, открыв глаза, увидеть новый мир, преобразившийся за ночь, нам на радость, мир, в котором все приняло новые формы и оделось живыми, светлыми красками, мир, полный перемен и новых тайн, мир, где прошлому нет места или отведено место весьма скромное, и если это прошлое еще живо, то, во всяком случае, не в виде обязательств или сожалений, ибо даже в воспоминании о счастье есть своя горечь, а память о минувших наслаждениях причиняет боль.

Именно создание таких миров представлялось Дориану Грею главной целью или одной из главных целей жизни; и в погоне за ощущениями, новыми и упоительными, которые содержали бы в себе основной элемент романтики — необычайность, он часто увлекался идеями, заведомо чуждыми его натуре, поддаваясь их коварному влиянию, а затем, постигнув их сущность, насытив свою любознательность, отрекался от них с тем равнодушием, которое не только совместимо с пылким темпераментом, но, как утверждают некоторые современные психологи, часто является необходимым его условием.

Одно время в Лондоне говорили, что Дориан намерен перейти в католичество. Действительно, обрядность католической религии всегда очень нравилась ему. Таинство ежедневного жертвоприношения за

литургией, более страшного своей реальностью, чем все жертвоприношения древнего мира, волновало его своим великолепным презрением к свидетельству всех наших чувств, первобытной простотой, извечным пафосом человеческой трагедии, которую оно стремится символизировать. Дориан любил преклонять колена на холодном мраморе церковных плит и смотреть, как священник в тяжелом парчовом облачении медленно снимает бескровными руками покров с дарохранительницы или возносит сверкающую драгоценными камнями дароносицу, похожую на стеклянный фонарь с бледной облаткой внутри,—и тогда ему хотелось верить, что это в самом деле «panis caelestis», «хлеб ангелов». Любил Дориан и тот момент, когда священник в одеянии Страстей господних преломляет гостию над чашей и бьет себя в грудь, сокрушаясь о грехах своих. Его пленяли дымящиеся кадильницы, которые, как большие золотые цветы, качались в руках мальчиков с торжественно-серьезными лицами, одетых в пурпур и кружева. Выходя из церкви, Дориан с интересом посматривал на темные исповедальни, а иногда подолгу сидел в их сумрачной тени, слушая, как люди шепчут сквозь ветхие решетки правду о своей жизни.

Однако Дориан понимал, что принять официально те или иные догматы или вероучение значило бы ставить какой-то предел своему умственному развитию, и никогда он не делал такой ошибки; он не хотел считать своим постоянным жилищем гостиницу, пригодную лишь для того, чтобы провести в ней ночь или те несколько ночных часов, когда не светят звезды и луна на ущербе. Одно время он был увлечен мистицизмом, его дивным даром делать простое таинственным и необычайным, и всегда сопутствующей ему сложной парадоксальностью. В другой период своей жизни Дориан склонялся к материалистическим теориям немецкого дарвинизма, и ему доставляло своеобразное удовольствие сводить все мысли и страсти людские к функции какой-нибудь клетки серого вещества мозга или белых нервных волокон: так заманчива была идея абсолютной зависимости духа от физических условий, патологических или здоровых, нормальных или ненормальных? Однако все теории, все учения о жизни были для Дориана ничто по сравнению с самой жизнью. Он ясно видел, как бесплодны всякие отвле-

ченные умозаключения, не связанные с опытом и действительностью. Он знал, что чувственная жизнь человека точно так же, как духовная, имеет свои священные тайны, которые ждут открытия.

Он принялся изучать действие различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ. Перегонял благовонные масла, жег душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями, и задался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будит воспоминания об умершей любви, мускус туманит мозг, а чампак развращает воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, ховении, от запаха которой можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии.

Был в жизни Дориана и такой период, когда он весь отдавался музыке, и тогда в его доме, в длинной зале с решетчатыми окнами, где потолок был расписан золотом и киноварью, а стены покрыты оливково-зеленым лаком, устраивались необыкновенные концерты: лихие цыгане исторгали дикие мелодии из своих маленьких цитр, величавые тунисцы в желтых шалях перебирали туго натянутые струны огромных лютней, негры, скаля зубы, монотонно ударяли в медные барабаны, а стройные, худощавые индийцы в чалмах сидели, поджав под себя ноги, на красных циновках и, наигрывая на длинных дудках, камышовых и медных, зачаровывали (или делали вид, что зачаровывают) больших ядовитых кобр и отвратительных рогатых ехидн. Резкие переходы и пронзительные диссонансы этой варварской музыки волновали Дориана в такие моменты, когда прелесть музыки Шуберта, дивные элегии Шопена и даже могучие симфонии Бетховена не производили на него никакого впечатления. Он собирал музыкальные инструменты всех стран света, даже самые редкие и старинные, какие можно найти только в гробницах вымерших народов или у немногих еще существующих диких

племен, уцелевших при столкновении с западной цивилизацией. Он любил пробовать все эти инструменты. В его коллекции был таинственный «джурупарис» индейцев Рио-Негро, на который женщинам смотреть запрещено, и даже юношам это дозволяется лишь после поста и бичевания плоти; были перуанские глиняные кувшины, издающие звуки, похожие на пронзительные крики птиц, и те флейты из человеческих костей, которым некогда внимал в Чили Альфонсо де Овалле, и поющая зеленая яшма, находимая близ Куцко и звенящая удивительно приятно. Были в коллекции Дориана и раскрашенные тыквы, наполненные камешками, которые гремят при встряхивании, и длинный мексиканский кларнет,— в него музыкант не дует, а во время игры втягивает в себя воздух; и резко звучащий «туре» амазонских племен,— им подают сигналы часовые, сидящие весь день на высоких деревьях, и звук этого инструмента слышен за три лье; и «теponацли» с двумя вибрирующими деревянными языками, по которому ударяют палочками, смазанными камедью из млечного сока растений; и колокольчики ацтеков, «иотли», подвешенные гроздьями наподобие винограда; и громадный барабан цилиндрической формы, обтянутый змеиной кожей, какой видел некогда в мексиканском храме спутник Кортеса, Бернал Диац, так живо описавший жалобные звуки этого барабана.

Дориана эти инструменты интересовали своей оригинальностью, и он испытывал своеобразное удовлетворение при мысли, что Искусство, как и Природа, создает иногда уродов, оскорбляющих глаз и слух человеческий своими формами и голосами.

Однако они ему скоро надоели. И по вечерам, сидя в своей ложе в опере, один или с лордом Генри, Дориан снова с восторгом слушал «Тангейзера», и ему казалось, что в увертюре к этому великому произведению звучит трагедия его собственной души.

Затем у него появилась новая страсть: драгоценные камни. На одном бале-маскараде он появился в костюме французского адмирала Анн-де-Жуайез, и на его камзоле было нашито пятьсот шестьдесят жемчужин. Это увлечение длилось много лет,— даже, можно сказать, до конца его жизни. Он способен был целые дни перебирать и раскладывать по футлярам свою коллекцию. Здесь были оливково-зеленые хризобе-

риллы, которые при свете лампы становятся красными, кимофаны с серебристыми прожилками, фисташковые перидоты, густо-розовые и золотистые, как вино, топазы, карбункулы, пламенно-алые, с мерцающими внутри четырехконечными звездочками, огненно-красные венисы, оранжевые и фиолетовые шпинели, аметисты, отливавшие то рубином, то сапфиром. Дориана пленяло червонное золото солнечного камня, и жемчужная белизна лунного камня, и радужные переливы в молочном опале. Ему достали в Амстердаме три изумруда, необыкновенно крупных и ярких, и старинную бирюзу, предмет зависти всех знатоков.

Дориан всюду разыскивал не только драгоценные камни, но и интереснейшие легенды о них. Так, например, в сочинении Альфонсо «Clericalis Disciplina»[1] упоминается о змее с глазами из настоящего гиацинта, а в романтической истории Александра рассказывается, что владыка Эматии видел в долине Иордана змей «с выросшими на их спинах изумрудными ошейниками».

В мозгу дракона, как повествует Филострат, находится драгоценный камень, «и если показать чудовищу золотые письмена и пурпурную ткань, оно уснет волшебным сном, и его можно умертвить».

По свидетельству великого алхимика Пьера де Бонифаса, алмаз может сделать человека невидимым, а индийский агат одаряет его красноречием. Сердолик утишает гнев, гиацинт наводит сон, аметист рассеивает винные пары. Гранат изгоняет из человека бесов, а от аквамарина бледнеет луна. Селенит убывает и прибывает вместе с луной, а мелоций, изобличающий вора, теряет силу только от крови козленка.

Леонард Камилл видел извлеченный из мозга только что убитой жабы белый камень, который оказался отличным противоядием. А безоар, который находят в сердце аравийского оленя,— чудодейственный амулет против чумы. В гнездах каких-то аравийских птиц попадается камень аспилат, который, как утверждает Демокрит, предохраняет от огня того, кто его носит.

В день своего коронования король цейлонский проезжал по улицам столицы с большим рубином в

---

[1] «Наставления для клириков» *(лат.)*.

руке. Ворота дворца пресвитера Иоанна «были из сердолика, и в них был вставлен рог ехидны — для того, чтобы никто не мог внести яда во дворец». На шпиле красовались «два золотых яблока, а в них два карбункула — для того, чтобы днем сияло золото, а ночью — карбункулы». В странном романе Лоджа «Жемчужина Америки» рассказывается, что в покоях королевы можно было увидеть «серебряные изображения всех целомудренных женщин мира, которые гляделись в красивые зеркала из хризолитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов». Марко Поло видел, как жители Чипангу кладут в рот своим мертвецам розовые жемчужины. Существует легенда о чудище морском, влюбленном в жемчужину. Когда жемчужина эта была выловлена водолазом для короля Перозе, чудище умертвило похитителя и в течение семи лун оплакивало свою утрату. Позднее, как повествует Прокопий, гунны заманили короля Перозе в западню и он выбросил жемчужину. Ее нигде не могли найти, хотя император Анастасий обещал за нее пятьсот фунтов золота.

А король малабарский показывал одному венецианцу четки из трехсот четырех жемчужин — по числу богов, которым этот король поклонялся.

Когда герцог Валентинуа, сын Александра Шестого, приехал в гости к французскому королю Людовику Двенадцатому, его конь, если верить Брантому, был весь покрыт золотыми листьями, а шляпу герцога украшал двойной ряд рубинов, излучавших ослепительное сияние. У верхового коня Карла Английского на стременах было нашито четыреста двадцать бриллиантов. У Ричарда Второго был плащ, весь покрытый лалами,— он оценивался в тридцать тысяч марок. Холл так описывает костюм Генриха Восьмого, ехавшего в Тауэр на церемонию своего коронования: «На короле был кафтан из золотой парчи, нагрудник, расшитый бриллиантами и другими драгоценными камнями, и широкая перевязь из крупных лалов». Фаворитки Якова Первого носили изумрудные серьги в филигранной золотой оправе. Эдуард Второй подарил Пирсу Гейвстону доспехи червонного золота, богато украшенные гиацинтами, колет из золотых роз, усыпанный бирюзой, и шапочку, расшитую жемчугами. Генрих Второй носил перчатки, до локтя унизанные дорогими камнями, а на его охотничьей рука-

вице были нашиты двенадцать рубинов и пятьдесят две крупные жемчужины. Герцогская шапка Карла Смелого, последнего из этой династии бургундских герцогов, была отделана грушевидным жемчугом и сапфирами.

Как красива была когда-то жизнь! Как великолепна в своей радующей глаз пышности! Даже читать об этой отошедшей в прошлое роскоши было наслаждением.

Позднее Дориан заинтересовался вышивками и гобеленами, заменившими фрески в прохладных жилищах народов Северной Европы. Углубившись в их изучение,— а Дориан обладал удивительной способностью уходить целиком в то, чем занимался,— он чуть ли не с горестью замечал, как разрушает Время все прекрасное и неповторимое.

Сам-то он, во всяком случае, избежал этой участи. Проходило одно лето за другим, и много раз уже расцветали и увядали желтые жонкили, и безумные ночи вновь и вновь повторялись во всем своем ужасе и позоре, а Дориан не менялся. Никакая зима не портила его лица, не убивала его цветущей прелести. Насколько же иной была судьба вещей, созданных людьми! Куда они девались? Где дивное одеяние шафранного цвета с изображением битвы богов и титанов, сотканное смуглыми девами для Афины Паллады? Где велариум, натянутый по приказу Нерона над римским Колизеем, это громадное алое полотно, на котором было изображено звездное небо и Аполлон на своей колеснице, влекомой белыми конями в золотой упряжи? Дориан горячо жалел, что не может увидеть вышитые для жреца Солнца изумительные салфетки, на которых были изображены всевозможные лакомства и яства, какие только можно пожелать для пиров; или погребальный покров короля Хильперика, усеянный тремя сотнями золотых пчел; или возбудившие негодование епископа Понтийского фантастические одеяния — на них изображены были «львы, пантеры, медведи, собаки, леса, скалы, охотники,—словом, все, что художник может увидеть в природе»; или ту одежду принца Карла Орлеанского, на рукавах которой были вышиты стихи, начинавшиеся словами: «Madame, je suis tout joyeux»[1],

---

[1] Сударыня, я очень счастлив (*фр.*).

и музыка к ним, причем нотные линейки вышиты были золотом, а каждый нотный знак (четырехугольный, как принято было тогда) — четырьмя жемчужинами.

Дориан прочел описание комнаты, приготовленной в Реймском дворце для королевы Иоанны Бургундской. На стенах были вышиты «тысяча триста двадцать один попугай и пятьсот шестьдесят одна бабочка, на крыльях у птиц красовался герб королевы, и все из чистого золота».

Траурное ложе Екатерины Медичи было обито черным бархатом, усеянным полумесяцами и солнцами. Полог был узорчатого шелка с венками и гирляндами зелени по золотому и серебряному фону и бахромой из жемчуга. Стояло это ложе в спальне, где стены были увешаны гербами королевы из черного бархата на серебряной парче. В покоях Людовика Четырнадцатого были вышиты золотом кариатиды высотой в пятнадцать футов. Парадное ложе польского короля, Яна Собеского, стояло под шатром из золотой смирнской парчи с вышитыми бирюзой строками из Корана. Поддерживавшие его колонки, серебряные, вызолоченные, дивной работы, были богато украшены эмалевыми медальонами и драгоценными камнями. Шатер этот поляки взяли в турецком лагере под Веной. Под его золоченым куполом прежде стояло знамя пророка Магомета.

В течение целого года Дориан усердно коллекционировал самые лучшие, какие только можно было найти, вышивки и ткани. У него были образцы чудесной индийской кисеи из Дели, затканной красивым узором из золотых пальмовых листьев и радужных крылышек скарабеев; газ из Дакки, за свою прозрачность получивший на Востоке названия «ткань из воздуха», «водяная струя», «вечерняя роса»; причудливо разрисованные ткани с Явы, желтые китайские драпировки тончайшей работы; книги в переплетах из атласа цвета корицы или красивого синего шелка, затканного лилиями, цветком французских королей, птицами и всякими другими рисунками; вуали из венгерского кружева, сицилийская парча и жесткий испанский бархат; грузинские изделия с золотыми цехинами и японские «фукусас» золотисто-зеленых тонов с вышитыми по ним птицами чудесной окраски.

Особое пристрастие имел Дориан к церковным облачениям, как и ко всему, что связано с религиозными обрядами. В больших кедровых сундуках, стоявших на западной галерее его дома, он хранил множество редчайших и прекраснейших одежд, достойных быть одеждами невест Христовых, ибо невеста Христова должна носить пурпур, драгоценности и тонкое полотно, чтобы укрыть свое бескровное тело, истощенное добровольными лишениями, израненное самобичеваниями. Дориан был также обладателем великолепной ризы из малинового шелка и золотой парчи с повторяющимся узором — золотыми плодами граната, венками из шестилепестковых цветов и вышитыми мелким жемчугом ананасами. Орарь был разделен на квадраты, и на каждом квадрате изображены сцены из жизни пресвятой девы, а ее венчание было вышито цветными шелками на капюшоне. Это была итальянская работа XV века.

Другая риза была из зеленого бархата, на котором листья аканта, собранные сердцевидными пучками, и белые цветы на длинных стеблях вышиты были серебряными нитями и цветным бисером; на застежке золотом вышита голова серафима, а орарь заткан ромбовидным узором, красным и золотым, и усеян медальонами с изображениями святых и великомучеников, среди них и святого Себастьяна.

Были у Дориана и другие облачения священников — из шелка янтарного цвета и голубого, золотой парчи, желтой камки и глазета, на которых были изображены Страсти господни и распятие, вышиты львы, павлины и всякие эмблемы; были далматики из белого атласа и розового штофа с узорами из тюльпанов, дельфинов и французских лилий, были покровы для алтарей из малинового бархата и голубого полотна, священные хоругви, множество антиминсов и покровы для потиров. Мистические обряды, для которых употреблялись эти предметы, волновали воображение Дориана.

Эти сокровища, как и все, что собрал Дориан Грей в своем великолепно убранном доме, помогали ему хоть на время забыться, спастись от страха, который порой становился уже почти невыносимым. В нежилой, запертой комнате, где он провел когда-то так много дней своего детства, он сам поместил теперь роковой портрет, в чьих изменившихся чертах читал по-

стыдную правду о своей жизни, и закрыл его пурпурно-золотым покрывалом. По нескольку недель Дориан не заглядывал сюда и забывал отвратительное лицо на полотне. В это время к нему возвращалась прежняя беззаботность, светлая веселость, страстное упоение жизнью. Потом он вдруг ночью, тайком ускользнув из дому, отправлялся в какие-то грязные притоны близ Блу-Гэйт-Филдс и проводил там дни до тех пор, пока его оттуда не выгоняли. А воротясь домой, садился перед портретом и глядел на него, порой ненавидя его и себя, порой же — с той гордостью индивидуалиста, которая влечет его навстречу греху, и улыбался с тайным злорадством своему безобразному двойнику, который обречен был нести предназначенное ему, Дориану, бремя.

Через несколько лет Дориан уже не в силах был подолгу оставаться где-либо вне Англии. Он отказался от виллы в Трувиле, которую снимал вместе с лордом Генри, и от обнесенного белой стеной домика в Алжире, где они не раз вдвоем проводили зиму. Он не мог выносить разлуки с портретом, который занимал такое большое место в его жизни. И, кроме того, боялся, как бы в его отсутствие в комнату, где стоял портрет, кто-нибудь не забрался, несмотря на надежные засовы, сделанные по его распоряжению.

Впрочем, Дориан был вполне уверен, что если кто и увидит портрет, то ни о чем не догадается. Правда, несмотря на отталкивающие следы пороков, портрет сохранил явственное сходство с ним, но что же из этого? Дориан высмеял бы всякого, кто попытался бы его шантажировать. Не он писал портрет,— так кто же станет винить его в этом постыдном безобразии? Да если бы он и рассказал людям правду,— разве кто поверит?

И все-таки он боялся. Порой, когда он в своем большом доме в Ноттингемшире принимал гостей, светскую молодежь своего круга, среди которой у него было много приятелей, и развлекал их, поражая все графство расточительной роскошью и великолепием этих празднеств, он внезапно, в разгаре веселья, покидал гостей и мчался в Лондон, чтобы проверить, не взломана ли дверь классной, на месте ли портрет. Что, если его уже украли? Самая мысль об этом леденила кровь Дориана. Ведь тогда свет узнает его тайну! Быть может, люди уже и так кое-что подозревают?

Да, он очаровывал многих, но немало было и таких, которые относились к нему с недоверием. Его чуть не забаллотировали в одном вест-эндском клубе, хотя по своему рождению и положению в обществе он имел полное право стать членом этого клуба. Рассказывали также, что когда кто-то из приятелей Дориана привел его в курительную комнату Черчилл-клуба, герцог Бервикский, а за ним и другой джентльмен встали и демонстративно вышли. Темные слухи стали ходить о нем, когда ему было уже лет двадцать пять. Говорили, что его кто-то видел в одном из грязных притонов отдаленного квартала Уайтчепла, где у него вышла стычка с иностранными матросами, что он водится с ворами и фальшивомонетчиками и посвящен в тайны их ремесла. Об его странных отлучках знали уже многие, и, когда он после них снова появлялся в обществе, мужчины шептались по углам, а проходя мимо него, презрительно усмехались или устремляли на него холодные, испытующие взгляды, словно желая узнать наконец правду о нем.

Дориан, разумеется, не обращал внимания на такие дерзости и знаки пренебрежения, а для большинства людей его открытое добродушие и приветливость, обаятельная, почти детская улыбка, невыразимое очарование его прекрасной неувядающей молодости были достаточным опровержением возводимой на него клеветы — так эти люди называли слухи, ходившие о Дориане.

Однако же в свете было замечено, что люди, которые раньше считались близкими друзьями Дориана, стали его избегать. Женщины, безумно влюбленные в него, для него пренебрегшие приличиями и бросившие вызов общественному мнению, теперь бледнели от стыда и ужаса, когда Дориан Грей входил в комнату.

Впрочем, темные слухи о Дориане только придавали ему в глазах многих еще больше очарования, странного и притягательного. Притом и его богатство до некоторой степени обеспечивало ему безопасность. Общество — по крайней мере, цивилизованное общество — не очень-то склонно верить тому, что дискредитирует людей богатых и приятных. Оно инстинктивно понимает, что хорошие манеры важнее добродетели, и самого почтенного человека ценит гораздо меньше, чем того, кто имеет хорошего повара. И, в сущности,

это правильно: когда вас в каком-нибудь доме угостили плохим обедом или скверным вином, то вас очень мало утешает сознание, что хозяин дома в личной жизни человек безупречно нравственный. Как сказал однажды лорд Генри, когда обсуждался этот вопрос,— самые высокие добродетели не искупают вины человека, в доме которого вам подают недостаточно горячие кушанья. И в защиту такого мнения можно сказать многое: Ибо в хорошем обществе царят — или должны бы царить — те же законы, что в искусстве: форма здесь играет существенную роль. Ей должна быть придана внушительная торжественность и театральность церемонии, она должна сочетать в себе неискренность романтической пьесы с остроумием и блеском, так пленяющими нас в этих пьесах. Разве притворство — такой уж великий грех? Вряд ли. Оно — только способ придать многообразие человеческой личности.

Так, по крайней мере, думал Дориан Грей. Его поражала ограниченность тех, кто представляет себе наше «я» как нечто простое, неизменное, надежное и однородное в своей сущности. Дориан видел в человеке существо с мириадом жизней и мириадом ощущений, существо сложное и многообразное, в котором заложено непостижимое наследие мыслей и страстей, и даже плоть его заражена чудовищными недугами умерших предков.

Дориан любил бродить по холодной и мрачной портретной галерее своего загородного дома и всматриваться в портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт, о котором Фрэнсис Осборн в своих «Мемуарах о годах царствования королевы Елизаветы и короля Якова» рассказывает, что «он был любимцем двора за свою красоту, которая недолго его украшала». Дориан спрашивал себя: не является ли его собственная жизнь повторением жизни молодого Герберта? Быть может, в их роду какой-то отравляющий микроб переходил от одного к другому, пока не попал в его собственное тело? Уж не подсознательное ли воспоминание о рано отцветшей красоте далекого предка побудило его, Дориана, неожиданно и почти без всякого повода высказать в мастерской Бэзила Холлуорда безумное желание, так изменившее всю его жизнь?

А вот в красном камзоле с золотым шитьем, в украшенной бриллиантами короткой мантии, в брыжах с золотым кантом и таких же манжетах стоит сэр Энтони Шерард, а у ног его сложены доспехи, серебряные с чернью. Какое наследие оставил он своему потомку? Может быть, от этого любовника Джованны Неаполитанской перешли к нему, Дориану, какие-то постыдные пороки? И не являются ли его поступки только осуществленными желаниями этого давно умершего человека, при жизни не дерзнувшего их осуществить?

Дальше с уже выцветающего полотна улыбалась Дориану леди Елизавета Девере в кружевном чепце и расшитом жемчугом корсаже с разрезными розовыми рукавами. В правой руке цветок, а в левой — эмалевое ожерелье из белых и красных роз. На столике около нее лежат мандолина и яблоко, на ее остроносых башмачках — пышные зеленые розетки. Дориану была известна жизнь этой женщины и странные истории, которые рассказывались о ее любовниках. Не унаследовал ли он и какие-то свойства ее темперамента? Ее удлиненные глаза с тяжелыми веками, казалось, глядели на него с любопытством.

Ну а что досталось ему от Джорджа Уиллоуби, мужчины в напудренном парике и с забавными мушками на лице? Какое недоброе лицо, смуглое, мрачное, с ртом сладострастно-жестоким, в складке которого чувствуется надменное презрение. Желтые костлявые руки сплошь унизаны перстнями и полуприкрыты тонкими кружевами манжет. Этот щеголь восемнадцатого века в молодости был другом лорда Феррарса.

А второй лорд Бикингем, товарищ принца-регента в дни его самых отчаянных сумасбродств и один из свидетелей его тайного брака с миссис Фицгерберт? Какой гордый вид у этого красавца с каштановыми кудрями, сколько дерзкого высокомерия в его позе! Какие страсти оставил он в наследство потомку? Современники считали его человеком без чести. Он первенствовал на знаменитых оргиях в Карлтон-Хаусе. На груди его сверкает орден Подвязки...

Рядом висит портрет его жены, узкогубой и бледной женщины в черном. «И ее кровь тоже течет в моих жилах,— думал Дориан.— Как все это любопытно!»

А вот мать. Женщина с лицом леди Гамильтон и влажными, словно омоченными в вине губами...

Дориан хорошо знал, что он унаследовал от нее: свою красоту и страстную влюбленность в красоту других. Она улыбается ему с портрета, на котором художник изобразил ее вакханкой. В волосах ее виноградные листья. Из чаши, которую она держит в руках, льется пурпурная влага. Краски лица на портрете потускнели, но глаза сохранили удивительную глубину и яркость. Дориану казалось, что они следуют за ним, куда бы он ни шел.

А ведь у человека есть предки не только в роду: они у него есть и в литературе. И многие из этих литературных предков, пожалуй, ближе ему по типу и темпераменту, а влияние их, конечно, ощущается им сильнее. В иные минуты Дориану Грею казалось, что вся история человечества — лишь летопись его собственной жизни, не той действительной, созданной обстоятельствами, а той, которой он жил в своем воображении, покорный требованиям мозга и влечениям страстей. Ему были близки и понятны все те странные и страшные образы, что прошли на арене мира и сделали грех столь соблазнительным, зло — столь утонченным. Казалось, жизнь их каким-то таинственным образом связана с его жизнью.

Герой увлекательной книги, которая оказала на Дориана столь большое влияние, тоже был одержим такой фантазией. В седьмой главе он рассказывает, как он в обличье Тиберия, увенчанный лаврами, предохраняющими от молнии, сиживал в саду на Капри и читал бесстыдные книги Элефантиды, а вокруг него важно прохаживались павлины и карлики, и флейтист дразнил кадильщика фимиама. Он был и Калигулой, бражничал в конюшнях с наездниками в зеленых туниках и ужинал из яслей слоновой кости вместе со своей лошадью, украшенной бриллиантовой повязкой на лбу. Он был Домицианом и, бродя по коридору, облицованному плитами полированного мрамора, угасшим взором искал в них отражения кинжала, которому суждено пресечь его дни, и томился тоской, taedium vitae, страшным недугом тех, кому жизнь ни в чем не отказывала. Сидя в цирке, он сквозь прозрачный изумруд любовался кровавой резней на арене, а потом на носилках, украшенных жемчугом и пурпуром, влекомых мулами с серебряными подковами, возвращался в свой Золотой дворец Гранатовой аллеей, провожаемый криками толпы, прокли-

навщей его, цезаря Нерона. Он был и Гелиогабалом, который, раскрасив себе лицо, сидел за прялкой вместе с женщинами и приказал доставить богиню Луны из Карфагена, чтобы сочетать ее мистическим браком с Солнцем.

Вновь и вновь перечитывал Дориан эту фантастическую главу и две следующих, в которых, как на каких-то удивительных гобеленах или эмалях искусной работы, запечатлены были прекрасные и жуткие лики тех, кого Пресыщенность, Порок и Кровожадность превратили в чудовищ или безумцев. Филиппо, герцог Миланский, который убил свою жену и намазал ей губы алым ядом, чтобы ее любовник вкусил смерть с мертвых уст той, кого он ласкал. Венецианский Пьетро Барби, известный под именем Павла Второго и в своем тщеславии добившийся, чтобы его величали «Формозус», то есть «Прекрасный»; его тиара, стоившая двести тысяч флоринов, была приобретена ценой страшного преступления. Джан Мария Висконти, травивший людей собаками; когда он был убит, труп его усыпала розами любившая его гетера. Цезарь Борджиа на белом коне — с ним рядом скакало братоубийство, и на плаще его была кровь Перотто. Молодой кардинал, архиепископ Флоренции, сын и фаворит папы Сикста Четвертого, Пьетро Риарио, чья красота равнялась только его развращенности; он принимал Леонору Арагонскую в шатре из белого и алого шелка, украшенном нимфами и кентаврами, и велел позолотить мальчика, который должен был на пиру изображать Ганимеда или Гиласа. Эзелин, чью меланхолию рассеивало только зрелище смерти,— он был одержим страстью к крови, как другие одержимы страстью к красному вину; по преданию, он был сыном дьявола и обманул своего отца, играя с ним в кости на собственную душу. Джамбатиста Чибо, в насмешку именовавший себя Невинным, тот Чибо, в чьи истощенные жилы еврей-лекарь влил кровь трех юношей. Сиджизмондо Малатеста, любовник Изотты и сюзеренный властитель Римини, который задушил салфеткой Поликсену, а Джиневре д'Эсте поднес яд в изумрудном кубке; он для культа постыдной страсти воздвиг языческий храм, где совершались христианские богослужения. Изображение этого врага бога и людей сожгли в Риме. Карл Шестой, который так страстно любил жену брата, что один прокаженный

предсказал ему безумие от любви; когда ум его помутился, его успокаивали только сарацинские карты с изображениями Любви, Смерти и Безумия. И, наконец, Грифонетто Бальони в нарядном камзоле и усаженной алмазами шляпе на акантоподобных кудрях, убийца Асторре и его невесты, а также Симонетто и его пажа, столь прекрасный, что, когда он умирал на желтой пьяцце Перуджи, даже ненавидевшие его не могли удержаться от слез, а проклявшая его Аталанта благословила его.

Все они таили в себе какую-то страшную притягательную силу. Они снились Дориану по ночам, тревожили его воображение днем. Эпоха Возрождения знала необычайные способы отравления: отравляла с помощью шлема или зажженного факела, вышитой перчатки или драгоценного веера, раззолоченных мускусных шариков и янтарного ожерелья. А Дориан Грей был отравлен книгой. И в иные минуты Зло было для него лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни.

Глава XII

Это было девятого ноября и (как часто вспоминал потом Дориан) накануне дня его рождения, когда ему исполнилось тридцать восемь лет.

Часов в одиннадцать вечера он возвращался домой от лорда Генри, у которого обедал. Он шел пешком, до глаз закутанный в шубу, так как ночь была холодная и туманная. На углу Гровенор-сквер и Саут-Одли-стрит мимо него во мгле промелькнул человек, шедший очень быстро с саквояжем в руке. Воротник его серого пальто был поднят, но Дориан узнал Бэзила Холлуорда. Неизвестно почему, его вдруг охватил какой-то безотчетный страх. Он и виду не подал, что узнал Бэзила, и торопливо зашагал дальше.

Но Холлуорд успел его заметить. Дориан слышал, как он остановился и затем стал его догонять. Через минуту рука Бэзила легла на его плечо.

— Дориан! Какая удача! Я ведь дожидался у вас в библиотеке с девяти часов. Потом наконец сжалился над вашим усталым лакеем и сказал ему, чтобы он выпустил меня и шел спать. Ждал я вас потому, что сегодня двенадцатичасовым уезжаю в Париж, и мне

очень нужно перед отъездом с вами потолковать. Когда вы прошли мимо, я узнал вас, или, вернее, вашу шубу, но все же сомневался... А вы-то разве не узнали меня?

— В таком тумане, милый мой Бэзил? Я даже Гровенор-сквер не узнаю. Думаю, что мой дом где-то здесь близко, но и в этом вовсе не уверен... Очень жаль, что вы уезжаете, я вас не видел целую вечность. Надеюсь, вы скоро вернетесь?

— Нет, я пробуду за границей месяцев шесть. Хочу снять в Париже мастерскую и запереться в ней, пока не окончу одну задуманную мною большую вещь. Ну, да я не о своих делах хотел говорить с вами. А вот и ваш подъезд. Позвольте мне войти на минуту.

— Пожалуйста, я очень рад. Но вы не опоздаете на поезд? — небрежно бросил Дориан Грей, взойдя по ступеням и отпирая дверь своим ключом.

При свете фонаря, пробивавшемся сквозь туман, Холлуорд посмотрел на часы.

— У меня еще уйма времени,— сказал он.— Поезд отходит в четверть первого, а сейчас только одиннадцать. Я ведь все равно шел в клуб, когда мы встретились,— рассчитывал застать вас там. С багажом возиться мне не придется — я уже раньше отправил все тяжелые вещи. Со мной только этот саквояж, и за двадцать минут я доберусь до вокзала Виктории.

Дориан посмотрел на него с улыбкой.

— Вот как путешествует известный художник! Ручной саквояж и осеннее пальтишко! Ну, входите же скорее, а то туман заберется в дом. И, пожалуйста, не затевайте серьезных разговоров. В наш век ничего серьезного не происходит. Во всяком случае, не должно происходить.

Холлуорд только головой покачал и прошел вслед за Дорианом в его библиотеку. В большом камине ярко пылали дрова, лампы были зажжены, а на столике маркетри стоял открытый серебряный погребец с напитками, сифон с содовой водой и высокие хрустальные бокалы.

— Видите, ваш слуга постарался, чтобы я чувствовал себя как дома. Принес все, что нужно человеку, в том числе и самые лучшие ваши папиросы. Он очень гостеприимный малый и нравится мне гораздо больше, чем тот француз, прежний ваш камердинер. Кстати, куда он девался?

Дориан пожал плечами.

— Кажется, женился на горничной леди Рэдли и увез ее в Париж, где она подвизается в качестве английской портнихи. Там теперь, говорят, англомания в моде. Довольно глупая мода, не правда ли?.. А Виктор, между прочим, был хороший слуга, я не мог на него пожаловаться. Он был мне искренне предан и, кажется, очень горевал, когда я его уволил. Но я его почему-то невзлюбил... Знаете, иногда придет в голову какой-нибудь вздор... Еще стакан бренди с содовой? Или вы предпочитаете рейнское с сельтерской? Я всегда пью рейнское. Наверное, в соседней комнате найдется бутылка.

— Спасибо, я ничего больше не буду пить,— отозвался художник. Он снял пальто и шляпу, бросил их на саквояж, который еще раньше поставил в углу.— Так вот, Дориан мой милый, у нас будет серьезный разговор. Не хмурьтесь, пожалуйста,— этак мне очень трудно будет говорить.

— Ну, в чем же дело? — воскликнул Дориан нетерпеливо, с размаху садясь на диван.— Надеюсь, речь будет не обо мне? Я сегодня устал от себя и рад бы превратиться в кого-нибудь другого.

— Нет, именно о вас,— сказал Холлуорд суровым тоном.— Это необходимо. Я отниму у вас каких-нибудь полчаса, не больше.

— Полчаса! — пробормотал Дориан со вздохом и закурил папиросу.

— Не так уж это много, Дориан, и разговор этот в ваших интересах. Мне думается, вам следует узнать, что о вас в Лондоне говорят ужасные вещи.

— А я об этом ничего знать не хочу. Я люблю слушать сплетни о других, а сплетни обо мне меня не интересуют. В них нет прелести новизны.

— Они *должны* вас интересовать, Дориан. Каждый порядочный человек дорожит своей репутацией. Ведь вы же не хотите, чтобы люди считали вас развратным и бесчестным? Конечно, у вас положение в обществе, большое состояние и все прочее. Но богатство и высокое положение — еще не все. Поймите, я вовсе не верю этим слухам. Во всяком случае, я не могу им верить, когда на вас смотрю. Ведь порок всегда накладывает свою печать на лицо человека. Его не скроешь. У нас принято говорить о «тайных» пороках. Но тайных пороков не бывает. Они сказываются в

линиях рта, в отяжелевших веках, даже в форме рук. В прошлом году один человек,—вы его знаете, но называть его не буду,—пришел ко мне заказать свой портрет. Я его раньше никогда не встречал, и в то время мне ничего о нем не было известно—наслышался я о нем немало только позднее. Он предложил мне за портрет бешеную цену, но я отказался писать его: в форме его пальцев было что-то глубоко мне противное. И теперь я знаю, что чутье меня не обмануло,—у этого господина ужасная биография. Но вы, Дориан... Ваше честное, открытое и светлое лицо, ваша чудесная, ничем не омраченная молодость мне порукой, что дурная молва о вас—клевета, и я не могу ей верить. Однако я теперь вижу вас очень редко, вы никогда больше не заглядываете ко мне в мастерскую, и оттого, что вы далеки от меня, я теряюсь, когда слышу все те мерзости, какие о вас говорят, не знаю, что отвечать на них. Объясните мне, Дориан, почему такой человек, как герцог Бервикский, встретив вас в клубе, уходит из комнаты, как только вы в нее входите? Почему многие почтенные люди лондонского света не хотят бывать у вас в доме и не приглашают вас к себе? Вы были дружны с лордом Стэйвли. На прошлой неделе я встретился с ним на званом обеде... За столом кто-то упомянул о вас—речь шла о миниатюрах, которые вы одолжили для выставки Дадли. Услышав ваше имя, лорд Стэйвли с презрительной гримасой сказал, что вы, быть может, очень тонкий знаток искусства, но с таким человеком, как вы, нельзя знакомить ни одну чистую девушку, а порядочной женщине неприлично даже находиться с вами в одной комнате. Я напомнил ему, что вы—мой друг, и потребовал объяснений. И он дал их мне. Дал напрямик, при всех! Какой это был ужас! Почему дружба с вами губительна для молодых людей? Этот несчастный мальчик, гвардеец, что недавно покончил с собой,—ведь он был ваш близкий друг. С Генри Эштоном вы были неразлучны,—а он запятнал свое имя и вынужден был покинуть Англию... Почему так низко пал Адриан Синглтон? А единственный сын лорда Кента почему сбился с пути? Вчера я встретил его отца на Сент-Джеймс-стрит. Сразу видно, что он убит стыдом и горем. А молодой герцог Пертский? Что за жизнь он ведет! Какой порядочный человек захочет теперь с ним знаться?

— Довольно, Бэзил! Не говорите о том, чего не знаете! — перебил Дориан Грей, кусая губы. В тоне его слышалось глубочайшее презрение.— Вы спрашиваете, почему Бервик выходит из комнаты, когда я вхожу в нее? Да потому, что *мне* о нем все известно, а вовсе не потому, что *ему* известно что-то обо мне. Как может быть чистой жизнь человека, в жилах которого течет *такая* кровь? Вы ставите мне в вину поведение Генри Эштона и молодого герцога Пертского. Я, что ли, привил Эштону его пороки и развратил герцога? Если этот глупец, сын Кента, женился на уличной девке — при чем тут я? Адриан Синглтон подделал подпись своего знакомого на векселе — так и это тоже моя вина? Что же, я обязан надзирать за ним? Знаю я, как у нас в Англии любят сплетничать. Мещане кичатся своими предрассудками и показной добродетелью и, обжираясь за обеденным столом, шушукаются о так называемой «распущенности» знати, стараясь показать этим, что и они вращаются в высшем обществе и близко знакомы с теми, кого они чернят. В нашей стране достаточно человеку выдвинуться благодаря уму или другим качествам, как о нем начинают болтать злые языки. А те, кто щеголяет своей мнимой добродетелью,— они-то сами как ведут себя? Дорогой мой, вы забываете, что мы живем в стране лицемеров.

— Ах, Дориан, не в этом дело! — горячо возразил Холлуорд.— Знаю, что в Англии у нас не все благополучно, что общество наше никуда не годится. Оттого-то я и хочу, чтобы вы были на высоте. А вы оказались не на высоте. Мы вправе судить о человеке по тому влиянию, какое он оказывает на других. А ваши друзья, видимо, утратили всякое понятие о чести, о добре, о чистоте. Вы заразили их безумной жаждой наслаждений. И они скатились на дно. Это вы их туда столкнули! Да, вы их туда столкнули, и вы еще можете улыбаться как ни в чем не бывало,— вот как улыбаетесь сейчас... Я знаю и кое-что похуже. Вы с Гарри — неразлучные друзья. Уже хотя бы поэтому не следовало вам позорить имя его сестры, делать его предметом сплетен и насмешек.

— Довольно, Бэзил! Вы слишком много себе позволяете!

— Я должен сказать все,— и вы меня выслушаете. Да, выслушаете! До вашего знакомства с леди

Гвендолен никто не смел сказать о ней худого слова, даже тень сплетни не касалась ее. А теперь?.. Разве хоть одна приличная женщина в Лондоне рискнет показаться с нею вместе в Парке? Даже ее детям не позволили жить с нею... И это еще не все. Много еще о вас рассказывают,— например, люди видели, как вы, крадучись, выходите на рассвете из грязных притонов, как переодетым пробираетесь тайком в самые отвратительные трущобы Лондона. Неужели это правда? Неужели это возможно? Когда я в первый раз услышал такие толки, я расхохотался. Но я их теперь слышу постоянно — и они меня приводят в ужас. А что творится в вашем загородном доме? Дориан, если бы вы знали, какие мерзости говорят о вас! Вы скажете, что я беру на себя роль проповедника — что ж, пусть так! Помню, Гарри утверждал как-то, что каждый, кто любит поучать других, начинает с обещания, что это будет в первый и последний раз, а потом беспрестанно нарушает свое обещание. Да, я намерен отчитать вас. Я хочу, чтобы вы вели такую жизнь, за которую люди уважали бы вас. Хочу, чтобы у вас была не только незапятнанная, но и хорошая репутация. Чтобы вы перестали водиться со всякой мразью. Нечего пожимать плечами и притворяться равнодушным! Вы имеете на людей удивительное влияние, так пусть же оно будет не вредным, а благотворным. Про вас говорят, что вы развращаете всех, с кем близки, и, входя к человеку в дом, навлекаете на этот дом позор. Не знаю, верно это или нет,— как я могу это знать? — но так про вас говорят. И кое-чему из того, что я слышал, я не могу не верить. Лорд Глостер — мой старый университетский товарищ, мы были с ним очень дружны в Оксфорде. И он показал мне письмо, которое перед смертью написала ему жена, умиравшая в одиночестве на своей вилле в Ментоне. Это страшная исповедь — ничего подобного я никогда не слышал. И она обвиняет вас. Я сказал Глостеру, что это невероятно, что я вас хорошо знаю и вы не способны на подобные гнусности. А действительно ли я вас знаю? Я уже задаю себе такой вопрос. Но, чтобы ответить на него, я должен был бы увидеть вашу душу...

— Увидеть мою душу! — повторил вполголоса Дориан Грей и встал с дивана, бледный от страха.

— Да,— сказал Холлуорд серьезно, с глубокой печалью в голосе.— Увидеть вашу душу. Но это может один только господь бог.

У Дориана вдруг вырвался горький смех.

— Можете и вы. Сегодня же вечером вы ее увидите собственными глазами! — крикнул он и рывком поднял со стола лампу.— Пойдемте. Ведь это ваших рук дело, так почему бы вам и не взглянуть на него? А после этого можете, если хотите, все поведать миру. Никто вам не поверит. Да если бы и поверили, так только еще больше восхищались бы мною. Я знаю наш век лучше, чем вы, хотя вы так утомительно много о нем болтаете. Идемте же! Довольно вам рассуждать о нравственном разложении. Сейчас вы увидите его воочию.

Какая-то дикая гордость звучала в каждом его слове. Он топал ногой капризно и дерзко, как мальчишка. Им овладела злобная радость при мысли, что теперь бремя его тайны с ним разделит другой, тот, кто написал этот портрет, виновный в его грехах и позоре, и этого человека всю жизнь будут теперь мучить отвратительные воспоминания о том, что он сделал.

— Да,— продолжал он, подходя ближе и пристально глядя в суровые глаза Холлуорда.— Я покажу вам свою душу. Вы увидите то, что, по-вашему, может видеть только господь бог.

Холлуорд вздрогнул и отшатнулся.

— Это кощунство, Дориан, не смейте так говорить! Какие ужасные и бессмысленные слова!

— Вы так думаете? — Дориан снова рассмеялся.

— Конечно! А все, что я вам говорил сегодня, я сказал для вашего же блага. Вы знаете, что я ваш верный друг.

— Не трогайте меня! Договаривайте то, что еще имеете сказать.

Судорога боли пробежала по лицу художника. Одну минуту он стоял молча весь во власти острого чувства сострадания. В сущности, какое он имеет право вмешиваться в жизнь Дориана Грея? Если Дориан совершил хотя бы десятую долю того, в чем его обвиняла молва,— как он, должно быть, страдает!

Холлуорд подошел к камину и долго смотрел на горящие поленья. Языки пламени метались среди белого, как иней, пепла.

— Я жду, Бэзил,— сказал Дориан, резко отчеканивая слова.

Художник обернулся.

— Мне осталось вам сказать вот что: вы должны ответить на мой вопрос. Если ответите, что все эти страшные обвинения ложны от начала до конца,— я вам поверю. Скажите это, Дориан! Разве вы не видите, какую муку я терплю? Боже мой! Я не хочу думать, что вы дурной, развратный, погибший человек!

Дориан Грей презрительно усмехнулся.

— Поднимитесь со мной наверх, Бэзил,— промолвил он спокойно.— Я веду дневник, в нем отражен каждый день моей жизни. Но этот дневник я никогда не выношу из той комнаты, где он пишется. Если вы пойдете со мной, я вам его покажу.

— Ладно, пойдемте, Дориан, раз вы этого хотите. Я уже все равно опоздал на поезд. Ну, не беда, поеду завтра. Но не заставляйте меня сегодня читать этот дневник. Мне нужен только прямой ответ на мой вопрос.

— Вы его получите наверху. Здесь это невозможно. И вам не придется долго читать.

Глава XIII

Дориан вышел из комнаты и стал подниматься по лестнице, а Бэзил Холлуорд шел за ним. Оба ступали осторожно, как люди всегда ходят ночью, инстинктивно стараясь не шуметь. Лампа отбрасывала на стены и ступеньки причудливые тени. От порыва ветра где-то в окнах задребезжали стекла.

На верхней площадке Дориан поставил лампу на пол, и, вынув из кармана ключ, вставил его в замочную скважину.

— Так вы непременно хотите узнать правду, Бэзил?— спросил он, понизив голос.

— Да.

— Отлично.— Дориан улыбнулся и добавил уже другим, жестким тоном:— Вы — единственный человек, имеющий право знать обо мне все. Вы и не подозреваете, Бэзил, какую большую роль сыграли в моей жизни.

Он поднял лампу и, открыв дверь, вошел в комнату. Оттуда повеяло холодом, от струи воздуха огонь в

лампе вспыхнул на миг густо-оранжевым светом. Дориан дрожал.

— Закройте дверь! — шепотом сказал он Холлуорду, ставя лампу на стол.

Холлуорд в недоумении оглядывал комнату. Видно было, что здесь уже много лет никто не жил. Вылинявший фламандский гобелен, какая-то занавешенная картина, старый итальянский сундук и почти пустой книжный шкаф, да еще стол и стул — вот и все, что в ней находилось. Пока Дориан зажигал огарок свечи на каминной полке, Холлуорд успел заметить, что все здесь покрыто густой пылью, а ковер дырявый. За панелью быстро пробежала мышь. В комнате стоял сырой запах плесени.

— Значит, вы полагаете, Бэзил, что один только бог видит душу человека? Снимите это покрывало, и вы увидите мою душу.

В голосе его звучала холодная горечь.

— Вы сошли с ума, Дориан. Или ломаете комедию? — буркнул Холлуорд, нахмурившись.

— Не хотите? Ну, так я сам это сделаю.— Дориан сорвал покрывало с железного прута и бросил его на пол.

Крик ужаса вырвался у художника, когда он в полумраке увидел жуткое лицо, насмешливо ухмылявшееся ему с полотна. В выражении этого лица было что-то возмущавшее душу, наполнявшее ее омерзением. Силы небесные, да ведь это лицо Дориана! Как ни ужасна была перемена, она не совсем еще уничтожила его дивную красоту. В поредевших волосах еще блестело золото, чувственные губы были по-прежнему алы. Осоловелые глаза сохранили свою чудесную синеву, и не совсем еще исчезли благородные линии тонко вырезанных ноздрей и стройной шеи... Да, это Дориан. Но кто же написал его таким? Бэзил Холлуорд как будто узнавал свою работу, да и рама была та самая, заказанная по его рисунку. Догадка эта казалась чудовищно невероятной, но на Бэзила напал страх. Схватив горящую свечу, он поднес ее к картине. В левом углу стояла его подпись, выведенная киноварью, длинными красными буквами.

Но этот портрет — мерзкая карикатура, подлое, бессовестное издевательство! Никогда он, Холлуорд, этого не писал...

И все-таки перед ним стоял тот самый портрет его работы. Он его узнал—и в то же мгновение почувствовал, что кровь словно заледенела в его жилах. Его картина! Что же это значит? Почему она так страшно изменилась?

Холлуорд обернулся к Дориану и посмотрел на него как безумный. Губы его судорожно дергались, пересохший язык не слушался, и он не мог выговорить ни слова. Он провел рукой по лбу — лоб был влажен от липкого пота.

А Дориан стоял, прислонясь к каминной полке, и наблюдал за ним с тем сосредоточенным выражением, какое бывает у людей, увлеченных игрой великого артиста. Ни горя, ни радости не выражало его лицо — только наряженный интерес зрителя. И, пожалуй, во взгляде мелькала искорка торжества. Он вынул цветок из петлицы и нюхал его или делал вид, что нюхает.

— Что же это? — вскрикнул Холлуорд и сам не узнал своего голоса — так резко и странно он прозвучал.

— Много лет назад, когда я был еще почти мальчик,— сказал Дориан Грей, смяв цветок в руке,— мы встретились, и вы тогда льстили мне, вы научили меня гордиться моей красотой. Потом вы меня познакомили с вашим другом, и он объяснил мне, какой чудесный дар — молодость, а вы написали с меня портрет, который открыл мне великую силу красоты. И в миг безумия,— я и сейчас еще не знаю, сожалеть мне об этом или нет,— я высказал желание... или, пожалуй, это была молитва...

— Помню! Ох, как хорошо я это помню! Но не может быть... Нет, это ваша фантазия. Портрет стоит в сырой комнате, и в полотно проникла плесень. Или, может быть, в красках, которыми я писал, оказалось какое-то едкое минеральное вещество... Да, да! А то, что вы вообразили, невозможно.

— Ах, разве есть в мире что-нибудь невозможное? — пробормотал Дориан, подойдя к окну и припав лбом к холодному запотевшему стеклу.

— Вы же говорили мне, что уничтожили портрет!

— Это неправда. Он уничтожил меня.

— Не могу поверить, что это моя картина.

— А разве вы не узнаете в ней свой идеал? — спросил Дориан с горечью.

— Мой идеал, как вы это называете...

— Нет, это вы меня так называли!

— Так что же? Тут не было ничего дурного, и я не стыжусь этого. Я видел в вас идеал, какого никогда больше не встречу в жизни. А это — лицо сатира.

— Это — лицо моей души.

— Боже, чему я поклонялся! У него глаза дьявола!..

— Каждый из нас носит в себе и ад и небо, Бэзил! — воскликнул Дориан в бурном порыве отчаяния.

Холлуорд снова повернулся к портрету и долго смотрел на него.

— Так вот что вы сделали со своей жизнью! Боже, если это правда, то вы, наверное, еще хуже, чем думают ваши враги!

Он поднес свечу к портрету и стал внимательно его рассматривать. Полотно на вид было нетронуто, осталось таким, каким вышло из его рук. Очевидно, ужасная порча проникла изнутри. Под влиянием какой-то неестественно напряженной скрытой жизни портрета проказа порока постепенно разъедала его. Это было страшнее, чем разложение тела в сырой могиле.

Рука Холлуорда так тряслась, что свеча выпала из подсвечника и потрескивала на полу. Он потушил ее каблуком и, тяжело опустившись на расшатанный стул, стоявший у стола, закрыл лицо руками.

— Дориан, Дориан, какой урок, какой страшный урок!

Ответа не было, от окна донеслись только рыдания Дориана.

— Молитесь, Дориан, молитесь! Как это нас учили молиться в детстве? «Не введи нас во искушение... Отпусти нам грехи наши... Очисти нас от скверны...» Помолимся вместе! Молитва, подсказанная вам тщеславием, была услышана. Будет услышана и молитва раскаяния. Я слишком боготворил вас — и за это наказан. Вы тоже слишком любили себя. Оба мы наказаны.

Дориан медленно обернулся к Холлуорду и посмотрел на него полными слез глазами.

— Поздно молиться, Бэзил,— с трудом выговорил он.

— Нет, никогда не поздно, Дориан. Станем на колени и постараемся припомнить слова какой-нибудь молитвы... Кажется, в Писании где-то сказано: «Хотя бы грехи ваши были как кровь, я сделаю их белыми как снег».

— Теперь это для меня уже пустые слова.

— Молчите, не надо так говорить! Вы и без того достаточно нагрешили в жизни. О господи, разве вы не видите, как этот проклятый портрет подмигивает нам?

Дориан взглянул на портрет — и вдруг в нем вспыхнула неукротимая злоба против Бэзила Холлуорда, словно внушенная *тем* Дорианом на портрете, нашептанная его усмехающимися губами. В нем проснулось бешенство загнанного зверя, и в эту минуту он ненавидел человека, сидевшего у стола, так, как никогда никого в жизни.

Он блуждающим взглядом окинул комнату. На раскрашенной крышке стоявшего неподалеку сундука что-то блеснуло и привлекло его внимание. Он сразу сообразил, что это нож, он сам принес его сюда несколько дней назад, чтобы обрезать веревку, и позабыл унести.

Обходя стол, Дориан медленно направился к сундуку. Очутившись за спиной Холлуорда, он схватил нож и повернулся. Холлуорд сделал движение, словно собираясь встать. В тот же миг Дориан подскочил к нему, вонзил ему нож в артерию за ухом и, прижав голову Бэзила к столу, стал наносить удар за ударом.

Раздался глухой стон и ужасный хрип человека, захлебывающегося кровью. Три раза судорожно взметнулись протянутые вперед руки, странно двигая в воздухе скрюченными пальцами. Дориан еще дважды всадил нож... Холлуорд больше не шевелился. Что-то капало на пол. Дориан подождал минуту, все еще прижимая голову убитого к столу. Потом бросил нож и прислушался.

Нигде ни звука, только шелест капель, падающих на вытертый ковер. Дориан открыл дверь и вышел на площадку. В доме царила глубокая тишина. Видно, все спали. Несколько секунд он стоял, перегнувшись через перила, и смотрел вниз, пытаясь что-нибудь различить в черном колодце мрака. Потом вынул ключ из замка и, вернувшись в комнату, запер дверь изнутри.

Мертвец по-прежнему сидел, согнувшись и упав головой на стол; его неестественно вытянутые руки казались очень длинными. Если бы не красная рваная рана на затылке и медленно разливавшаяся по столу темная лужа, можно было бы подумать, что человек просто заснул.

Как быстро все свершилось! Дориан был странно спокоен. Он открыл окно, вышел на балкон. Ветер разогнал туман, и небо было похоже на огромный павлиний хвост, усеянный мириадами золотых глаз. Внизу, на улице, Дориан увидел полисмена, который обходил участок, направляя длинный луч своего фонаря на двери спящих домов. На углу мелькнул и скрылся красный свет проезжавшего кеба. Какая-то женщина, пошатываясь, медленно брела вдоль решетки сквера, и ветер трепал шаль на ее плечах. По временам она останавливалась, оглядывалась, а раз даже запела хриплым голосом, и тогда полисмен, подойдя, что-то сказал ей. Она засмеялась и нетвердыми шагами поплелась дальше.

Налетел резкий ветер, газовые фонари на площади замигали синим пламенем, а голые деревья закачали черными, как чугун, сучьями. Дрожа от холода, Дориан вернулся с балкона в комнату и закрыл окно.

Подойдя к двери на лестницу, он отпер ее. На убитого он даже не взглянул. Он инстинктивно понимал, что главное теперь — не думать о случившемся. Друг, написавший роковой портрет, виновник всех его несчастий, ушел из его жизни. Вот и все.

Выходя, Дориан вспомнил о лампе. Это была довольно редкая вещь мавританской работы, из темного серебра, инкрустированная арабесками вороненой стали и усаженная крупной бирюзой. Ее исчезновение из библиотеки могло быть замечено лакеем, вызвать вопросы... Дориан на миг остановился в нерешительности, затем вернулся и взял лампу со стола. При этом он невольно посмотрел на труп. Как он неподвижен! Как страшна мертвенная белизна его длинных рук! Он напоминал жуткие восковые фигуры паноптикума.

Заперев за собой дверь, Дориан, крадучись, пошел вниз. По временам ступени под его ногами скрипели, словно стонали от боли. Тогда он замирал на месте и выжидал... Нет, в доме все спокойно, это только отзвук его шагов.

Когда он вошел в библиотеку, ему бросились в глаза саквояж и пальто в углу. Их надо было куда-нибудь спрятать. Он открыл потайной шкаф в стене, где лежал костюм, в который он переодевался для своих ночных похождений, и спрятал туда вещи Бэзила, подумав, что их потом можно будет просто сжечь. Затем посмотрел на часы. Было сорок минут второго.

Он сел и принялся размышлять. Каждый год, чуть не каждый месяц в Англии вешают людей за такие преступления, какое он только что совершил. В воздухе словно носится заразительная мания убийства. Должно быть, какая-то кровавая звезда подошла слишком близко к земле...

Однако какие против него улики? Бэзил Холлуорд ушел из его дома в одиннадцать часов. Никто не видел, как он вернулся: почти вся прислуга сейчас в Селби, а камердинер спит...

Париж!.. Да, да, все будут считать, что Бэзил уехал в Париж двенадцатичасовым поездом, как он и намеревался. Он вел замкнутый образ жизни, был до странности скрытен, так что пройдут месяцы, прежде чем его хватятся и возникнут какие-либо подозрения. Месяцы! А следы можно будет уничтожить гораздо раньше.

Вдруг его осенила новая мысль. Надев шубу и шапку, он вышел в переднюю. Здесь постоял, прислушиваясь к медленным и тяжелым шагам полисмена на улице и следя за отблесками его фонаря в окне. Притаив дыхание, он ждал.

Через несколько минут он отодвинул засов и тихонько вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. Потом начал звонить.

Через пять минут появился заспанный и полуодетый лакей.

— Извините, Фрэнсис, что разбудил вас,— сказал Дориан, входя,— я забыл дома ключ. Который час?

— Десять минут третьего, сэр,— ответил слуга, сонно щурясь на часы.

— Третьего? Ох, как поздно! Завтра разбудите меня в девять, у меня с утра есть дело.

— Слушаю, сэр.

— Заходил вечером кто-нибудь?

— Мистер Холлуорд был, сэр. Ждал вас до одиннадцати, потом ушел. Он спешил на поезд.

— Вот как? Жаль, что он меня не застал! Он что-нибудь велел передать?

— Ничего, сэр. Сказал только, что напишет вам из Парижа, если не увидит еще сегодня в клубе.

— Ладно, Фрэнсис. Не забудьте же разбудить меня в девять.

— Не забуду, сэр.

Слуга зашагал по коридору, шлепая ночными туфлями. Дориан бросил пальто и шляпу на столик и пошел к себе в библиотеку. Минут пятнадцать он шагал из угла в угол и размышлял о чем-то, кусая губы. Потом снял с полки Синюю книгу и стал ее перелистывать. Ага, нашел! «Алан Кэмпбел — Мэйфер, Хертфорд-стрит, 152». Да, вот кто ему нужен сейчас!

Глава XIV

На другое утро слуга в девять часов вошел в спальню с чашкой шоколада на подносе и открыл ставни. Дориан спал мирным сном, лежа на правом боку и положив ладонь под щеку. Спал, как ребенок, уставший от игр или занятий.

Чтобы разбудить его, слуге пришлось дважды потрогать за плечо, и наконец Дориан открыл глаза с легкой улыбкой, словно еще не совсем очнувшись от какого-то приятного сна. Однако ему ровно ничего не снилось этой ночью. Сон его не тревожили никакие светлые или мрачные видения. А улыбался он потому, что молодость весела без причин,— в этом ее главное очарование.

Дориан повернулся и, опершись на локоть, стал маленькими глотками пить шоколад. В окна смотрело ласковое ноябрьское солнце. Небо было ясно, и в воздухе чувствовалась живительная теплота, почти как в мае.

Постепенно события прошедшей ночи бесшумной и кровавой чередой с ужасающей отчетливостью стали проходить в мозгу Дориана. Он с дрожью вспоминал все, что пережито, и на мгновение снова проснулась в нем та необъяснимая ненависть к Бэзилу Холлуорду, которая заставила его схватиться за нож. Он даже похолодел от бешенства.

А ведь мертвец все еще сидит там наверху! И теперь, при ярком солнечном свете. Это ужасно! Такое отвратительное зрелище терпимо еще под покровом ночи, но не днем...

Дориан почувствовал, что заболеет или сойдет с ума, если еще долго будет раздумывать об этом. Есть грехи, которые вспоминать сладостнее, чем совершать,— своеобразные победы, которые утоляют не столько страсть, сколько гордость, и тешат душу сильнее, чем они когда-либо тешили и способны тешить чувственность. Но этот грех был не таков, его надо было изгнать из памяти, усыпить маковыми зернами, задушить поскорее, раньше, чем он задушит того, кто его совершил.

Часы пробили половину десятого. Дориан провел рукой по лбу и поспешно встал с постели. Он оделся даже тщательнее обычного, с особой заботливостью выбрал галстук и булавку к нему, несколько раз переменил кольца. За завтраком сидел долго, отдавая честь разнообразным блюдам и беседуя с лакеем относительно новых ливрей, которые намеревался заказать для всей прислуги в Селби. Просмотрел утреннюю почту. Некоторые письма он читал с улыбкой, три его раздосадовали, а одно он перечел несколько раз со скучающей и недовольной миной, потом разорвал. «Убийственная вещь эта женская память!» — вспомнились ему слова лорда Генри.

Напившись черного кофе, он не спеша утер рот салфеткой, жестом остановил выходившего из комнаты лакея и, сев за письменный стол, написал два письма. Одно сунул в карман, другое отдал лакею.

— Снесите это, Фрэнсис, на Хертфорд-стрит, сто пятьдесят два. А если мистера Кэмпбела нет в Лондоне, узнайте его адрес.

Оставшись один, Дориан закурил папиросу и в ожидании принялся рисовать на клочке бумаги сперва цветы и всякие архитектурные орнаменты, потом человеческие лица. Вдруг он заметил, что все лица, которые он рисовал, имели удивительное сходство с Бэзилом Холлуордом. Он нахмурился, бросил рисовать и, подойдя к шкафу, взял с полки первую попавшуюся книгу. Он твердо решил не думать о том, что случилось, пока в этом нет крайней необходимости.

Дориан прилег на кушетку и раскрыл книгу. Это были «Эмали и камеи» Готье в роскошном издании Шарпантье на японской бумаге с гравюрами Жакмара. На переплете из лимонно-желтой кожи был вытиснен узор — золотая решетка и нарисованные пунктиром гранаты. Книгу эту подарил ему Адриан Синглтон. Перелистывая ее, Дориан остановил взгляд на поэме о руке Ласнера, «холодной желтой руке, с которой еще не смыт след преступления, руке с рыжим пушком и пальцами фавна». Дориан с невольной дрожью глянул на свои тонкие белые пальцы — и продолжал читать, пока не дошел до прелестных строф о Венеции:

В волненье легкого размера
Лагун я вижу зеркала,
Где Адриатики Венера
Смеется, розово-бела.

Соборы средь морских безлюдий
В теченье музыкальных фраз
Поднялись, как девичьи груди,
Когда волнует их экстаз.

Челнок пристал с колонной рядом,
Закинув за нее канат.
Пред розовеющим фасадом
Я прохожу ступеней ряд[1].

Какие чудные стихи! Читаешь их, и кажется, будто плывешь по зеленым водам розово-жемчужного города в черной гондоле с серебряным носом и вьющимися на ветру занавесками. Даже самые строки в этой книге напоминали Дориану те бирюзовые полосы, что тянутся по воде за лодкой, когда вы плывете на Лидо. Неожиданные вспышки красок в стихах поэта приводили на память птиц с опалово-радужными шейками, что летают вокруг высокой, золотистой, как мед, кампанилы или с величавой грацией прохаживаются под пыльными сводами сумрачных аркад... Откинув голову на подушки и полузакрыв глаза, Дориан твердил про себя:

Пред розовеющим фасадом
Я прохожу ступеней ряд.

Вся Венеция была в этих двух строчках. Ему вспомнилась осень, проведенная в этом городе, и чудесная любовь, толкавшая его на всякие безумства.

---

[1] Перевод Н. Гумилева.

Романтика вездесуща. Но Венеция, как и Оксфорд, создает ей подходящий фон, а для подлинной романтики фон — это все или почти все...

В Венеции тогда некоторое время жил и Бэзил. Он был без ума от Тинторетто. Бедный Бэзил! Какая ужасная смерть!

Дориан вздохнул и, чтобы отвлечься от этих мыслей, снова принялся перечитывать Готье. Он читал о маленьком кафе в Смирне, где в окна то и дело влетают ласточки, где сидят хаджи, перебирая янтарные четки, где купцы в чалмах курят длинные трубки с кисточками и ведут между собой степенную и важную беседу. Читал об Обелиске на площади Согласия, который в своем одиноком изгнании льет гранитные слезы, тоскуя по солнцу и знойному, покрытому лотосами Нилу, стремясь туда, в страну сфинксов, где живут розовые ибисы и белые грифы с золочеными когтями, где крокодилы с маленькими берилловыми глазками барахтаются в зеленом дымящемся иле... Потом Дориан задумался над теми стихами, что, извлекая музыку из зацелованного мрамора, поют о необыкновенной статуе, которую Готье сравнивал с голосом контральто и называет дивным чудовищем, «monstre charmant» — об изваянии, которое покоится в порфировом зале Лувра.

Но вскоре книга выпала из рук Дориана. Им овладело беспокойство, потом приступ дикого страха. Что, если Алан Кэмпбел уехал из Англии? До его возвращения может пройти много дней. Или вдруг Алан не захочет прийти к нему в дом? Что тогда делать? Ведь каждая минута дорога!

Пять лет назад они с Аланом были очень дружны, почти неразлучны. Потом дружба их внезапно оборвалась. И когда они встречались в свете, улыбался только Дориан Грей, Алан Кэмпбел — никогда.

Кэмпбел был высокоодаренный молодой человек, но ничего не понимал в изобразительном искусстве, и если немного научился понимать красоты поэзии, то этим был целиком обязан Дориану. Единственной страстью Алана была наука. В Кембридже он проводил много времени в лабораториях и с отличием окончил курс естественных наук. Он и теперь увлекался химией, у него была собственная лаборатория, где он просиживал целые дни, к великому неудовольствию матери, которая жаждала для сына парла-

ментской карьеры, о химии же имела представление весьма смутное и полагала, что химик — это что-то вроде аптекаря.

Впрочем, химия не мешала Алану быть превосходным музыкантом. Он играл на скрипке и на рояле лучше, чем большинство дилетантов. Музыка-то и сблизила его с Дорианом Греем, музыка и то неизъяснимое обаяние, которое Дориан умел пускать в ход, когда хотел, а часто даже бессознательно. Они впервые встретились у леди Беркшир однажды вечером, когда там играл Рубинштейн, и потом постоянно бывали вместе в опере и повсюду, где можно было услышать хорошую музыку.

Полтора года длилась эта дружба. Кэмпбела постоянно можно было встретить то в Селби, то в доме на Гровенор-сквер. Он, как и многие другие, видел в Дориане Грее воплощение всего прекрасного и замечательного в жизни. О какой-либо ссоре между Дорианом и Аланом не слыхал никто. Но вдруг люди стали замечать, что они при встречах почти не разговаривают друг с другом и Кэмпбел всегда уезжает раньше времени с вечеров, на которых появляется Дориан Грей. Потом Алан сильно переменился, по временам впадал в странную меланхолию и, казалось, разлюбил музыку: на концерты не ходил и сам никогда не соглашался играть, оправдываясь тем, что научная работа не оставляет ему времени для занятий музыкой. Этому легко было поверить: Алан с каждым днем все больше увлекался биологией, и его фамилия уже несколько раз упоминалась в научных журналах в связи с его интересными опытами.

Этого-то человека и ожидал Дориан Грей, каждую секунду поглядывая на часы. Время шло, и он все сильнее волновался. Наконец встал и начал ходить по комнате, напоминая красивого зверя, который мечется в клетке. Он ходил большими бесшумными шагами. Руки его были холодными как лед.

Ожидание становилось невыносимым. Время не шло, а ползло, как будто у него были свинцовые ноги, а Дориан чувствовал себя, как человек, которого бешеный вихрь мчит на край черной бездны. Он знал, что его там ждет, он это ясно видел и, содрогаясь, зажимал холодными и влажными руками пылающие веки, словно хотел вдавить глаза в череп и лишить зрения даже и мозг. Но тщетно. Мозг питался своими запасами и работал усиленно, фантазия, изощренная страхом, корчилась и металась, как жи-

вое существо от сильной боли, плясала подобно уродливой марионетке на подмостках, скалила зубы из-под меняющейся маски.

Затем Время внезапно остановилось. Да, это слепое медлительное существо уже перестало и ползти. И как только замерло Время, страшные мысли стремительно побежали вперед, вытащили жуткое будущее из его могилы и показали Дориану. А он смотрел, смотрел во все глаза, окаменев от ужаса.

Наконец дверь отворилась, и вошел его слуга. Дориан уставился на него мутными глазами.

— Мистер Кэмпбел, сэр,— доложил слуга.

Вздох облегчения сорвался с запекшихся губ Дориана, и кровь снова прилила к лицу.

— Просите сейчас же, Фрэнсис!

Дориан уже приходил в себя. Приступ малодушия миновал.

Слуга с поклоном вышел. Через минуту появился Алан Кэмпбел, суровый и бледный. Бледность лица еще резче подчеркивали его черные как смоль волосы и темные брови.

— Алан, спасибо вам, что пришли. Вы очень добры.

— Грей, я дал себе слово никогда больше не переступать порог вашего дома. Но вы написали, что дело идет о жизни или смерти...

Алан говорил с расстановкой, холодным и жестким тоном. В его пристальном, испытующем взгляде, обращенном на Дориана, сквозило презрение. Руки он держал в карманах и как будто не заметил протянутой руки Дориана.

— Да, Алан, дело идет о жизни или смерти — и не одного человека. Садитесь.

Кэмпбел сел у стола. Дориан — напротив. Глаза их встретились. Во взгляде Дориана светилось глубокое сожаление: он понимал, как ужасно то, что он собирается сделать.

После напряженной паузы он наклонился через стол и сказал очень тихо, стараясь по лицу Кэмпбела угадать, какое впечатление производят его слова:

— Алан, наверху, в запертой комнате, куда, кроме меня, никто не может войти, сидит у стола мертвец. Он умер десять часов тому назад... Сидите спокойно и не смотрите на меня так! Кто этот человек, отчего и

как он умер — это вас не касается. Вам только придется сделать вот что...

— Замолчите, Грей! Я ничего не хочу больше слышать. Правду вы сказали или нет,— мне это безразлично. Я решительно отказываюсь иметь с вами дело. Храните про себя свои отвратительные тайны, они меня больше не интересуют.

— Алан, эту тайну вам придется узнать. Мне вас очень жаль, но ничего не поделаешь. Только вы можете меня спасти. Я вынужден посвятить вас в это дело — у меня нет иного выхода, Алан! Вы человек ученый, специалист по химии и другим наукам. Вы должны уничтожить то, что заперто наверху,— так уничтожить, чтобы следа от него не осталось. Никто не видел, как этот человек вошел в мой дом. Сейчас все уверены, что он в Париже. Несколько месяцев его отсутствие никого не будет удивлять. А когда его хватятся,— нужно, чтобы здесь не осталось и следа от него. Вы, Алан, и только вы должны превратить его и все, что на нем, в горсточку пепла, которую можно развеять по ветру.

— Вы с ума сошли, Дориан!

— Ага, наконец-то вы назвали меня «Дориан»! Я этого только и ждал.

— Повторяю — вы сумасшедший, иначе не сделали бы мне этого страшного признания. Уж не воображаете ли вы, что я хоть пальцем шевельну для вас? Не желаю я вмешиваться в это! Неужели вы думаете, что я ради вас соглашусь погубить свою репутацию?.. Знать ничего не хочу о ваших дьявольских затеях!

— Алан, это было самоубийство.

— В таком случае я рад за вас. Но кто его довел до самоубийства? Вы, конечно?

— Так вы все-таки отказываетесь мне помочь?

— Конечно, отказываюсь. Не хочу иметь с вами ничего общего. Пусть вы будете обесчещены — мне все равно. Поделом вам! Я даже буду рад вашему позору. Как вы смеете просить меня, особенно меня, впутаться в такое ужасное дело? Я думал, что вы лучше знаете людей. Ваш друг, лорд Генри Уоттон, многому научил вас, но психологии он вас, видно, плохо учил. Я палец о палец для вас не ударю. Ничто меня не заставит вам помочь. Вы обратились не по адресу, Грей. Обращайтесь за помощью к своим друзьям, но не ко мне!

— Алан, это убийство. Я убил его. Вы знаете, сколько я выстрадал из-за него. В том, что жизнь моя сложилась так, а не иначе, этот человек виноват больше, чем бедный Гарри. Может, он и не хотел этого, но так вышло.

— Убийство? Боже мой, так вы уже и до этого дошли, Дориан? Я не донесу на вас — не мое это дело. Но вас все равно, наверное, арестуют. Всякий преступник непременно делает какую-нибудь оплошность и выдает себя. Я же, во всяком случае, не стану в это вмешиваться.

— Вы должны вмешаться. Постойте, постойте, выслушайте меня, выслушайте, Алан. Я вас прошу только проделать научный опыт. Вы же бываете в больницах, в моргах, и то, что вы там делаете, уже не волнует вас. Если бы вы где-нибудь в анатомическом театре или зловонной лаборатории увидели этого человека на обитом жестью столе с желобами для стока крови, он для вас был бы просто интересным объектом для опытов. Вы занялись бы им, не поморщившись. Вам и в голову бы не пришло, что вы делаете что-то дурное. Напротив, вы бы, вероятно, считали, что работаете на благо человечества, обогащаете науку, удовлетворяете похвальную любознательность, и так далее. То, о чем я вас прошу, вы делали много раз. И, уж конечно, уничтожить труп гораздо менее противно, чем делать то, что вы привыкли делать в секционных залах. Поймите, этот труп — единственная улика против меня. Если его обнаружат, я погиб. А его, несомненно, обнаружат, если вы меня не спасете.

— Вы забыли, что я вам сказал? Я не имею ни малейшего желания спасать вас. Вся эта история меня совершенно не касается.

— Алан, умоляю вас! Подумайте, в каком я положении! Вот только что перед вашим приходом я умирал от ужаса. Быть может, и вам когда-нибудь придется испытать подобный страх... Нет, нет, я не то хотел сказать!.. Взгляните на это дело с чисто научной точки зрения. Ведь вы же не спрашиваете, откуда те трупы, которые служат вам для опытов? Так не спрашивайте и сейчас ни о чем. Я и так уже сказал вам больше, чем следовало. Я вас прошу сделать это. Мы были друзьями, Алан!

— О прошлом вы не поминайте, Дориан. Оно умерло.

— Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не хочет умирать. Тот человек наверху не уходит. Он сидит у стола, нагнув голову и вытянув руки. Алан, Алан! Если вы не придете мне на помощь, я погиб. Меня повесят, Алан! Понимаете? Меня повесят за то, что я сделал...

— Незачем продолжать этот разговор. Я решительно отказываюсь вам помогать. Вы, видно, помешались от страха, иначе не посмели бы обратиться ко мне с такой просьбой.

— Так вы не согласны?

— Нет.

— Алан, я вас умоляю!

— Это бесполезно.

Снова сожаление мелькнуло в глазах Дориана. Он протянул руку и, взяв со стола листок бумаги, что-то написал на нем. Дважды перечел написанное, старательно сложил листок и бросил его через стол Алану. Потом встал и отошел к окну.

Кэмпбел удивленно посмотрел на него и развернул записку. Читая ее, он побледнел как смерть и съежился на стуле. Он ощутил ужасную слабость, а сердце билось, билось, словно в пустоте. Казалось, оно готово разорваться.

Прошло две-три минуты в тягостном молчании. Наконец Дориан обернулся и, подойдя к Алану, положил ему руку на плечо.

— Мне вас очень жаль, Алан,— сказал он шепотом,— но другого выхода у меня нет. Вы сами меня к этому вынудили. Письмо уже написано — вот оно. Видите адрес? Если вы меня не выручите, я отошлю его. А что за этим последует, вы сами понимаете. Теперь вы не можете отказаться. Я долго пытался вас щадить — вы должны это признать. Ни один человек до сих пор не смел так говорить со мной — а если бы посмел, его бы уже не было на свете. Я все стерпел. Теперь моя очередь диктовать условия.

Кэмпбел закрыл лицо руками. Видно было, как он дрожит.

— Да, Алан, теперь я буду ставить условия. Они вам уже известны. Ну, ну, не впадайте в истерику! Дело совсем простое и должно быть сделано. Решайтесь — и скорее приступайте к нему!

У Кэмпбела вырвался стон. Его бил озноб. Тиканье часов на камине словно разбивало время на отдельные атомы муки, один невыносимее другого. Голову Алана все туже и туже сжимал железный обруч — как будто позор, которым ему угрожали, уже обрушился на него. Рука Дориана на его плече была тяжелее свинца,— казалось, сейчас она раздавит его. Это было невыносимо.

— Ну же, Алан, решайтесь скорее!

— Не могу,— машинально возразил Кэмпбел, точно эти слова могли изменить что-нибудь.

— Вы должны. У вас нет выбора. Не медлите!

Кэмпбел с минуту еще колебался. Потом спросил:

— В той комнате, наверху, есть камин?

— Да, газовый, с асбестом.

— Мне придется съездить домой, взять кое-что в лаборатории.

— Нет, Алан, я вас отсюда не выпущу. Напишите, что вам нужно, а мой лакей съездит к вам и привезет.

Кэмпбел нацарапал несколько строк, промакнул, а на конверте написал фамилию своего помощника. Дориан взял у него из рук записку и внимательно прочитал. Потом позвонил, отдал ее пришедшему на звонок слуге, наказав ему вернуться как можно скорее и все привезти.

Стук двери, захлопнувшейся за лакеем, заставил Кэмпбела нервно вздрогнуть. Встав из-за стола, он подошел к камину. Его трясло как в лихорадке. Минут двадцать он и Дориан молчали. В комнате слышно было только жужжание мухи да тиканье часов, отдававшееся в мозгу Алана, как стук молотка.

Куранты пробили час. Кэмпбел обернулся и, взглянув на Дориана, увидел, что глаза его полны слез. В чистоте и тонкости этого печального лица было что-то, взбесившее Алана.

— Вы подлец, гнусный подлец! — сказал он тихо.

— Не надо, Алан! Вы спасли мне жизнь.

— Вашу жизнь? Силы небесные, что это за жизнь? Вы шли от порока к пороку и вот дошли до преступления. Не ради спасения вашей позорной жизни я сделаю то, чего вы от меня требуете.

— Ах, Алан.— Дориан вздохнул.— Хотел бы я, чтобы вы питали ко мне хоть тысячную долю того сострадания, какое я питаю к вам.

Он сказал это, отвернувшись и глядя через окно в сад.

Кэмпбел ничего не ответил.

Минут через десять раздался стук в дверь, и вошел слуга, неся большой ящик красного дерева с химическими препаратами, длинный моток стальной и платиновой проволоки и две железных скобы очень странной формы.

— Оставить все здесь, сэр? — спросил он, обращаясь к Кэмпбелу.

— Да,— ответил за Кэмпбела Дориан. — И, к сожалению, Фрэнсис, мне придется дать вам еще одно поручение. Как зовут того садовода в Ричмонде, что поставляет нам в Селби орхидеи?

— Харден, сэр.

— Да, да, Харден. Так вот, надо сейчас же съездить к нему в Ричмонд и сказать, чтобы он прислал вдвое больше орхидей, чем я заказал, и как можно меньше белых... нет, пожалуй, белых совсем не нужно. Погода сегодня отличная, а Ричмонд — прелестное местечко, иначе я не стал бы вас утруждать.

— Помилуйте, какой же это труд, сэр! Когда прикажете вернуться?

Дориан посмотрел на Кэмпбела.

— Сколько времени займет ваш опыт, Алан? — спросил он самым естественным и спокойным тоном. Видимо, присутствие третьего лица придавало ему смелости.

Кэмпбел нахмурился, прикусил губу.

— Часов пять,— ответил он.

— Значит, можете не возвращаться до половины восьмого, Фрэнсис... А впрочем, знаете что: приготовьте перед уходом все, что мне нужно надеть, и тогда я могу отпустить вас на весь вечер. Я обедаю не дома, так что вы мне не нужны.

— Благодарю вас, сэр,— сказал лакей и вышел.

— Ну, Алан, теперь за дело, нельзя терять ни минуты. Ого, какой тяжелый ящик! Я понесу его, а вы все остальное.

Дориан говорил быстро и повелительным тоном.

Кэмпбел покорился. Они вместе вышли в переднюю.

На верхней площадке Дориан достал из кармана ключ и отпер дверь. Но тут он словно прирос к месту, глаза его тревожно забегали, руки тряслись.

— Алан, я, кажется, не в силах туда войти,— пробормотал он.

— Так не входите. Вы мне вовсе не нужны,— холодно отозвался Кэмпбел.

Дориан приоткрыл дверь, и ему бросилось в глаза освещенное солнцем ухмыляющееся лицо портрета. На полу валялось разорванное покрывало. Он вспомнил, что прошлой ночью, впервые за все эти годы, забыл укрыть портрет, и уже хотел было броситься к нему, поскорее его завесить, но вдруг в ужасе отпрянул.

Что это за отвратительная влага, красная и блестящая, выступила на одной руке портрета, как будто полотно покрылось кровавым потом? Какой ужас! Это показалось ему даже страшнее, чем неподвижная фигура, которая, как он знал, сидит тут же в комнате, навалившись на стол,— ее уродливая тень на залитом кровью ковре свидетельствовала, что она на том же месте, где была вчера.

Дориан тяжело перевел дух и, шире открыв дверь, быстро вошел в комнату. Опустив глаза и отворачиваясь от мертвеца, в твердой решимости ни разу не взглянуть на него, он нагнулся, подобрал пурпурно-золотое покрывало и набросил его на портрет.

Боясь оглянуться, он стоял и смотрел неподвижно на сложный узор вышитой ткани. Он слышал, как Кэмпбел внес тяжелый ящик, потом все остальные вещи, нужные ему. И Дориан неожиданно спросил себя, был ли Алан знаком с Бэзилом Холлуордом и, если да, то что они думали друг о друге?

— Теперь уходите,— произнес за его спиной суровый голос.

Он повернулся и поспешно вышел. Успел только заметить, что мертвец теперь посажен прямо, прислонен к спинке стула, и Кэмпбел смотрит в его желтое, лоснящееся лицо. Сходя вниз, он услышал, как щелкнул ключ в замке.

Было уже гораздо позднее семи, когда Кэмпбел вернулся в библиотеку. Он был бледен, но совершенно спокоен.

— Я сделал то, чего вы требовали. А теперь прощайте навсегда. Больше я не хочу с вами встречаться.

— Вы спасли мне жизнь, Алан. Этого я никогда не забуду,— сказал Дориан просто.

Как только Кэмпбел ушел, Дориан побежал наверх. В комнате стоял резкий запах азотной кислоты. Мертвый человек, сидевший у стола, исчез.

Глава XV

В тот же вечер, в половине девятого, Дориан Грей, прекрасно одетый, с большой бутоньеркой пармских фиалок в петлице, вошел в гостиную леди Нарборо, куда его с поклонами проводили лакеи. В висках у него бешено стучала кровь, нервы были взвинчены до крайности, но он поцеловал руку хозяйки дома с обычной своей непринужденной грацией. Пожалуй, спокойствие и непринужденность кажутся более всего естественными тогда, когда человек вынужден притворяться. И, конечно, никто из тех, кто видел Дориана Грея в этот вечер, ни за что бы не поверил, что он пережил трагедию, страшнее которой не бывает в наше время. Не могли эти тонкие, изящные пальцы сжимать разящий нож, эти улыбающиеся губы оскорблять бога и все, что священно для человека! Дориан и сам удивлялся своему внешнему спокойствию. И бывали минуты, когда он, думая о своей двойной жизни, испытывал острое наслаждение.

В этот вечер у леди Нарборо гостей было немного—только те, кого она наспех успела созвать. Леди Нарборо была умная женщина, сохранившая, как говаривал лорд Генри, остатки поистине замечательной некрасивости. Долгие годы она была примерной женой одного из наших послов, скучнейшего человека, а по смерти супруга похоронила его с подобающей пышностью в мраморном мавзолее, сооруженном по ее собственному рисунку, выдала дочерей замуж за богатых, но довольно пожилых людей, и теперь на свободе наслаждалась французскими романами, французской кухней и французским остроумием, когда ей удавалось где-нибудь обнаружить его.

Дориан был одним из ее особенных любимцев, и в разговорах с ним она постоянно выражала величайшее удовольствие по поводу того, что не встретилась с ним, когда была еще молода.

«Я уверена, что влюбилась бы в вас до безумия, мой милый,—говаривала она,—и ради вас забросила бы свой чепец за мельницу. Какое счастье, что вас тогда еще и на свете не было! Впрочем, в мое время дамские чепцы были так уродливы, а мельницы так заняты своим прозаическим делом, что мне не пришлось даже ни с кем пофлиртовать. И, конечно, больше всего в этом виноват был Нарборо. Он был ужасно близорук,

а что за удовольствие обманывать мужа, который ничего не видит?»

В этот вечер в гостиной леди Нарборо было довольно скучно. К ней,— как она тихонько пояснила Дориану, закрываясь весьма потрепанным веером,— совершенно неожиданно приехала погостить одна из ее замужних дочерей и, что всего хуже, привезла с собой своего супруга.

— Я считаю, что это очень неделикатно с ее стороны,— шепотом жаловалась леди Нарборо.— Правда, я тоже у них гощу каждое лето по возвращении из Гамбурга,— но ведь в моем возрасте необходимо время от времени подышать свежим воздухом. И, кроме того, когда я приезжаю, я стараюсь расшевелить их, а им это необходимо. Если бы вы знали, какое они там ведут существование! Настоящие провинциалы! Встают чуть свет, потому что у них очень много дела, и ложатся рано, потому что им думать совершенно не о чем. Со времен королевы Елизаветы во всей округе не было ни одной скандальной истории, и им остается только спать после обеда. Но вы не бойтесь, за столом вы не будете сидеть рядом с ними! Я вас посажу подле себя, и вы будете меня занимать.

Дориан в ответ сказал ей какую-то любезность и обвел глазами гостиную. Общество собралось явно неинтересное. Двоих он видел в первый раз, а кроме них, здесь были Эрнест Хорроуден, бесцветная личность средних лет, каких много среди завсегдатаев лондонских клубов, человек, у которого нет врагов, но их с успехом заменяют тайно ненавидящие его друзья; леди Рэкстон, чересчур разряженная сорокасемилетняя дама с крючковатым носом, которая жаждала быть скомпрометированной, но была настолько дурна собой, что, к великому ее огорчению, никто не верил в ее безнравственное поведение; миссис Эрлин, дама без положения в обществе, но весьма энергично стремившаяся его завоевать, рыжая, как венецианка, и премило картавившая; дочь леди Нарборо, леди Элис Чэпмен, безвкусно одетая молодая женщина с типично английским незапоминающимся лицом; и муж ее, краснощекий джентльмен с белоснежными бакенбардами, который, подобно большинству людей этого типа, воображал, что избытком жизнерадостности можно искупить полнейшую неспособность мыслить.

Дориан уже жалел, что приехал сюда, но вдруг леди Нарборо взглянула на большие часы из золоченой бронзы, стоявшие на камине, и воскликнула:

— Генри Уоттон непозволительно опаздывает! А ведь я нарочно посылала к нему сегодня утром, и он клятвенно обещал прийти.

Известие, что придет лорд Генри, несколько утешило Дориана, и, когда дверь открылась и он услышал протяжный и мелодичный голос, придававший очарование неискреннему извинению, его скуку и досаду как рукой сняло.

Но за обедом он ничего не мог есть. Тарелку за тарелкой уносили нетронутыми. Леди Нарборо все время бранила его за то, что он «обижает бедного Адольфа, который придумал меню специально по его вкусу», а лорд Генри издали поглядывал на своего друга, удивленный его молчаливостью и рассеянностью. Дворецкий время от времени наливал Дориану шампанского, и Дориан выпивал его залпом,— жажда мучила его все сильнее.

— Дориан,— сказал наконец лорд Генри, когда подали заливное из дичи. — Что с вами сегодня? Вы на себя не похожи.

— Влюблен, наверное! — воскликнула леди Нарборо. — И боится, как бы я его не приревновала, если узнаю об этом. И он совершенно прав. Конечно, я буду ревновать!

— Дорогая леди Нарборо,— сказал Дориан с улыбкой,— я не влюблен ни в кого вот уже целую неделю — с тех пор как госпожа да Феррол уехала из Лондона.

— Как это вы, мужчины, можете увлекаться такой женщиной! Это для меня загадка, право,— заметила старая дама.

— Мы ее любим за то, леди Нарборо, что она помнит вас маленькой девочкой,— вмешался лорд Генри. — Она единственное звено между нами и вашими короткими платьицами.

— Она вовсе не помнит моих коротких платьиц, лорд Генри. Зато я помню очень хорошо, какой она была тридцать лет назад, когда мы встретились в Вене, и как она тогда была декольтирована.

— Она и теперь появляется в обществе не менее декольтированной,— отозвался лорд Генри, беря длинными пальцами маслину. — И когда разоденет-

ся, то напоминает роскошное издание плохого французского романа. Но она занятная женщина, от нее всегда можно ожидать какого-нибудь сюрприза. А какое у нее любвеобильное сердце, какая склонность к семейной жизни! Когда умер ее третий муж, у нее от горя волосы стали совсем золотые.

— Гарри, как вам не стыдно! — воскликнул Дориан.

— В высшей степени поэтическое объяснение! — воскликнула леди Нарборо со смехом. — Вы говорите — третий муж? Неужели же Феррол у нее четвертый?

— Именно так, леди Нарборо!

— Ни за что не поверю.

— Ну, спросите у мистера Грея, ее близкого друга.

— Мистер Грей, это правда?

— По крайней мере так она утверждает, леди Нарборо. Я спросил у нее, не бальзамирует ли она сердца своих мужей и не носит ли их на поясе, как Маргарита Наваррская. Она ответила, что это невозможно, потому что ни у одного из них не было сердца.

— Четыре мужа! Вот уж можно сказать — trop de zèle![1]

— Вернее — trop d'audace![2] Я так и сказал ей, — отозвался Дориан.

— О, смелости у нее хватит на все, не сомневайтесь, милый мой! А что собой представляет этот Феррол? Я его не знаю.

— Мужей очень красивых женщин я отношу к разряду преступников, — объявил лорд Генри, отхлебнув глоток вина.

Леди Нарборо ударила его веером.

— Лорд Генри, меня ничуть не удивляет, что свет считает вас в высшей степени безнравственным человеком.

— Неужели? — спросил лорд Генри, поднимая брови. — Вероятно, вы имеете в виду *тот* свет? С *этим* светом я в прекрасных отношениях.

— Нет, все, кого я только знаю, говорят, что вы опасный человек, — настаивала леди Нарборо, качая головой.

---

[1] слишком большое рвение *(фр.)*.

[2] слишком большая смелость *(фр.)*.

Лорд Генри на минуту стал серьезен.

— Просто возмутительно,— сказал он,— что в наше время принято за спиной у человека говорить о нем вещи, которые... безусловно верны.

— Честное слово, он неисправим! — воскликнул Дориан, наклоняясь через стол.

— Надеюсь, что это так,— воскликнула, смеясь, леди Нарборо. — И послушайте — раз все вы до смешного восторгаетесь мадам де Феррол, придется, видно, и мне выйти замуж второй раз, чтобы не отстать от моды.

— Вы никогда больше не выйдете замуж, леди Нарборо,— возразил лорд Генри. — Потому что вы были счастливы в браке. Женщина выходит замуж вторично только в том случае, если первый муж был ей противен. А мужчина женится опять только потому, что очень любил первую жену. Женщины ищут в браке счастья, мужчины ставят свое на карту.

— Нарборо был не так уже безупречен,— заметила старая леди.

— Если бы он был совершенством, вы бы его не любили, дорогая. Женщины любят нас за наши недостатки. Если этих недостатков изрядное количество, они готовы все нам простить, даже ум... Боюсь, что за такие речи вы перестанете приглашать меня к обеду, леди Нарборо, но что поделаешь — это истинная правда.

— Конечно, это верно, лорд Генри. Если бы женщины не любили вас, мужчин, за ваши недостатки, что было бы с вами? Ни одному мужчине не удалось бы жениться, все вы остались бы несчастными холостяками. Правда, и это не заставило бы вас перемениться. Теперь все женатые мужчины живут как холостяки, а все холостые — как женатые.

— Fin dè siècle! [1] — проронил лорд Генри.

— Fin du globe! [2] — подхватила леди Нарборо.

— Если бы поскорее fin du globe! — вздохнул Дориан. — Жизнь — сплошное разочарование.

— Ах, дружок, не говорите мне, что вы исчерпали жизнь! — воскликнула леди Нарборо, натягивая перчатки. — Когда человек так говорит, знайте, что жизнь исчерпала его. Лорд Генри — человек безнравственный, а я порой жалею, что была добродетельна.

---

[1] Конец века *(фр.)*.

[2] Конец света *(фр.)*.

Но вы — другое дело. Вы не можете быть дурным — это видно по вашему лицу. Я непременно подыщу вам хорошую жену. Лорд Генри, вы не находите, что мистеру Грею пора жениться?

— Я ему всегда это твержу, леди Нарборо,— сказал лорд Генри с поклоном.

— Ну, значит, надо найти ему подходящую партию. Сегодня же внимательно просмотрю Дебретта и составлю список всех невест, достойных мистера Грея.

— И укажете их возраст, леди Нарборо? — спросил Дориан.

— Обязательно укажу,— конечно, с некоторыми поправками. Однако в таком деле спешка не годится. Я хочу, чтобы это был, как выражается «Морнинг пост», подобающий брак и чтобы вы и жена были счастливы.

— Сколько ерунды у нас говорится о счастливых браках! — возмутился лорд Генри. — Мужчина может быть счастлив с какой угодно женщиной, если только он ее не любит.

— Какой же вы циник! — воскликнула леди Нарборо, отодвинув свой стул от стола и кивнув леди Рэкстон. — Навещайте меня почаще, лорд Генри. Вы на меня действуете гораздо лучше, чем все тонические средства, которые мне прописывает сэр Эндрью. И скажите заранее, кого вам хотелось бы встретить у меня. Я постараюсь подобрать как можно более интересную компанию.

— Я люблю мужчин с будущим и женщин с прошлым,— ответил лорд Генри. — Только, пожалуй, тогда вам удастся собрать исключительно дамское общество.

— Боюсь, что да! — со смехом согласилась леди Нарборо.

Она встала из-за стола и обратилась к леди Рэкстон:

— Ради бога, извините, моя дорогая, я не видела, что вы еще не докурили папиросу.

— Не беда, леди Нарборо, я слишком много курю. Я и то уже решила быть умереннее.

— Ради бога, не надо, леди Рэкстон,— сказал лорд Генри.— Воздержание — в высшей степени пагубная привычка. Умеренность — это все равно что обыкновенный скучный обед, а неумеренность — праздничный пир.

Леди Рэкстон с любопытством посмотрела на него.

— Непременно приезжайте как-нибудь ко мне, лорд Генри, и разъясните мне это подробнее. Ваша теория очень увлекательна,— сказала она, выплывая из столовой.

— Ну-с, мы уходим наверх, а вы тоже не занимайтесь тут слишком долго политикой и сплетнями, приходите поскорее, иначе мы там все перессоримся,— крикнула леди Нарборо с порога.

Все засмеялись. Когда дамы вышли, мистер Чэпмен, сидевший в конце стола, величественно встал и занял почетное место. Дориан Грей тоже пересел — поближе к лорду Генри. Мистер Чэпмен немедленно стал разглагольствовать о положении дел в палате общин, высмеивая своих противников. Слово «доктринер», столь страшное для англичанина, слышалось по временам среди взрывов смеха. Мистер Чэпмен поднимал британский флаг на башнях Мысли и доказывал, что наследственная тупость британской нации (этот оптимист, конечно, именовал ее «английским здравым смыслом») есть подлинный оплот нашего общества.

Лорд Генри слушал его с усмешкой. Наконец он повернулся и взглянул на Дориана.

— Ну, что, мой друг, вы уже чувствуете себя лучше? За обедом вам как будто было не по себе?

— Нет, я совершенно здоров, Генри. Немного устал, вот и все.

— Вчера вы были в ударе и совсем пленили маленькую герцогиню. Она мне сказала, что собирается в Селби.

— Да, она обещала приехать двадцатого.

— И Монмаут приедет с нею?

— Ну конечно, Гарри.

— Он мне ужасно надоел, почти так же, как ей. Она умница, умнее, чем следует быть женщине. Ей не хватает несравненного очарования женской слабости. Ведь не будь у золотого идола глиняных ног, мы ценили бы его меньше. Ножки герцогини очень красивы, но они не глиняные. Скорее можно сказать, что они из белого фарфора. Ее ножки прошли через огонь, а то, что огонь не уничтожает, он закаляет. Эта маленькая женщина уже много испытала в жизни.

— Давно она замужем? — спросил Дориан.

— По ее словам, целую вечность. А в книге пэров, насколько я помню, указано десять лет. Но десять

лет жизни с Монмаутом могут показаться вечностью... А кто еще приедет в Селби?

— Виллоуби и лорд Рэгби — оба с женами, потом леди Нарборо, Джеффри, Глостон,— словом, все та же обычная компания. Я пригласил еще лорда Гротриана.

— А, вот это хорошо! Он мне нравится. Многие его не любят, а я нахожу, что он очень мил. Если иной раз чересчур франтит, то этот грех искупается его замечательной образованностью. Он вполне современный человек.

— Погодите радоваться, Гарри,— еще неизвестно, сможет ли он приехать. Возможно, что ему придется везти отца в Монте-Карло.

— Ох, что за несносный народ эти родители! Все-таки постарайтесь, чтобы он приехал, уговорите его... Кстати, Дориан, вы очень рано сбежали от меня вчера,— еще и одиннадцати не было. Что вы делали потом? Неужели отправились прямо домой?

Дориан метнул на него быстрый взгляд и нахмурился.

— Нет, Гарри,— не сразу ответил он.— Домой я вернулся только около трех.

— Были в клубе?

— Да... То есть нет!— Дориан прикусил губу.— В клубе я не был. Так, гулял... Не помню, где был... Как вы любопытны, Гарри! Непременно вам нужно знать, что человек делает. А я всегда стараюсь забыть, что я делал. Если уж хотите знать точно, я пришел домой в половине третьего. Я забыл взять с собою ключ, и моему лакею пришлось открыть мне. Если вам нужно подтверждение, можете спросить у него.

Лорд Генри пожал плечами.

— Полноте, мой милый, на что мне это нужно! Пойдемте в гостиную к дамам... Нет, спасибо, мистер Чэпмен, я не пью хереса... С вами что-то случилось, Дориан! Скажите мне что? Вы сегодня сам не свой.

— Ах, Гарри, не обращайте на это внимания. Я сегодня в дурном настроении, и все меня раздражает. Завтра или послезавтра я загляну к вам. В гостиную я не пойду, мне надо ехать домой. Передайте леди Нарборо мои извинения.

— Ладно, Дориан. Жду вас завтра к чаю. Герцогиня тоже будет.

— Постараюсь,— сказал Дориан, уходя.

Он ехал домой, чувствуя, что страх, который он, казалось, уже подавил в себе, снова вернулся. Случайный вопрос лорда Генри вывел его из равновесия, а ему сейчас очень нужно было сохранить самообладание и мужество. Предстояло уничтожить опасные улики, и он содрогался при одной мысли об этом. Ему даже дотронуться до них было страшно.

Но это было необходимо. И, войдя к себе в библиотеку, Дориан запер дверь изнутри, затем открыл тайник в стене, куда спрятал пальто и саквояж Бэзила. В камине пылал яркий огонь. Дориан подбросил еще поленьев... Запах паленого сукна и горящей кожи был невыносим. Чтобы все уничтожить, пришлось провозиться целых три четверти часа. Под конец Дориана даже начало тошнить, кружилась голова. Он зажег несколько алжирских курительных свечек на медной жаровне, потом смочил руки и лоб освежающим ароматным уксусом...

Вдруг зрачки его расширились, в глазах появился странный блеск. Он нервно закусил нижнюю губу. Между окнами стоял флорентинский шкаф черного дерева с инкрустацией из слоновой кости и лязурита. Дориан уставился на него как заворожен-

ный,— казалось, шкаф его и привлекал и пугал, словно в нем хранилось что-то, чего он жаждал и что вместе с тем почти ненавидел. Он задыхался от неистового желания... Закурил папиросу — и бросил. Веки его опустились так низко, что длинные пушистые ресницы почти касались щек. Но он все еще не двигался и не отрывал глаз от шкафа.

Наконец он встал с дивана, подошел к шкафу и, отперев, нажал секретную пружину. Медленно выдвинулся трехугольный ящичек. Пальцы Дориана инстинктивно потянулись к нему, проникли внутрь и вынули китайскую лакированную шкатулку, черную с золотом, тончайшей отделки, с волнистым орнаментом на стенках, с шелковыми шнурками, которые были унизаны хрустальными бусами и кончались металлическими кисточками. Дориан открыл шкатулку. Внутри лежала зеленая паста, похожая на воск, со странно-тяжелым запахом.

Минуту-другую он медлил с застывшей на губах улыбкой. В комнате было очень жарко, а его знобило. Он потянулся, глянул на часы... Было без двадцати

двенадцать. Он поставил шкатулку на место, захлопнул дверцы шкафа и пошел в спальню.

Когда бронзовый бой часов во мраке возвестил полночь, Дориан Грей в одежде простолюдина, обмотав шарфом шею, крадучись, вышел из дому. На Бонд-стрит он встретил кеб с хорошей лошадью. Он подозвал его и вполголоса сказал кучеру адрес.

Тот покачал головой.

— Это слишком далеко.

— Вот вам соверен,— сказал Дориан.— И получите еще один, если поедете быстро.

— Ладно, сэр,— отозвался кучер.— Через час будете на месте.

Дориан сел в кеб, а кучер, спрятав деньги, повернул лошадь и помчался по направлению к Темзе.

Глава XVI

Полил холодный дождь, и сквозь его туманную завесу тусклый свет уличных фонарей казался жутко-мертвенным. Все трактиры уже закрывались, у дверей их стояли кучками мужчины и женщины, неясно видные в темноте. Из одних кабаков вылетали на улицу взрывы грубого хохота, в других пьяные визжали и переругивались. Полулежа в кебе и низко надвинув на лоб шляпу, Дориан Грей равнодушно наблюдал отвратительную изнанку жизни большого города и время от времени повторял про себя слова, сказанные ему лордом Генри в первый день их знакомства: «Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа». Да, в этом весь секрет! Он, Дориан, часто старался это делать, будет стараться и впредь. Есть притоны для курильщиков опиума, где можно купить забвение. Есть ужасные вертепы, где память о старых грехах можно утопить в безумии новых.

Луна, низко висевшая в небе, была похожа на желтый череп. Порой большущая безобразная туча протягивала длинные щупальца и закрывала ее. Все реже встречались фонари, и улицы, которыми проезжал теперь кеб, становились все более узкими и мрачными. Кучер даже раз сбился с дороги, и пришлось ехать обратно с полмили. Лошадь уморилась, шлепая по лужам, от нее валил пар. Боковые

стекла кеба были снаружи плотно укрыты серой фланелью тумана.

«Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа». Как настойчиво звучали эти слова в ушах Дориана. Да, душа его больна смертельно. Но вправду ли ощущения могут исцелить ее? Ведь он пролил невинную кровь. Чем можно это искупить? Нет, этому нет прощения!..

Ну что ж, если нельзя себе этого простить, так можно забыть.

И Дориан твердо решил забыть, вычеркнуть все из памяти, убить прошлое, как убивают гадюку, ужалившую человека. В самом деле, какое право имел Бэзил говорить с ним так? Кто его поставил судьей над другими людьми? Он сказал ужасные слова, слова, которые невозможно было стерпеть.

Кеб тащился все дальше, и казалось, с каждым шагом все медленнее. Дориан опустил стекло и крикнул кучеру, чтобы он ехал быстрее. Его томила мучительная жажда опиума, в горле пересохло, холеные руки конвульсивно сжимались. Он в бешенстве ударил лошадь своей тростью. Кучер рассмеялся и, в свою очередь, подстегнул ее кнутом. Дориан тоже засмеялся — и кучер почему-то притих.

Казалось, езде не будет конца. Сеть узких улочек напоминала широко раскинутую черную паутину. В однообразии их было что-то угнетающее. Туман все сгущался. Дориану стало жутко.

Проехали пустынный квартал кирпичных заводов. Здесь туман был не так густ, и можно было разглядеть печи для обжига, похожие на высокие бутылки, из которых вырывались оранжевые веерообразные языки пламени. На проезжавший кеб залаяла собака, где-то далеко во мраке кричала заблудившаяся чайка. Лошадь споткнулась, попав ногой в колею, шарахнулась в сторону и поскакала галопом.

Через некоторое время они свернули с грунтовой дороги, и кеб снова загрохотал по неровной мостовой. В окнах домов было темно, и только кое-где на освещенной изнутри шторе мелькали фантастические силуэты. Дориан с интересом смотрел на них. Они двигались, как громадные марионетки, а жестикулировали, как живые люди. Но скоро они стали раздражать его. В душе поднималась глухая злоба. Когда завернули за угол, женщина крикнула им что-то из

открытой двери, в другом месте двое мужчин погнались за кебом и пробежали ярдов сто. Кучер отогнал их кнутом.

Говорят, у человека, одержимого страстью, мысли вращаются в замкнутом кругу. Действительно, искусанные губы Дориана Грея с утомительной настойчивостью повторяли и повторяли все ту же коварную фразу о душе и ощущениях, пока он не внушил себе, что она полностью выражает его настроение и оправдывает страсти, которые, впрочем, и без этого оправдания все равно владели бы им. Одна мысль заполонила его мозг, клетку за клеткой, и неистовая жажда жизни, самый страшный из человеческих аппетитов, напрягала, заставляя трепетать каждый нерв, каждый фибр его тела. Уродства жизни, когда-то ненавистные ему, потому что возвращали к действительности, теперь по той же причине стали ему дороги. Да, безобразие жизни стало единственной реальностью. Грубые ссоры и драки, грязные притоны, бесшабашный разгул, низость воров и подонков общества поражали его воображение сильнее, чем прекрасные творения Искусства и грезы, навеваемые Песней. Они были ему нужны, потому что давали забвение. Он говорил себе, что через три дня отделается от воспоминаний.

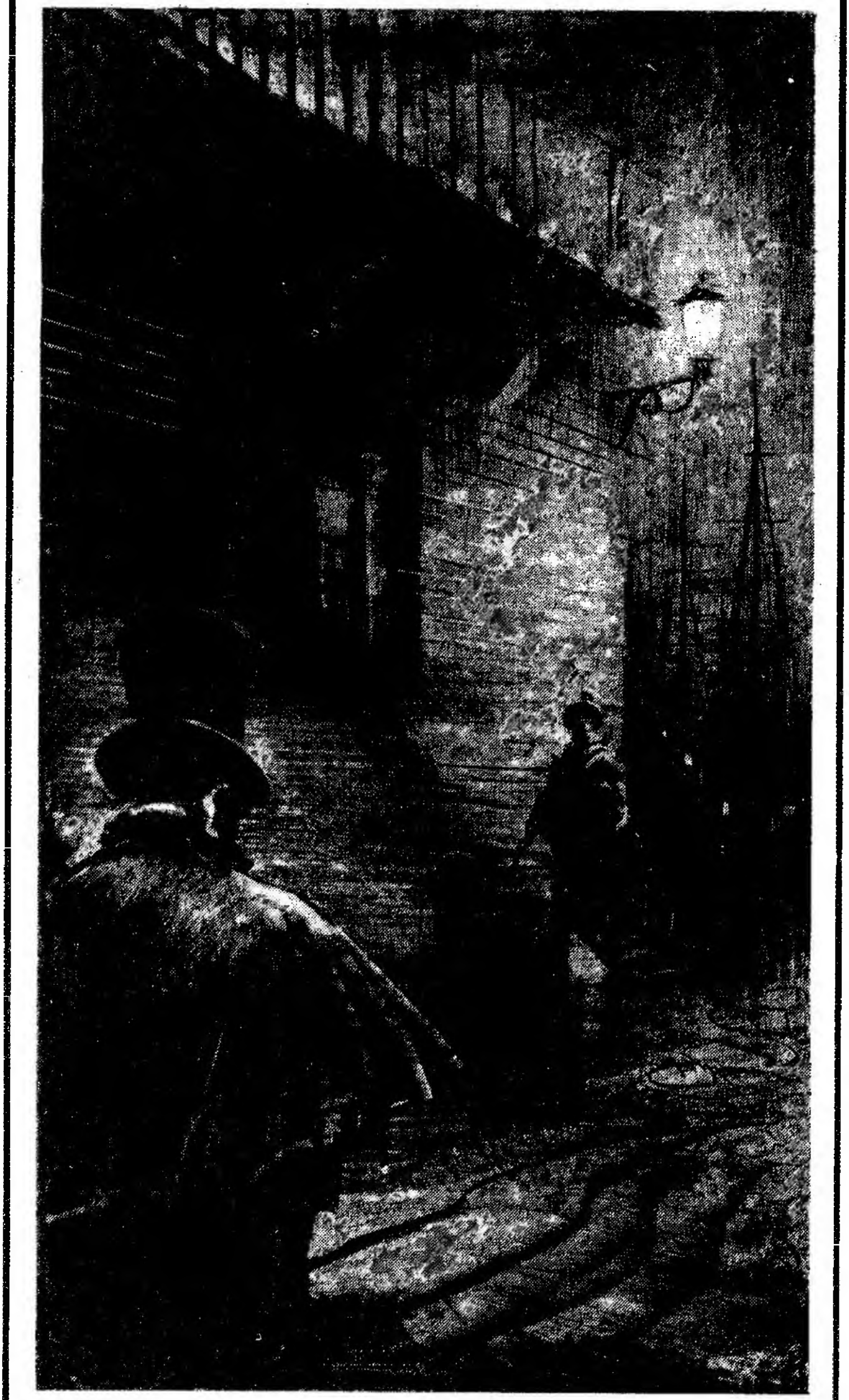
Вдруг кучер рывком остановил кеб у темного переулка. За крышами и ветхими дымовыми трубами невысоких домов виднелись черные мачты кораблей. Клубы белого тумана, похожие на призрачные паруса, льнули к их реям.

— Это где-то здесь, сэр? — хрипло спросил кучер через стекло.

Дориан встрепенулся и окинул улицу взглядом.

— Да, здесь,— ответил он и, поспешно выйдя из кеба, дал кучеру обещанный второй соверен, затем быстро зашагал по направлению к набережной. Кое-где на больших торговых судах горели фонари. Свет их мерцал и дробился в лужах. Вдалеке пылали красные огни парохода, отправлявшегося за границу и набиравшего уголь. Скользкая мостовая блестела, как мокрый макинтош.

Дориан пошел налево, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что никто за ним не следит. Через семь-восемь минут он добрался до ветхого, грязного дома, вклинившегося между двумя захудалыми



фабриками. В окне верхнего этажа горела лампа. Здесь Дориан остановился и постучал в дверь. Стук был условный.

Через минуту он услышал шаги в коридоре, и забренчала снятая с крюка дверная цепочка. Затем дверь тихо отворилась, и он вошел, не сказав ни слова приземистому тучному человеку, который отступил во мрак и прижался к стене, давая ему дорогу. В конце коридора висела грязная зеленая занавеска, колыхавшаяся от резкого ветра, который ворвался в открытую дверь. Отдернув эту занавеску, Дориан вошел в длинное помещение с низким потолком, похожее на третьеразрядный танцкласс. На стенах горели газовые рожки, их резкий свет тускло и криво отражался в засиженных мухами зеркалах. Над газовыми рожками рефлекторы из гофрированной жести казались дрожащими кругами огня. Пол был усыпан ярко-желтыми опилками со следами грязных башмаков и темными пятнами от пролитого вина. Несколько малайцев, сидя на корточках у топившейся железной печурки, играли в кости, болтали и смеялись, скаля белые зубы. В одном углу, навалившись грудью на стол и положив голову на руки, сидел моряк, а у пестро размалеванной стойки, занимавшей всю стену, две изможденные женщины дразнили старика, который брезгливо чистил щеткой рукава своего пальто.

— Ему все чудится, будто по нему красные муравьи ползают,— с хохотом сказала одна из женщин проходившему мимо Дориану. Старик с ужасом посмотрел на нее и жалобно захныкал.

В дальнем конце комнаты лесенка вела в затемненную каморку. Дориан взбежал по трем расшатанным ступенькам, и ему ударил в лицо душный запах опиума. Он глубоко вдохнул его, и ноздри его затрепетали от наслаждения. Когда он вошел, белокурый молодой человек, который, наклонясь над лампой, зажигал длинную тонкую трубку, взглянул на него и нерешительно кивнул ему головой.

— Вы здесь, Адриан?

— Где же мне еще быть?— был равнодушный ответ.— Со мной теперь никто из прежних знакомых и разговаривать не хочет.

— А я думал, что вы уехали из Англии.

— Дарлингтон палец о палец не ударит... Мой брат наконец уплатил по векселю... Но Джордж тоже

меня знать не хочет... Ну, да все равно,— добавил он со вздохом.— Пока есть вот это снадобье, друзья мне не нужны. Пожалуй, у меня их было слишком много.

Дориан вздрогнул и отвернулся. Он обвел глазами жуткие фигуры, в самых нелепых и причудливых позах раскинувшиеся на рваных матрацах. Судорожно скрюченные руки и ноги, разинутые рты, остановившиеся тусклые зрачки — эта картина словно завораживала его. Ему были знакомы муки того странного рая, в котором пребывали эти люди, как и тот мрачный ад, что открывал им тайны новых радостей. Сейчас они чувствовали себя счастливее, чем он, ибо он был в плену у своих мыслей. Воспоминания, как страшная болезнь, глодали его душу. Порой перед ним всплывали устремленные на него глаза Бэзила Холлуорда. Как ни жаждал он поскорее забыться, он почувствовал, что не в силах здесь оставаться. Присутствие Адриана Синглтона смущало его. Хотелось уйти куда-нибудь, где его никто не знает. Он стремился уйти от самого себя.

— Пойду в другое место,— сказал он после некоторого молчания.

— На верфь?

— Да.

— Но эта дикая кошка, наверное, там. Сюда ее больше не пускают.

Дориан пожал плечами.

— Ну что ж! Мне до тошноты надоели влюбленные женщины. Женщины, которые ненавидят, гораздо интереснее. Кроме того, зелье там лучше.

— Да нет, такое же.

— Тамошнее мне больше по вкусу. Пойдемте выпьем чего-нибудь. Мне сегодня хочется напиться.

— А мне ничего не хочется,— пробормотал Адриан.

— Все равно, пойдемте.

Адриан Синглтон лениво встал и пошел за Дорианом к буфету. Мулат в рваной чалме и потрепанном пальто приветствовал их, противно скаля зубы, и со стуком поставил перед ними бутылку бренди и две стопки. Женщины, стоявшие у прилавка, тотчас придвинулись ближе и стали заговаривать с ними. Дориан повернулся к ним спиной и что-то тихо сказал Синглтону.

Одна из женщин криво усмехнулась.

— Ишь какой он сегодня гордый! — фыркнула она.

— Ради бога, оставь меня в покое! — крикнул Дориан, топнув ногой.— Чего тебе надо? Денег? На, возьми и не смей со мной больше заговаривать.

Красные искры вспыхнули на миг в мутных зрачках женщины, но тотчас потухли, и глаза снова стали тусклыми и безжизненными. Она тряхнула головой и с жадностью сгребла со стойки брошенные ей монеты. Ее товарка завистливо наблюдала за ней.

— Ни к чему это,— со вздохом сказал Адриан, продолжая разговор.— Я не стремлюсь вернуться туда. Зачем? Мне и здесь очень хорошо.

— Напишите мне, если вам понадобится что-нибудь. Обещаете? — спросил Дориан, помолчав.

— Может быть, и напишу.

— Ну, пока до свиданья.

— До свиданья,— ответил молодой человек и, утирая платком запекшиеся губы, стал подниматься по лесенке.

Дориан с болью посмотрел ему вслед и пошел к выходу. Когда он отодвигал занавеску, ему вдогонку прозвучал циничный смех женщины, которой он дал деньги.

— Уходит эта добыча дьявола! — хрипло закричала она, икая.

— Не смей меня так называть, проклятая! — крикнул Дориан в ответ.

Она щелкнула пальцами и еще громче заорала ему вслед:

— А тебе хочется, чтобы тебя называли Прекрасный Принц, да?

Дремавший за столом моряк, услышав эти слова, вскочил и как безумный осмотрелся кругом. Когда из прихожей донесся стук захлопнувшейся двери, он выбежал стремглав, словно спасаясь от погони.

Дориан Грей под моросящим дождем быстро шел по набережной. Встреча с Адрианом Синглтоном почему-то сильно взволновала его, и он спрашивал себя, прав ли был Бэзил Холлуорд, когда с такой оскорбительной прямотой сказал ему, что разбитая жизнь этого юноши — дело рук его, Дориана. На минуту глаза его приняли печальное выражение. Но он тотчас же встряхнулся.

Собственно, ему-то что? Слишком коротка жизнь, чтобы брать на себя еще и бремя чужих ошибок. Каждый живет, как хочет, и расплачивается за это

сам. Жаль только, что так часто человеку за одну-единственную ошибку приходится расплачиваться без конца. В своих расчетах с человеком Судьба никогда не считает его долг погашенным.

Если верить психологам, бывают моменты, когда жажда греха (или того, что люди называют грехом) так овладевает человеком, что каждым фибром его тела, каждой клеточкой его мозга движут опасные инстинкты. В такие моменты люди теряют свободу воли. Как автоматы, идут они навстречу своей гибели. У них уже нет иного выхода, сознание их либо молчит, либо своим вмешательством только делает бунт заманчивее. Ведь теологи не устают твердить нам, что самый страшный из грехов — это грех непослушания. Великий дух, предтеча зла, был изгнан с небес именно за мятеж.

Бесчувственный ко всему, жаждущий лишь утешений порока, Дориан Грей, человек с осквернённым воображением и бунтующей душой, спешил вперед, все ускоряя шаг. Но когда он нырнул в темный крытый проход, которым часто пользовался для сокращения пути к тому притону с дурной славой, куда он направлялся,— сзади кто-то неожиданно схватил его за плечи и, не дав ему опомниться, прижал к стене, грубой рукой вцепившись ему в горло.

Дориан стал отчаянно защищаться и, сделав страшное усилие, оторвал от горла сжимавшие его пальцы. В ту же секунду щелкнул курок, и в глаза Дориану блеснул револьвер, направленный прямо ему в лоб. Он смутно видел в темноте стоявшего перед ним невысокого, коренастого мужчину.

— Чего вам надо? — спросил Дориан, задыхаясь.

— Стойте смирно! — скомандовал тот.— Только шевельнитесь — и я вас пристрелю.

— Вы с ума сошли! Что я вам сделал?

— Вы разбили жизнь Сибилы Вэйн, а Сибила Вэйн — моя сестра. Она покончила с собой. Я знаю, это вы виноваты в ее смерти, и я дал клятву убить вас. Столько лет я вас разыскивал — ведь не было никаких следов... Только два человека могли бы вас описать, но оба они умерли. Я ничего не знал о вас — только то ласкательное прозвище, что она дала вам. И сегодня я случайно услышал его. Молитесь богу, потому что вы сейчас умрете.

Дориан Грей обомлел от страха.

— Я ее никогда не знал,— прошептал он, заикаясь.— И не слыхивал о ней. Вы сумасшедший.

— Кайтесь в своих грехах, я вам говорю, потому что вы умрете, это так же верно, как то, что я — Джеймс Вэйн.

Страшная минута. Дориан не знал, что делать, что сказать.

— На колени! — прорычал Джеймс Вэйн.— Даю вам одну минуту, не больше, чтобы помолиться. Сегодня я ухожу в плавание и сначала должен расквитаться с вами. Даю одну минуту, и все.

Дориан стоял, опустив руки, парализованный ужасом. Вдруг в душе его мелькнула отчаянная надежда...

— Стойте! — воскликнул он.— Сколько лет, как умерла ваша сестра? Скорее отвечайте!

— Восемнадцать лет,— ответил моряк.— А что? При чем тут годы?

— Восемнадцать лет! — Дориан Грей рассмеялся торжествующим смехом.— Восемнадцать лет! Да подведите меня к фонарю и взгляните на меня!

Джеймс Вэйн одно мгновение стоял в нерешимости, не понимая, чего надо Дориану. Но затем потащил его из-под темной арки к фонарю.

Как ни слаб и неверен был задуваемый ветром огонек фонаря,— его было достаточно, чтобы Джеймс Вэйн поверил, что он чуть не совершил страшную ошибку. Лицо человека, которого он хотел убить, сияло всей свежестью юности, ее непорочной чистотой. На вид ему было не больше двадцати лет. Он, пожалуй, был немногим старше, а может, и вовсе не старше, чем Сибила много лет назад, когда Джеймс расстался с нею. Было ясно, что это не тот, кто погубил ее.

Джеймс Вэйн выпустил Дориана и отступил на шаг.

— Господи помилуй! А я чуть было вас не застрелил!

Дориан тяжело перевел дух.

— Да, вы чуть не совершили ужасное преступление,— сказал он, сурово глядя на Джеймса.— Пусть это послужит вам уроком: человек не должен брать на себя отмщения, это дело господа бога.

— Простите, сэр,— пробормотал Вэйн.— Меня сбили с толку. Случайно услышал два слова в этой проклятой дыре — и они вывели меня на ложный след.

— Ступайте-ка домой, а револьвер спрячьте, не то попадете в беду,— сказал Дориан и, повернувшись, неторопливо зашагал дальше.

Джеймс Вэйн, все еще не опомнившись от ужаса, стоял на мостовой. Он дрожал всем телом. Немного погодя какая-то черная тень, скользившая вдоль мокрой стены, появилась в освещенной фонарем полосе и неслышно подкралась к моряку. Почувствовав на своем плече чью-то руку, он вздрогнул и оглянулся. Это была одна из тех двух женщин, которые только что стояли у буфета в притоне.

— Почему ты его не убил?— прошипела она, вплотную приблизив к нему испитое лицо.— Когда ты выбежал от Дэйли, я сразу догадалась, что ты погнался за ним. Эх, дурак, надо было его пристукнуть. У него куча денег, и он — настоящий дьявол.

— Он не тот, кого я ищу,— ответил Джеймс Вэйн.— А чужие деньги мне не нужны. Мне нужно отомстить одному человеку. Ему теперь, должно быть, под сорок. А этот — еще почти мальчик. Слава богу, что я его не убил, не то были бы у меня руки в невинной крови.

Женщина горько засмеялась.

— Почти мальчик! Как бы не так! Если хочешь знать, вот уже скоро восемнадцать лет, как Прекрасный Принц сделал меня тем, что я сейчас.

— Лжешь! — крикнул Джеймс Вэйн.

Она подняла руку.

— Богом клянусь, что это правда.

— Клянешься?

— Чтоб у меня язык отсох, если я вру! Этот хуже всех тех, кто таскается сюда. Говорят, он продал душу черту за красивое лицо. Вот уже скоро восемнадцать лет я его знаю, а он за столько лет почти не переменился... Не то что я,— добавила она с печальной усмешкой.

— Значит, ты клянешься?

— Клянусь! — хриплым эхом сорвалось с ее плоских губ.— Но ты меня не выдавай,— добавила она жалобно.— Я его боюсь. И дай мне деньжонок — за ночлег заплатить.

Он с яростным ругательством бросился бежать в ту сторону, куда ушел Дориан Грей, но Дориана и след простыл. Когда Джеймс Вэйн оглянулся, и женщины уже на улице не было.

Глава XVII

Неделю спустя Дориан Грей сидел в оранжерее своей усадьбы Селби-Ройял, беседуя с хорошенькой герцогиней Монмаут, которая гостила у него вместе с мужем, высохшим шестидесятилетним стариком. Было время чая, и мягкий свет большой лампы под кружевным абажуром падал на тонкий фарфор и чеканное серебро сервиза. За столом хозяйничала герцогиня. Ее белые руки грациозно порхали среди чашек, а полные красные губы улыбались,— видно, ее забавляло то, что ей нашептывал Дориан. Лорд Генри наблюдал за ними, полулежа в плетеном кресле с шелковыми подушками, а на диване персикового цвета восседала леди Нарборо, делая вид, что слушает герцога, описывавшего ей бразильского жука, которого он недавно добыл для своей коллекции. Трое молодых щеголей в смокингах угощали дам пирожными. В Селби уже съехались двенадцать человек, и назавтра ожидали еще гостей.

— О чем это вы толкуете? — спросил лорд Генри, подойдя к столу и ставя свою чашку.— Надеюсь, Дориан рассказал вам, Глэдис, о моем проекте все окрестить по-новому?.. Это замечательная мысль.

— А я вовсе не хочу менять имя, Гарри,— возразила герцогиня, поднимая на него красивые глаза.— Я вполне довольна моим, и, наверное, мистер Грей тоже доволен своим.

— Милая Глэдис, я ни за что на свете не стал бы менять такие имена, как ваши и Дориана. Оба они очень хороши. Я имею в виду главным образом цветы. Вчера я срезал орхидею для бутоньерки, чудеснейший пятнистый цветок, обольстительный, как семь смертных грехов, и машинально спросил у садовника, как эта орхидея называется. Он сказал, что это прекрасный сорт «робинзониана»... или что-то столь же неблагозвучное. Право, мы разучились давать вещам красивые названия,— да, да, это печальная правда! А ведь слово — это все. Я никогда не придираюсь к поступкам, я требователен только к словам... Потому-то я и не выношу вульгарный реализм в литературе. Человека, называющего лопату лопатой, следовало бы заставить работать ею — только на это он и годен.

— Ну а как, например, вас окрестить по-новому, Гарри? — спросила герцогиня.

— Принц Парадокс,— сказал Дориан.

— Вот удачно придумано! — воскликнула герцогиня.

— И слышать не хочу о таком имени,— со смехом запротестовал лорд Генри, садясь в кресло.— Ярлык пристанет, так уж потом от него не избавишься. Нет, я отказываюсь от этого титула.

— Короли не должны отрекаться,— тоном предостережения произнесли красивые губки.

— Значит, вы хотите, чтобы я стал защитником трона?

— Да.

— Но я провозглашаю истины будущего!

— А я предпочитаю заблуждения настоящего,— отпарировала герцогиня.

— Вы меня обезоруживаете, Глэдис! — воскликнул лорд Генри, заражаясь ее настроением.

— Я отбираю у вас щит, но оставляю копье, Гарри.

— Я никогда не сражаюсь против Красоты,— сказал он с галантным поклоном.

— Это ошибка, Гарри, поверьте мне. Вы цените красоту слишком высоко.

— Полноте. Глэдис! Правда, я считаю, что лучше быть красивым, чем добродетельным. Но, с другой стороны, я первый готов согласиться, что лучше уж быть добродетельным, чем безобразным.

— Выходит, что некрасивость — один из семи смертных грехов? — воскликнула герцогиня.— А как же вы только что сравнивали с ними орхидеи?

— Нет, Глэдис, некрасивость — одна из семи смертных добродетелей. И вам, как стойкой тори, не следует умалять их значения. Пиво, Библия и эти семь смертных добродетелей сделали нашу Англию такой, какая она есть.

— Значит, вы не любите нашу страну?

— Я живу в ней.

— Чтобы можно было усерднее ее хулить?

— А вы хотели бы, чтобы я согласился с мнением Европы о ней?

— Что же там о нас говорят?

— Что Тартюф эмигрировал в Англию и открыл здесь торговлю.

— Это ваша острота, Гарри?

— Дарю ее вам.

— Что я с ней сделаю? Она слишком похожа на правду.

— А вы не бойтесь. Наши соотечественники никогда не узнают себя в портретах.

— Они — люди благоразумные.

— Скорее хитрые. Подводя баланс, они глупость покрывают богатством, а порок — лицемерием.

— Все-таки в прошлом мы вершили великие дела.

— Нам их навязали, Глэдис.

— Но мы с честью несли их бремя.

— Не дальше как до Фондовой биржи.

Герцогиня покачала головой.

— Я верю в величие нации.

— Оно — только пережиток предприимчивости и напористости.

— В нем — залог развития.

— Упадок мне милее.

— А как же искусство? — спросила Глэдис.

— Оно — болезнь.

— А любовь?

— Иллюзия.

— А религия?

— Распространенный суррогат веры.

— Вы скептик.

— Ничуть! Ведь скептицизм — начало веры.

— Да кто же вы?

— Определить — значит ограничить.

— Ну, дайте мне хоть нить!..

— Нити обрываются. И вы рискуете заблудиться в лабиринте.

— Вы меня окончательно загнали в угол. Давайте говорить о другом.

— Вот превосходная тема — хозяин дома. Много лет назад его окрестили Прекрасным Принцем.

— Ах, не напоминайте мне об этом! — воскликнул Дориан Грей.

— Хозяин сегодня несносен,— сказала герцогиня, краснея.— Он, кажется, полагает, что Монмаут женился на мне из чисто научного интереса, видя во мне наилучший экземпляр современной бабочки.

— Но он, надеюсь, не посадит вас на булавку, герцогиня? — со смехом сказал Дориан.

— Достаточно того, что в меня втыкает булавки моя горничная, когда сердится.

— А за что же она на вас сердится, герцогиня?

— Из-за пустяков, мистер Грей, уверяю вас. Обычно за то, что я прихожу в три четверти девятого и заявляю ей, что она должна меня одеть к половине девятого.

— Какая глупая придирчивость! Вам бы следовало прогнать ее, герцогиня.

— Не могу, мистер Грей. Она придумывает мне фасоны шляпок. Помните ту, в которой я была у леди Хилстон? Вижу, что забыли, но из любезности делаете вид, будто помните. Так вот, она эту шляпку сделала из ничего. Все хорошие шляпы создаются из ничего.

— Как и все хорошие репутации, Глэдис,— вставил лорд Генри.— А когда человек чем-нибудь действительно выдвинется, он наживает врагов. У нас одна лишь посредственность — залог популярности.

— Только не у женщин, Гарри! — Герцогиня энергично покачала головой.— А женщины правят миром. Уверяю вас, мы терпеть не можем посредственности. Кто-то сказал про нас, что мы «любим ушами». А вы, мужчины, любите глазами... Если только вы вообще когда-нибудь любите.

— Мне кажется, мы только это и делаем всю жизнь,— сказал Дориан.

— Ну, значит, никого не любите по-настоящему, мистер Грей,— отозвалась герцогиня с шутливым огорчением.

— Милая моя Глэдис, что за ересь! — воскликнул лорд Генри.— Любовь питается повторением, и только повторение превращает простое вожделение в искусство. Притом каждый раз, когда влюбляешься, любишь впервые. Предмет страсти меняется, а страсть всегда остается единственной и неповторимой. Перемена только усиливает ее. Жизнь дарит человеку в лучшем случае лишь одно великое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это великое мгновение переживать как можно чаще.

— Даже если оно вас тяжело ранит, Гарри? — спросила герцогиня, помолчав.

— Да, в особенности тогда, когда оно вас ранит,— ответил лорд Генри.

Герцогиня повернулась к Дориану и посмотрела на него как-то странно.

— А вы что на это скажете, мистер Грей? — спросила она.

Дориан ответил не сразу. Наконец рассмеялся и тряхнул головой.

— Я, герцогиня, всегда во всем согласен с Гарри.

— Даже когда он не прав?

— Гарри всегда прав, герцогиня.

— И что же, его философия помогла вам найти счастье?

— Я никогда не искал счастья. Кому оно нужно? Я искал наслаждений.

— И находили, мистер Грей?

— Часто. Слишком часто.

Герцогиня сказала со вздохом:

— А я жажду только мира и покоя. И если не пойду сейчас переодеваться, я его лишусь на сегодня.

— Позвольте мне выбрать для вас несколько орхидей, герцогиня,— воскликнул Дориан с живостью и, вскочив, направился в глубь оранжереи.

— Вы бессовестно кокетничаете с ним, Глэдис,— сказал лорд Генри своей кузине.— Берегитесь! Чары его сильны.

— Если бы не это, так не было бы и борьбы.

— Значит, грек идет на грека?

— Я на стороне троянцев. Они сражались за женщину.

— И потерпели поражение.

— Бывают вещи страшнее плена,— бросила герцогиня.

— Эге, вы скачете, бросив поводья!

— Только в скачке и жизнь,— был ответ.

— Я это запишу сегодня в моем дневнике.

— Что именно?

— Что ребенок, обжегшись, вновь тянется к огню.

— Огонь меня и не коснулся, Гарри. Мои крылья целы.

— Они вам служат для чего угодно, только не для полета: вы и не пытаетесь улететь от опасности.

— Видно, храбрость перешла от мужчин к женщинам. Для нас это новое ощущение.

— А вы знаете, что у вас есть соперница?

— Кто?

— Леди Нарборо,— смеясь, шепнул лорд Генри,— она в него положительно влюблена.

— Вы меня пугаете. Увлечение древностью всегда фатально для нас, романтиков.

— Это женщины-то — романтики? Да вы выступаете во всеоружии научных методов!

— Нас учили мужчины.

— Учить они вас учили, а вот изучить вас до сих пор не сумели.

— Ну-ка, попробуйте охарактеризовать нас! — подзадорила его герцогиня.

— Вы — сфинксы без загадок.

Герцогиня с улыбкой смотрела на него.

— Однако долго же мистер Грей выбирает для меня орхидеи! Пойдемте поможем ему. Он ведь еще не знает, какого цвета платье я надену к обеду.

— Вам придется подобрать платье к его орхидеям, Глэдис.

— Это было бы преждевременной капитуляцией.

— Романтика в искусстве начинается с кульминационного момента.

— Но я должна обеспечить себе путь к отступлению.

— Подобно парфянам?

— Парфяне спаслись в пустыню. А я этого не могу.

— Для женщин не всегда возможен выбор,— заметил лорд Генри. Не успел он договорить, как с дальнего конца оранжереи донесся стон, а затем глухой стук, словно от падения чего-то тяжелого. Все всполошились. Герцогиня в ужасе застыла на месте, а лорд Генри, тоже испуганный, побежал, раздвигая качавшиеся листья пальм, туда, где на плиточном полу лицом вниз лежал Дориан Грей в глубоком обмороке.

Его тотчас перенесли в голубую гостиную и уложили на диван. Он скоро пришел в себя и с недоумением обвел глазами комнату.

— Что случилось? — спросил он.— А, вспоминаю! Я здесь в безопасности, Гарри? — Он вдруг весь затрясся.

— Ну конечно, дорогой мой! У вас просто был обморок. Наверное, переутомились. Лучше не выходите к обеду. Я вас заменю.

— Нет, я пойду с вами в столовую,— сказал Дориан, с трудом поднимаясь.— Я не хочу оставаться один.

Он пошел к себе переодеваться.

За обедом он проявлял беспечную веселость, в которой было что-то отчаянное. И только по временам вздрагивал от ужаса, вспоминая тот миг, когда увидел за окном оранжереи белое, как платок, лицо Джеймса Вэйна, следившего за ним.

Глава XVIII

Весь следующий день Дориан не выходил из дому и большую часть времени провел у себя в комнате, изнемогая от дикого страха смерти, хотя к жизни он был уже равнодушен. Сознание, что за ним охотятся, что его подстерегают, готовят ему западню, угнетало его, не давало покоя. Стоило ветерку шевельнуть портьеру, как Дориан уже вздрагивал. Сухие листья, которые ветер швырял в стекла, напоминали ему о неосуществленных намерениях и будили страстные сожаления. Как только он закрывал глаза, перед ним вставало лицо моряка, следившего за ним сквозь запотевшее стекло, и снова ужас тяжелой рукой сжимал сердце.

Но, может быть, это только его воображение вызвало из мрака ночи призрак мстителя и рисует ему жуткие картины ожидающего его возмездия? Действительность — это хаос, но в работе человеческого воображения есть неумолимая логика. И только наше воображение заставляет раскаяние следовать по пятам за преступлением. Только воображение рисует нам отвратительные последствия каждого нашего греха. В реальном мире фактов грешники не наказываются, праведники не вознаграждаются. Сильному сопутствует успех, слабого постигает неудача. Вот и все.

И, наконец, если бы сторонний человек бродил вокруг дома, его бы непременно увидели слуги или сторожа. На грядках под окном оранжереи остались бы следы — и садовники сразу доложили бы об этом ему, Дориану. Нет, нет, все это только его фантазия! Брат Сибилы не вернулся, чтобы убить его. Он уехал на корабле и погибнет где-нибудь в бурном море. Да, Джеймс Вэйн, во всяком случае, ему больше не опасен. Ведь он не знает, не может знать имя того, кто погубил его сестру. Маска молодости спасла Прекрасного Принца.

Так Дориан в конце концов уверил себя, что все это был только мираж. Однако ему страшно было думать, что совесть может порождать такие жуткие фантомы и, придавая им видимое обличье, заставлять их проходить перед человеком! Во что превратилась бы его жизнь, если бы днем и ночью призраки его преступлений смотрели на него из темных углов, издеваясь

над ним, шептали ему что-то в уши во время пиров, будили его ледяным прикосновением, когда он уснет! При этой мысли Дориан бледнел и холодел от страха. О, зачем он в страшный час безумия убил друга! Как жутко даже вспоминать эту сцену! Она словно стояла у него перед глазами. Каждая ужасная подробность воскресала в памяти и казалась еще ужаснее. Из темной пропасти времен в кровавом одеянии вставала грозная тень его преступления. Когда лорд Генри в шесть часов пришел в спальню к Дориану, он застал его в слезах. Дориан плакал, как человек, у которого сердце разрывается от горя.

Только на третий день он решился выйти из дому. Напоенное запахом сосен ясное зимнее утро вернуло ему бодрость и жизнерадостность. Но не только это вызвало перемену. Вся душа Дориана восстала против чрезмерности мук, способной ее искалечить, нарушить ее дивный покой. Так всегда бывает с утонченными натурами. Сильные страсти, если они не укрощены, сокрушают таких людей. Страсти эти либо убивают, либо умирают сами. Мелкие горести и неглубокая любовь живучи. Великая любовь и великое горе гибнут от избытка своей силы.

Помимо того, Дориан убедил себя, что он — жертва своего потрясенного воображения, и уже вспоминал свои страхи с чувством, похожим на снисходительную жалость, жалость, в которой была немалая доля пренебрежения.

После завтрака он целый час гулял с герцогиней в саду, потом поехал через парк на то место, где должны были собраться охотники. Сухой хрустящий иней словно солью покрывал траву. Небо походило на опрокинутую чашу из голубого металла. Тонкая кромка льда окаймляла у берегов поросшее камышом тихое озеро.

На опушке соснового леса Дориан увидел брата герцогини, сэра Джеффри Клаустона,— он выбрасывал два пустых патрона из своего ружья. Дориан выскочил из экипажа и, приказав груму отвести лошадь домой, направился к своему гостю, пробираясь сквозь заросли кустарника и сухого папоротника.

— Хорошо поохотились, Джеффри? — спросил он, подходя.

— Не особенно. Видно, птицы почти все улетели в поле. После завтрака переберемся на другое место. Авось там больше повезет.

Дориан зашагал рядом с ним. Живительный аромат леса, мелькавшие в его зеленой сени золотистые и красные блики солнца на стволах, хриплые крики загонщиков, порой разносившиеся по лесу, и резкое щелкание ружей — все веселило его и наполняло чудесным ощущением свободы. Он весь отдался чувству бездумного счастья, радости, которую ничто не может смутить.

Вдруг ярдах в двадцати от них, из-за бугорка, поросшего прошлогодней травой, выскочил заяц. Насторожив уши с черными кончиками, вытягивая длинные задние лапки, он стрелой помчался в глубь ольшаника. Сэр Джеффри тотчас поднял ружье. Но грациозные движения зверька неожиданно умилили Дориана, и он крикнул:

— Не убивайте его, Джеффри, пусть себе живет!

— Что за глупости, Дориан! — со смехом запротестовал сэр Джеффри и выстрелил в тот момент, когда заяц юркнул в чащу. Раздался двойной крик — ужасный крик раненого зайца и еще более ужасный предсмертный крик человека.

— Боже! Я попал в загонщика! — ахнул сэр Джеффри.— Какой это осел полез под выстрел! Эй, перестаньте там стрелять! — крикнул он во всю силу своих легких.— Человек ранен!

Прибежал старший егерь с палкой.

— Где, сэр? Где он?

И в ту же минуту по всей линии затихла стрельба.

— Там,— сердито ответил сэр Джеффри и торопливо пошел к ольшанику.— Какого черта вы не отвели своих людей подальше? Испортили мне сегодняшнюю охоту.

Дориан смотрел, как оба нырнули в заросли, раздвигая гибкие ветви. Через минуту они уже появились оттуда и вынесли труп на освещенную солнцем опушку. Дориан в ужасе отвернулся, подумав, что злой рок преследует его повсюду. Он слышал вопрос сэра Джеффри, умер ли этот человек, и утвердительный ответ егеря. Лес вдруг ожил, закишел людьми, слышался топот множества ног, приглушенный гомон. Крупный фазан с медно-красной грудью, шумно хлопая крыльями, пролетел наверху среди ветвей.

Через несколько минут, показавшихся расстроенному Дориану бесконечными часами муки, на его плечо легла чья-то рука. Он вздрогнул и оглянулся.

— Дориан,— промолвил лорд Генри.— Лучше я скажу им, чтобы на сегодня охоту прекратили. Продолжать ее как-то неудобно.

— Ее бы следовало запретить навсегда,— ответил Дориан с горечью.— Это такая жестокая и противная забава! Что, тот человек...

Он не мог докончить фразы.

— К сожалению, да. Ему угодил в грудь весь заряд дроби. Должно быть, умер сразу. Пойдемте домой, Дориан.

Они шли рядом к главной аллее и молчали. Наконец Дориан поднял глаза на лорда Генри и сказал с тяжелым вздохом:

— Это дурное предзнаменование, Гарри, очень дурное!

— Что именно? — спросил лорд Генри.— Ах да, этот несчастный случай. Ну, милый друг, что поделаешь! Убитый был сам виноват — кто же становится под выстрелы? И, кроме того,— мы-то тут при чем? Для Джеффри это изрядная неприятность, не спорю. Дырявить загонщиков не годится. Люди могут подумать, что он плохой стрелок. А между тем это неверно: Джеффри стреляет очень метко. Но не будем больше говорить об этом.

Дориан покачал головой.

— Нет, это дурной знак, Гарри. Я чувствую, что случится что-то страшное... Быть может, со мной,— добавил он, проводя рукой по глазам, как под влиянием сильной боли.

Лорд Генри рассмеялся.

— Самое страшное на свете — это скука, Дориан. Вот единственный грех, которому нет прощения. Но нам она не грозит, если только наши приятели за обедом не вздумают толковать о случившемся. Надо будет их предупредить, что это запретная тема. Ну а предзнаменования — вздор, никаких предзнаменований не бывает. Судьба не шлет нам вестников — для этого она достаточно мудра или достаточно жестока. И, наконец, скажите, ради бога, что может с вами случиться, Дориан? У вас есть все, чего только может пожелать человек. Каждый был бы рад поменяться с вами.

— А я был бы рад поменяться с любым человеком на свете! Не смейтесь, Гарри, я вам правду говорю. Злополучный крестьянин, который убит только что,

счастливее меня. Смерти я не боюсь — страшно только ее приближение. Мне кажется, будто ее чудовищные крылья уже шумят надо мной в свинцовой духоте. О господи! Разве вы не видите, что какой-то человек прячется за деревьями, подстерегает, ждет меня?

Лорд Генри посмотрел туда, куда указывала дрожащая рука в перчатке.

— Да,— сказал он с улыбкой,— вижу садовника, который действительно поджидает нас. Наверное, хочет узнать, какие цветы срезать к столу. До чего же у вас нервы развинтились, мой милый! Непременно посоветуйтесь с моим врачом, когда мы вернемся в город.

Дориан вздохнул с облегчением, узнав в подходившем садовника. Тот приподнял шляпу, смущенно покосился на лорда Генри и, достав из кармана письмо, подал его хозяину.

— Ее светлость приказала мне подождать ответа,— промолвил он вполголоса.

Дориан сунул письмо в карман.

— Скажите ее светлости, что я сейчас приду,— сказал он сухо. Садовник торопливо пошел к дому.

— Как женщины любят делать рискованные вещи! — с улыбкой заметил лорд Генри.— Эта черта мне в них очень нравится. Женщина готова флиртовать с кем угодно до тех пор, пока другие на это обращают внимание.

— А вы любите говорить рискованные вещи, Гарри. И в данном случае вы глубоко ошибаетесь. Герцогиня мне очень нравится, но я не влюблен в нее.

— А она в вас очень влюблена, но нравитесь вы ей меньше. Так что вы составите прекрасную пару.

— Вы сплетничаете, Гарри! И сплетничаете без всяких оснований.

— Основания для всякой сплетни — вера в безнравственность,— изрек лорд Генри, закуривая папиросу.

— Гарри, Гарри, вы ради красного словца готовы кого угодно принести в жертву!

— Люди сами восходят на алтарь, чтобы принести себя в жертву.

— Ах, если бы я мог кого-нибудь полюбить! — воскликнул Дориан с ноткой пафоса в голосе.— Но я, кажется, утратил эту способность и разучился желать. Я всегда был слишком занят собой — и вот стал уже

в тягость самому себе. Мне хочется бежать от всего, уйти, забыть!.. Глупо было ехать сюда. Я, пожалуй, телеграфирую Харви, чтобы яхта была наготове. На яхте чувствуешь себя в безопасности.

— В безопасности от чего, Дориан? С вами случилась какая-нибудь беда? Почему же вы молчите? Вы знаете, что я всегда готов помочь вам.

— Я не могу вам ничего рассказать, Гарри,— ответил Дориан уныло.— И, наверное, все — просто моя фантазия. Это несчастье меня расстроило, я предчувствую, что и со мной случится что-нибудь в таком роде.

— Какой вздор!

— Надеюсь, вы правы, но ничего не могу с собой поделать. Ага, вот и герцогиня! Настоящая Артемида в английском костюме. Как видите, мы вернулись, герцогиня.

— Я уже все знаю, мистер Грей,— сказала герцогиня.— Бедный Джеффри ужасно огорчен. И, говорят, вы просили его не стрелять в зайца. Какое странное совпадение!

— Да, очень странное. Не знаю даже, что меня побудило сказать это. Простая прихоть, вероятно. Заяц был так мил... Однако очень жаль, что они вам рассказали про это. Ужасная история...

— Досадная история,— поправил его лорд Генри.— И психологически ничуть не любопытная. Вот если бы Джеффри убил его нарочно,— как это было бы интересно! Хотел бы я познакомиться с настоящим убийцей!

— Гарри, вы невозможный человек! — воскликнула герцогиня.— Не правда ли, мистер Грей?.. Ох, Гарри, мистеру Грею, кажется, опять дурно! Он сейчас упадет!

Дориан с трудом овладел собой и улыбнулся.

— Это пустяки, не беспокойтесь, герцогиня. Нервы у меня сильно расстроены, вот и все. Пожалуй, я слишком много ходил сегодня... Что такое Гарри опять изрек? Что-нибудь очень циничное? Вы мне потом расскажете. А сейчас вы меня извините — мне, пожалуй, лучше пойти прилечь.

Они дошли до широкой лестницы, которая вела из оранжереи на террасу. Когда стеклянная дверь закрылась за Дорианом, лорд Генри повернулся к

герцогине и посмотрел на нее в упор своими томными глазами.

— Вы сильно в него влюблены? — спросил он.

Герцогиня некоторое время молчала, глядя на расстилавшуюся перед ними картину.

— Хотела бы я сама это знать,— сказала она наконец.

Лорд Генри покачал головой.

— Знание пагубно для любви. Только неизвестность пленяет нас. В тумане все кажется необыкновенным.

— Но в тумане можно сбиться с пути.

— Ах, милая Глэдис, все пути ведут к одному.

— К чему же?

— К разочарованию.

— С него я начала свой жизненный путь,— со вздохом отозвалась герцогиня.

— Оно пришло к вам в герцогской короне.

— Мне надоели земляничные листья.

— Но вы их носите с подобающим достоинством.

— Только на людях.

— Смотрите, вам трудно будет обойтись без них!

— А они останутся при мне, все до единого.

— Но у Монмаута есть уши.

— Старость туга на ухо.

— Неужели он никогда не ревнует?

— Нет. Хоть бы раз приревновал!

Лорд Генри осмотрелся вокруг, словно ища чего-то.

— Чего вы ищете? — спросила герцогиня.

— Шишечку от вашей рапиры,— отвечал он.— Вы ее обронили.

Герцогиня расхохоталась.

— Но маска еще на мне.

— Из-под нее ваши глаза кажутся еще красивее,— был ответ.

Герцогиня снова рассмеялась. Зубы ее блеснули меж губ, как белые зернышки в алой мякоти плода.

А наверху, в своей спальне, лежал на диване Дориан, и каждая жилка в нем дрожала от ужаса. Жизнь внезапно стала для него невыносимым бременем. Смерть злополучного загонщика, которого подстрелили в лесу, как дикого зверя, казалась Дориану прообразом его собственного конца. Услышав слова

лорда Генри, сказанные с такой циничной шутливостью, он чуть не лишился чувств.

В пять часов он позвонил слуге и распорядился, чтобы его вещи были уложены и коляска подана к половине девятого, так как он уезжает вечерним поездом в Лондон. Он твердо решил ни одной ночи не ночевать больше в Селби, этом зловещем месте, где смерть бродит и при солнечном свете, а трава в лесу обрызгана кровью.

Он написал лорду Генри записку, в которой сообщал, что едет в Лондон к врачу, и просил развлекать гостей до его возвращения. Когда он запечатывал записку, в дверь постучали, и лакей доложил, что пришел старший егерь. Дориан нахмурился, закусил губу.

— Пусть войдет,— буркнул он после минутной нерешимости.

Как только егерь вошел, Дориан достал из ящика чековую книжку и положил ее перед собой.

— Вы, наверное, пришли по поводу того несчастного случая, Торнтон?— спросил он, берясь уже за перо.

— Так точно, сэр,— ответил егерь.

— Что же этот бедняга был женат? У него есть семья?— спросил Дориан небрежно.— Если да, я их не оставлю в нужде, пошлю им денег. Сколько вы находите нужным?

— Мы не знаем, кто этот человек, сэр. Поэтому я и осмелился вас побеспокоить...

— Не знаете, кто он?— рассеянно переспросил Дориан.— Как так? Разве он не из ваших людей?

— Нет, сэр. Я его никогда в глаза не видел. Похоже, что это какой-то матрос, сэр.

Перо выпало из рук Дориана, и сердце у него вдруг замерло.

— Матрос?— переспросил он.— Вы говорите, матрос?

— Да, сэр. По всему видно. На обеих руках у него татуировка... и все такое...

— А нашли вы при нем что-нибудь?— Дориан наклонился вперед, ошеломленно глядя на егеря.— Какой-нибудь документ, из которого можно узнать его имя?

— Нет, сэр. Только немного денег и шестизарядный револьвер — больше ничего. А имя нигде не указано. Человек, видимо, приличный, но из простых. Мы думаем, что матрос.

Дориан вскочил. Мелькнула безумная надежда, и он судорожно за нее ухватился.

— Где труп? Я хочу его сейчас же увидеть.

— Он на ферме, сэр. В пустой конюшне. Люди не любят держать в доме покойника. Они говорят, что мертвец приносит несчастье.

— На ферме? Так отправляйтесь туда и ждите меня. Скажите кому-нибудь из конюхов, чтобы привел мне лошадь... Или нет, не надо. Я сам пойду в конюшню. Так будет скорее.

Не прошло и четверти часа, как Дориан Грей уже мчался галопом, во весь опор, по длинной аллее. Деревья призрачной процессией неслись мимо, и пугливые тени перебегали дорогу. Раз кобыла неожиданно свернула в сторону, к знакомой белой ограде, и чуть не сбросила седока. Он стегнул ее хлыстом по шее, и она понеслась вперед, рассекая воздух, как стрела. Камни летели из-под ее копыт.

Наконец Дориан доскакал до фермы. По двору слонялись двое рабочих. Он спрыгнул с седла и бросил поводья одному из них. В самой дальней конюшне светился огонек. Какой-то внутренний голос подсказал Дориану, что мертвец там. Он быстро подошел к дверям и взялся за щеколду.

Однако он вошел не сразу, а постоял минуту, чувствуя, что вот сейчас ему предстоит сделать открытие, которое либо вернет ему покой, либо испортит жизнь навсегда. Наконец он порывисто дернул дверь к себе и вошел.

На мешках в дальнем углу лежал человек в грубой рубахе и синих штанах. Лицо его было прикрыто пестрым ситцевым платком. Рядом горела, потрескивая, толстая свеча, воткнутая в бутылку.

Дориан дрожал, чувствуя, что у него не хватит духу своей рукой снять платок. Он кликнул одного из работников.

— Снимите эту тряпку, я хочу его видеть,— сказал он и прислонился к дверному косяку, ища опоры.

Когда парень снял платок, Дориан подошел ближе. Крик радости вырвался у него. Человек, убитый в лесу, был Джеймс Вэйн!

Несколько минут Дориан Грей стоял и смотрел на мертвеца. Когда он потом ехал домой, глаза его были полны слез. Спасен!

Глава XIX

— И зачем вы мне твердите, что решили стать лучше? — говорил лорд Генри, окуная белые пальцы в медную чашу с розовой водой.— Вы и так достаточно хороши. Пожалуйста, не меняйтесь.

Дориан покачал головой.

— Нет, Гарри, у меня на совести слишком много тяжких грехов. Я решил не грешить больше. И вчера уже начал творить добрые дела.

— А где же это вы были вчера?

— В деревне, Гарри. Поехал туда один и остановился в маленькой харчевне.

— Милый друг, в деревне всякий может быть праведником,— с улыбкой заметил лорд Генри.— Там нет никаких соблазнов. По этой-то причине людей, живущих за городом, не коснулась цивилизация. Да, да, приобщиться к цивилизации — дело весьма нелегкое. Для этого есть два пути: культура или так называемый разврат. А деревенским жителям то и другое недоступно. Вот они и закоснели в добродетели.

— Культура и разврат,— повторил Дориан.— Я приобщился к тому и другому, и теперь мне тяжело думать, что они могут сопутствовать друг другу. У меня новый идеал, Гарри. Я решил стать другим человеком. И чувствую, что уже переменился.

— А вы еще не рассказали мне, какое это доброе дело совершили. Или, кажется, вы говорили даже о нескольких? — спросил лорд Генри, положив себе на тарелку красную пирамидку очищенной клубники и посыпая ее сахаром.

— Этого я никому рассказывать не стал бы, а вам расскажу. Я пощадил женщину, Гарри. Такое

заявление может показаться тщеславным хвастовством, но вы меня поймете. Она очень хороша собой и удивительно напоминает Сибилу Вэйн. Должно быть, этим она вначале и привлекла меня. Помните Сибилу, Гарри? Каким далеким кажется то время!.. Так вот... Гетти, конечно, не нашего круга. Простая деревенская девушка. Но я ее искренне полюбил. Да, я убежден, что это была любовь. Весь май — чудесный май был в этом году! — я ездил к ней два-три раза в неделю. Вчера она встретила меня в саду. Цветы яблони падали ей на волосы, и она смеялась... Мы должны были уехать вместе сегодня на рассвете. Но вдруг я решил оставить ее такой же прекрасной и чистой, какой встретил ее...

— Должно быть, новизна этого чувства доставила вам истинное наслаждение, Дориан? — перебил лорд Генри.— А вашу идиллию я могу досказать за вас. Вы дали ей добрый совет и разбили ее сердце. Так вы начали свою праведную жизнь.

— Гарри, как вам не стыдно говорить такие вещи! Сердце Гетти вовсе не разбито. Конечно, она поплакала и все такое. Но зато она не обесчещена. Она может жить, как Пердита, в своем саду среди мяты и златоцвета.

— И плакать о неверном Флоризеле,— докончил лорд Генри, со смехом откидываясь на спинку стула.— Милый мой, как много еще в вас презабавной детской наивности! Вы думаете, эта девушка теперь сможет удовлетвориться любовью человека ее среды? Выдадут ее замуж за грубияна-возчика или крестьянского парня. А знакомство с вами и любовь к вам сделали свое дело: она будет презирать мужа и чувствовать себя несчастной. Не могу сказать, чтобы ваше великое самоотречение было большой моральной победой. Даже для начала это слабо. Кроме того, почем вы знаете,— может быть, ваша Гетти плавает сейчас, как Офелия, где-нибудь среди кувшинок в пруду, озаренном звездным сиянием?

— Перестаньте, Гарри, это невыносимо! То вы все превращаете в шутку, то придумываете самые ужасные трагедии! Мне жаль, что я вам все рассказал. И что бы вы ни говорили, я знаю, что поступил правильно. Бедная Гетти! Сегодня утром, когда я проез-

жал верхом мимо их фермы, я видел в окне ее личико, белое, как цветы жасмина... Не будем больше говорить об этом. И не пытайтесь меня убедить, что мое первое за столько лет доброе дело, первый самоотверженный поступок — на самом деле чуть ли не преступление. Я хочу стать лучше. И стану... Ну, довольно об этом. Расскажите мне о себе. Что слышно в Лондоне? Я давно не был в клубе.

— Люди все еще толкуют об исчезновении Бэзила.

— А я думал, что им это уже наскучило,— бросил Дориан, едва заметно нахмурив брови и наливая себе вина.

— Что вы, мой милый! Об этом говорят всего только полтора месяца, а обществу нашему трудно менять тему чаще, чем раз в три месяца,— на такое умственное усилие оно не способно. Правда, в этом сезоне ему очень повезло. Столько событий — мой развод, самоубийство Алана Кэмпбела, а теперь еще загадочное исчезновение художника! В Скотланд-Ярде все еще думают, что человек в сером пальто, уехавший девятого ноября в Париж двенадцатичасовым поездом, был бедняга Бэзил, а французская полиция утверждает, что Бэзил вовсе и не приезжал в Париж. Наверное, через неделю-другую мы услышим, что его видели в Сан-Франциско. Странное дело — как только кто-нибудь бесследно исчезает, тотчас разносится слух, что его видели в Сан-Франциско! Замечательный город, должно быть, этот Сан-Франциско, и обладает, наверное, всеми преимуществами того света!

— А вы как думаете, Гарри, куда мог деваться Бэзил? — спросил Дориан, поднимая стакан с бургундским и рассматривая вино на свет. Он сам удивлялся спокойствию, с которым говорил об этом.

— Понятия не имею. Если Бэзилу угодно скрываться,— это его дело. Если он умер, я не хочу о нем вспоминать. Смерть — то единственное, о чем я думаю с ужасом. Она мне ненавистна.

— Почему же? — лениво спросил младший из собеседников.

— А потому,— лорд Генри поднес к носу золоченый флакончик с уксусом,— что в наше время человек все может пережить, кроме нее. Есть только два явле-

ния, которые и в нашем, девятнадцатом, веке еще остаются необъяснимыми и ничем не оправданными: смерть и пошлость... Давайте перейдем пить кофе в концертный зал,— хорошо, Дориан? Я хочу, чтобы вы мне поиграли Шопена. Тот человек, с которым убежала моя жена, чудесно играл Шопена. Бедная Виктория! Я был к ней очень привязан, и без нее в доме так пусто. Разумеется, семейная жизнь только привычка, скверная привычка. Но ведь даже с самыми дурными привычками трудно бывает расстаться. Пожалуй, труднее всего именно с дурными. Они — такая существенная часть нашего «я».

Дориан, ничего не отвечая, встал из-за стола и, пройдя в соседнюю комнату, сел за рояль. Пальцы его забегали по черным и белым клавишам. Но когда подали кофе, он перестал играть и, глядя на лорда Генри, спросил:

— Гарри, а вам не приходило в голову, что Бэзила могли убить?

Лорд Генри зевнул.

— Бэзил очень известен и носит дешевые часы. Зачем же было бы его убивать? И врагов у него нет, потому что не такой уж он выдающийся человек. Конечно, он очень талантливый художник, но можно писать, как Веласкес, и при этом быть скучнейшим малым. Бэзил, честно говоря, всегда был скучноват. Только раз он меня заинтересовал — это было много лет назад, когда он признался мне, что безумно вас обожает и что вы вдохновляете его, даете ему стимул к творчеству.

— Я очень любил Бэзила,— с грустью сказал Дориан.— Значит, никто не предполагает, что он убит?

— В некоторых газетах такое предположение высказывалось. А я в это не верю. В Париже, правда, есть весьма подозрительные места, но Бэзил не такой человек, чтобы туда ходить. Он совсем не любознателен, это его главный недостаток.

— А что бы вы сказали, Гарри, если бы я признался вам, что это я убил Бэзила?

Говоря это, Дориан с пристальным вниманием наблюдал за лицом лорда Генри.

— Сказал бы, что вы, мой друг, пытаетесь вы-

ступить не в своей роли. Всякое преступление вульгарно, точно так же, как всякая вульгарность — преступление. И вы, Дориан, не способны совершить убийство. Извините, если я таким утверждением задел ваше самолюбие, но, ей-богу, я прав. Преступники — всегда люди низших классов. И я их ничуть не осуждаю. Мне кажется, для них преступление — то же, что для нас искусство: просто-напросто средство, доставляющее сильные ощущения.

— Средство, доставляющее сильные ощущения? Значит, по-вашему, человек, раз совершивший убийство, способен сделать это опять? Полноте, Гарри!

— О, удовольствие можно находить во всем, что входит в привычку,— со смехом отозвался лорд Генри.— Это один из главных секретов жизни. Впрочем, убийство — всегда промах. Никогда не следует делать того, о чем нельзя поболтать с людьми после обеда... Ну, оставим в покое беднягу Бэзила. Хотелось бы верить, что конец его был так романтичен, как вы предполагаете. Но мне не верится. Скорее всего, он свалился с омнибуса в Сену, а кондуктор скрыл это, чтобы не иметь неприятностей. Да, да, я склонен думать, что именно так и было. И лежит он теперь под мутно-зелеными водами Сены, а над ними проплывают тяжелые баржи, и в волосах его запутались длинные водоросли... Знаете, Дориан, вряд ли он мог еще многое создать в живописи. Его работы за последние десять лет значительно слабее первых.

Дориан в ответ только вздохнул, а лорд Генри прошелся из угла в угол и стал гладить редкого яванского попугая, сидевшего на бамбуковой жердочке. Как только его пальцы коснулись спины этой крупной птицы с серыми крыльями и розовым хохолком и хвостом, она опустила белые пленки сморщенных век на черные стеклянные глаза и закачалась взад и вперед.

— Да,— продолжал лорд Генри, обернувшись к Дориану и доставая из кармана платок,— картины Бэзила стали много хуже. Чего-то в них не хватает. Видно, Бэзил утратил свой идеал. Пока вы с ним были так дружны, он был великим художником. Потом это

кончилось. Из-за чего вы разошлись? Должно быть, он вам надоел? Если да, то Бэзил, вероятно, не мог простить вам этого — таковы уж все скучные люди. Кстати, что сталось с вашим чудесным портретом? Я, кажется, не видел его ни разу с тех пор, как Бэзил его закончил... А, припоминаю, вы говорили мне несколько лет назад, что отправили его в Селби, и он не то затерялся по дороге, не то его украли. Что же, он так и не нашелся? Какая жалость! Это был настоящий шедевр. Помню, мне очень хотелось его купить. И жаль, что я этого не сделал. Портрет написан в то время, когда талант Бэзила был в полном расцвете. Более поздние его картины уже представляют собой ту любопытную смесь плохой работы и благих намерений, которая у нас дает право художнику считаться типичным представителем английского искусства... А вы объявляли в газетах о пропаже? Это следовало сделать.

— Не помню уже,— ответил Дориан.— Вероятно, объявлял. Ну, да бог с ним, с портретом! Он мне, в сущности, никогда не нравился, и я жалею, что позировал для него. Не люблю я вспоминать о нем. К чему вы затеяли этот разговор? Знаете, Гарри, при взгляде на портрет мне всегда вспоминались две строчки из какой-то пьесы — кажется, из «Гамлета»... Постойте, как же это?..

Словно образ печали,
Бездушный тот лик...

Да, именно такое впечатление он на меня производил.

Лорд Генри засмеялся.

— Кто к жизни подходит как художник, тому мозг заменяет душу,— отозвался он, садясь в кресло.

Дориан отрицательно потряс головой и взял несколько тихих аккордов на рояле.

Словно образ печали
Бездушный тот лик...—

повторил он.

Лорд Генри, откинувшись в кресле, смотрел на него из-под полуопущенных век.

— А между прочим, Дориан,— сказал он, помолчав,— что пользы человеку приобрести весь мир,

если он теряет... как дальше? Да: если он теряет собственную душу?

Музыка резко оборвалась. Дориан, вздрогнув, уставился на своего друга.

— Почему вы задаете мне такой вопрос, Гарри?

— Милый мой.— Лорд Генри удивленно поднял брови.— Я спросил, потому что надеялся получить ответ,— только и всего. В воскресенье я проходил через Парк, а там у Мраморной Арки стояла кучка оборванцев и слушала какого-то уличного проповедника. В то время как я проходил мимо, он как раз выкрикнул эту фразу, и меня вдруг поразила ее драматичность... В Лондоне можно очень часто наблюдать такие любопытные сценки... Вообразите — дождливый воскресный день, жалкая фигура христианина в макинтоше, кольцо бледных испитых лиц под неровной крышей зонтов, с которых течет вода,— и эта потрясающая фраза, брошенная в воздух, прозвучавшая как пронзительный истерический вопль. Право, это было в своем роде интересно и весьма внушительно. Я хотел сказать этому пророку, что душа есть только у искусства, а у человека ее нет. Но побоялся, что он меня не поймет.

— Не говорите так, Гарри! Душа у человека есть, это нечто до ужаса реальное. Ее можно купить, продать, променять. Ее можно отравить или спасти. У каждого из нас есть душа. Я это знаю.

— Вы совершенно в этом уверены, Дориан?

— Совершенно уверен.

— Ну, в таком случае это только иллюзия. Как раз того, во что твердо веришь, в действительности не существует. Такова фатальная участь веры, и этому же учит нас любовь. Боже, какой у вас серьезный и мрачный вид, Дориан! Полноте! Что нам за дело до суеверий нашего века? Нет, мы больше не верим в существование души. Сыграйте мне, Дориан! Сыграйте какой-нибудь ноктюрн и во время игры расскажите тихонько, как вы сохранили молодость. Вы, верно, знаете какой-нибудь секрет. Я старше вас только на десять лет, а посмотрите, как я износился, сморщился, пожелтел! Вы же поистине очаровательны, Дориан. И сегодня более чем когда-либо. Глядя на вас, я вспоминаю день нашей первой встречи. Вы были очень

застенчивый, но при этом довольно дерзкий и вообще замечательный юноша. С годами вы, конечно, переменились, но внешне — ничуть. Хотел бы я узнать ваш секрет! Чтобы вернуть свою молодость, я готов сделать все на свете — только не заниматься гимнастикой, не вставать рано и не вести добродетельный образ жизни. Молодость! Что может с ней сравниться? Как это глупо — говорить о «неопытной и невежественной юности». Я с уважением слушаю суждения только тех, кто много меня моложе. Молодежь нас опередила, ей жизнь открывает свои самые новые чудеса. А людям пожилым я всегда противоречу. Я это делаю из принципа. Спросите их мнение о чем-нибудь, что произошло только вчера,— и они с важностью преподнесут вам суждения, господствовавшие в тысяча восемьсот двадцатом году, когда мужчины носили длинные чулки, когда люди верили решительно во все, но решительно ничего не знали... Какую прелестную вещь вы играете! Она удивительно романтична. Можно подумать, что Шопен писал ее на Майорке, когда море стонало вокруг его виллы и соленые брызги летели в окна. Какой счастье, что у нас есть хоть одно неподражательное искусство! Играйте, играйте, Дориан, мне сегодня хочется музыки!.. Я буду воображать, что вы — юный Аполлон, а я — внимающий вам Марсий... У меня есть свои горести, Дориан, о которых я не говорю даже вам. Трагедия старости не в том, что человек стареет, а в том, что он душой остается молодым... Я иногда сам поражаюсь своей искренности. Ах, Дориан, какой вы счастливец! Как прекрасна ваша жизнь! Вы все изведали, всем упивались, вы смаковали сок виноградин, раздавливая их во рту. Жизнь ничего не утаила от вас. И все в ней вы воспринимали как музыку, поэтому она вас не испортила. Вы все тот же.

— Нет, Гарри, я уже не тот.

— А я говорю — тот. Интересно, какова будет ваша дальнейшая жизнь. Только не портите ее отречениями. Сейчас вы — совершенство. Смотрите же, не станьте человеком неполноценным. Сейчас вас не в чем упрекнуть. Не качайте головой, вы и сами знаете, что это так. И, кроме того, не обманывайте себя, Дориан: жизнью управляют не ваша воля и стрем-

ления. Жизнь наша зависит от наших нервных волокон, от особенностей нашего организма, от медленно развивающихся клеток, где таятся мысли, где родятся мечты и страсти. Вы, допустим, воображаете себя человеком сильным и думаете, что вам ничто не угрожает. А между тем случайное освещение предметов в комнате, тон утреннего неба, запах, когда-то любимый вами и навеявший смутные воспоминания, строка забытого стихотворения, которое снова встретилось вам в книге, музыкальная фраза из пьесы, которую вы давно уже не играли,—вот от каких мелочей зависит течение нашей жизни, Дориан! Браунинг тоже где-то пишет об этом. И наши собственные чувства это подтверждают. Стоит мне, например, ощутить где-нибудь запах духов «Белая сирень»,—и я вновь переживаю один самый удивительный месяц в моей жизни. Ах, если бы я мог поменяться с вами, Дориан! Люди осуждали нас обоих, но вас они все-таки боготворят, всегда будут боготворить. Вы—тот человек, которого наш век ищет... и боится, что нашел. Я очень рад, что вы не изваяли никакой статуи, не написали картины, вообще не создали ничего вне себя. Вашим искусством была жизнь. Вы положили *себя* на музыку. Дни вашей жизни—это ваши сонеты.

Дориан встал из-за рояля и провел рукой по волосам.

— Да, жизнь моя была чудесна, но так жить я больше не хочу,—сказал он тихо.—И я не хочу больше слышать таких сумасбродных речей, Гарри! Вы не все обо мне знаете. Если бы знали, то даже вы, вероятно, отвернулись бы от меня. Смеетесь? Ох, не смейтесь, Гарри!

— Зачем вы перестали играть, Дориан? Садитесь и сыграйте мне еще раз этот ноктюрн. Взгляните, какая большая, желтая, как мед, луна плывет в сумеречном небе. Она ждет, чтобы вы зачаровали ее своей музыкой, и под звуки ее она подойдет ближе к земле... Не хотите играть? Ну, так пойдемте в клуб. Мы сегодня очень хорошо провели вечер, и надо кончить его так же. В клубе будет один молодой человек, который жаждет с вами познакомиться,—это лорд Пул, старший сын Борнмаута. Он уже копирует ваши

галстуки и умоляет, чтобы я его познакомил с вами. Премилый юноша и немного напоминает вас.

— Надеюсь, что нет,— сказал Дориан, и глаза его стали печальны. — Я устал, Гарри, я не пойду в клуб. Скоро одиннадцать, а я хочу пораньше лечь.

— Не уходите еще, Дориан. Вы играли сегодня, как никогда. Ваша игра была как-то особенно выразительна.

— Это потому, что я решил исправиться,— с улыбкой промолвил Дориан. — И уже немного изменился к лучшему.

— Только ко мне не переменитесь, Дориан! Мы с вами всегда останемся друзьями.

— А ведь вы однажды отравили меня книгой, Гарри,—этого я вам никогда не прощу. Обещайте, что вы никому больше не дадите ее. Это вредная книга.

— Дорогой мой, да вы и в самом деле становитесь моралистом! Скоро вы, как всякий новообращенный, будете ходить и увещевать людей не делать всех тех грехов, которыми вы пресытились. Нет, для этой роли вы слишком хороши! Да и бесполезно это. Какие мы были, такими и останемся. А «отравить» вас книгой я никак не мог. Этого не бывает. Искусство не влияет на деятельность человека,— напротив, оно парализует желание действовать. Оно совершенно нейтрально. Так называемые «безнравственные» книги — это те, которые показывают миру его пороки, вот и все. Но давайте не будем сейчас затевать спор о литературе! Приходите ко мне завтра, Дориан. В одиннадцать я поеду кататься верхом, и мы можем покататься вместе. А потом я вас повезу завтракать к леди Бренксам. Эта милая женщина хочет посоветоваться с вами насчет гобеленов, которые она собирается купить. Так смотрите же, я вас жду!.. Или не поехать ли нам завтракать к нашей маленькой герцогине? Она говорит, что вы совсем перестали бывать у нее. Быть может, Глэдис вам наскучила? Я это предвидел. Ее остроумие действует на нервы. Во всяком случае, приходите к одиннадцати.

— Вы непременно этого хотите, Гарри?

— Конечно. Парк теперь чудо как хорош! Сирень там цветет так пышно, как цвела только в тот год, когда я впервые встретил вас.

— Хорошо, приду. Покойной ночи, Гарри.

Дойдя до двери, Дориан остановился, словно хотел еще что-то сказать. Но только вздохнул и вышел из комнаты.

Глава XX

Был прекрасный вечер, такой теплый, что Дориан не надел пальто и нес его на руке. Он даже не обернул шею своим шелковым кашне. Когда он, куря папиросу, шел по улице, его обогнали двое молодых людей во фраках. Он слышал, как один шепнул другому: «Смотри, это Дориан Грей». И Дориан вспомнил, как ему раньше бывало приятно то, что люди указывали его друг другу, глазели на него, говорили о нем. А теперь? Ему надоело постоянно слышать свое имя. И главная прелесть жизни в деревне, куда он в последнее время так часто ездил, была именно в том, что там его никто не знал. Девушке, которая его полюбила, он говорил, что он бедняк, и она ему верила. Раз он ей сказал, что в прошлом вел развратную жизнь, а она засмеялась и возразила, что развратные люди всегда бывают старые и безобразные. Какой у нее смех — совсем как пение дрозда! И как она прелестна в своем ситцевом платьице и широкополой шляпе! Она, простая, невежественная девушка, обладает всем тем, что он утратил.

Придя домой, Дориан отослал спать лакея, который не ложился, дожидаясь его. Потом вошел в библиотеку и лег на диван. Он думал о том, что ему сегодня говорил лорд Генри.

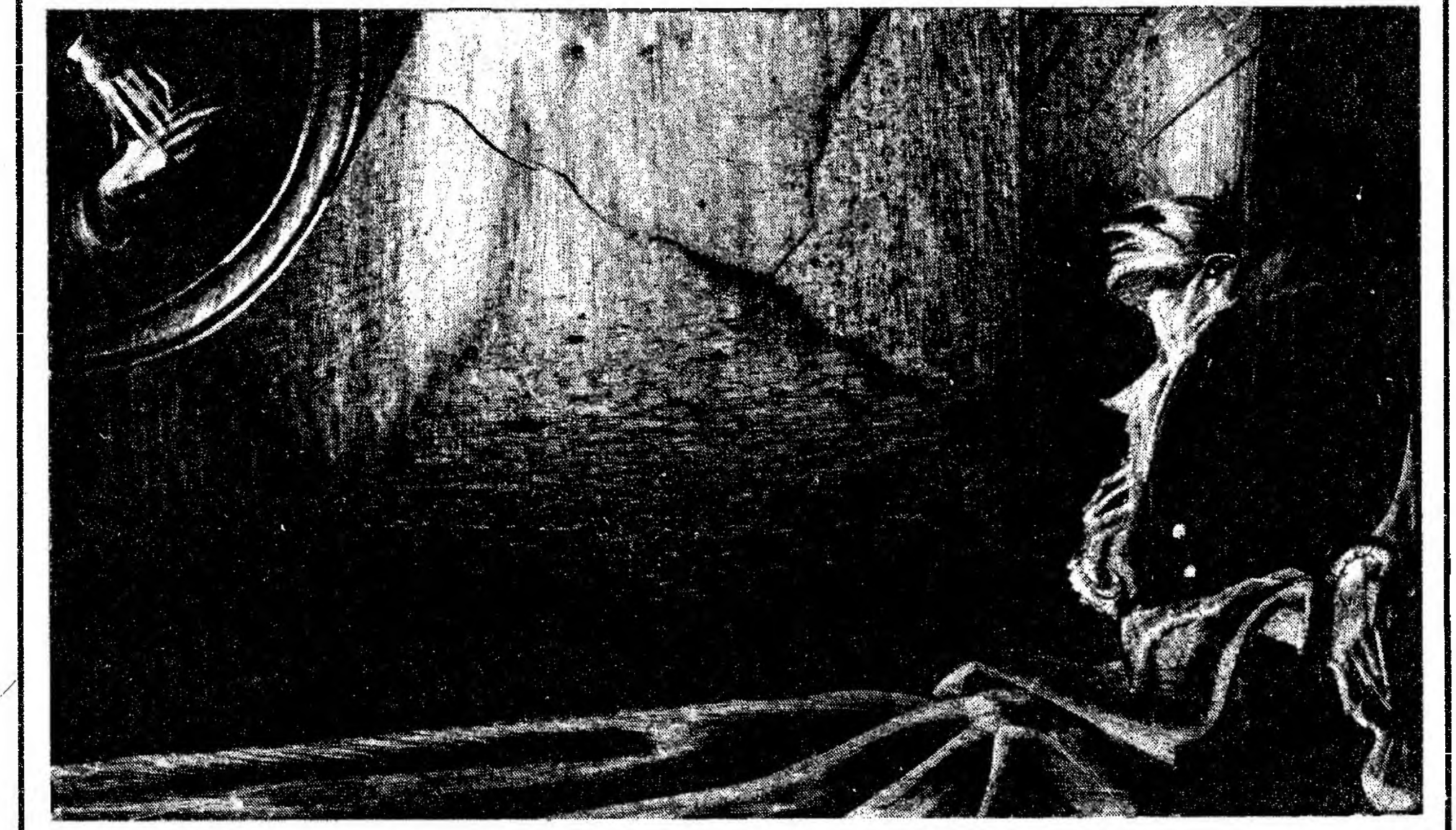
Неужели правда, что человек при всем желании не может измениться? Дориан испытывал в эти минуты страстную тоску по незапятнанной чистоте своей юности, «бело-розовой юности», как назвал ее однажды лорд Генри. Он сознавал, что загрязнил ее, растлил свою душу, дал отвратительную пищу воображению, что его влияние было гибельно для других, и это доставляло ему жестокое удовольствие. Из всех жизней, скрестившихся с его собственной, его жизнь была самая чистая и так много обещала — а он

запятнал ее. Но неужели все это непоправимо? Неужели для него нет надежды?

О, зачем в роковую минуту гордыни и возмущения он молил небеса, чтобы портрет нес бремя его дней, а сам он сохранил неприкосновенным весь блеск вечной молодости! В ту минуту он погубил свою жизнь. Лучше было бы, если бы всякое прегрешение влекло за собой верное и скорое наказание. В каре — очищение. Не «Прости нам грехи наши», а «Покарай нас за беззакония наши» — вот какой должна быть молитва человека справедливейшему богу.

На столе стояло зеркало, подаренное Дориану много лет назад лордом Генри, и белорукие купидоны по-прежнему резвились на его раме, покрытой искусной резьбой. Дориан взял его в руки,— совсем как в ту страшную ночь, когда он впервые заметил перемену в роковом портрете,— и устремил на его блестящую поверхность блуждающий взор, затуманенный слезами. Однажды кто-то, до безумия любивший его, написал ему письмо, кончавшееся такими словами: «Мир стал иным, потому что в него пришли вы, созданный из слоновой кости и золота. Изгиб ваших губ переделает заново историю мира». Эти идолопоклоннические слова вспомнились сейчас Дориану, и он много раз повторил их про себя. Но в следующую минуту ему стала противна собственная красота, и, швырнув зеркало на пол, он раздавил его каблуком на серебряные осколки. Эта красота его погубила, красота и вечная молодость, которую он себе вымолил! Если бы не они, его жизнь была бы чиста. Красота оказалась только маской, молодость — насмешкой. Что такое молодость в лучшем случае? Время незрелости, наивности, время поверхностных впечатлений и нездоровых помыслов. Зачем ему было носить ее наряд? Да, молодость его погубила.

Лучше не думать о прошлом. Ведь ничего теперь не изменишь. Надо подумать о будущем. Джеймс Вэйн лежит в безымянной могиле на кладбище в Селби. Алан Кэмпбел застрелился ночью в лаборатории и не выдал тайны, которую ему против воли пришлось узнать. Толки об исчезновении Бэзила Холлуорда скоро прекратятся, волнение уляжется — оно уже идет



на убыль. Значит, никакая опасность ему больше не грозит. И вовсе не смерть Бэзила Холлуорда мучила и угнетала Дориана, а смерть его собственной души, мертвой души в живом теле. Бэзил написал портрет, который испортил ему жизнь,— и Дориан не мог простить ему этого. Ведь всему виной портрет! Кроме того, Бэзил наговорил ему недопустимых вещей— и он стерпел это... А убийство? Убийство он совершил в минуту безумия. Алан Кэмпбел? Что из того, что Алан покончил с собой? Это его личное дело, такова была его воля. При чем же здесь он, Дориан?

Новая жизнь! Жизнь, начатая сначала,— вот чего хотел Дориан, вот к чему стремился. И уверял себя, что она уже началась. Во всяком случае, он пощадил невинную девушку. И никогда больше не будет соблазнять невинных. Он будет жить честно.

Вспомнив о Гетти Мертон, он подумал: а пожалуй, портрет в запертой комнате уже изменился к лучшему? Да, да, наверное, он уже не так страшен, как был. И если жизнь его, Дориана, станет чистой, то, быть может, всякий след пороков и страстей изгладится с лица портрета? А вдруг эти следы уже и сейчас исчезли? Надо пойти взглянуть.

Он взял со стола лампу и тихонько пошел наверх. Когда он отпирал дверь, радостная улыбка пробежала по его удивительно молодому лицу и осталась на губах. Да, он станет другим человеком, и этот мерзкий портрет, который приходится теперь прятать от всех, не будет больше держать его в страхе. Он чувствовал, что с души наконец свалилась страшная тяжесть.

Он вошел, тихо ступая, запер за собой дверь, как всегда, и сорвал с портрета пурпурное покрывало. Крик возмущения и боли вырвался у него. Никакой перемены! Только в выражении глаз было теперь что-то хитрое, да губы кривила лицемерная усмешка. Человек на портрете был все так же отвратителен, отвратительнее прежнего, и красная влага на его руке казалась еще ярче, еще более была похожа на свежепролитую кровь. Дориан задрожал. Значит, только пустое тщеславие побудило его совершить единственное в его жизни доброе дело? Или жажда новых

ощущений, как с ироническим смехом намекнул лорд Генри? Или стремление порисоваться, которое иногда толкает нас на поступки благороднее нас самих? Или все это вместе? А почему кровавое пятно стало больше? Оно расползлось по морщинистым пальцам, распространялось подобно какой-то страшной болезни... Кровь была и на ногах портрета—не капала ли она с руки? Она была и на другой руке, той, которая не держала ножа, убившего Бэзила. Что же делать? Значит, ему следует сознаться в убийстве? Сознаться? Отдаться в руки полиции, пойти на смерть?

Дориан рассмеялся. Какая дикая мысль! Да если он и сознается, кто ему поверит? Нигде не осталось следов, все вещи убитого уничтожены,—он, Дориан, собственноручно сжег все, что оставалось внизу, в библиотеке. Люди решат, что он сошел с ума. И, если он будет упорно обвинять себя, его запрут в сумасшедший дом... Но ведь долг велит сознаться, покаяться перед всеми, понести публичное наказание, публичный позор. Есть бог, и он требует, чтобы человек исповедовался в грехах своих перед небом и землей. И ничто не очистит его, Дориана, пока он не сознается в своем преступлении... Преступлении? Он пожал плечами. Смерть Бэзила Холлуорда утратила в его глазах всякое значение. Он думал о Гетти Мертон. Нет, этот портрет, это зеркало его души, лжет! Самолюбование? Любопытство? Лицемерие? Неужели ничего, кроме этих чувств, не было в его самоотречении? Неправда, было нечто большее! По крайней мере, так ему казалось. Но кто знает?..

Нет, ничего другого не было. Он пощадил Гетти только из тщеславия. В своем лицемерии надел маску добродетели. Из любопытства попробовал поступить самоотверженно. Сейчас он это ясно понимал.

А это убийство? Что же, оно так и будет его преследовать всю жизнь? Неужели прошлое будет вечно тяготеть над ним? Может, в самом деле сознаться?.. Нет, ни за что! Против него есть только одна-единственная—и то слабая—улика: портрет. Так надо уничтожить его! И зачем было так долго его хранить? Прежде ему нравилось наблюдать, как портрет вместо него старится и дурнеет, но в последнее

время он и этого удовольствия не испытывает. Портрет не дает ему спокойно спать по ночам. И, уезжая из Лондона, он все время боится, как бы в его отсутствие чужой глаз не подсмотрел его тайну. Мысль о портрете отравила ему не одну минуту радости, омрачила меланхолией даже его страсти. Портрет этот — как бы его совесть. Да, совесть. И надо его уничтожить.

Дориан осмотрелся и увидел нож, которым он убил Бэзила Холлуорда. Он не раз чистил этот нож, и на нем не осталось ни пятнышка, он так и сверкал. Этот нож убил художника — так пусть же он сейчас убьет и его творение, и все, что с ним связано. Он убьет прошлое, и, когда прошлое умрет, Дориан Грей будет свободен! Он покончит со сверхъестественной жизнью души в портрете, и когда прекратятся эти зловещие предостережения, он вновь обретет покой.

Дориан схватил нож и вонзил его в портрет.

Раздался громкий крик и стук от падения чего-то тяжелого. Этот крик смертной муки был так ужасен, что проснувшиеся слуги в испуге выбежали из своих комнат. А два джентльмена, проходившие на площади, остановились и посмотрели на верхние окна большого дома, откуда донесся крик. Потом пошли искать полисмена и, встретив его, привели к дому. Полисмен несколько раз позвонил, но на звонок никто не вышел. Во всем доме было темно, светилось только одно окно наверху. Подождав немного, полисмен отошел от двери и занял наблюдательный пост на соседнем крыльце.

— Чей это дом, констебль? — спросил старший из двух джентльменов.

— Мистера Дориана Грея, сэр,— ответил полицейский.

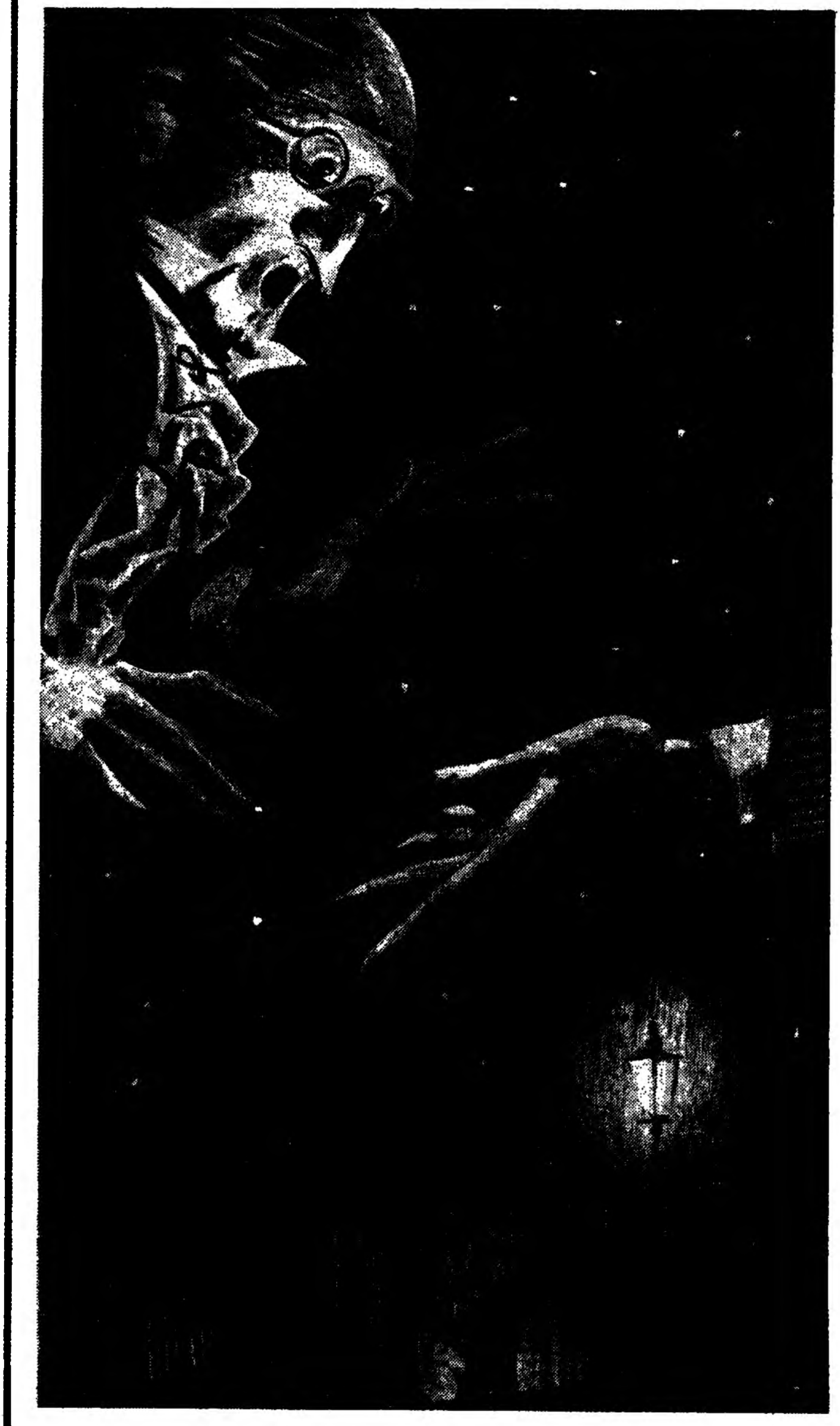
Джентльмены переглянулись, презрительно усмехаясь, и пошли дальше. Один из них был дядя сэра Генри Эштона. А в доме, на той половине, где спала прислуга, тревожно шептались полуодетые люди. Старая миссис Лиф плакала и ломала руки. Фрэнсис был бледен как смерть.

Прождав минут пятнадцать, он позвал кучера и одного из лакеев, и они втроем на цыпочках пошли

наверх. Постучали, но никто не откликнулся. Они стали громко звать Дориана. Но все было безмолвно наверху. Наконец, после тщетных попыток взломать дверь, они полезли на крышу и спустились оттуда на балкон. Окна легко поддались,—задвижки были старые.

Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего хозяина во всем блеске его дивной молодости и красоты. А на полу с ножом в груди лежал мертвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое, увядшее, отталкивающее. И только по кольцам на руках слуги узнали, кто это.

Рассказы



ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА СЭВИЛА

Размышление о чувстве долга

I

Леди Уиндермир давала последний прием перед пасхой, и дом был заполнен до отказа. Шесть министров явились прямо из парламента в орденах и лентах, светские красавицы блистали изящнейшими туалетами, а в углу картинной галереи стояла принцесса София из Карлсруэ — грузная дама с роскошными изумрудами и крохотными черными глазками на скуластом татарском лице; она очень громко говорила на скверном французском и неумеренно хохотала в ответ на любую реплику. Как все чудесно перемешалось! Сиятельные леди запросто болтали с воинствующими радикалами, прославленные проповедники по-приятельски беседовали с известными скептиками, стайка епископов порхала из зала в зал вслед за дебелой примадонной, на лестнице стояли несколько действительных членов Королевской академии, маскирующихся под богему, и прошел слух, что столовую, где накрыли ужин, просто оккупировали гении. Без сомнения, это был один из лучших вечеров леди Уиндермир, и принцесса задержалась почти до половины двенадцатого.

Как только она уехала, леди Уиндермир вернулась в картинную галерею, где знаменитый экономист серьезно и обстоятельно разъяснял научную теорию музыки негодующему виртуозу из Венгрии, и заговорила с герцогиней Пейсли.

Как хороша была хозяйка вечера! Невозможно не восхищаться белизной ее точеной шеи, незабудковой синевой глаз и золотом волос. То было и в самом деле or pur[1], а не бледно-желтый цвет соломы, который

[1] Чистое золото (*фр.*).

ныне смеют сравнивать с благородным металлом, то было золото, вплетенное в солнечные лучи и упрятанное в таинственной толще янтаря; в золотом обрамлении ее лицо светилось как лик святого, но и не без магической прелести греха. Она являла собой интересный психологический феномен. Уже в юности она познала ту важную истину, что опрометчивость и легкомыслие чаще всего почитают за невинность. За счет нескольких дерзких проделок — большей частью, впрочем, совершенно безобидных — она приобрела известность и уважение, подобающие видной личности. Она не раз меняла мужей (согласно справочнику Дебретта, их у нее было три), но сохранила одного любовника, и потому пересуды на ее счет давно прекратились. Ей недавно исполнилось сорок, она была бездетна и обладала той неуемной жаждой удовольствий, которая единственно и продлевает молодость.

Вдруг она нетерпеливо огляделась и проговорила своим чистым контральто:

— Где мой хиромант?

— Кто-кто, Глэдис? — вздрогнув, воскликнула герцогиня.

— Мой хиромант, герцогиня. Я теперь жить без него не могу.

— Глэдис, милая, ты всегда так оригинальна,— пробормотала герцогиня, пытаясь вспомнить, что такое хиромант, и опасаясь худшего.

— Он приходит два раза в неделю,— продолжала леди Уиндермир,— и извлекает интереснейшие вещи из моей руки.

— О боже! — тихо ужаснулась герцогиня.— Что-то вроде мозольного оператора. Какой кошмар. Надеюсь, он, по крайней мере, иностранец. Это было бы еще не так страшно.

— Я непременно должна вас познакомить.

— Познакомить! — вскричала герцогиня.— Он что же, здесь? — Она принялась искать глазами свой черепаховый веер и весьма потрепанную кружевную накидку, с тем чтобы, если потребуется, ретироваться без промедления.

— Разумеется, он здесь. Какой же прием без него! Он говорит, что у меня богатая, одухотворенная рука и что если бы большой палец был чуточку короче, то я была бы меланхолической натурой и пошла в монастырь.

— Ах, вот что.— У герцогини отлегло от сердца.— Он гадает!

— И угадывает! — подхватила леди Уиндермир.— И так ловко! Вот в будущем году, например, меня подстерегает большая опасность и на суше и на море, так что я буду жить на воздушном шаре, а ужин мне по вечерам будут поднимать в корзине. Это все написано на моем мизинце — или на ладони, я точно не помню.

— Ты искушаешь провидение, Глэдис.

— Милая герцогиня, я уверена, что провидение давно научилось не поддаваться искушению. По-моему, каждый должен ходить к хироманту хотя бы раз в месяц, чтобы знать, что ему можно и чего нельзя. Потом мы, конечно, делаем все наоборот, но как приятно знать о последствиях заранее! Если кто-нибудь сейчас же не отыщет мистера Поджерса, я пойду за ним сама.

— Позвольте мне, леди Уиндермир,— сказал высокий красивый молодой человек, который в продолжение всего разговора стоял, улыбаясь, рядом.

— Спасибо, лорд Артур, но вы же его не знаете.

— Если он такой замечательный, как вы рассказывали, леди Уиндермир, я его ни с кем не спутаю. Опишите его внешность, и я сию же минуту приведу его.

— Он совсем не похож на хироманта. То есть в нем нет ничего таинственного, романтического. Маленький, полный, лысый, в больших очках с золотой оправой — нечто среднее между семейным доктором и провинциальным стряпчим. Сожалею, но я, право, не виновата. Все это очень досадно. Мои пианисты страшно похожи на поэтов, а поэты на пианистов. Помню, в прошлом сезоне я пригласила на обед настоящее чудовище — заговорщика, который взрывает живых людей, ходит в кольчуге, а в рукаве носит кинжал. И что бы вы думали? Он оказался похожим на старого пастора и весь вечер шутил с дамами. Он был очень остроумен и все такое, но представьте, какое разочарование! А когда я спросила его о кольчуге, он только рассмеялся и ответил, что в Англии в ней было бы холодно. А вот и мистер Поджерс! Сюда, мистер Поджерс. Я хочу, чтобы вы погадали герцогине Пейсли. Герцогиня, вам придется снять перчатку. Нет, не эту, другую.

— Право, Глэдис, это не вполне прилично,— проговорила герцогиня, нехотя расстегивая отнюдь не новую лайковую перчатку.

— Все, что интересно, не вполне прилично,— парировала леди Уиндермир.— On a fait le monde ainsi[1]. Но я должна вас познакомить. Герцогиня, это мистер Поджерс, мой прелестный хиромант. Мистер Поджерс, это герцогиня Пейсли, и если вы скажете, что ее лунный бугор больше моего, я вам уже никогда не поверю.

— Глэдис, я уверена, что у меня на руке нет ничего подобного,— с достоинством произнесла герцогиня.

— Вы совершенно правы, ваша светлость,— сказал мистер Поджерс, взглянув на пухлую руку с короткими толстыми пальцами,— лунный бугор не развит. Но линия жизни, напротив, видна превосходно. Согните, пожалуйста, руку. Вот так, благодарю. Три четких линии на сгибе! Вы доживете до глубокой старости, герцогиня, и будете очень счастливы. Честолюбие... весьма скромно, линия интеллекта... не утрирована, линия сердца...

— Говорите все как есть, мистер Поджерс! — вставила леди Уиндермир.

— С превеликим удовольствием, сударыня,— сказал мистер Поджерс и поклонился,—но, увы, герцогиня не дает повода для пространных рассказов. Я вижу редкое постоянство в сочетании с завидным чувством долга.

— Продолжайте, прошу вас, мистер Поджерс,— весьма благосклонно произнесла герцогиня.

— Не последнее из достоинств вашей светлости — бережливость,— продолжал мистер Поджерс, и леди Уиндермир прыснула со смеху.

— Бережливость — прекрасное качество,— удовлетворенно проговорила герцогиня.— Когда я вышла за Пейсли, у него было одиннадцать замков и ни одного дома, пригодного для жизни.

— А теперь у него двенадцать домов и ни одного замка! — отозвалась леди Уиндермир.

— Видишь ли, милая, я люблю...

— Комфорт,— произнес мистер Поджерс,— удобства и горячую воду в каждой спальне. Вы совершенно правы, ваша светлость. Комфорт — это единственное, что может нам дать цивилизация.

---

[1] Так уж устроен мир (*фр.*).

— Вы чудесно отгадали характер герцогини, мистер Поджерс. Теперь погадайте леди Флоре.— Повинуясь знаку улыбающейся хозяйки, из-за дивана неловко выступила высокая девушка с острыми лопатками и рыжеватыми волосами, выдающими шотландское происхождение; она протянула худую, длинную руку с крупными и как бы приплюснутыми пальцами.

— А, пианистка! Вижу, вижу,— сказал мистер Поджерс.— Превосходная пианистка, хотя, пожалуй, и не из тех, что зовутся музыкантами. Скромна, честна, очень любит животных.

— Сущая правда! — воскликнула герцогиня, обращаясь к леди Уиндермир.— Флора держит в Макклоски две дюжины овчарок. Она бы и наш городской дом превратила в зверинец, если б только отец позволил.

— Со своим домом я это проделываю каждый четверг,— рассмеялась леди Уиндермир,— вот только овчаркам предпочитаю львов.

— Тут вы ошибаетесь, леди Уиндермир,— сказал мистер Поджерс и чинно поклонился.

— Женщина без милых ошибок — это не женщина, а особа женского пола. Но погадайте нам еще. Сэр Томас, покажите вашу руку.

Приятного вида пожилой господин в белом жилете протянул большую шершавую руку с весьма длинным средним пальцем.

— Непоседливый нрав; четыре дальних путешествия в прошлом, одно еще предстоит. Трижды попадал в кораблекрушение. Нет-нет, дважды, но рискует разбиться вновь. Убежденный консерватор, весьма пунктуален, страстный коллекционер. Тяжело болел в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. В тридцать унаследовал крупное состояние. Питает отвращение к кошкам и радикалам.

— Поразительно! — вскричал сэр Томас.— Вы непременно должны погадать моей жене.

— Вашей второй жене,— уточнил мистер Поджерс, все еще не выпуская из рук пальцы сэра Томаса.— С превеликим удовольствием.

Но леди Марвел — меланхоличная дама с каштановыми волосами и сентиментальными ресницами — наотрез отказалась предать гласности свое прошлое и будущее, а русский посол мосье де Колов не пожелал

даже снять перчатки, несмотря на все увещевания леди Уиндермир. Да и многие другие побоялись предстать перед забавным человечком с шаблонной улыбкой, очками в золотой оправе и проницательными глазами-бусинками; а уж когда он сказал бедной леди Фермор — прямо здесь, в обществе,— что она равнодушна к музыке, но очень любит музыкантов, никто более не сомневался, что хиромантия — крайне опасная наука и поощрять ее не следует, кроме как tête-à-tête[1].

Однако лорду Артуру Сэвилу, который ничего не знал о печальной истории леди Фермор и с немалым интересом наблюдал за мистером Поджерсом, чрезвычайно захотелось, чтобы ему тоже погадали, но, не решаясь громко заявить о своем желании, он подошел к леди Уиндермир и, очаровательно покраснев, спросил, удобно ли, по ее мнению, побеспокоить мистера Поджерса.

— Ну разумеется! — сказала леди Уиндермир.— Он здесь для того, чтобы его беспокоили. Все мои львы, лорд Артур, это львы-артисты; по первому моему слову они прыгают через обруч. Но я вас предупреждаю, что ничего не утаю от Сибил. Я жду ее завтра к обеду — нам надо поболтать о шляпках, и, если мистер Поджерс выяснит, что у вас дурной нрав, или склонность к подагре, или жена в Бейсуотере, я все ей непременно передам.

Лорд Артур улыбнулся и покачал головой.

— Я не боюсь. Она обо мне все знает, как и я о ней.

— В самом деле? Вы меня, право, немного огорчили. Взаимные иллюзии — вот лучшая основа для брака. Нет-нет, я не цинична, просто у меня есть опыт — впрочем, это одно и то же. Мистер Поджерс, лорд Артур Сэвил мечтает, чтоб вы ему погадали. Только не говорите, что он обручен с одной из милейших девушек в Лондоне: об этом «Морнинг пост» сообщила месяц тому назад.

— Леди Уиндермир, душечка,— вскричала маркиза Джедберг,— оставьте мне мистера Поджерса. Он только что сказал, что меня ждут подмостки — как интересно!

— Если он вам такое сказал, леди Джедберг, я заберу его от вас сию же секунду. Сюда, мистер Поджерс. Погадайте лорду Артуру.

---

[1] С глазу на глаз (*фр.*).

— Что ж,— леди Джедберг состроила обиженное личико и поднялась с дивана,— если мне нельзя на сцену, разрешите хотя бы быть зрителем.

— Разумеется. Мы все будем зрителями,— объявила леди Уиндермир.— Итак, мистер Поджерс, сообщите нам что-нибудь приятное. Лорд Артур — мой любимец.

Но, взглянув на руку лорда Артура, мистер Поджерс странно побледнел и не произнес ни слова. Он зябко поежился, и его кустистые брови уродливо задергались, как это случалось, когда он был в растерянности. На желтоватом лбу мистера Поджерса появились крупные бусинки пота, словно капли ядовитой росы, а его толстые пальцы сделались влажными и холодными.

Лорд Артур заметил эти признаки смятения и сам — впервые в жизни — почувствовал страх. Ему захотелось повернуться и бежать, но он сдержал себя. Лучше знать все, даже самое ужасное. Невыносимо оставаться в неведении.

— Я жду, мистер Поджерс,— сказал он.

— Мы все ждем! — нетерпеливо заметила леди Уиндермир, но хиромант по-прежнему молчал.

— Артуру, наверное, суждено играть на театре,— предположила леди Джедберг,— но вы были так строги с мистером Поджерсом, что он вас теперь боится.

Внезапно мистер Поджерс отпустил правую руку лорда Артура и схватил левую, склонившись над ней так низко, что золотая оправа его очков почти коснулась ладони. Мгновение его побелевшее лицо выражало неподдельный ужас, но он быстро совладал с собой и, повернувшись к леди Уиндермир, произнес с деланной улыбкой:

— Передо мной рука очаровательного молодого человека.

— Это ясно,— ответила леди Уиндермир.— Но будет ли он очаровательным мужем? Вот что я хочу знать.

— Как все очаровательные молодые люди,— сказал мистер Поджерс.

— По-моему, муж не должен быть слишком обворожительным,— в задумчивости проговорила леди Джедберг.— Это опасно.

— Дитя мое,— воскликнула леди Уиндермир,— муж никогда не бывает слишком обворожителен!

Но я требую подробностей. Только подробности интересны. Что ждет лорда Артура?

— Гм, в течение ближайших месяцев лорд Артур отправится в путешествие...

— Ну разумеется, в свадебное!

— И потеряет одного из родственников.

— Надеюсь, не сестру? — жалобно спросила леди Джедберг.

— Нет, безусловно не сестру,— мистер Поджерс жестом успокоил ее.— Кого-то из дальней родни.

— Что ж, я безумно разочарована,— заявила леди Уиндермир.— Мне абсолютно нечего рассказать Сибил. Дальняя родня теперь никого не волнует — она давно уже вышла из моды. Впрочем, пусть Сибил купит черного шелку — он хорошо смотрится в церкви. А теперь ужинать. Там, конечно, давно все съели, но нам, быть может, подадут горячий суп. Когда-то Франсуа готовил отменный суп, но теперь он так увлекся политикой, что я не знаю, чего и ждать. Скорее бы угомонился этот генерал Буланже. Герцогиня, вы не устали?

— Вовсе нет, Глэдис, свет мой,— отозвалась герцогиня, ковыляя к двери.— Я получила огромное удовольствие, и этот твой ортодонт, то бишь хиромант, весьма интересен. Флора, где мой черепаховый веер? Ах, спасибо, сэр Томас. А моя кружевная накидка, Флора? Благодарю вас, сэр Томас, вы очень любезны.— И сия достойная дама спустилась, наконец, по лестнице, уронив свой флакон с духами не более двух раз.

В продолжение всего этого времени лорд Артур Сэвил стоял у камина, объятый нестерпимым страхом, язвящей душу тревогой перед безжалостным роком. Он грустно улыбнулся сестре, когда та пропорхнула мимо в прелестной розовой парче и жемчугах, легко опершись на руку лорда Плимдейла, и словно во сне слышал, как леди Уиндермир пригласила его следовать за собой. Он думал о Сибил Мертон — и при мысли, что их могут разлучить, его глаза затуманились от слез.

Глядя на него, можно было подумать, что Немезида, похитив щит Афины, показала ему голову Медузы Горгоны. Он словно окаменел, а меланхолическая бледность сделала его лицо похожим на мрамор. Сын знатных и богатых родителей, до сих пор он знал лишь жизнь, полную чудесной роскоши и тонкого изяще-

ства, жизнь по-мальчишески беспечную, начисто лишенную презренных забот; теперь — впервые — он прикоснулся к ужасной тайне бытия, ощутил трагическую неотвратимость судьбы.

Чудовищно, невероятно! Неужели на его руке начертано тайное послание, которое расшифровал этот человек,— предвестие злодейского греха, кровавый знак преступления? Неужели нет спасения? Или мы в самом деле всего лишь шахматные фигуры, которые незримая сила передвигает по своей воле,— пустые сосуды, подвластные рукам гончара, готовые для славы и для позора? Разум восставал против этой мысли, но лорд Артур чувствовал близость ужасной трагедии, словно вдруг на него взвалили непосильную ношу. Хорошо актерам! Они выбирают, что играть,— трагедию или комедию, сами решают, страдать им или веселиться, лить слезы или хохотать. Но в жизни все не так. В большинстве своем мужчины и женщины вынуждены играть роли, для которых они совсем не подходят. Наши Гильденстерны играют Гамлета, а наши Гамлеты паясничают, как принц Хэл. Весь мир — сцена, но спектакль выходит скверный, ибо роли распределены из рук вон плохо.

Внезапно в гостиную вошел мистер Поджерс. Увидев лорда Артура, он вздрогнул, и его крупное, одутловатое лицо стало зеленовато-желтым. Их глаза встретились, и с минуту оба молчали.

— Герцогиня забыла здесь перчатку, лорд Артур, и меня за ней послали,— проговорил наконец мистер Поджерс.— Вот она, на диване. Честь имею.

— Мистер Поджерс, я настаиваю, чтобы вы мне прямо ответили на один вопрос.

— В другой раз, лорд Артур. Герцогиня очень волнуется. Ну, я пойду.

— Нет, не пойдете. Герцогиня подождет.

— Нехорошо заставлять даму ждать, лорд Артур,— пролепетал мистер Поджерс со своей тошнотворной улыбочкой.— Прекрасному полу свойственно нетерпение.

Красивые губы лорда Артура слегка изогнулись, придав лицу дерзкое, презрительное выражение. Какое ему было дело в эту минуту до бедной герцогини! Он пересек гостиную и, остановившись перед мистером Поджерсом, протянул руку.

— Скажите, что вы там прочли. Скажите правду. Я должен знать. Я не ребенок.

Глазки мистера Поджерса заморгали за стеклами очков; он неловко переминался с ноги на ногу, теребя блестящую цепочку от часов.

— А почему вы, собственно, решили, лорд Артур, что я прочел по вашей руке больше, чем сказал?

— Я в этом уверен и желаю все знать. Я заплачу. Я дам вам чек на сто фунтов.

Зеленые глазки сверкнули и вновь погасли.

— Сто гиней? — еле слышно произнес мистер Поджерс после долгого молчания.

— Да, разумеется. Я пришлю вам чек завтра. Какой у вас клуб?

— Я не состою в клубе. Временно не состою. Мой адрес... но позвольте, я дам вам свою карточку.— С этими словами мистер Поджерс извлек из кармана карточку с золотым обрезом и, низко поклонившись, протянул ее лорду Артуру:

М-Р СЕПТИМУС Р. ПОДЖЕРС

Профессиональный хиромант

Уэст-Мун-стрит, 103а

— Я принимаю с десяти до четырех,— машинально добавил мистер Поджерс.— Семьям представляю скидку.

— Быстрее! — вскричал лорд Артур. Он по-прежнему стоял с протянутой рукой и был чрезвычайно бледен.

Мистер Поджерс опасливо оглянулся и задернул тяжелую портьеру.

— Мне нужно время, лорд Артур. Присядьте.

— Быстрее, сэр! — снова вскричал лорд Артур и рассерженно топнул ногой по полированному паркету.

Мистер Поджерс улыбнулся, извлек из нагрудного кармана увеличительное стекло и тщательно протер его носовым платком.

— Я готов,— сказал он.

II

Десять минут спустя лорд Артур Сэвил выбежал из дома с выражением ужаса на бледном лице и молчаливой мукой в глазах, протиснулся сквозь укутанных в шубы лакеев, столпившихся под

полосатым навесом, и ринулся прочь, ничего не видя и не слыша. Ночь была холодная, и дул пронизывающий ветер, от которого газовые фонари на площади попеременно вспыхивали и тускнели, но у лорда Артура горели руки и лоб его пылал. Он шел не останавливаясь, нетвердой поступью пьяного, и полицейский на углу с любопытством проводил его взглядом. Нищий, сунувшийся было за подаянием, перепугался при виде такого отчаяния, какое даже ему не снилось. Один раз лорд Артур остановился под фонарем и посмотрел на свои руки. Ему показалось, что уже сейчас на них расплываются кровавые пятна, и с дрожащих губ слетел негромкий стон.

Убийство! Вот что увидел хиромант. Убийство! Ужасное слово звенело во мраке, и безутешный ветер шептал его на ухо. Это слово кралось по ночным улицам и скалило зубы с крыш.

Он вышел к Гайд-парку: его безотчетно влекло к этим темным деревьям. Он устало прислонился к ограде и прижал лоб к влажному металлу, вбирая тревожную тишину парка. «Убийство! Убийство!» — повторял он, словно надеясь притупить чудовищный смысл пророчества. От звука собственного голоса он содрогался, но в то же время ему хотелось, чтобы громогласное эхо, услышав его, пробудило весь огромный спящий город. Его охватило безумное желание остановить первого же прохожего и все ему рассказать.

Он двинулся прочь, пересек Оксфорд-стрит и углубился в узкие улочки — прибежище низменных страстей. Две женщины с ярко раскрашенными лицами осыпали его насмешками. Из темного двора послышалась ругань и звук ударов, а затем пронзительный вопль; сгорбленные фигуры, припавшие к сырой стене, явили ему безобразный облик старости и нищеты. Он почувствовал странную жалость. Возможно ли, чтоб эти дети бедн сти и греха так же, как и он сам, только следовали предначертанию? Неужто они, как и он, лишь марионетки в дьявольском спектакле?

Нет, не тайна, а ирония людских страданий поразила его, их полная бессмысленность, бесполезность. Как все нелепо, несообразно! Как начисто лишено гармонии! Его потрясло несоответствие между бойким оптимизмом повседневности и подлинной картиной жизни. Он был еще очень молод.

Спустя некоторое время он вышел к Марилебонской церкви. Пустынная мостовая была похожа на ленту отполированного серебра с темными арабесками колышущихся теней. Ряд мерцающих газовых фонарей убегал, извиваясь, вдаль; перед домом, обнесенным невысокой каменной оградой, стоял одинокий экипаж со спящим кучером. Лорд Артур поспешно зашагал по направлению к Портланд-Плейс, то и дело оглядываясь, словно опасаясь погони. На углу Ричстрит стояли двое: они внимательно читали небольшой плакат. Лорда Артура охватило болезненное любопытство, и он перешел через дорогу. Едва он приблизился, как в глаза ему бросилось слово «УБИЙСТВО», напечатанное черными буквами. Он вздрогнул, и щеки его залились румянцем. Полиция предлагала вознаграждение за любые сведения, которые помогут задержать мужчину среднего роста, в возрасте от тридцати до сорока лет, в котелке, черном сюртуке и клетчатых брюках, со шрамом на правой щеке. Читая объявление снова и снова, лорд Артур мысленно спрашивал себя, поймают ли этого несчастного и откуда у него шрам. Когда-нибудь, возможно, и его имя расклеют по всему Лондону. Возможно, и за его голову назначат цену.

От этой мысли он похолодел. Резко повернувшись, он кинулся во мрак.

Он шел, не разбирая дороги. Лишь смутно вспоминал он потом, как бродил в лабиринте грязных улиц, как заблудился в бесконечном сплетенье темных тупиков и переулков, и, когда уже небо озарилось рассветным сияньем, вышел наконец на площадь Пикадилли.

Устало повернув к дому в сторону Белгрейв-сквер, он столкнулся с тяжелыми фермерскими повозками, катящимися к Ковент-Гарден. Возчики в белых фартуках, с открытыми загорелыми лицами и жесткими кудрями, неторопливо шагали, щелкая кнутами и перебрасываясь отрывистыми фразами. Верхом на огромной серой лошади во главе шумной процессии сидел круглолицый мальчишка в старой шляпе, украшенной свежими цветами примулы; он крепко вцепился ручонками в гриву и громко смеялся. Горы овощей сверкали, как россыпи нефрита на фоне утренней зари, как зеленый нефрит на фоне нежных лепестков роскошной розы. Лорд Артур был взволно-

ван, сам не зная почему. Что-то в хрупкой прелести рассвета показалось ему невыразимо трогательным, и он подумал о бесчисленных днях, что занимаются в мирной красоте, а угасают в буре. И эти люди, что перекликаются так непринужденно, грубовато и благодушно,— какую странную картину являет им Лондон в столь ранний час! Лондон без ночных страстей и дневного чада — бледный, призрачный город, скопище безжизненных склепов. Что они думают об этом городе, известно ли им о его великолепии и позоре, о безудержном, феерическом веселье и отвратительном голоде, о бесконечной смене боли и наслаждений? Возможно, для них это только рынок, куда они свозят плоды своего труда, где проводят не более двух-трех часов и уезжают по еще пустынным улицам, мимо спящих домов. Ему приятно было смотреть на них. Грубые и неловкие, в тяжелых башмаках, они все же казались посланцами Аркадии. Он знал, что они слились с природой и природа дала им душевный покой. Как не завидовать их невежеству!

Когда он добрел до Белгрейв-сквер, небо слегка поголубело и в садах зазвучали птичьи голоса.

III

Когда лорд Артур проснулся, был полдень, и солнечные лучи заливали спальню, струясь сквозь кремовый шелк занавесок. Он встал и выглянул в окно. Лондон был погружен в легкую дымку жары, и крыши домов отливали темным серебром. Внизу, на ослепительно зеленом газоне, порхали дети, как белые бабочки, а на тротуаре теснились прохожие, идущие в парк. Никогда еще жизнь не казалась такой чудесной, а все страшное и дурное таким далеким.

Слуга принес на подносе чашку горячего шоколаду. Выпив шоколад, он отодвинул бархатную портьеру персикового цвета и вошел в ванную. Сверху, через тонкие пластины прозрачного оникса падал мягкий свет, и вода в мраморной ванне искрилась, как лунный камень. Он поспешно лег в ванну, и прохладная вода коснулась его шеи и волос, а потом окунул и голову, словно желая смыть какое-то постыдное воспоминание. Вылезая, он почувствовал, что почти обрел обычное свое душевное равновесие. Сиюминутное

физическое наслаждение поглотило его, как это часто бывает у тонко чувствующих натур, ибо наши ощущения, как огонь, способны не только истреблять, но и очищать.

После завтрака он прилег на диван и закурил папиросу. На каминной доске стояла большая фотография в изящной рамке из старинной парчи — Сибил Мертон, какой он впервые увидел ее на балу у леди Ноэл. Маленькая, изысканная головка чуть наклонена, словно грациозной шее-стебельку трудно удержать бремя ослепительной красоты, губы слегка приоткрыты и кажутся созданными для нежной музыки, и все очарование чистой девичьей души глядит на мир из мечтательных, удивленных глаз. В мягко облегающем платье из крепдешина, с большим веером в форме листа платана, она похожа на одну из тех прелестных статуэток, что находят в оливковых рощах возле Танагры,— в ее позе, в повороте головы есть истинно греческая грация. И в то же время ее нельзя назвать миниатюрной. Ее отличает совершенство пропорций — большая редкость в наше время, когда женщины в основном либо крупнее, чем положено природой, либо ничтожно мелки.

Теперь, глядя на нее, лорд Артур ощутил безмерную жалость — горький плод любви. Жениться, когда над ним нависает зловещая тень убийства, было бы предательством сродни поцелую Иуды, коварством, какое не снилось даже Борджиа. Что за счастье уготовано им, когда в любую минуту он может быть призван выполнить ужасное пророчество, написанное на ладони? Что за жизнь ждет их, пока судьба таит в себе кровавое обещанье? Во что бы то ни стало свадьбу надо отложить. Тут он будет тверд. Он страстно любил эту девушку; одно прикосновение ее пальцев, когда они сидели рядом, наполняло его чрезвычайным волнением и неземной радостью, и все же он ясно понимал, в чем состоит его долг, сознавая, что не имеет права жениться, пока не совершит убийство. Сделав то, что надлежит, он поведет Сибил Мертон к алтарю и без страха вверит ей свою жизнь. Тогда он сможет обнять ее, твердо зная, что никогда ей не придется краснеть за него и склонять голову от стыда. Но прежде надо выполнить требование судьбы — и чем скорее, тем лучше для них обоих.

Многие в его положении предпочли бы сладкий самообман сознанию жестокой необходимости, но

лорд Артур был слишком честен, чтобы ставить удовольствие выше долга. Его любовь — не просто страсть: Сибил олицетворяла для него все, что есть лучшего и благороднейшего. На мгновение то, что ему предстояло, показалось немыслимым, отвратительным, но это чувство скоро прошло. Сердце подсказало ему, что это будет не грех, а жертва; разум напомнил, что другого пути нет. Перед ним выбор: жить для себя или для других, и как ни ужасна возложенная на него задача, он не позволит эгоизму возобладать над любовью. Рано или поздно каждому из нас приходится решать то же самое, отвечать на тот же вопрос. С лордом Артуром это случилось рано, пока он был еще молод и не заражен цинизмом и расчетливостью зрелых лет, пока его сердце не разъело модное ныне суетное себялюбие, и он принял решение не колеблясь. К тому же — и в этом его счастье — он не был мечтателем и праздным дилетантом. В противном случае он долго сомневался бы, как Гамлет, и нерешительность затуманила бы цель. Нет, лорд Артур был человеком практичным. Для него жить — значило действовать, скорее чем размышлять. Он был наделен редчайшим из качеств — здравым смыслом.

Безумные, путаные ночные переживания теперь совершенно улетучились, и ему даже стыдно было вспоминать, как он слепо бродил по городу, как метался в неистовом волнении. Сама искренность его страданий, казалось, лишала их реальности. Теперь ему было непонятно, как он мог вести себя столь глупо — роптать на то, что неотвратимо! Сейчас его беспокоил только один вопрос: кого убить,— ибо он понимал, что для убийства, как для языческого обряда, нужен не только жрец, но и жертва. Не будучи гением, он не имел врагов и был к тому же убежден, что теперь не время для сведения личных счетов; миссия, вверенная ему, слишком серьезна и ответственна. Он набросал на листке бумаги список своих знакомых и родственников и, тщательно все обдумав, остановился на леди Клементине Бичем — милейшей старушке, которая жила на Керзон-стрит и доводилась ему троюродной сестрой по материнской линии. Он с детства очень любил леди Клем, как все ее звали, а кроме того — поскольку сам он был весьма богат, ибо, достигнув совершеннолетия, унаследовал все состояние лорда Рэгби,— смерть старушки не могла

представлять для него низменного корыстного интереса. Чем больше он думал, тем яснее ему становилось, что леди Клем — идеальный выбор. Понимая, что всякое промедление будет несправедливо по отношению к Сибил, он решил сейчас же заняться приготовлениями.

Для начала надо было расплатиться с хиромантом. Он сел за небольшой письменный стол в стиле «шератон», что стоял у окна, и выписал чек достоинством в 105 фунтов стерлингов на имя м-ра Септимуса Поджерса. Запечатав конверт, он велел слуге отнести его на Уэст-Мун-стрит. Затем он распорядился, чтобы приготовили экипаж, и быстро оделся. Выходя из комнаты, он еще раз взглянул на фотографию Сибил Мертон и мысленно поклялся, что — как бы ни повернулась судьба — Сибил никогда не узнает, на что он пошел ради нее; это самопожертвование навсегда останется тайной, хранимой в его сердце.

По пути в «Букингем» он остановился у цветочной лавки и послал Сибил корзину чудесных нарциссов с нежными белыми лепестками и яркими сердцевинами, а приехав в клуб, сразу отправился в библиотеку, позвонил и велел лакею принести содовой воды с лимоном и книгу по токсикологии. Он уже решил, что яд — самое подходящее средство в этом деле. Физическое насилие вызывало у него отвращение, и к тому же надо убить леди Клементину так, чтобы не привлечь всеобщего внимания, ибо ему очень не хотелось стать «львом» в салоне леди Уиндермир и прочесть свое имя в вульгарных светских газетах. Кроме того, следовало подумать и о родителях Сибил, которые были людьми старомодными и могли бы, пожалуй, возражать против брака в том случае, если разразится скандал (хотя лорд Артур и не сомневался, что, расскажи он им все как есть, они поняли и оценили бы его благородные побуждения). Итак, яд. Он надежен, безопасен, действует без шума и суеты и избавляет от тягостных сцен, которые для лорда Артура — как почти для всякого англичанина — были глубоко неприятны.

Однако он ничего не смыслил в ядах, а поскольку лакей оказался не в состоянии отыскать что-либо, кроме Справочника Раффа и последнего номера «Бейлиз мэгэзин», он сам внимательно осмотрел полки и нашел изящно переплетенную «Фармакопею» и издание «Токсикологии» Эрскина под редакцией сэра

Мэтью Рида — президента Королевской медицинской коллегии и одного из старейших членов «Букингема», избранного в свое время по ошибке вместо кого-то другого (это contretemps [1] так разозлило руководящий комитет клуба, что, когда появился настоящий кандидат, его дружно забаллотировали). Лорд Артур пришел в немалое замешательство от научных терминов, которыми пестрели обе книги, и начал было всерьез сожалеть, что в Оксфорде пренебрегал латынью, как вдруг во втором томе Эрскина ему попалось весьма интересное и подробное описание свойств аконитина, изложенное на вполне понятном английском. Этот яд подходил ему во всех отношениях. В книге говорилось, что он обладает быстрым — почти мгновенным — эффектом, не причиняет боли и не слишком неприятен на вкус, в особенности если принимать его в виде пилюли со сладкой оболочкой, как рекомендует сэр Мэтью. Лорд Артур записал на манжете, какова смертельная доза, поставил книги на полку и не спеша отправился по Сент-Джеймс-стрит к «Песл и Хамби» — одной из старейших лондонских аптек. Мистер Песл, который всегда лично обслуживал высший свет, весьма удивился заказу и почтительно пролепетал что-то насчет рецепта врача. Однако когда лорд Артур объяснил, что яд предназначается для большого норвежского дога, который проявляет симптомы бешенства и уже дважды укусил кучера в ногу, мистер Песл этим полностью удовлетворился, поздравил лорда Артура с блестящим знанием токсикологии и распорядился, чтобы заказ был исполнен немедленно.

Лорд Артур положил пилюлю в элегантную серебряную бонбоньерку, которую разглядел в одной из витрин на Бонд-стрит, выбросил некрасивую аптечную коробку и поехал к леди Клементине.

— Ну-с, monsieur le mauvais sujet [2],— воскликнула старушка, входя в гостиную,— что же вы меня так долго не навещали?

— Леди Клем, милая, у меня теперь ни на что нет времени,— улыбаясь, отвечал лорд Артур.

— Это значит, что ты целый день разгуливаешь с мисс Сибил Мертон, покупаешь туалеты и болтаешь о пустяках? Сколько суеты из-за женитьбы! В мое

---

[1] досадное недоразумение (*фр.*).
[2] господин повеса (*фр.*).

время нам и в голову бы не пришло обниматься и миловаться на людях. Да и наедине тоже.

— Уверяю вас, леди Клем, я уже целые сутки не видел Сибил. Насколько мне известно, ею завладели модистки.

— Ну да, оттого ты и решил проведать безобразную старуху. Вот бы где вам, мужчинам, призадуматься. On a fait des folies pour moi [1], а что осталось? Ноги еле ходят, зубов своих нет, характер скверный. Хорошо еще, леди Дженсен, добрая душа, присылает мне французские романы — один другого пошлее,— а то уже и не знаю, как дотянуть до вечера. От врачей никакого проку — эти только и умеют, что деньги считать. Даже от изжоги меня никак не избавят.

— Я принес вам средство от изжоги, леди Клем,— серьезным тоном произнес лорд Артур.— Чудесное лекарство, его изобрел один американец.

— Я не больно-то люблю американские штучки. Даже совсем не люблю. Попалась мне тут пара американских романов — так это, знаешь ли, полная бессмыслица.

— Но это же совсем другое, леди Клем! Уверяю вас, средство действует безотказно. Обещайте, что попробуете.— И, достав из кармана бонбоньерку, лорд Артур протянул ее старушке.

— Гм, коробочка прелестная. Это в самом деле подарок, Артур? Очень мило. А вот и чудесное лекарство? Похоже на драже. Я приму его сейчас же.

— Что вы, леди Клем! — вскричал лорд Артур, схватив ее за руку.— Ни в коем случае! Это гомеопатическое средство, и, если принять его просто так, без изжоги, может быть очень плохо. Вот начнется изжога, тогда и примете. Я вам обещаю, что эффект будет поразительный.

— Я бы его сейчас приняла,— проговорила леди Клементина, разглядывая прозрачную пилюлю на свет и любуясь пузырьком жидкого аконитина.— Наверняка будет очень вкусно. Видишь ли, я ненавижу врачей, но обожаю лекарства. Однако подожду, пока начнется изжога.

— И когда же это будет? — нетерпеливо спросил лорд Артур.— Скоро?

---

[1] В меня влюблялись до безумия *(фр.)*.

— Надеюсь, не раньше чем через неделю. Я только вчера утром мучилась. Впрочем, кто его знает.

— Но до конца месяца непременно случится, верно, леди Клем?

— Увы. Но какой ты сегодня предупредительный, Артур! Сибил хорошо на тебя влияет. А теперь ступай. Сегодня я обедаю с прескучными людьми — из тех, кто выше сплетен, так что если я сейчас не высплюсь, то усну посреди обеда. До свиданья, Артур, поцелуй от меня Сибил, и спасибо тебе за американское лекарство.

— Но вы не забудете его принять, а, леди Клем? — спросил лорд Артур, вставая.

— Конечно, не забуду, вот дурачок! Ты добрый мальчик, и я тебе очень признательна. Если понадобится еще, я тебе напишу.

Лорд Артур выбежал из дома в прекрасном настроении и с чувством колоссального облегчения.

В тот же вечер он переговорил с Сибил Мертон. Он сказал ей, что внезапно оказался в чрезвычайно затруднительном положении, но отступить перед трудностями ему не позволяют честь и чувство долга. Свадьбу придется на время отложить, ибо, пока он не разделался с ужасными обстоятельствами, он не свободен. Он умолял Сибил довериться ему и не сомневаться в будущем. Все будет хорошо, но сейчас необходимо терпение.

Разговор состоялся в зимнем саду в доме мистера Мертона на Парк-лейн, где лорд Артур обедал по обыкновению. В тот вечер Сибил выглядела как никогда счастливой, и лорд Артур чуть было не уступил соблазну малодушия: так просто было бы написать леди Клементине, забрать пилюлю и преспокойно жениться, как будто мистера Поджерса вообще не существует. Но благородство лорда Артура взяло верх, и даже когда Сибил, рыдая, бросилась к нему в объятия, он не дрогнул. Красота, столь взволновавшая его, задела и его совесть. Разве вправе он загубить прелестную, юную жизнь ради нескольких месяцев наслаждения?

Они с Сибил проговорили до полуночи, утешая друг друга, а рано утром лорд Артур отбыл в Венецию, написав мистеру Мертону твердое, мужественное письмо о том, что свадьбу необходимо отложить.

IV

В Венеции он встретил своего брата лорда Сэрбитона, который как раз приплыл на яхте с Корфу, и молодые люди сказочно провели две недели. Утром они катались верхом по Лидо или скользили по зеленым каналам в длинной черной гондоле, днем принимали на яхте гостей, а вечером ужинали у Флориана и курили бесчисленные папиросы на площади Святого Марка. И все же лорд Артур не был счастлив. Каждый день он изучал колонку некрологов в «Таймс», ожидая найти сообщение о смерти леди Клементины, и каждый день его ждало разочарование. Он начал опасаться, как бы с ней чего не случилось, и часто сожалел, что помешал ей принять аконитин, когда ей так не терпелось испытать его действие. Да и в письмах Сибил, хотя и исполненных любви, доверия и нежности, часто сквозила грусть, и ему стало порой казаться, что они расстались навеки.

Через две недели лорду Сэрбитону наскучила Венеция, и он решил проплыть вдоль побережья до Равенны, где, как ему рассказывали, можно отлично поохотиться на тетеревов. Вначале лорд Артур наотрез отказался сопровождать его. Однако Сэрбитон, которого Артур очень любил, в конце концов убедил его, что одиночество — худшее средство от хандры, и утром пятнадцатого числа они вышли из гавани, подгоняемые свежим норд-остом. Охота была и в самом деле превосходная; чудесный воздух и здоровая жизнь вернули лорду Артуру юношеский румянец, но к двадцать второму числу он так разволновался из-за леди Клементины, что, невзирая на уговоры Сэрбитона, сел на поезд и вернулся в Венецию.

Едва он вышел из гондолы у входа в отель, как сам хозяин выбежал навстречу с пачкой телеграмм. Лорд Артур вырвал у него телеграммы и тут же вскрыл их. Все прошло удачно. Леди Клементина внезапно умерла в ночь с семнадцатого на восемнадцатое!

Первая его мысль была о Сибил, и он немедленно телеграфировал ей, что возвращается в Лондон. Затем он приказал лакею собирать вещи к ночному поезду, послал гондольерам в пять раз больше, чем им причиталось, и с легким сердцем взбежал по ступенькам в свою гостиную. Там его ждало три письма. Одно было от Сибил — полное любви и сочувствия, дру-

гие — от матери лорда Артура и от поверенного леди Клементины. Оказалось, что старушка в тот самый вечер обедала у герцогини, прелестно шутила и блистала остроумием, но уехала довольно рано, сославшись на изжогу. Утром ее нашли мертвой в постели; скончалась она, по-видимому, мирно и без боли. Тотчас же послали за сэром Мэтью Ридом, но, разумеется, сделать что-либо было невозможно, и похороны назначены на двадцать второе в Бичем-Чалкот. За несколько дней до смерти она написала завещание и оставила лорду Артуру свой небольшой дом на Керзон-стрит со всей мебелью, личными вещами и картинами, за исключением коллекции миниатюр, которую надлежало вручить ее сестре леди Маргарет Раффорд, и аметистового ожерелья, завещанного Сибил Мертон. Дом и имущество не представляли большой ценности, но мистер Мэнсфилд, поверенный леди Клементины, очень просил лорда Артура приехать без промедления и распорядиться насчет неоплаченных счетов, которых было великое множество, ибо покойная вела дела небрежно.

Лорд Артур был чрезвычайно тронут завещанием леди Клементины и подумал, что мистеру Поджерсу за многое придется ответить. Однако любовь к Сибил затмила все остальное, и сознание выполненного долга несло сладостное успокоение. Когда поезд подошел к вокзалу Чаринг-Кросс, лорд Артур был совершенно счастлив.

Супруги Мертон встретили его весьма радушно, а Сибил взяла с него слово, что больше ничто и никогда не разлучит их. Свадьбу назначили на седьмое июня. Жизнь вновь наполнилась яркими, лучезарными красками, и к лорду Артуру вернулась его прежняя веселость.

Но однажды, когда в сопровождении Сибил и поверенного леди Клементины он разбирал вещи в доме на Керзон-стрит, не спеша сжигал связки поблекших писем и выгребал из комодов разнообразную мелочь, его юная невеста вдруг радостно вскрикнула.

— Что ты там нашла, Сибил? — спросил лорд Артур, с улыбкой оторвавшись от своего занятия.

— Посмотри, Артур, какая прелестная бонбоньерка. Ах, как красиво! Ведь это голландская работа? Подари ее мне, пожалуйста. Я знаю, аметисты будут мне к лицу только через семьдесят лет.

Это была коробочка из-под аконитина.

Лорд Артур вздрогнул, и легкий румянец разлился по его щекам. Он почти совершенно забыл о содеянном, и ему показалось примечательным, что именно Сибил, ради которой он пережил это ужасное волнение, первой напомнила о нем.

— Ну конечно, возьми ее, Сибил. Это я сам подарил бедной леди Клем.

— Правда? Вот спасибо, Артур. И конфетку тоже можно взять? Я и не знала, что леди Клементина была сластеной. Я думала, такие умные дамы не едят конфет.

Лорд Артур страшно побледнел, и в сознании его метнулась чудовищная мысль.

— Конфетку, Сибил? О чем ты? — медленно и с трудом проговорил он.

— В бонбоньерке осталась конфетка, вот и все. Она вся старая и пыльная, и есть я ее не собираюсь. Что случилось, Артур? Какой ты бледный!

Лорд Артур кинулся к ней и схватил коробочку. В ней лежала янтарного цвета пилюля с ядовитой жидкостью. Леди Клементина умерла своей смертью!

Лорд Артур был повергнут в отчаяние. Швырнув пилюлю в камин, он со страдальческим возгласом повалился на диван.

V

Мистер Мертон всерьез огорчился, узнав, что свадьба откладывается вторично, а леди Джулия, уже успевшая заказать себе платье, приложила немало стараний, убеждая Сибил расторгнуть помолвку. Но хотя Сибил нежно любила мать, вся ее жизнь принадлежала лорду Артуру, и уговоры леди Джулии нисколько не поколебали ее. Что до самого лорда Артура, то он лишь спустя несколько дней пришел в себя, и нервы его были расстроены чрезвычайно. Однако здравый смысл по своему замечательному обыкновению восторжествовал, и трезвый, практический характер лорда Артура направил его мысли по пути твердой логики. Раз яд не сработал, требуется динамит или какое-либо другое взрывчатое вещество.

Он опять взял список знакомых и родственников и, подумав, решил взорвать своего дядю, декана Чиче-

стера. Декан был человеком исключительной культуры и образованности; он страстно любил часы всех видов и обладал изумительной коллекцией часов от пятнадцатого века до наших дней. В этом увлечении достопочтенного декана лорд Артур усмотрел блестящую возможность для осуществления своего плана. Другой вопрос — где достать взрывное устройство. Он ничего не нашел на сей счет в «Лондонском справочнике» и решил, что едва ли есть смысл обращаться в Скотланд-Ярд, ибо полиция никогда ничего не знает о действиях динамитчиков до самого взрыва, да и потом знает ненамного больше.

Вдруг лорд Артур вспомнил, что у него есть приятель по фамилии Рувалов — молодой русский весьма радикальных настроений, с которым он познакомился минувшей зимой в салоне леди Уиндермир. Считалось, что граф Рувалов пишет биографию Петра Первого и приехал в Англию для изучения документов, связанных с пребыванием монарха на Британских островах в качестве корабельного плотника, однако многие подозревали, что Рувалов работает на нигилистов, и было очевидно, что его присутствие в Лондоне отнюдь не одобряется посольством Российской империи. Лорд Артур заключил, что это тот самый человек, который ему нужен, и однажды утром отправился в его комнаты в Блумсбери за советом и помощью.

— Значит, вы всерьез занялись политикой? — спросил граф Рувалов, выслушав лорда Артура, но Артур терпеть не мог рисоваться и сейчас же признался, что социальные вопросы его совершенно не интересуют, а взрывное устройство нужно ему по семейному делу, которое касается его одного.

Граф Рувалов в изумлении посмотрел на него, но, убедившись, что он не шутит, написал на листке бумаги адрес, поставил свои инициалы и протянул листок лорду Артуру.

— Имейте в виду, старина, Скотланд-Ярд дорого бы дал за этот адрес.

— Но он его не получит! — смеясь, воскликнул лорд Артур. С чувством пожав руку своему русскому другу, он сбежал вниз по лестнице, взглянул на записку и велел кучеру гнать к Сохо-сквер.

Там он отпустил экипаж и по Грик-стрит дошел до переулка под названием Бейлз-Корт. Нырнув под

арку, он оказался в глухом дворике, где, по-видимому, помещалась французская прачечная: между домами была протянута сеть бельевых веревок и утренний ветерок слегка трепал белоснежные простыни. Лорд Артур пересек двор и постучал в дверь небольшого зеленого домика. Спустя некоторое время, в течение которого каждое из окон, выходящих во двор, наполнилось любопытными лицами, дверь открылась, и свирепого вида иностранец спросил на скверном английском, что ему нужно. Лорд Артур протянул записку графа Рувалова. Прочитав записку, незнакомец поклонился и проводил лорда Артура в весьма обшарпанную гостиную на первом этаже, а через минуту туда же вбежал герр Винкелькопф, как он звал себя в Англии; в руке у него была вилка, а на шее салфетка, обильно залитая вином.

— Я приехал по рекомендации графа Рувалова,— сказал лорд Артур, поклонившись,— и хотел бы переговорить с вами по делу. Я Смит, мистер Роберт Смит. Мне нужны часы со взрывным устройством.

— Очень рад познакомиться, лорд Артур,— с улыбкой отвечал добродушный немец.— Вы не волнуйтесь, просто я обязан всех знать, а вас я однажды видел у леди Уиндермир. Надеюсь, очаровательная хозяйка салона в добром здравии. Вы не откажетесь присесть за стол? Я как раз завтракаю. Могу предложить великолепный паштет, а мой рейнвейн, как утверждают друзья, лучше того, что подают в германском посольстве.

Не успел лорд Артур смириться с мыслью, что его узнали, как он уже сидел за столом в соседней комнате, потягивая превосходный «Маркобрюннер» из бледно-желтого бокала с имперской монограммой, и вел светскую беседу со знаменитым заговорщиком.

— Часы со взрывчаткой не годятся для вывоза за границу,— объяснял герр Винкелькопф.— Даже если на таможне все благополучно, железнодорожное сообщение — дело настолько ненадежное, что взрыв, как правило, происходит в пути. Однако если ваш объект находится внутри страны, я готов предоставить вам отменный механизм и гарантировать результат. Могу я спросить, о ком идет речь? Если это кто-нибудь из Скотланд-Ярда или человек, связанный с полицией, я, к сожалению, ничем не смогу вам помочь. Английские сыщики — наши лучшие друзья: благодаря их тупости

мы делаем все, что хотим. Каждый из них для меня слишком ценен.

— Уверяю вас,— воскликнул лорд Артур,— полиция тут ни при чем. Часы предназначаются для декана Чичестера.

— Вот как! Я и не подозревал, лорд Артур, что вы такое значение придаете религии. Для нынешней молодежи это редкость.

— Нет-нет, вы меня переоцениваете, герр Винкелькопф,— краснея, сказал лорд Артур.— Я, право же, ничего не смыслю в теологии.

— Значит, дело сугубо личное?

— Сугубо личное.

Герр Винкелькопф пожал плечами и вышел из комнаты, а через несколько минут вернулся с круглым кусочком динамита и изящными французскими часами, увенчанными бронзовой фигурой Свободы, топчущей гидру деспотии.

Увидев часы, лорд Артур просиял.

— Это как раз то, что нужно! Теперь покажите, как они действуют.

— А вот это мой секрет,— ответил герр Винкелькопф, с законной гордостью созерцая свое изобретение.— Скажите, когда должен произойти взрыв, и я установлю их с точностью до минуты.

— Так, сегодня у нас вторник, и если вы пошлете их немедленно...

— Это невозможно. Я должен закончить важную работу для друзей в Москве. Но завтра я, пожалуй, мог бы их отослать.

— Это вполне меня устроит,— вежливо сказал лорд Артур.— Итак, их доставят декану завтра вечером или в четверг утром. Взрыв назначим, ну, скажем, на двенадцать часов в пятницу. В это время декан всегда дома.

— Пятница, двенадцать часов,— повторил герр Винкелькопф и сделал запись в большом журнале, который лежал на бюро у камина.

— А теперь,— сказал лорд Артур, вставая,— скажите, сколько я вам должен.

— Дело такое простое, лорд Артур, что я, право, ничего с вас не возьму. Динамит стоит семь шиллингов шесть пенсов, часы — три фунта десять шиллингов, доставка — порядка пяти шиллингов. Для меня удовольствие уважить друга графа Рувалова.

— Но ваши труды, герр Винкелькопф?

— Пустяки! Мне это приятно. Я не работаю за деньги, я живу исключительно ради своего искусства.

Лорд Артур положил на стол четыре фунта два шиллинга и шесть пенсов, поблагодарил добродушного немца и, не без труда уклонившись от приглашения на товарищеский ужин анархистов в ближайшую субботу, вышел из дома и зашагал к Гайд-парку.

Следующие два дня он провел в состоянии крайнего возбуждения, а в пятницу в двенадцать часов отправился в «Букингем», чтобы там ждать новостей. В течение долгих послеобеденных часов флегматичный швейцар вывешивал в холле телеграммы из разных концов страны, в которых сообщалось о результатах скачек и бракоразводных процессов, о погоде и проч., в то время как аппарат выбивал на ленте бесконечные подробности ночного заседания палаты общин и детали небольшой паники на бирже. В четыре часа принесли вечерние газеты, и лорд Артур устремился в библиотеку, прихватив «Пэлл-Мэлл», «Сент-Джеймс газетт», «Глоб» и «Эко», чем вызвал крайнее негодование полковника Гудчайлда, который мечтал прочесть сообщения о своем утреннем выступлении в Мэншн-Хаус по вопросу об англиканских миссиях в Южной Африке и о целесообразности назначения черных епископов в каждой провинции, но почему-то имел сильное предубеждение против «Ивнинг ньюс». Ни в одной из газет, однако, даже не упоминался Чичестер, и лорд Артур понял, что покушение не удалось. Это был неслыханный удар, и на время лорд Артур совершенно лишился присутствия духа. Герр Винкелькопф, к которому он отправился на следующий день, пространно извинялся и предложил ему бесплатно еще одни часы или ящик нитроглицериновых бомб по номинальной цене. Но лорд Артур более не доверял взрывчатке, да и сам герр Винкелькопф признал, что в наше время ничто, даже динамит, невозможно достать в чистом, неразбавленном виде. Однако, отметив, что механизм почему-то не сработал, немец высказал надежду, что часы еще могут взорваться, и в качестве примера рассказал о барометре, который он однажды послал военному коменданту Одессы. Хотя взрыв был запланирован на десятый день, произошел он спустя три месяца. Правда, в результате на воздух взлетела лишь одна из горнич-

ных, тогда как сам комендант за месяц до этого уехал из города, но отсюда видно, что динамит в сочетании с соответствующим механизмом есть мощное, хотя и не вполне пунктуальное средство. Это наблюдение несколько утешило лорда Артура, но даже тут его ждало разочарование, ибо два дня спустя, когда он поднимался по лестнице, герцогиня позвала его в свой будуар и показала письмо, только что полученное из Чичестера.

— Джейн пишет прелестные письма,— сказала герцогиня.— Прочти. Право, не хуже тех романов, что нам присылают от Мьюди.

Лорд Артур выхватил у нее письмо. Вот что он прочел:

Дом декана, Чичестер,
27 мая

Дорогая тетушка!

Огромное спасибо за фланель и саржу для Доркасского общества. Я с вами совершенно согласна в том, что желание этих людей красиво одеваться — нелепость, но теперь все сплошь радикалы и атеисты, и так трудно их убедить, что не следует подражать в одежде высшему сословию. К чему мы придем, не знаю. Как папа часто говорит в своих проповедях, в мире нет больше веры.

У нас был забавный случай с часами, которые папа в прошлый четверг получил от неизвестного почитателя. Их прислали из Лондона в деревянном ящике, с уведомлением о том, что доставка оплачена, и папа думает, что это подарок от кого-то, кто прочитал его замечательную проповедь «Свобода или вседозволенность?», потому что на часах сделана женская фигура, и папа говорит, что у нее на голове фригийский колпак, то есть символ свободы. По-моему, колпак совсем не изящный, но папа говорит, что он исторический, а это, конечно, другое дело. Паркер распаковал часы, и папа поставил их на каминную доску в библиотеке, и мы все там сидели в пятницу утром, когда часы пробили полдень, и вдруг послышалось жужжание, что-то чуть-чуть задымилось, и богиня свободы упала и разбила себе нос о каминную решетку! Мария, кажется, испугалась, но это было так смешно, что мы с Джеймсом хохотали до слез, и даже

папа развеселился. Когда мы посмотрели, оказалось, что это вроде будильника: если установить их на определенный час и под молоточек положить капсюль и немного пороху, то они «взрываются», когда захочешь. Папа сказал, что в библиотеке им не место, так как от них будет шумно, и Реджи забрал их себе в классную комнату и там теперь целый день устраивает крошечные взрывы. Как вы думаете, если подарить такие часы Артуру на свадьбу, он будет доволен? В Лондоне, наверное, они теперь в моде. Папа говорит, что от них есть польза, так как они показывают, что свобода непродолжительна и ее падение неизбежно. Папа говорит, что свободу придумали во времена французской революции. Какой ужас!

Теперь я иду в общество, где обязательно прочту вслух ваше поучительное письмо. Как верно вы пишете, дорогая тетушка, что людям низкого сословия надлежит ходить в том, что не к лицу. И в самом деле, разве не абсурд, что они так заботятся о платье, когда и в этой жизни, и за гробом есть столько истинно важных дел! Я так рада, что с вашим поплином в цветочек все вышло удачно и кружево нигде не разорвалось. Я сейчас надела желтый атлас, который вы мне подарили в среду у епископа, и, по-моему, все хорошо. Как вы думаете, нужны ли банты? Дженингс говорит, что теперь все носят банты, а нижняя юбка должна быть с оборочками. Реджи только что устроил очередной взрыв, и папа распорядился, чтобы часы отнесли на конюшню. Кажется, они уже не так нравятся папе, как вначале, хотя он очень польщен тем, что ему прислали такую красивую и хитроумную вещицу. Это показывает, что люди читают его проповеди со вниманием.

Папа передает привет, также и Джеймс, Реджи и Мария. Надеюсь, дядя Сесл больше не мучится подагрой. Остаюсь вашей любящей племянницей,

Джейн Перси.

P. S. Пожалуйста, напишите про банты. Дженнигс уверяет, что это ужасно модно.

Лорд Артур с такой горестной серьезностью читал письмо, что герцогиня расхохоталась.

— Артур, дитя мое, я больше не стану тебе показывать письма молодых девушек! Но что мне ответить

про часы? По-моему, очаровательное изобретение, я бы и сама не отказалась.

— Я о них невысокого мнения,— с грустной улыбкой ответил Артур и, поцеловав мать, вышел из комнаты.

Поднявшись к себе, он бросился на диван, и глаза его наполнились слезами. Он сделал все, что мог, чтобы совершить это убийство, но оба раза потерпел неудачу, причем не по своей вине. Он честно пытался выполнить свой долг, но сама судьба предательски отвернулась от него. Он пронзительно ощутил бесплодность благих намерений, тщетность всяких попыток жить достойно. Наверное, надо все же расторгнуть помолвку. Сибил, конечно, будет страдать, но страдания не в силах бросить тень на столь чистую, возвышенную душу. Что до него, ему теперь все равно. Всегда найдется война, в которой можно погибнуть, или какое-нибудь дело, за которое легко умереть. Раз в жизни нет больше радости, то и смерть не страшна. Пусть судьба распорядится им как хочет; сам он ей больше не помощник.

В половине восьмого он оделся и поехал в клуб. Там был Сэрбитон в компании молодых людей, и лорду Артуру пришлось с ними ужинать. Их банальные разговоры и праздные шутки были ему неинтересны, и как только принесли кофе, он покинул их, придумав какой-то предлог. Внизу швейцар вручил ему конверт. Это была записка от герра Винкелькопфа, который писал, что может предложить взрывающийся зонтик, и убедительно просил зайти к нему на следующий день. Это новейшее изобретение — зонтик, который взрывается, едва его раскрывают,— только что прислали из Женевы. Лорд Артур разорвал записку на мелкие кусочки. Он уже решил, что с него довольно экспериментов. Спустившись к набережной Темзы, он сел на скамейку и несколько часов просидел, глядя на реку. Луна блестела, как львиный глаз, сквозь рыжеватую гриву облаков, и бесчисленные звезды, рассыпанные по небосклону, сверкали, как золотая пыль на лиловом своде. Иногда на мутной воде появлялась баржа и уплывала, влекомая отливом, в то время как железнодорожные сигналы переключались с зеленого на пурпурный и поезда с ревом проносились по мосту. Прошло время, и часы на башне парламента пробили двенадцать; казалось, лондонская ночь вздрагивает с каждым ударом звучного колокола. Затем железно-

дорожные огни погасли; остался лишь один зажженный фонарь — как крупный рубин на высокой мачте, и шум города стал затихать.

В два часа ночи лорд Артур встал и побрел по направлению к Блэкфрайерз. Каким все казалось нереальным! Как в причудливом сне! Дома за рекой словно выстроены из мрака, как будто тени и серебристый свет перекроили мир. Огромный купол собора святого Павла повис, как пузырь, в сумрачном пространстве.

Приближаясь к «Игле Клеопатры», лорд Артур увидел человека, облокотившегося о парапет. На мгновение тот поднял голову, и свет фонаря упал ему прямо в лицо.

Это был мистер Поджерс, хиромант! Всякий без труда узнал бы его дряблые, опухшие щеки, очки в золотой оправе, тошнотворную улыбочку полных губ.

Лорд Артур остановился. Его осенила блестящая мысль, и он тихо подкрался сзади. В одно мгновение он схватил мистера Поджерса за ноги и швырнул в Темзу. Послышалось грубое проклятие, шумный всплеск, и снова все стихло. Лорд Артур всмотрелся в залитую лунным светом воду, но увидел лишь медленно крутящуюся на поверхности шляпу хироманта. Потом утонула и шляпа, и от мистера Поджерса не осталось ни следа. Внезапно ему показалось, что грузная фигура всплыла у лестницы возле моста, и сердце его похолодело от сознания новой неудачи, но то была лишь игра теней, и, когда луна вновь выглянула из-за облака, тени рассеялись. Наконец-то он, кажется, выполнил веление судьбы! Испустив глубокий вздох облегчения, он прошептал имя Сибил.

— Вы что-нибудь уронили, сэр? — произнес голос у него за спиной.

Повернувшись, он увидел полицейского с сигнальным фонарем.

— Ничего существенного, сержант,— ответил он с улыбкой, и, остановив проезжающего извозчика, велел ехать на Белгрейв-сквер.

В течение следующих дней он разрывался между надеждой и страхом. Бывали мгновения, когда ему казалось, что мистер Поджерс вот-вот войдет в гостиную, но в другие минуты он верил, что судьба не может быть к нему так несправедлива. Дважды он отправлялся к дому хироманта на Уэст-Мун-стрит, но не мог

заставить себя позвонить. Он жаждал определенности и боялся ее.

Наконец она пришла.

Сидя в клубе, он пил чай и рассеянно слушал рассказ Сэрбитона о последнем ревю в «Гейети», когда официант принес вечерние газеты. Взяв «Сент-Джеймс газетт», он принялся вяло переворачивать страницы, как вдруг его взгляд остановился на странном заголовке:

САМОУБИЙСТВО ХИРОМАНТА

Побледнев от волнения, он начал читать заметку. Вот что в ней говорилось:

«Вчера утром, около семи часов, прямо перед гостиницей «Корабль» в Гринвиче на берег вынесло тело известного хироманта, м-ра Септимуса Р. Поджерса. М-р Поджерс исчез несколько дней тому назад, вызвав серьезное беспокойство в кругах, близких к хиромантии. Предполагают, что он покончил жизнь самоубийством при временном помутнении рассудка, происшедшем от переутомления. Таков вердикт, вынесенный после дознания. М-р Поджерс только что завершил работу над крупным трактатом под названием «Человеческая рука», который вскоре будет опубликован и, без сомнения, привлечет внимание пытливых читателей. Покойному было 65 лет, родственников он не оставил».

Лорд Артур ринулся из клуба с газетой в руках, чрезвычайно удивив швейцара, который тщетно пытался остановить его, и немедленно отправился на Парк-лейн. Сибил увидела его в окно, и что-то подсказало ей, что он несет добрую весть. Она сбежала ему навстречу и, едва взглянув на его сияющее лицо, поняла, что теперь все хорошо.

— Милая Сибил,— воскликнул лорд Артур,— давай поженимся завтра!

— Вот глупый мальчик. Ведь еще и торт не заказан! — отвечала Сибил, смеясь сквозь слезы.

VI

В день свадьбы — тремя неделями позже — собор святого Петра заполнила элегантная толпа. Надлежащий текст был превосходно прочитан деканом Чичестера, и все согласились, что трудно себе

представить пару красивее, чем жених и невеста. Но они были не только красивы — они были счастливы. Лорд Артур ни на минуту не сожалел о том, что выстрадал ради Сибил, а Сибил, со своей стороны, подарила ему лучшее, что может дать женщина мужчине: нежность, любовь и поклонение. Их романтическую любовь не убила реальность. Они навсегда сохранили молодость.

Несколько лет спустя, когда у них родились двое очаровательных детей, леди Уиндермир приехала погостить в Элтон-Прайери — великолепный старый дом, который герцог подарил сыну на свадьбу. Как-то после обеда, когда они с леди Артур Сэвил сидели под большой липой в саду, глядя, как мальчик и девочка бегают по розовой аллее, словно солнечные зайчики, леди Уиндермир вдруг взяла хозяйку дома за руку и спросила:

— Ты счастлива, Сибил?

— Конечно, дорогая леди Уиндермир. Ведь и вы счастливы, правда?

— Я не успеваю быть счастливой, Сибил. Мне всегда нравится мой самый новый знакомый. Но стоит узнать его поближе, как мне становится скучно.

— Разве ваши львы вас не радуют, леди Уиндермир?

— Львы? Господь с тобой! Львы хороши на один сезон. Как только им подстригут гриву, они превращаются в банальнейшие создания. К тому же они дурно себя ведут с теми, кто к ним добр. Ты помнишь этого ужасного мистера Поджерса? Шарлатан, каких мало! Это меня, впрочем, совершенно не беспокоило, и, даже когда он вздумал просить денег, я не слишком рассердилась. Но когда он стал объясняться мне в любви, я не выдержала. Из-за него я возненавидела хиромантию. Теперь я увлекаюсь телепатией, это намного интереснее.

— Только не говорите плохо о хиромантии, леди Уиндермир; это единственный предмет, о котором Артур не любит шутить. Уверяю вас, я не преувеличиваю.

— Не хочешь же ты сказать, что он в нее верит?

— Спросите его сами, леди Уиндермир. Вот он.

На дорожке и в самом деле появился лорд Артур: в руке у него был букет желтых роз, а вокруг него весело танцевали дети.

— Лорд Артур!

— Да, леди Уиндермир?

— Неужели вы действительно верите в хиромантию?

— Конечно, верю,— с улыбкой ответил молодой человек.

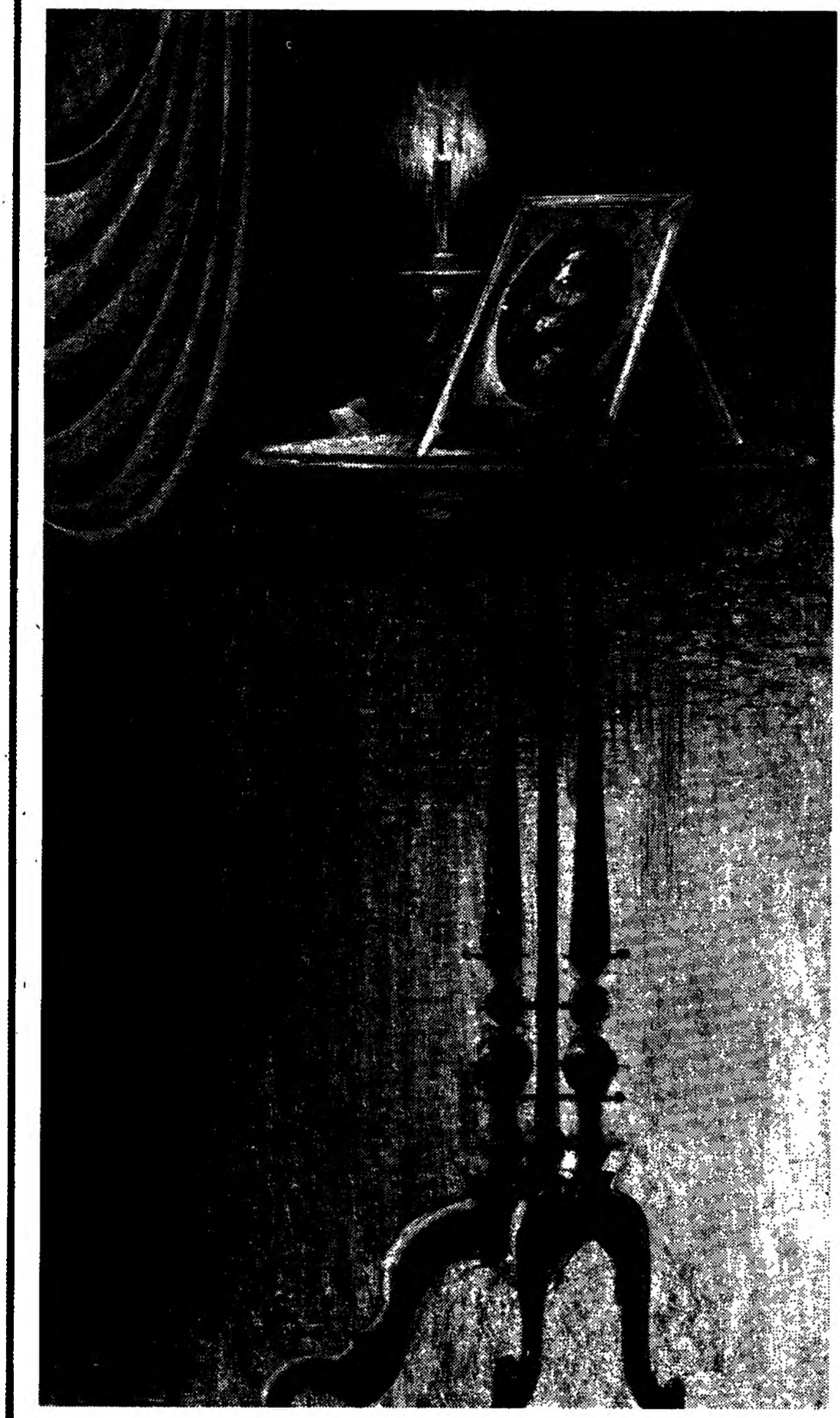
— Но почему?

— Потому что я обязан ей всем своим счастьем,— негромко проговорил он и сел в плетеное кресло.

— Но помилуйте, лорд Артур, чем вы ей обязаны?

— Сибил,— ответил он и протянул жене розы, глядя прямо в ее синие глаза.

— Какой вздор!— вскричала леди Уиндермир.— Я в жизни не слышала такой нелепости!



ПОРТРЕТ Г-НА У. Г.

1

Пообедав с Эрскином в его небольшом уютном домике на Бердкейдж-Уок, мы сидели и беседовали в библиотеке, куда подали кофе и папиросы. Случилось так, что речь зашла о литературных подделках. Теперь уже не скажу, что натолкнуло нас на эту несколько необычную при таких обстоятельствах тему, но помню точно, что мы долго говорили о Макферсоне, Айерленде и Чаттертоне, причем в отношении последнего я настойчиво доказывал, что его так называемые подделки суть не что иное, как попытка добиться совершенства художественного воплощения, что мы не вправе спорить с автором по поводу формы, избранной им для своего произведения, и что, поскольку всякое Искусство является, до известной степени, действием — стремлением достичь самовыражения в некой области воображаемого, свободной от досадных помех и ограничений реальной жизни, то осуждать художника за подделку — значит смешивать этическую проблему с проблемой эстетической.

Эрскин, который был много старше меня и до сих пор слушал с насмешливо-почтительным видом умудренного жизнью сорокалетнего человека, вдруг положил мне руку на плечо и спросил:

— Ну, а что бы ты сказал о молодом человеке, который имел странную теорию об одном произведении искусства, верил в нее и прибег к подделке, чтобы доказать свою правоту?

— О, это совсем другое дело,— ответил я.

Несколько мгновений Эрскин молчал, глядя на тоненькую серую струйку дыма, поднимающуюся с кончика его папиросы.

— Да, пожалуй,— промолвил он после паузы,— совсем другое.

Что-то в тоне его голоса — быть может, легкий оттенок горечи,— возбудило мое любопытство.

— А ты что, знал когда-нибудь такого человека? — спросил я.

— Да,— отозвался он, бросая папиросу в камин.— Я говорил о моем близком друге, Сириле Грэхэме. Он был очень обаятелен, очень сумасброден и очень бессердечен. Однако именно он оставил мне единственное наследство, которое я получил за всю жизнь.

— И что же это было? — поинтересовался я.

Эрскин поднялся с кресла, подошел к стоявшему в простенке между двумя окнами высокому инкрустированному шкафу, отпер его и тотчас вернулся, держа в руке небольшой, писанный на доске портрет, заключенный в старинную, немного потемневшую раму елизаветинского стиля.

На портрете был изображен в полный рост юноша в костюме шестнадцатого века. Он стоял у стола, положив правую руку на раскрытую книгу. Лет семнадцати на вид, он поражал необычайной, хотя и несколько женственной красотой. Собственно, если бы не одежда и коротко подстриженные волосы, лицо его, с мечтательными печальными глазами и тонко очерченным алым ртом, можно было бы принять за лицо девушки. Манерой, в особенности тем, как были написаны руки, картина напоминала позднего Франсуа Клуэ. Причудливый узор золотого шитья на черном бархатном камзоле и ярко-синие переливы фона, который так чудесно оттенял цвет костюма, сообщая ему какую-то светящуюся прозрачность, были вполне в духе Клуэ; да и две маски — Трагедии и Комедии,— несколько нарочито помещенные на переднем плане, подле мраморного столика, отличала та строгость мазка и линий, столь непохожая на легкое изящество итальянцев, которую великий фламандский мастер так и не утратил полностью, даже живя при французском дворе, и которая сама по себе всегда была характерным признаком северного темперамента.

— Прелестная вещица,— заметил я.— Но кто же этот очаровательный юноша, чью красоту так счастливо сохранило для нас Искусство?

— Перед тобой портрет господина У. Г.,— с грустной улыбкой ответил Эрскин.

Не знаю, возможно, то была всего лишь случайная игра света, но мне показалось, что в глазах его блеснули слезы.

— Господина У. Г.,— повторил я.— А кто он такой, этот У. Г.?

— Неужели не помнишь? Посмотри на книгу у него под рукой.

— Там как будто что-то написано, вот только не разберу что,— откликнулся я.

— Вот лупа, попытайся разглядеть,— сказал Эрскин, лицо которого не покидала все та же грустная улыбка.

Я взял лупу и, придвинув лампу поближе, принялся с трудом читать рукописные строчки, выведенные замысловатой старинной вязью: «Тому единственному, кому обязаны появлением нижеследующие сонеты...»

— Боже милостивый! — воскликнул я.— Да не шекспировский ли это У. Г.?

— Так говорил и Сирил Грэхэм,— пробормотал Эрскин.

— Но ведь юноша ничуть не похож на лорда Пемброка,— возразил я.— Я же отлично знаю портреты из Пенхерста. Не далее как несколько недель назад мне довелось побывать в тех местах.

— А ты и в самом деле полагаешь, что сонеты посвящены лорду Пемброку?

— Совершенно в этом уверен,— ответил я.— Пемброк, сам Шекспир и г-жа Мэри Фиттон как раз и есть те три фигуры, что выступают в сонетах; на этот счет не может быть никаких сомнений.

— Что ж, я с тобой согласен,— сказал Эрскин,— но так я считал не всегда. Когда-то я верил — да, пожалуй, когда-то я верил в Сирила Грэхэма и его теорию.

— В чем же она состояла? — спросил я, глядя на прекрасный портрет, который уже начинал как-то странно меня завораживать.

— О, это длинная история,— ответил Эрскин, забирая у меня портрет, как мне показалось тогда, довольно неучтиво,— очень длинная история. Но если хочешь, я тебе ее расскажу.

— Меня всегда очень занимали всякие теории относительно этих сонетов,— сказал я,— но теперь я

вряд ли поверю в какую-либо новую идею. В деле этом уже ни для кого нет загадки. Да и была ли она там когда-нибудь вообще, сказать трудно.

— Раз уж я сам не верю в эту теорию, тебя мне и подавно не убедить,— рассмеялся Эрскин.— Однако она все же не лишена интереса.

— Конечно, рассказывай,— согласился я.— Если история хоть вполовину так хороша, как портрет, я буду более чем доволен.

— Ну что ж, начну, пожалуй, с того,— сказал Эрскин, зажигая новую папиросу,— что поведаю тебе о самом Сириле Грэхэме. Познакомились мы в Итоне, где жили в одном пансионе. Я был на год или два старше, однако нас связывала теснейшая дружба, и мы не разлучались ни в играх, ни в трудах. Разумеется, игр было гораздо больше, чем трудов, но не могу сказать, чтобы я об этом сожалел. Не получить основательного образования в общепринятом смысле слова — всегда преимущество, и то, что я приобрел на игровых площадках в Итоне, пригодилось мне ничуть не меньше, чем все, чему меня научили в Кембридже. Надо тебе сказать, что ни отца, ни матери у Сирила не было. Они погибли, когда их яхта потерпела ужасное крушение у берегов острова Уайт. Отец его был на дипломатической службе и женился на дочери — кстати, единственной — старого лорда Кредитона, который по смерти родителей Сирила стал его опекуном. Не думаю, чтобы лорд Кредитон очень любил Сирила. Он так до конца и не простил дочери, что она вышла замуж за человека без титула. Это был чудаковатый старый аристократ, который ругался, как уличный торговец, а манерами походил на деревенского мужлана. Помню, как однажды я повстречался с ним в Актовый день. Он что-то буркнул, сунул мне в руку соверен и выразил пожелание, чтобы я не вырос «дрянным радикалом» вроде моего отца. Сирил не питал к нему особой привязанности и весьма охотно проводил большую часть каникул у нас в Шотландии. Да и вообще с дедом они никогда не ладили. Сирил считал его грубияном, а он его — изнеженным мальчишкой. Наверное, в некоторых отношениях Сирил и вправду был изнежен, что, впрочем, не мешало ему превосходно ездить верхом и отменно фехтовать. Собственно, великолепно владеть рапирой он научился еще в Итоне. Однако вид он имел женственно-

томный, немало гордился своей красотой и испытывал глубокую неприязнь к футболу. Две вещи доставляли ему истинное наслаждение — поэзия и актерская игра. В Итоне он имел обыкновение наряжаться в старинный костюм и читать из Шекспира, а когда мы отправились продолжать учебу в Тринити-колледж, он в первом же семестре вступил в Любительское театральное общество. Помнится, я всегда очень завидовал его искусству. Я был до нелепого привязан к Сирилу — вероятно, потому, что в чем-то мы были так несхожи. Я был нескладным хилым юношей с огромными ступнями и ужасно веснушчатым лицом. В шотландских семьях веснушки передаются из поколения в поколение, как в английских — подагра. Сирил, однако, говорил, что из этих двух напастей предпочитает все же подагру. Внешности он действительно придавал до смешного большое значение и однажды даже прочел в нашем дискуссионном обществе эссе, в котором доказывал, что лучше хорошо выглядеть, чем хорошо поступать. Сам он был, право же, изумительно красив. Люди, не любившие Сирила,— пошлые глупцы, университетские наставники и студенты, готовившиеся к духовному поприщу,— говорили, что он миловиден, и только, но на самом деле в лице его было нечто гораздо большее, нежели обыкновенная миловидность. Я никогда, кажется, не знал более обворожительного создания, и сравниться с ним в грациозности движений и изяществе манер не мог решительно никто. Он очаровывал всех, кого стоило очаровывать, и очень многих, кто этого не заслуживал. Часто он бывал своенравен и капризен, я же считал его чудовищно неискренним. Последнее, полагаю, было в основном следствием его безмерного желания нравиться. Бедный Сирил! Как-то я сказал ему, что он находит удовольствие в успехах весьма невысокого сорта, но он лишь расхохотался в ответ. Он был ужасающе испорчен. Думаю, впрочем, что все обаятельные люди испорчены. В этом и кроется секрет их привлекательности.

Однако пора рассказать об игре Сирила. Тебе, конечно, известно, что женщин в Любительское театральное общество не принимают. Во всяком случае, так было в мое время. Не знаю, как обстоит дело

сейчас. Ну и, разумеется, женские роли всегда доставались Сирилу. Когда ставили «Как вам это понравится», он играл Розалинду. В этой роли он был великолепен. Собственно говоря, Сирил Грэхэм был единственной безупречной Розалиндой из тех, что мне довелось видеть. Невозможно описать тебе всю прелесть, всю утонченность, всю изысканность его игры. Она произвела невообразимую сенсацию, и скверный маленький театрик, где тогда давала представления труппа, каждый вечер был переполнен. Даже сейчас, читая пьесу, я не могу не думать о Сириле. Она была точно специально для него написана. На следующий год он окончил университет и уехал в Лондон готовиться к поступлению на дипломатическую службу Но душа у него не лежала к занятиям. Целыми днями он читал сонеты Шекспира, а по вечерам отправлялся в театр. Разумеется, больше всего на свете он хотел стать актером. Однако я и лорд Кредитон сделали все, что в наших силах, чтобы ему помешать. Кто знает, пойди Сирил на сцену, возможно, он был бы жив до сих пор. Давать советы, знаешь ли, вообще глупо, разумные же советы — просто губительно. Надеюсь, ты не совершишь подобной ошибки. А если все-таки совершишь, то очень в этом раскаешься.

Впрочем, перейду к тому, что составляет суть этой истории. Однажды я получил от Сирила письмо с просьбой в тот же вечер приехать к нему на квартиру. Он занимал несколько прекрасных комнат на Пикадилли, выходивших окнами на Грин-парк. Поскольку я и так бывал у него каждый день, меня, признаться, удивило то, что он дал себе труд написать мне. Я, конечно, приехал и застал моего друга в состоянии величайшего волнения. Он объявил, что разгадал наконец тайну шекспировских сонетов, что все знатоки и критики пошли по совершенно ложному пути и что он первый, опираясь лишь на сведения, содержащиеся в самих сонетах, открыл, кто был в действительности господин У. Г. Он был прямо-таки вне себя от восторга и долго не хотел объяснять, в чем заключается его теория. В конце концов он принес целую кипу заметок, взял с камина томик Шекспира, устроился в кресле и прочел мне длинную лекцию по столь заинтересовавшему его предмету.

В самом начале он указал на то, что молодой человек, которому Шекспир посвятил эти полные необычайной страсти стихи, должен быть кем-то, кто сыграл поистине исключительную роль в развитии его драматического таланта, и что подобного нельзя сказать ни о лорде Пемброке, ни о лорде Саутгемптоне. Кто бы он ни был, он не мог принадлежать к знатному роду, о чем достаточно ясно свидетельствует 25-й сонет, где Шекспир, сравнивая себя с «любимцами сиятельных вельмож», прямо говорит:

Пускай обласканный счастливою звездою
Гордится титулом и блеском славных дел,
А мне, лишенному даров таких судьбою,
Мне почесть высшая досталася в удел,—

и в конце сонета радуется тому, что человек, внушивший ему такое обожание, из простого сословия, и дружбе их не грозят капризы фортуны:

Но я любим, любя, и жребий мой ценю,
Он не изменит мне, и я не изменю[1].

Этот сонет, заявил Сирил, был бы совершенно непонятен, если предположить, что адресован он лорду Пемброку или графу Саутгемптону,—ведь и тот, и другой стояли на высшей ступени английского общества и могли быть с полным основанием названы «сиятельными вельможами». В подтверждение своей точки зрения он прочел мне 124-й и 125-й сонеты, где Шекспир говорит, что его любовь не «дитя удачи» и что ее «не создал случай»[2]. Я слушал с живым интересом, ибо не думаю, чтобы кто-нибудь раньше обратил внимание на эти факты, однако дальнейшее было еще любопытнее и, как мне показалось тогда, лишало всяких оснований притязания Пемброка. Миерс передает, что сонеты были написаны до 1598 года, а из сонета 104-го явствует, что дружба Шекспира с господином У. Г. началась тремя годами раньше. Но лорд Пемброк, родившийся в 1580 году, не бывал в Лондоне до восемнадцати лет, то есть до 1598 года; Шекспир же, видимо, познакомился с господином У. Г. в 1594 или, самое позднее, в 1595 году и, следовательно, не мог встречаться с лордом Пемброком до того, как были написаны сонеты.

---

[1] Перевод В. Мазуркевича.
[2] Перевод С. Маршака.

Сирил отметил также, что отец Пемброка умер только в 1601 году, тогда как строка:

Был у тебя отец, так стань и ты отцом[1]...—

ясно говорит о том, что в 1598 году отца господина У. Г. уже не было в живых. Помимо всего прочего, было бы нелепо думать, будто в те времена какой-либо издатель,— а посвящение написано именно издателем,— дерзнул бы обратиться к Уильяму Герберту, графу Пемброку, как к «господину У. Г.». То, что лорда Бакхерста однажды назвали просто «господином Сэквиллом», едва ли может служить уместным примером, ибо лорд Бакхерст был не пэром, а лишь младшим сыном пэра и носил всего только «титул учтивости», да и то место в «Английском Парнасе», где его так называют, упоминая лишь вскользь, никак нельзя сравнить с торжественным официальным посвящением. Так было покончено с лордом Пемброком, чьи воображаемые притязания Сирил легко развеял в прах; я слушал в изумлении. Лорд Саутгемптон доставил ему еще меньше затруднений. Уже в ранней юности Саутгемптон стал любовником Элизабет Вернон и потому не нуждался в столь настойчивых уговорах подумать о продолжении рода; он не был красив или похож на мать, как господин У. Г.:

Для матери твоей ты зеркало такое же.
Она в тебе апрель свой дивный узнает[2],—

и, самое главное, получил при крещении имя Генри, в то время как построенные на игре слов сонеты 135-й и 143-й подсказывают, что друга Шекспира звали так же, как его самого,— Уилл.

С другими, весьма неудачными догадками, высказанными комментаторами,— что инициалы искажены опечаткой, и читать следует «господину У. Ш.», то есть «Уильяму Шекспиру», что господин У. Г.— это Уильям Гэсауэй, или что после слова «желает» нужно поставить точку, превратив тем самым господина У. Г. из человека, которому посвящены сонеты, в автора по-

---

[1] Стихи, не отмеченные знаком сноски, даны в переводе С. Силищева.

[2] Перевод В. Лихачева.

священия,— Сирил расправился очень быстро, и нет нужды приводить здесь его аргументы, хотя, помнится, он до колик рассмешил меня, прочтя вслух (к счастью, не в оригинале) несколько выдержек из какого-то немецкого комментатора по имени Барншторф, который настойчиво доказывал, что господин У. Г. не кто иной, как господин «Уильям Самолично» [1]. Ни на минуту не допускал он и мысли о том, что сонеты простая пародия на произведения Дрейтона и Джона Дэвиса Герфорда. Сирилу, как, впрочем, и мне, стихи эти казались исполненными глубокого и трагического чувства, вобравшего в себя всю горечь, исторгнутую шекспировским сердцем, и всю сладость, излитую его устами. Еще менее он склонен был признать сонеты философской аллегорией, в которой Шекспир обращается к своему идеальному «Я», или к идеальному Мужскому Образу, Духу Красоты, Разуму, Божественному Логосу, Католической Церкви. Он чувствовал, как и все мы, что стихи адресованы определенному лицу, некоему юноше, чей образ почему-то рождал в душе Шекспира безумную радость и столь же безумное отчаяние.

Как бы подготовив себе почву сказанным, Сирил попросил меня выбросить из головы любые предвзятые мнения, какие могли сложиться у меня по поводу сонетов, и выслушать с вниманием и беспристрастием его собственную теорию. Вопрос, сказал он, состоит в следующем: кто был тот юноша, современник Шекспира, который, не будучи благороден ни по рождению, ни даже по натуре, был воспет им с таким пламенным обожанием, что остается лишь дивиться этому странному преклонению, почти страшась приподнять завесу, скрывающую тайну, что жила в сердце поэта? Кто был он, обладавший красотой столь удивительной, что она наполнила собой все шекспировское искусство, стала источником его вдохновения, воплощением самой сокровенной его мечты? Смотреть на него только как на героя лирических стихов — значит совершенно их не понимать. Ведь, говоря в сонетах об искусстве, Шекспир подразумевает не сами

---

[1] *Англ.* W(illiam) H(imself).

сонеты, ибо для него они были лишь тайным и мимолетным увлечением,— нет, речь в них идет о его драматическом искусстве, и тот, кому Шекспир сказал:

Искусство все — в тебе; мой стих простой
Возвысил ты своею красотой,—

тот, кому он сулил бессмертие:

Ты будешь жить, земной покинув прах,
Там, где живет дыханье,— на устах[1],—

был, конечно же, не кем иным, как юношей-актером, для которого он создал Виолу и Имоджену, Джульетту и Розалинду, Порцию, Дездемону и даже Клеопатру. В этом и состояла теория Сирила Грэхэма, которую, как видишь, он построил на основании одних только сонетов и которая опиралась не столько на логические умозаключения и формальные доказательства, сколько на своего рода духовную и художественную интуицию, ибо лишь с ее помощью, утверждал он, возможно постичь подлинный смысл этих стихов. Я помню, он прочел мне прекрасный сонет:

Неужто музе не хватает темы,
Когда ты можешь столько подарить
Чудесных дум, которые не все мы
Достойны на бумаге повторить.
И если я порой чего-то стою,
Благодари себя же самого.
Тот поражен душевной немотою,
Кто в честь твою не скажет ничего.
Для нас ты будешь музою десятой
И в десять раз прекрасней остальных,
Чтобы стихи, рожденные когда-то,
Мог пережить тобой внушенный стих[2],—

обратив мое внимание на то, как убедительно эти строки подтверждают его теорию. И действительно, тщательно проанализировав сонеты, он показал или воображал, что показал, как в свете нового объяснения их значения все, что казалось ранее непонятным, или дурным, или преувеличенным, обретает ясность, стройность и высокий художественный смысл, иллюстрируя шекспировское представление об истинных отношениях между искусством актера и искусством драматурга.

[1,2] Переводы С. Маршака.

Совершенно очевидно, что в труппе Шекспира был великолепный юный актер редкостной красоты, которому он доверял воплощать на подмостках благородных героинь своих пьес — ведь Шекспир был не только вдохновенным поэтом, но и театральным антрепренером. И Сирилу удалось узнать имя этого актера. Его звали Уилл, или, как предпочитал называть его сам Сирил, Уилли Гьюз. Имя он, разумеется, обнаружил в каламбурных сонетах 135-ом и 143-ем; фамилия же, по его мнению, скрывалась в восьмой строке 20-го сонета, где господин У. Г. описывается так:

Красавец в цвете лет и весь он — цвет творенья...

В первом издании сонетов слово «Цвет» [1] напечатано с заглавной буквы и курсивом, а это, утверждал он, явно указывает на желание автора вложить в созвучие двоякое значение. Такое предположение во многом подтверждается теми сонетами, где встречаются любопытные каламбуры со словами «use» и «usury» [2]. Сирил, конечно, сразу обратил меня в свою веру, и Уилли Гьюз стал для меня не менее реальным лицом, чем сам Шекспир. Я нашел возразить лишь то, что имени Уилли Гьюза нет в дошедшем до нас списке актеров шекспировской труппы. Однако Сирил ответил, что отсутствие в списке этого имени, напротив, только подкрепляет его теорию, так как из 86-го сонета понятно, что Уилли Гьюз покинул труппу Шекспира и стал играть в одном из конкурирующих театров — возможно, в каких-то пьесах Чапмена. Именно это Шекспир имеет в виду, когда в своем замечательном сонете о Чапмене говорит, обращаясь к Уилли Гьюзу:

...его стихи украсил твой привет,
И мой слабеет стих, и слов уж больше нет [3].

Строка «его стихи украсил твой привет» подразумевает, видимо, что своей красотой молодой актер добавил прелести чапменовским стихам, наполнил их

---

[1] Английское слово «цвет» звучит так же, как имя «Гьюз».

[2] «Пользование» и «ростовщичество» — оба слова созвучны имени «Гьюз».

[3] Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

жизнью и правдой. Та же мысль высказана и в 79-м сонете:

Когда один я находил истоки
Поэзии в тебе, листал мой стих.
Но как теперь мои померкли строки
И голос музы немощной затих!

А в предыдущем сонете, где Шекспир говорит:

Поэты, переняв мою затею,
Свои стихи украсили тобой[1],—

разумеется, очевидна игра слов use — Hughes[2], и фраза «свои стихи украсили тобой» означает: «своим актерским искусством ты помогаешь успеху их пьес».

Это был чудесный вечер, и мы засиделись чуть ли не до рассвета, читая и перечитывая сонеты. Однако с течением времени я начал понимать, что сделать теорию всеобщим достоянием в совершенно законченном виде можно, лишь получив неоспоримые доказательства существования юного актера по имени Уилли Гьюз. Если бы удалось их отыскать, не осталось бы никаких оснований сомневаться в том, что он и господин У. Г. — одно и то же лицо; в противном случае теория просто рухнет. Эти соображения я со всей возможной убедительностью изложил Сирилу, который был немало раздосадован тем, что назвал моим «филистерским складом ума», и вообще очень обиделся и расстроился. Тем не менее я заставил его пообещать, что, в своих же собственных интересах, он не предаст огласке сделанного открытия до тех пор, пока не будут полностью рассеяны все сомнения. Многие и многие недели мы рылись в метрических записях лондонских церквей, в аллейновских рукописях в Даллидже, в Государственном архиве, в Архиве лорда-гофмейстера — словом, везде, где была хоть какая-то надежда встретить упоминание об Уилли Гьюзе. Поиски наши, как и следовало ожидать, не увенчались успехом, и идея с каждым днем казалась все неправдоподобнее. Сирил пребывал в ужасном

---

[1] Перевод С. Маршака.

[2] *Англ.* «use», здесь: «затея» — созвучно имени Гьюз (Hughes).

состоянии: изо дня в день он вновь и вновь объяснял мне свою теорию, умоляя в нее поверить. Но я отлично видел единственный изъян в его рассуждениях и отказывался с ними согласиться, прежде чем существование Уилли Гьюза, юноши-актера, жившего во времена королевы Елизаветы, не станет безусловно и неопровержимо доказанным фактом.

Однажды Сирил уехал из города. Я решил, что он отправился навестить своего деда, и лишь позже узнал от лорда Кредитона, что это было не так.

Недели через две от Сирила пришла телеграмма, посланная из Уорика,— он просил меня непременно приехать и пообедать с ним в тот же вечер в восемь часов. Встретил он меня такими словами: «Единственный апостол, который не заслуживал, чтобы ему представили доказательства существования божьего, был святой Фома, но получил их он один». На мой вопрос, как это понимать, он ответил, что ему удалось не только удостовериться в том, что в шестнадцатом веке действительно жил юноша-актер по имени Уилли Гьюз, но и окончательно доказать, что он и есть тот самый господин У. Г., которому посвящены сонеты. Ничего больше он в тот момент сказать не захотел, однако после обеда торжественно показал мне картину, которую ты только что видел, сообщив, что обнаружил ее по чистейшей случайности: портрет был прибит гвоздями к внутренней стенке старинной шкатулки, купленной им у какого-то фермера в Уорикшире. Самое шкатулку — замечательный образец ремесленного искусства конца шестнадцатого века — он, разумеется, тоже захватил с собой. На передней стенке, в самом центре, были отчетливо вырезаны инициалы «У. Г.». Именно эта монограмма и привлекла его внимание, хотя более тщательно осмотреть шкатулку изнутри ему пришло в голову лишь спустя несколько дней после ее приобретения. Как-то утром он заметил, что одна из стенок гораздо толще остальных, и, присмотревшись, обнаружил прикрепленную к ней доску в раме. Это и была та самая картина, которая лежит сейчас на диване. Ее покрывал густой слой грязи и плесени, но Сирил сумел их счистить и, к величайшей своей радости, увидел, что совершенно случайно нашел как раз то, что искал. Перед ним был

подлинный портрет господина У.Г., рука которого покоилась на томике сонетов, открытом на странице с посвящением, а на потускневшем золоте рамы можно было с трудом различить имя молодого человека, выведенное черными унциальными буквами: «Молодой Уилл Гьюз».

Что мне было сказать? Я и на миг не мог вообразить, что Сирил Грэхэм задумал сыграть со мной шутку или пытается доказать свою теорию с помощью подделки.

— Так это все же подделка? — спросил я.

— Разумеется,— сказал Эрскин.— Подделка превосходная, но тем не менее подделка. Уже тогда, правда, мне показалось, что Сирил отнесся к находке чересчур уж спокойно, однако я вспомнил, как он не раз говорил, что самому ему не нужно подобного рода доказательства и что теория вполне убедительна и без них. Смеясь, я отвечал, что без них вся его теория рухнет, как карточный домик,— и теперь искренне поздравил своего друга с блестящим открытием. Мы договорились заказать гравюру или репродукцию с портрета, чтобы поместить ее на фронтисписе нового издания сонетов, которое решил подготовить Сирил, и в течение трех месяцев занимались только тем, что кропотливо, строчку за строчкой, изучали каждый сонет, пока не были преодолены все неясности текста или смысла. И вот одним несчастливым днем я забрел в какой-то магазин гравюр в Холборне, где внимание мое привлекли несколько прекрасных рисунков серебряным карандашом. Они так мне понравились, что я их купил, а владелец магазинчика, некий Ролингс, сказал мне, что рисунки сделал молодой художник по имени Эдвард Мертон — человек очень талантливый, но бедный, как церковная мышь. Через несколько дней я поехал повидать Мертона, чей адрес взял у торговца гравюрами. Меня встретил интересный молодой человек с бледным лицом и его жена, довольно вульгарная на вид женщина, которая, как я узнал потом, была его натурщицей. Я сказал, что восхищен его рисунками, чем, кажется, доставил ему большое удовольствие, и спросил, не покажет ли он мне еще что-нибудь из своих работ. Но когда мы стали одну за другой их рассматривать,— а у него оказалось мно-

жество, право же, чудесных вещей, ибо этот Мертон и в самом деле был великолепным и тонким мастером,— взгляд мой совершенно неожиданно упал... на рисунок с портрета господина У. Г. Сомнений не было. Я держал в руках почти точную копию — с той лишь разницей, что маски Трагедии и Комедии лежали не перед мраморным столиком, как на картине, а у ног юноши.

«Каким образом к вам попало это?» — воскликнул я.

Явно смешавшись, Мертон пробормотал: «Так, какой-то случайный набросок. Не знаю даже, как он здесь оказался. Безделка, не более».

«Это же тот самый эскиз, который ты сделал для Сирила Грэхэма! — вмешалась его жена.— И если джентльмен хочет его купить, пусть покупает».

«Для Сирила Грэхэма? — повторил я.— Так это вы написали портрет господина У. Г.?»

«Я не понимаю, что вы имеете в виду»,— ответил он, заливаясь краской.

Случилось ужасное. Его жена обо всем проболталась. Уходя, я украдкой дал ей пять фунтов. Сейчас вспоминать об этом невыносимо, но, конечно же, я был взбешен. Я тотчас поспешил к Сирилу, прождал три часа у него на квартире, и, когда он наконец вернулся, явившись мне, точно олицетворение этой отвратительной лжи, я сообщил ему, что обнаружил подделку. Он сильно побледнел и сказал:

«Я сделал это только ради тебя. Убедить тебя иным способом было невозможно. Однако достоверности теории это не умаляет».

«Достоверность теории! — воскликнул я.— Чем меньше мы будем говорить об этом, тем лучше! Ты даже сам никогда в нее не верил. Иначе бы не прибег к подделке, чтобы ее доказать».

Мы наговорили друг другу резкостей и страшно поссорились. Пожалуй, я был несправедлив. На следующее утро его нашли мертвым.

— Мертвым?! — вскричал я.

— Да. Он застрелился из револьвера. Брызги крови попали на раму картины, как раз на то место, где написано имя. Когда я приехал — слуга Сирила сейчас же послал за мной,— там уже была полиция.

Сирил оставил для меня письмо, написанное, судя по всему, в величайшем смятении и расстройстве чувств.

— Что же он в нем говорил?

— О, что он абсолютно убежден в существовании Уилли Гьюза, что подделка была лишь уступкой мне и ни в малейшей степени не лишает теорию правоты и что, желая доказать мне, как глубока и непоколебима его вера в идею, он приносит свою жизнь в жертву тайне сонетов. Это было безумное, исступленное письмо. Помню, в конце он писал, что завещает теорию об Уилли Гьюзе мне, что именно я должен рассказать о ней людям и разгадать тайну Шекспировой души.

— Какая трагическая история,— проговорил я.— Но почему же ты не исполнил его желания?

Эрскин пожал плечами.

— Да потому, что теория эта от начала и до конца совершенно ошибочна.

— Мой милый Эрскин,— сказал я, вставая с кресла,— на сей счет ты явно заблуждаешься. Эта теория — единственный верный ключ к пониманию сонетов Шекспира. Она продумана во всех деталях. Лично я верю в Уилли Гьюза.

— Не говори так,— глухо отозвался Эрскин.— Мне кажется, что в этой идее есть что-то роковое, с точки же зрения логики сказать в ее пользу нечего. Я тщательно во всем разобрался и уверяю тебя, теория совершенно безосновательна. Правдоподобной она кажется только до известного предела. Дальше — тупик. Ради всего святого, дружище, оставь всякую мысль об Уилли Гьюзе. Иначе тебе не миновать беды.

— Эрскин,— ответил я,— твой долг — сообщить миру об этой теории. И если этого не сделаешь ты, сделаю я. Скрывая ее, ты грешишь перед памятью Сирила Грэхэма — самого юного и самого прекрасного из мучеников искусства. Умоляю тебя! Ведь этого требует справедливость. Он не пожалел жизни ради идеи — так пусть же смерть его не будет напрасна.

Эрскин посмотрел на меня в изумлении.

— Полно, тебя просто захватили чувства, вызванные всей этой историей. Однако ты забываешь, что вера не становится истиной только потому, что

кто-то за нее умирает. Я любил Сирила Грэхэма, и его смерть была для меня страшным ударом. Оправиться от него я не мог многие годы. Наверное, я не оправился от него вовсе. Но Уилли Гьюз? Нет, Уилли Гьюз — идея пустая. Такого человека никогда не было. Рассказать обо всем людям, говоришь ты? Но ведь люди думают, что Сирил Грэхэм погиб от несчастного случая. Единственное доказательство его самоубийства — адресованное мне письмо, но о нем никто ничего не знает. Лорд Кредитон и по сей день уверен, что тогда произошел несчастный случай.

— Сирил Грэхэм пожертвовал жизнью во имя великой идеи,— возразил я.— И если ты не хочешь поведать о его мученичестве, расскажи хоть о его вере.

— Его вера,— ответил Эрскин,— основывалась на ложном представлении, на представлении порочном, на представлении, которое не задумываясь отверг бы любой исследователь творчества Шекспира. Да его теорию просто подняли бы на смех! Не будь же глупцом и оставь этот путь, он никуда не ведет. Ты исходишь из уверенности в существовании того самого человека, чье существование как раз и надо сперва доказать. И потом, всем известно, что сонеты посвящены лорду Пемброку. С этим вопросом покончено раз и навсегда.

— Нет, не покончено! — воскликнул я.— Я продолжу начатое Сирилом Грэхэмом и докажу всем, что он был прав.

— Безумный мальчишка! — пробормотал Эрскин.— Отправляйся-ка лучше домой — уже третий час. И выбрось из головы Уилли Гьюза. Я жалею, что рассказал тебе обо всем этом, и еще больше — что убедил тебя в том, чему не верю сам.

— О нет, ты дал мне ключ к величайшей загадке современной литературы,— ответил я,— и я не успокоюсь до тех пор, пока не заставлю тебя признать — пока не заставлю всех признать, что Сирил Грэхэм был самым тонким из современных знатоков Шекспира.

Я шел домой через Сент-Джеймс-парк, а над Лондоном занималась заря. Белые лебеди покойно дремали на полированной глади озера; высокие

башни дворца на фоне бледно-зеленого неба отливали багрянцем. Я подумал о Сириле Грэхэме, и глаза мои наполнились слезами.

II

Когда я проснулся, шел уже первый час пополудни, и сквозь занавеси на окнах в комнату струились косые золотистые лучи солнца, в которых плясали мириады пылинок. Сказав слуге, что меня ни для кого нет дома, и выпив чашку шоколада с булочкой, я взял с полки томик сонетов Шекспира и стал внимательно читать. Каждый сонет, казалось, подтверждал теорию Сирила Грэхэма. Я точно положил руку на Шекспирово сердце, явственно ощутив трепет и биение переполнявших его страстей. Мысли мои обратились к прекрасному юноше-актеру, и в каждой строчке мне стало видеться его лицо. Помню, особенно меня поразили два сонета — 53-й и 67-й. В первом из них, восхищаясь сценической разнохарактерностью Уилли Гьюза, многообразием исполняемых им ролей — от Розалинды до Джульетты и от Беатриче до Офелии,— Шекспир восклицает:

Какою ты стихией порожден?
Все по одной отбрасывают тени,
А за тобою вьется миллион
Твоих теней, подобий, отражений[1].

Строки эти были бы непонятны, если бы не были обращены к актеру, ибо во времена Шекспира слово «тень» имело и более узкое значение, связанное с театром[2]. «И лучшие среди них — всего лишь тени»,— говорит об актерах Тезей из «Сна в летнюю ночь», и подобные выражения часто встречаются в литературе тех дней. Эти два сонета принадлежат, очевидно, к числу тех, где Шекспир размышляет о природе актерского искусства, о том странном и редкостном душевном темпераменте, без которого нет настоящего актера. «Как тебе удается быть столь многоликим?» — спрашивает Шекспир Уилли Гьюза.

---

[1] Перевод С. Маршака.

[2] То есть «образ», «отображение», «сценический персонаж».

И заключает — красота его такова, что способна вдохнуть жизнь в любую форму или оттенок фантазии, воплотить любую мечту, рожденную воображением художника. Развивая эту идею в следующем сонете, он высказывает в первых его строках замечательную мысль:

Прекрасное прекрасней во сто крат,
Увенчанное правдой драгоценной[1],—

и зовет нас убедиться в том, как правда актерской игры, правда зримого сценического действия усиливает волшебное очарование поэзии, одушевляя ее красоту и сообщая реальность ее идеальной форме. И тем не менее в 67-м сонете Шекспир призывает Уилли Гьюза покинуть сцену с ее искусственностью, с фальшивыми гримасами размалеванных лиц и нелепыми костюмами, ее безнравственными влияниями и идеями, ее удаленностью от истинного мира благородных дел и правдивого слова:

О, для чего он будет жить бесславно,
С бесчестием, с позором и с грехом
Вступать в союз и им служить щитом?
Зачем румяна спорить будут явно
С его румянцем нежным и зачем тайком
Фальшивых роз искать ему тщеславно,
Когда цветут живые розы в нем?[2]

Возможно, покажется странным, что такой великий драматург, как Шекспир, чей художественный гений и гуманистическое мироощущение обрели выражение именно в идеальной сфере сценического творчества, мог подобным образом писать о театре. Однако вспомним, что в сонетах 110 и 111 он говорит, как устал жить в царстве марионеток, как стыдится того, что превратился в «площадного шута». Горечь эта особенно ощущается в 111-м сонете:

О как ты прав, судьбу мою браня,
Виновницу дурных моих деяний;
Богиню, осудившую меня
Зависеть от публичных подаяний.

---

[1] Перевод С. Маршака.
[2] Перевод А. Федорова.

Красильщик скрыть не в силах ремесло,
Так на меня проклятое занятье
Печатью несмываемой легло.
О, помоги мне смыть мое проклятье[1],—

и признаки этого чувства, признаки, столь знакомые тем, кто действительно знает Шекспира, обнаруживают себя и во многих других его сонетах.

Читая сонеты, я был чрезвычайно озадачен одним обстоятельством, и минули дни, прежде чем мне удалось найти ему верное толкование, которое, видимо, ускользнуло даже от Сирила Грэхэма. Я никак не мог понять, отчего Шекспир так сильно желал, чтобы его друг женился. Сам он женился в ранней молодости, что сделало его несчастным, и едва ли стал бы требовать, чтобы Уилли Гьюз совершил ту же ошибку. Юному актеру, игравшему Розалинду, нечего было ждать ни от брака, ни от познания страстей, властвующих в реальной жизни. И потому в первых сонетах, где Шекспир со странной настойчивостью упрашивает его обзавестись потомством, мне слышалась какая-то нарушающая гармонию нота. Объяснение пришло неожиданно — я нашел его в необычном посвящении к сонетам. Как известно, звучит оно так:

ТОМУ ЕДИНСТВЕННОМУ, КОМУ ОБЯЗАНЫ
ПОЯВЛЕНИЕМ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ СОНЕТЫ
Г-Н[У] У. Г. ВСЯКОГО СЧАСТЬЯ
И ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ
ОБЕЩАННОЙ
НАШИМ БЕССМЕРТНЫМ ПОЭТОМ
ЖЕЛАЕТ
БЛАГОРАСПОЛОЖЕННЫЙ И
УПОВАЮЩИЙ НА УДАЧУ
ИЗДАТЕЛЬ.

Т. Т.

Некоторые исследователи предполагали, что выражение «... кому обязаны появлением...» подразумевает просто того человека, который передал сонеты их издателю, Томасу Торпу. Однако к настоящему времени большинство отказалось от такого взгляда, и наиболее уважаемые авторитеты согласны, что толковать эти слова следует как обращение к вдохно-

[1] Перевод С. Маршака.

вителю сонетов, усматривая здесь метафору, построенную на аналогии с появлением на свет живого существа. Вскоре я заметил, что эту метафору Шекспир использует в сонетах постоянно, и это натолкнуло меня на правильный путь. В итоге я сделал свое великое открытие. Любовный союз, к которому Шекспир побуждает Уилли Гьюза,— это «союз с его Музой» — выражение, употребленное вполне определенно в 82-м сонете, где, изливая горькую обиду, причиненную вероломным бегством юного актера, для которого он написал лучшие роли в своих пьесах, поэт начинает жалобу словами:

Увы, но с Музою моей не связан ты союзом вечным...

А дети, которых Шекспир просит его произвести на свет, суть не существа из плоти и крови, но более долговечные создания, рожденные слиянием иных начал, чей союз осеняет нетленная слава. Весь же цикл ранних сонетов проникнут, по сути, одним стремлением — убедить Уилли Гьюза пойти на подмостки, стать актером. Сколь напрасна и бесплодна будет твоя красота, говорит Шекспир, если ты ею не воспользуешься:

Когда чело твое избороздят
Глубокими следами сорок зим,—
Кто будет помнить царственный наряд,
Гнушаясь жалким рубищем твоим?

И на вопрос: «Где прячутся сейчас
Остатки красоты веселых лет?» —
Что скажешь ты? На дне угасших глаз?
Но злой насмешкой будет твой ответ[1].

Ты должен творить: мои стихи «твои и *рождены* тобою»; внемли мне и «в строках этих переживешь лета и веки», населив подобиями своего образа воображаемый мир театра. Создания твои не угаснут, как угасают смертные существа,— ты навеки пребудешь в них и в моих пьесах, лишь только

Подобие свое создай хоть для меня,
Чтоб красота твоя жила в тебе иль близ тебя[2].

---

[1] Перевод С. Маршака.
[2] Перевод Н. Гербеля.

Я собрал все отрывки, которые как будто подтверждали мою догадку, и они произвели на меня глубокое впечатление, показав, насколько справедлива теория Сирила Грэхэма. Я увидел также, как легко отличить строки, в которых Шекспир говорит о самих сонетах, от тех, где он ведет речь о своих великих драматических произведениях. Никто из критиков до Сирила Грэхэма не обратил внимания на это обстоятельство. А ведь оно чрезвычайно важно. К сонетам Шекспир был более или менее равнодушен, не связывая с ними помыслов о славе. Для него они были творениями «мимолетной музы», как он называет их сам, предназначенными, по свидетельству Миерса, для весьма и весьма узкого круга друзей. Напротив, в художественной ценности своих пьес он отдавал себе ясный отчет и высказывал гордую веру в свой драматический гений. Когда он говорил Уилли Гьюзу:

А у тебя не убывает день,
Не увядает солнечное лето.
И смертная тебя не скроет тень,—
Ты будешь вечно жить в строках поэта.
Среди живых ты будешь до тех пор,
Доколе дышит грудь и видит взор[1],—

слова «Ты будешь вечно жить в строках поэта», несомненно, относятся к одной из его пьес, которую он тогда собирался послать своему другу,— точно так же, как последнее двустишие свидетельствует о его убеждении в том, что написанное им для театра будет жить всегда. В обращении к Музе (сонеты 100 и 101) звучит то же чувство:

Где Муза? Что молчат ее уста
О том, кто вдохновлял ее полет?
Иль, песенкой дешевой занята,
Она ничтожным славу создает?—

вопрошает он и, укоряя владычицу Трагедии и Комедии за то, что она «отвергла Правду в блеске Красоты», говорит:

---

[1] Перевод С. Маршака.

Да, совершенству не нужна хвала,
Но ты ни слов, ни красок не жалей,
Чтоб в славе красота пережила
Свой золотом покрытый мавзолей.
Нетронутым — таким, как в наши дни,
Прекрасный образ миру сохрани![1]

Однако наиболее полно эта идея выражена, пожалуй, в 55-м сонете. Воображать, будто «могучим стихом» названы строки самого сонета,— значит совершенно неправильно понимать мысль Шекспира. Общий характер сонета создал у меня впечатление, что речь в нем идет о какой-то определенной пьесе и что пьеса эта — «Ромео и Джульетта»:

Надгробьям пышным, гордым изваяньям
Не пережить могучий этот стих.
Он охранит красы твоей сиянье
От язв и тлена, что разрушат их.
И пусть падут столпы и рухнут стены
В горниле битв от Марсова меча,
Пребудет образ твой живой, нетленный
В глазах людей и в пламенных речах.
Смерть победив и немоту забвенья,
Пройдешь ты сквозь бессчетные года,
Стяжаешь славу в дальних поколеньях
И встретишь день последнего суда.
Итак, пока не грянет труб небесных зов,
В очах живи влюбленных, в звуке этих слов.

Весьма примечательно также, что здесь, как и в других сонетах, Шекспир обещает Уилли Гьюзу бессмертие, открытое глазам людей, то есть бессмертие в зримой форме, в произведении, предназначенном для сцены.

Две недели я без устали трудился над сонетами, почти не выходя из дому и отказываясь от всех приглашений. Каждый день приносил новое открытие, и вскоре Уилли Гьюз поселился в моей душе, точно призрак, и образ его завладел всеми моими мыслями. Временами мне даже чудилось, что я вижу его в полумраке моей комнаты,— так ярко нарисовал его Шекспир — с золотистыми волосами, нежного и стройного, словно цветок, с глубокими мечтательными глазами и лилейно-белыми руками. Даже имя его завораживало меня. Уилли Гьюз! Уилли Гьюз! Какая дивная музыка! О да! Кто, как не он, мог быть властелином и властительницей шекспировских страстей, повелителем его любви, которому он был

[1] Перевод С. Маршака.

предан, как верный вассал, изящным баловнем наслаждений, совершеннейшим на свете созданием, глашатаем весны в блистающих одеждах молодости, прелестным юношей, чей голос звучал сладко, точно струны лютни, а красота чудным покровом облекала душу Шекспира и была главным источником силы его драматического таланта?

Какой же жестокой трагедией казалось теперь бегство и позорная измена актера — скрашенная и облагороженная его колдовским очарованием,— но тем не менее измена. И все же, если Шекспир простил его, не простить ли его и нам? Мне, во всяком случае, не хотелось заглядывать в тайну его грехопадения.

Другое дело — его уход из шекспировского театра; это событие я исследовал со всей тщательностью. И в конце концов пришел к выводу, что Сирил Грэхэм ошибался, предполагая в соперничающем драматурге из 80-го сонета Чапмена. Речь, по всей видимости, шла о Марло. Ибо в тот период, когда писались сонеты, выражение «Его ли стих — могучий шум ветрил» не могло относиться к творчеству Чапмена, как бы ни было оно применимо к стилю его поздних пьес, написанных уже в годы правления короля Якова I. Нет, именно Марло был тем соперником на драматургическом поприще, которому Шекспир расточает такие похвалы, а

...дружественный дух —
Его ночной советчик бестелесный[1],—

это Мефистофель из его «Доктора Фауста». Без сомнения, Марло пленила красота и изящество юного актера, и он переманил его из театра «Блэкфрайерс» к себе, чтобы дать ему роль Гейвстона в своем «Эдуарде II». То, что Шекспир имел законное право не отпустить Уилли Гьюза, ясно из 87-го сонета, где он говорит:

Прощай! Ты для меня бесценное владенье,
Но стала для тебя ясней твоя цена —
И *хартии твоей* приносят письмена
От *власти* временной моей освобожденье,
По милости твоей владел лишь я тобой:
Чем мог я заслужить такое наслажденье?

---

[1] Перевод С. Маршака.

Но права на тебя мне не дано судьбой:
Бессилен договор, напрасно принужденье.
Мои достоинства неверно оценя,
Отдавши мне себя в минутном заблужденье,
Свой драгоценный дар, по строгом обсужденье,
Теперь ты хочешь взять обратно у меня...
Во сне был я король. Стал нищим в пробужденье[1].

Но удерживать силой того, кого не смог удержать любовью, он не захотел. Уилли Гьюз поступил в труппу лорда Пемброка и стал играть — быть может, во дворе таверны «Красный Бык» — роль изнеженного фаворита короля Эдуарда. После смерти Марло он, по-видимому, вернулся к Шекспиру, который, что бы ни думали на этот счет его товарищи по театру, не замедлил простить своенравного и вероломного юношу.

И опять-таки как точно описал Шекспир характер актера! Уилли Гьюз был одним из тех,

Кто двигает других, но, как гранит,
Неколебим и не подвержен страсти...[2]

Он мог сыграть любовь, но был не способен испытать ее в жизни, мог изображать страсть, не зная ее.

Есть лица, что души лукавой
Несут печать в гримасах и морщинах...

Однако Уилли Гьюз был не таков.

«Но небо,— говорит Шекспир в сонете, полном безумного обожания,—

...иначе создать тебя сумело;
И только прелести полны твои черты,
Какие б ни были в душе твоей мечты,—
В глазах всегда любовь и нежность без предела[3].

В его «непостоянстве чувств» и «лукавой душе» легко узнать неискренность и вероломство, присущие артистическим натурам, как в его тщеславии — ту жажду немедленного признания, что свойственна всем актерам. И все же Уилли Гьюзу, которому в этом смысле посчастливилось больше, чем другим

---

[1] Перевод Т. Щепкиной-Куперник.
[2, 3] Переводы С. Маршака.

актерам, суждено было обрести бессмертие. Неотделимый от шекспировских пьес, его образ продолжал жить в них.

Ты сохранишь и жизнь, и красоту,
А от меня ничто не сохранится.
На кладбище покой я обрету,
А твой приют — открытая гробница.

Твой памятник — восторженный мой стих.
Кто не рожден, еще его услышит.
И мир повторит повесть дней твоих,
Когда умрут все те, кто ныне дышит[1].

Шекспир беспрестанно говорит и о власти, которой обладал Уилли Гьюз над зрителями — «очевидцами», как называл их поэт. Но, пожалуй, самое лучшее описание его изумительного владения актерским мастерством я нашел в «Жалобе влюбленной»:

Уловки хитрости соединились в нем
С притворством редкого, тончайшего искусства.
Он то бледнел, как воск, то вспыхивал огнем,
То, не окончив слов, он вдруг лишался чувства.

И быстро до того менял свой вид притом,
Что было бы нельзя не верить тем страданьям,
Слезам, и бледности, и искренним рыданьям.

* * *

Искусством говорить владел он вдохновенно:
Лишь отомкнет уста — уж ждет его успех.
Смутить ли, убедить, пленить — умел он всех.
Он находил слова, чтоб превратить мгновенно

Улыбку — в горечь слез, рыданья — в звонкий смех.
И смелой волею — все чувства, думы, страсти,
Поймав в ловушку слов, в своей держал он власти[2].

Однажды мне показалось, что я в самом деле обнаружил упоминание об Уилли Гьюзе в книге елизаветинских времен. В удивительно ярком описании последних дней славного графа Эссекса его духовник, Томас Нелл, рассказывает, что вечером, накануне смерти, «граф призвал к себе Уильяма Гьюза, бывшего у него музыкантом, чтобы он сыграл на верджинеле и спел. «Сыграй,— сказал он,— мою

[1] Перевод С. Маршака.
[2] Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

песню, Уилл Гьюз, а я спою ее сам себе». Так он и сделал, пропев ее весьма весело,—не как лебедь, склонивший голову и заунывным криком оплакивающий близкий свой конец, но подобно чудному жаворонку, простерши руки и возведши очи к господу своему,—и с нею вознесся к хрустальному своду небес и неутомимым гласом своим достиг до самой вершины высочайших эмпиреев». Сомнений нет! Юноша, игравший на клавесине умирающему отцу Сиднеевой Стеллы, был не кто иной, как Уилл Гьюз, которому Шекспир посвятил свои сонеты и чей голос сам «был музыке подобен». Однако лорд Эссекс скончался в 1576 году, когда самому Шекспиру было всего двадцать лет. Нет, его музыкант не мог быть «господином У. Г.» из сонетов. Но, возможно, юный друг Шекспира был сыном того Гьюза? Так или иначе, имя Гьюзов, как выяснилось, в ту пору встречалось, и это было уже нечто. Более того, оно, судя по всему, было тесно связано с музыкой и театром. Вспомним, что первой женщиной-актрисой в Англии была очаровательная Маргарет Гьюз, внушившая столь безумную страсть принцу Руперту. И разве не естественно предположить, что в годы, разделявшие музыканта графа Эссекса и ее, жил юноша-актер, игравший в шекспировских пьесах? Но доказательства, связующие звенья—где они? Увы, их я найти не мог. Мне казалось, что я все время стою на пороге открытия, которое окончательно подтвердит теорию, но что совершить его мне не суждено.

От предположений о жизни Уилли Гьюза я вскоре перешел к размышлениям о его смерти, пытаясь представить, какой его постиг конец.

Быть может, он попал в число тех английских актеров, что в 1604 году отправились за море, в Германию и играли перед великим герцогом Генрихом-Юлием Брауншвейгским, который и сам был драматургом немалого дарования, или при дворе загадочного курфюрста Бранденбургского, который столь боготворил красоту, что, говорят, заплатил проезжему греческому купцу за его прекрасного сына столько янтаря, сколько весил юноша, а потом устраивал в честь своего раба пышные карнавалы в тот страшный голодный год, когда истощенные люди

падали замертво прямо на улицах и на протяжении семи месяцев не пролилось ни капли дождя. Известно, во всяком случае, что «Ромео и Джульетту» поставили в Дрездене в 1613 году вместе с «Гамлетом» и «Королем Лиром», и, конечно, именно Уилли Гьюзу в 1615 году кем-то из свиты английского посла была привезена посмертная маска Шекспира — печальное свидетельство кончины великого поэта, так нежно его любившего. В самом деле, было бы глубоко символично, если бы актер, чья красота являлась столь важным элементом шекспировского реализма и романтики, первым принес в Германию семена новой культуры и стал, таким образом, предвестником «Aufklärung», или Просвещения восемнадцатого века — прославленного движения, которое, хотя и было начато Лессингом и Гердером, а полного и блистательного расцвета достигло благодаря Гете, в немалой степени обязано своим развитием другому актеру, Фридриху Шредеру, пробудившему умы людей и показавшему посредством воображаемых театральных страстей и переживаний теснейшую, нерасторжимую связь жизни с литературой. Если так произошло в действительности,— а противоречащих этому свидетельств нет,— то совсем не исключено, что Уилли Гьюз находился среди тех английских комедиантов («mimae quidam ex Britannia»[1], как называет их старинная летопись), которые были убиты в Нюрнберге во время народного бунта и тайно погребены в маленьком винограднике за пределами города некими молодыми людьми, «каковые находили удовольствие в их лицедействе и из коих иные желали обучиться у них таинствам нового искусства». Разумеется, более подходящего места, чем маленький виноградник за городской стеной, нельзя было бы и найти для того, кому Шекспир сказал: «Искусство все — в тебе». Ибо не из Дионисовых ли страданий возникла Трагедия? И не из уст ли сицилийских виноградарей впервые зазвенел жизнерадостный смех комедии с ее беспечным весельем и искрометным острословием? А пурпур и багрянец пенной влаги, брызжущей на лица, руки, одеж-

[1] лицедеев из Британии (*лат.*).

ду,— не это ли впервые открыло людям глаза на колдовство и очарование масок, внушив стремление к самосокрытию, и не тогда ли ощущение смысла реального бытия проявилось в грубых начатках драматического искусства? Впрочем, где бы ни покоились его останки — на крошечном ли винограднике у готических ворот старинного немецкого города или на каком-нибудь безвестном лондонском кладбище, затерявшемся в грохоте и сумятице нашей огромной столицы,— последнее его пристанище не отмечено великолепным надгробьем. Истинной его усыпальницей, как и пророчил поэт, стали шекспировские стихи, а подлинным памятником ему — вечная жизнь театра. Он разделил судьбу тех, чья красота дала новый толчок творческой фантазии их эпохи. Лилейное тело вифинского раба истлело в зеленом иле нильских глубин, а прах юного афинянина развеян ветром по желтым холмам Керамика, но Антиной и поныне живет в скульптурах, а Хармид — в философских творениях.

III

По прошествии трех недель я решил обратиться к Эрскину с самым настойчивым призывом отдать дань памяти Сирила Грэхэма и сообщить миру о его блестящем толковании сонетов — единственном толковании, всецело объясняющем их загадку. У меня не сохранилось, к сожалению, копии этого письма, не удалось вернуть и оригинал, но помню, что я подробнейшим образом проанализировал всю теорию и на многих страницах с пылом и страстью повторил все аргументы и доказательства, подсказанные моими исследованиями. Мне казалось тогда, что я не просто возвращаю Сирилу Грэхэму принадлежащее ему по праву место в истории литературы, но спасаю честь самого Шекспира от докучных отголосков банальной интриги. В письмо это я вложил весь жар души, всю мою убежденность.

Однако не успел я его отослать, как мной овладело странное чувство. Словно, написав это письмо, я отдал ему всю свою веру в Уилли Гьюза, героя шекспировских сонетов, словно вместе с несколькими ли-

стками бумаги ушла частица меня самого, без которой я был совершенно равнодушен к некогда волновавшей меня идее. Но что же произошло? Ответить трудно. Быть может, дав полное выражение страсти, я исчерпал и самою страсть? Ведь духовные силы, как и силы физические, не беспредельны. Быть может, пытаясь убедить другого, каким-то образом жертвуешь собственной способностью верить? Быть может, наконец, я просто устал от всего этого, и, когда угас душевный порыв, в свои права вступил бесстрастный рассудок? Как бы там ни было — а найти объяснение случившемуся я не смог,— несомненно одно: Уилли Гьюз вдруг превратился для меня просто в миф, в бесплодную мечту, в мальчишескую фантазию юнца, который, подобно очень многим пылким натурам, больше стремился доказать свою правоту другим, нежели себе самому.

Поскольку в своем письме я наговорил Эрскину много несправедливого и обидного, я решил немедленно с ним повидаться и принести извинения за свое поведение. На другое же утро я отправился на Бердкейдж-Уок, где нашел Эрскина в библиотеке. Он сидел, глядя на стоявший перед ним поддельный портрет Уилли Гьюза.

— Дражайший Эрскин,— воскликнул я,— я приехал, чтобы перед тобой извиниться.

— Извиниться? — повторил он.— Помилуй, за что?

— За мое письмо,— ответил я.

— Тебе вовсе незачем жалеть о своем письме,— сказал он.— Напротив, ты оказал мне величайшую услугу, какую только мог. Ты показал мне, что теория Сирила Грэхэма абсолютно разумна.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что веришь в Уилли Гьюза? — вскричал я.

— Почему бы и нет? — отозвался он.— Ты вполне меня убедил. Неужели, по-твоему, я не в состоянии оценить силу доказательств?

— Но ведь нет же никаких доказательств,— простонал я, падая в кресло.— Когда я писал тебе, мной владел какой-то глупейший энтузиазм. Я был тронут рассказом о смерти Сирила Грэхэма, очарован его романтической теорией, пленен прелестью и новизной всей этой идеи. Однако теперь я вижу, что его

теория возникла из заблуждения. Единственное доказательство существования Уилли Гьюза — картина, на которую ты смотришь, и картина эта — подделка. Ты не должен поддаваться эмоциям. Что бы ни нашептывали об Уилли Гьюзе романтические чувства, разум совершенно этого не приемлет.

— Я отказываюсь тебя понимать,— сказал Эрскин, с удивлением глядя на меня.— Не ты ли сам уверил меня своим письмом в том, что Уилли Гьюз — неопровержимая реальность? Что же заставило тебя переменить мнение? Или все, что ты говорил, только шутка?

— Это трудно объяснить,— ответил я,— но сейчас я вижу ясно, что толкование Сирила Грэхэма лишено смысла. Сонеты действительно посвящены лорду Пемброку. И ради всевышнего, не трать попусту времени на безумные попытки отыскать в веках юного актера, которого никогда не было, и возложить на голову призрачной марионетки венок великих шекспировских сонетов.

— Ты, видно, просто не понимаешь теории,— возразил он.

— Ну, полно, милый Эрскин,— воскликнул я.— Не понимаю? Да мне уже кажется, что я сам ее сочинил. Из моего письма ты наверняка понял, что я не только тщательно ее изучил, но и предложил множество всякого рода доказательств. Так вот, единственный изъян теории в том, что она исходит из уверенности в существовании человека, реальность которого и есть главный предмет спора. Если допустить, что в труппе Шекспира и вправду был юноша-актер по имени Уилли Гьюз, то совсем не трудно сделать его героем сонетов. Но поскольку мы знаем, что актер с таким именем в театре «Глобус» никогда не играл, продолжать поиски бессмысленно.

— Но этого-то мы как раз и не знаем,— не уступал Эрскин.— Действительно, такого актера нет в списке труппы, но, как заметил Сирил, это скорее свидетельствует в пользу существования Уилли Гьюза, а не наоборот, если помнить о его предательском бегстве к другому антрепренеру и драматургу.

Мы проспорили несколько часов, но никакие мои аргументы не могли заставить Эрскина отказаться

от веры в толкование Сирила Грэхэма. Он заявил, что намерен посвятить всю жизнь доказательству теории и полон решимости воздать должное памяти Сирила Грэхэма. Я увещевал его, смеялся над ним, умолял — но все было напрасно. Наконец мы расстались — не то чтобы поссорившись, но с явным отчуждением. Он думал, что я поверхностен, я — что он безрассуден. Когда я пришел к нему в следующий раз, слуга сказал мне, что он уехал в Германию.

Прошло два года. И вот однажды, когда я приехал в свой клуб, привратник вручил мне письмо с иностранным штемпелем. Оно было от Эрскина и отправлено из гостиницы «Англетер» в Каннах. Прочитав его, я содрогнулся от ужаса, хотя до конца и не поверил, что у Эрскина хватит безрассудства привести в исполнение свое намерение,— ибо, испробовав все средства доказать теорию об Уилли Гьюзе и потерпев неудачу, он, помня о том, что Сирил Грэхэм отдал за нее жизнь, решил принести и свою жизнь в жертву той же идее. Письмо заканчивалось словами: «Я по-прежнему верю в Уилли Гьюза, и к тому времени, когда ты получишь это письмо, меня уже не будет на свете: я лишу себя жизни собственной рукой во имя Уилли Гьюза — во имя него и во имя Сирила Грэхэма, которого довел до смерти своим бездумным скептицизмом и слепым неверием. Однажды истина открылась и тебе, но ты отверг ее. Ныне она возвращается к тебе, омытая кровью двух людей. Не отворачивайся же от нее!»

То было страшное мгновение. Я испытывал мучительную боль и все же не мог в это поверить. Умереть за веру — самое худшее, что можно сделать со своей жизнью, но отдать ее за литературную теорию! Нет, это просто немыслимо.

Я взглянул на дату. Письмо было отправлено неделю назад. По несчастливой случайности я не заходил в клуб несколько дней,— получи я письмо раньше, я, возможно, успел бы спасти Эрскина. Но, может быть, еще не поздно? Я бросился домой, поспешно уложил вещи и в тот же вечер выехал почтовым поездом с Чаринг-Кросс. Путешествие показалось мне нестерпимо долгим. Я думал, что оно никогда не кончится. Прямо с вокзала я поспешил

в «Англетер». Там мне сказали, что Эрскина похоронили двумя днями раньше на английском кладбище. В происшедшей трагедии было что-то чудовищно нелепое. Не помня себя, я нес невесть что, и люди в вестибюле гостиницы стали с любопытством поглядывать в мою сторону.

Неожиданно среди них появилась одетая в глубокий траур леди Эрскин. Заметив меня, она подошла и, пробормотав что-то о своем несчастном сыне, разрыдалась. Я проводил ее в номер. Там ее дожидался какой-то пожилой джентльмен. Это был местный английский врач.

Мы много говорили об Эрскине, однако я ни словом не обмолвился о мотивах его самоубийства. Было очевидно, что он ничего не сказал матери о причине, толкнувшей его на столь роковой, столь безумный поступок. Наконец леди Эрскин поднялась и сказала:

— Джордж оставил кое-что для вас. Вещь, которой он очень дорожил. Сейчас я ее принесу.

Как только она вышла, я обернулся к доктору и сказал:

— Какой ужасный удар для леди Эрскин! Поистине удивительно, как стойко она его переносит.

— О, она уже несколько месяцев знала, что это произойдет.

— Знала, что это произойдет?! — вскричал я.— Но почему же она его не остановила? Почему не послала следить за ним? Ведь он, должно быть, просто сошел с ума!

Доктор посмотрел на меня изумленным взглядом.

— Я вас не понимаю,— пробормотал он.

— Но если мать знает, что сын ее хочет покончить с собой...

— Покончить с собой! — воскликнул он.— Но бедняга Эрскин вовсе не покончил с собой. Он умер от чахотки. Он и приехал сюда, чтобы умереть. Я понял, что он обречен, как только его увидел. От одного легкого почти ничего не осталось, другое было очень серьезно поражено. За три дня до смерти он спросил меня, есть ли какая-нибудь надежда. Я не стал скрывать правды и сказал, что ему осталось жить считанные дни. Он написал несколько писем и совер-

шенно смирился со своей участью, сохранив ясность ума до последнего мгновения.

В этот момент вошла леди Эрскин с роковым портретом Уилли Гьюза в руках.

— Умирая, Джордж просил передать вам это,— промолвила она.

Когда я брал портрет, на руку мне упала ее слеза.

Теперь картина висит у меня в библиотеке, вызывая восторги моих знающих толк в искусстве друзей. Они пришли к выводу, что это не Клуэ, а Уври. У меня никогда не являлось желания рассказать им подлинную историю портрета. Но временами, глядя на него, я думаю, что в теории об Уилли Гьюзе и сонетах Шекспира определенно что-то есть.

Пьесы

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ

Комедия в четырех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Граф Кавершем, *кавалер ордена Подвязки.*
Лорд Горинг, *его сын.*
Сэр Роберт Чилтерн, *баронет, товарищ министра иностранных дел.*
Виконт де Нанжак, *атташе французского посольства в Лондоне.*
Мистер Монфорд.
Мэсон, *дворецкий сэра Роберта Чилтерна.*
Фиппс, *дворецкий лорда Горинга.*
Джеймс, Харольд } лакеи.
Леди Чилтерн.
Леди Маркби.
Графиня Бэзилдон.
Миссис Марчмонт.
Мисс Мейбл Чилтерн, *сестра сэра Роберта Чилтерна.*
Миссис Чивли.

Действие первое — восьмиугольный зал в доме сэра Роберта Чилтерна на Гровенор-сквер.
Действие второе — малая гостиная в доме сэра Роберта Чилтерна.
Действие третье — библиотека в доме лорда Горинга на Керзон-стрит.
Действие четвертое — обстановка второго действия.
Время действия — наши дни.
Место действия — Лондон.
Все события пьесы совершаются в течение двадцати четырех часов.

Фрэнку Гаррису
Скромное приношение
талантливому и утонченному художнику,
рыцарственному и благородному другу

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Восьмиугольный зал в доме сэра Роберта Чилтерна на Гровенор-сквер. Комната ярко освещена и полна гостей. На верху лестницы стоит леди Чилтерн. Ей лет двадцать семь, она очень хороша собой — тип строгой классической красоты. Она встречает поднимающихся наверх гостей. С потолка над лестницей спускается люстра с восковыми свечами; свет ее падает на затягивающий стену вдоль лестницы большой французский гобелен XVIII века, изображающий «Торжество любви» по рисункам Буше. Справа дверь в музыкальный зал, откуда слабо слышны звуки струнного квартета. Слева дверь в другие парадные комнаты. Миссис Марчмонт и леди Бэзилдон сидят рядом на диванчике в стиле Людовика XVI. Обе очень хорошенькие, хрупкие, воздушные. Некоторая аффектация манер придает им тонкое очарование. Ватто охотно написал бы их портреты.

Миссис Марчмонт. Поедете сегодня к Хартлокам, Оливия?

Леди Бэзилдон. Вероятно. А вы?

Миссис Марчмонт. Я тоже. У них всегда такая скука, правда?

Леди Бэзилдон. Ужас! Не понимаю, зачем я к ним езжу. Не понимаю, зачем я вообще куда-нибудь езжу.

Миссис Марчмонт. Я езжу сюда, чтобы узнать что-нибудь полезное.

Леди Бэзилдон. Ах, я так не люблю узнавать что-нибудь полезное.

Миссис Марчмонт. Я тоже. Это ставит нас на один уровень с деловыми кругами, вы не находите? Но милая Гертруда Чилтерн всегда говорит, что мне нужно иметь серьезную цель в жизни. Ну, я и пришла сюда в надежде ее найти.

Леди Бэзилдон *(оглядывает гостей в лорнет).* Но я никого здесь не вижу, кто мог бы стать серьез-

ной целью в жизни. Этот господин, что вел меня к столу, все время говорил о своей жене.

Миссис Марчмонт. Какая пошлость!

Леди Бэзилдон. Ужасная! А ваш кавалер о чем говорил?

Миссис Марчмонт. Обо мне.

Леди Бэзилдон *(томно)*. Вам было интересно?

Миссис Марчмонт *(покачав головой)*. Ни капельки.

Леди Бэзилдон. Какие мы с вами мученицы, милая Маргарет!

Миссис Марчмонт *(вставая)*. И как это нам идет, Оливия!

Обе встают и направляются к дверям в музыкальный зал. Виконт де Нанжак, молодой атташе, известный своими галстуками и своей англоманией, подходит к ним с низким поклоном; завязывается разговор.

Мэсон *(стоя на площадке, докладывает о новых гостях)*. Мистер Барфорд и леди Джейн Барфорд. Лорд Кавершем.

Входит лорд Кавершем, представительный джентльмен лет семидесяти, с лентой и орденом Подвязки на шее. Тип старого вига. Напоминает портрет кисти Лоуренса.

Лорд Кавершем. Добрый вечер, леди Чилтерн! Что, этот бездельник, мой сын, еще у вас не был?

Леди Чилтерн *(с улыбкой)*. Нет, лорд Горинг, кажется, еще не появлялся.

Мейбл Чилтерн *(подходя к лорду Кавершему)*. Почему вы называете лорда Горинга бездельником?

Мейбл Чилтерн — совершенный образчик английской женской красоты, бело-розовой, как цвет яблони. В ней благоуханность и свежесть цветка. Волосы отливают золотом, словно в них запутались солнечные лучи, маленький рот полуоткрыт, как у ребенка, который ждет чего-то приятного. Ей присущ пленительный деспотизм юности и ошеломляющая прямота невинности. Здравомыслящим людям она не напоминает никаких произведений искусства, но, если разобраться, она похожа на танагрскую статуэтку, хотя такой комплимент вряд ли пришелся бы ей по вкусу.

Лорд Кавершем. Потому что он ведет такой праздный образ жизни.

Мейбл Чилтерн. Ну как вы можете это говорить! Каждое утро, в десять часов, он катается верхом в Хайдпарке; три раза в неделю бывает в опере, переодевается по меньшей мере пять раз в день и каж-

дый вечер обедает в гостях. А вы говорите — праздный образ жизни!

Лорд Кавершем *(смотрит на нее с добродушной усмешкой в глазах).* Вы весьма очаровательная молодая леди!

Мейбл Чилтерн. Как это мило с вашей стороны, лорд Кавершем! Приходите к нам почаще. Мы всегда дома по средам. А вы такой красивый с этой звездой!

Лорд Кавершем. Никуда не хожу. Не выношу лондонского общества. Не возражаю, если мне представят моего собственного портного,— он всегда голосует за кого следует. Но не согласен вести к столу модистку моей жены. Всегда считал, что шляпки леди Кавершем верх безобразия.

Мейбл Чилтерн. А мне нравится лондонское общество. По-моему, за последнее время оно изменилось к лучшему. И теперь почти сплошь состоит из красивых идиотов и остроумных сумасбродов. Как раз то, чем и должно быть общество.

Лорд Кавершем. Гм! А кто же Горинг? Красивый идиот или... вот то, другое?

Мейбл Чилтерн *(с важностью).* Пока мне пришлось зачислить лорда Горинга в особую категорию. Но он быстро развивается.

Лорд Кавершем. В какую сторону?

Мейбл Чилтерн *(с легким реверансом).* Надеюсь, что вскоре смогу вам сообщить, лорд Кавершем!

Мэсон *(докладывает).* Леди Маркби. Миссис Чивли.

Входят леди Маркби и миссис Чивли. Леди Маркби приятная пожилая дама; седые волосы уложены в прическу à la marguize; носит великолепные кружева; добродушна и пользуется всеобщей симпатией. Сопровождающая ее миссис Чивли высока и худощава. Сухие, сильно накрашенные губы яркой чертой перерезают бледное лицо. Золотисто-рыжие волосы, орлиный нос, длинная шея. Румяна только подчеркивают ее природную бледность. Серо-зеленые беспокойные глаза. Платье цвета гелиотропа, бриллианты. Похожа на орхидею и возбуждает любопытство. Все движения очень грациозны. В целом она — произведение искусства, но со следами влияния слишком многих школ.

Леди Маркби. Добрый вечер, милая Гертруда! Я воспользовалась вашей любезностью и привела моего друга, миссис Чивли. Две такие прелестные женщины должны быть знакомы.

Леди Чилтерн *(с приветливой улыбкой идет навстречу миссис Чивли, но вдруг останавливается*

и сдержанно кланяется). Мы, кажется, уже встречались с миссис Чивли. Я не знала, что она вторично вышла замуж.

Леди Маркби *(добродушно).* Да, теперь женщины стараются как можно чаще выходить замуж. Это сейчас в моде. *(Обращаясь к герцогине Мэриборо.)* Добрый вечер, милая герцогиня. А как здоровье герцога? Все еще страдает слабоумием? Ну, этого следовало ожидать, его покойный отец был такой же. Старинный род, знаете ли. Чистота крови — это великая вещь!

Миссис Чивли *(играет веером).* Разве мы уже встречались, леди Чилтерн? Но где? Что-то не помню. Я так давно не была в Англии.

Леди Чилтерн. Мы вместе учились в школе, миссис Чивли.

Миссис Чивли *(свысока).* Вот как? А я уже забыла свои школьные годы. Помню только, что они были очень неприятные.

Леди Чилтерн *(холодно).* Это меня не удивляет.

Миссис Чивли *(самым любезным тоном).* Заранее предвкушаю удовольствие от знакомства с вашим блестящим мужем, леди Чилтерн. С тех пор как он стал товарищем министра иностранных дел, в Вене только о нем и говорят. В газетах даже научились правильно писать его фамилию. Одно это уже доказательство его славы.

Леди Чилтерн. Вряд ли у вас найдется много общего с моим мужем, миссис Чивли. *(Отходит.)*

Виконт де Нанжак. Ma chère madame, guelle surprise![1] Давно вас не видал! В последний раз мы, кажется, встречались в Берлине?

Миссис Чивли. Да. В Берлине. Пять лет назад.

Виконт де Нанжак. А вы с тех пор стали еще моложе, еще прекраснее! Чем вы этого добились?

Миссис Чивли. Тем, что взяла себе за правило разговаривать только с такими очаровательными людьми, как вы, виконт.

Виконт де Нанжак. Вы мне льстите. Вы меня маслите, как здесь говорят.

Миссис Чивли. Неужто здесь так говорят? Это ужасно!

---

[1] Какая приятная неожиданность! *(фр.)*

Виконт де Нанжак. Да, у них тут очень интересный язык. Я считаю, он достоин самого широкого распространения.

Входит сэр Роберт Чилтерн. Ему сорок лет, но выглядит моложе. Бритый, с тонкими чертами лица, темноглазый и темноволосый. Ярко выраженная индивидуальность. Не внушает симпатии — выдающиеся люди редко ее внушают,— но некоторые преклоняются перед ним, и все его уважают. Безукоризненные манеры с оттенком надменности. Видно, что он сознает, каких успехов достиг в жизни, и этим гордится. Нервный темперамент, вид усталый. Поразителен контраст между твердыми линиями рта и подбородка и мечтательным выражением глубоко посаженных глаз. Эта противоречивость внешнего облика заставляет подозревать такое же противоречие в душевной жизни; догадываешься, что страсти и разум, мысль и чувство живут в нем раздельно, запертые каждое в своей сфере насильственным приказанием воли. Тонкие ноздри, бледные худые руки с заостренными пальцами тоже говорят о нервности. Было бы неточно сказать, что у него своеобразная внешность,— палата общин стирает всякое своеобразие,— но Ван Дейк не отказался бы написать его портрет.

Сэр Роберт Чилтерн. Добрый вечер, леди Маркби! Надеюсь, сэр Джон с вами?

Леди Маркби. Я привела вам гораздо более приятную гостью, чем мой супруг. С тех пор как сэр Джон всерьез занялся политикой, у него стал невыносимый характер. Право же, ваша палата общин чем больше старается быть полезной, тем больше приносит вреда.

Сэр Роберт Чилтерн. Надеюсь, не такой уж большой вред, леди Маркби. Мы, во всяком случае, прилагаем все усилия к тому, чтобы как можно больше времени тратить зря. Но кто же эта очаровательная гостья, которую вы так любезно к нам привели?

Леди Маркби. Ее зовут миссис Чивли. Кажется, она из дорсетширских Чивли. А впрочем, не знаю. Сейчас все так перепуталось. Каждый оказывается в конце концов кем-то другим.

Сэр Роберт Чилтерн. Миссис Чивли? Я как будто слыхал это имя.

Леди Маркби. Она только сейчас из Вены.

Сэр Роберт Чилтерн. А! Ну тогда я знаю, о ком вы говорите.

Леди Маркби. Ну конечно. У нее там множество знакомых, и она про всех рассказывает такие забавные истории. На будущий год непременно поеду в Вену. Надеюсь, в посольстве есть хороший повар?

Сэр Роберт Чилтерн. Если нет, мы отзовем посла. Будьте добры, покажите мне миссис Чивли. Я хотел бы на нее посмотреть.

Леди Маркби. Разрешите, я вас представлю. *(К миссис Чивли.)* Дорогая, сэр Роберт Чилтерн жаждет с вами познакомиться.

Сэр Роберт Чилтерн *(с поклоном)*. Все жаждут познакомиться с блистательной миссис Чивли. Наши атташе в Вене только о ней нам и пишут.

Миссис Чивли. Благодарю вас, сэр Роберт. Если знакомство начинается с комплимента, оно имеет все шансы превратиться в прочную дружбу. Потому что начало было правильное. К тому же, как выяснилось, мы с леди Чилтерн старые знакомые.

Сэр Роберт Чилтерн. Вот как?

Миссис Чивли. Да. Она только что напомнила мне, что мы вместе учились в школе. Тогда и я вспомнила. Она всегда получала награды за хорошее поведение. Да, я отлично помню: леди Чилтерн всегда получала награды за хорошее поведение!

Сэр Роберт Чилтерн *(улыбаясь)*. А вы за что получали награды миссис Чивли?

Миссис Чивли. Мои награды пришли несколько позже. И вряд ли они были за хорошее поведение. Я уже забыла за что!

Сэр Роберт Чилтерн. Во всяком случае, за что-нибудь очаровательное!

Миссис Чивли. А разве женщин награждают за то, что они очаровательны? По-моему, их за это наказывают. Сколько есть прелестных женщин, которые состарились раньше времени только оттого, что их поклонники были так им верны! Иначе я не могу объяснить совершенно замученный вид ваших лондонских красавиц.

Сэр Роберт Чилтерн. Какая мрачная философия! Я понимаю, миссис Чивли, попытаться вас классифицировать было бы дерзостью. Но скажите все-таки—в глубине души вы пессимистка или оптимистка? У вас ведь только и осталось что эти две модные религии.

Миссис Чивли. Ну нет, я ни то, ни другое. Оптимизм — это улыбка до ушей, а пессимизм — синие очки. К тому же и то и другое только поза.

Сэр Роберт Чилтерн. Вы предпочитаете быть естественной?

Миссис Чивли. Иногда. Но это очень трудная поза — долго не выдержишь!

Сэр Роберт Чилтерн. А что сказали бы о такой теории авторы психологических романов, о которых мы сейчас столько слышим?

Миссис Чивли. Ах, сила женщины в том, что ее не объяснишь с помощью психологии. Мужчин можно анализировать, женщин... только обожать.

Сэр Роберт Чилтерн. Вы считаете, что наука не может совладать с проблемой женщины?

Миссис Чивли. Наука не может совладать с иррациональным. Вот почему в нашем мире у науки нет будущего.

Сэр Роберт Чилтерн. А женщины в нашем мире представляют собой иррациональное?

Миссис Чивли. Да — те, что хорошо одеваются.

Сэр Роберт Чилтерн *(с учтивым поклоном).* Боюсь, что тут я не могу с вами согласиться. Но, прошу вас, сядьте. И расскажите мне, что побудило вас покинуть веселую Вену ради нашего скучного Лондона? Или это нескромный вопрос?

Миссис Чивли. Вопросы не бывают нескромными. Ответы иногда бывают.

Сэр Роберт Чилтерн. Все-таки скажите, что вас привело сюда — политика или жажда развлечений?

Миссис Чивли. Политика мое единственное развлечение. Теперь ведь женщине не разрешается флиртовать раньше сорока лет и питать романтические чувства раньше сорока пяти. Так что нам, кто еще не достиг,— или говорит, что не достиг,— тридцатилетнего возраста, остается только благотворительность и политика. Но благотворительность — это последнее прибежище для тех, кто любит допекать своих ближних. Я предпочитаю политику. По-моему, это как-то... изящнее.

Сэр Роберт Чилтерн. Политика — благородное поприще!

Миссис Чивли. Да. Иногда. А иногда это азартная игра, сэр Роберт. А иногда страшная скука.

Сэр Роберт Чилтерн. А вы что в ней нашли?

Миссис Чивли. Я?.. Всего понемножку. *(Роняет веер.)*

Сэр Роберт Чилтерн *(наклоняется за веером).* Позвольте, я... *(Подает ей веер.)*

Миссис Чивли. Благодарю вас.

Сэр Роберт Чилтерн. Но вы все-таки не сказали, почему вы так вдруг решили оказать нам честь своим посещением? Лондонский сезон уже идет к концу...

Миссис Чивли. Меня не интересует лондонский сезон. Он у вас какой-то чересчур... матримониальный. Женщины все либо ловят мужей, либо прячутся от них. Нет, дело в том, сэр Роберт, что я хотела вас видеть. Сознаюсь откровенно. Вы знаете, как женщины любопытны. Почти как мужчины! Я очень хотела вас видеть и... обратиться к вам с просьбой.

Сэр Роберт Чилтерн. Надеюсь, просьба не маленькая, миссис Чивли? Маленькие просьбы всегда так трудно исполнять.

Миссис Чивли *(подумав)*. Нет, это, пожалуй, не маленькая просьба.

Сэр Роберт Чилтерн. Очень рад. Скажите же, какая?

Миссис Чивли. Потом. *(Встает.)* А сейчас, если позволите, я хотела бы посмотреть ваш чудесный дом. Я слышала о вашей картинной галерее. Барон Арнгейм — вы помните барона? — он говорил мне, что в вашей коллекции есть несколько превосходных Коро.

Сэр Роберт Чилтерн *(чуть заметно вздрогнув)*. Вы хорошо знали барона Арнгейма?

Миссис Чивли *(усмехаясь)*. Да. Очень близко. А вы?

Сэр Роберт Чилтерн. Одно время мы были знакомы.

Миссис Чивли. Правда, замечательный человек?

Сэр Роберт Чилтерн *(после паузы)*. Да, весьма замечательный — во многих отношениях.

Миссис Чивли. Как жаль, что он не писал мемуаров. Вот было бы интересно!

Сэр Роберт Чилтерн. Да, он, как древние греки, знавал многих людей и посетил многие города.

Миссис Чивли. И не имел такой обузы, как ждущая его дома Пенелопа.

Мэсон *(докладывает)*. Лорд Горинг.

Входит лорд Горинг. Ему тридцать четыре года, но он всегда говорит, что ему меньше. Совершенно лишенное выражения лицо — маска благовоспитанности. Умен, но всячески это скрывает. Безукоризненный денди, он больше всего боится, как бы его не заподозрили в чувствительности. Жизнь для него игра, и он в полном ладу с миром. Ему нравится быть непонятным. Это как бы возвышает его над окружающими.

Сэр Роберт Чилтерн. Здравствуйте, дорогой мой Артур! Миссис Чивли, разрешите представить вам лорда Горинга, самого праздного человека в Лондоне.

Миссис Чивли. Мы уже встречались с лордом Горингом.

Лорд Горинг *(кланяется)*. Вот уж не думал, что вы меня помните, миссис Чивли.

Миссис Чивли. У меня прекрасная память — на то, что я хочу помнить. А вы все еще не женаты?

Лорд Горинг. Кажется... нет.

Миссис Чивли. Как романтично!

Лорд Горинг. Ах нет, я совсем не романтик. Для этого я недостаточно стар. Предоставляю романтику старшим по возрасту.

Сэр Роберт Чилтерн. Лорд Горинг типичный продукт своего клуба, миссис Чивли.

Миссис Чивли. Он делает честь этому учреждению.

Лорд Горинг. Можно узнать, долго ли вы еще пробудете в Лондоне?

Миссис Чивли. Это зависит отчасти от погоды, отчасти от лондонской кухни и отчасти от сэра Роберта.

Сэр Роберт Чилтерн. Но вы, надеюсь, не собираетесь ввергнуть нас в европейскую войну?

Миссис Чивли. О нет. Эта опасность вам не угрожает. *(Кивает лорду Горингу с насмешливой искоркой в глазах и выходит из залы в сопровождении сэра Роберта Чилтерна.)*

Лорд Горинг не спеша подходит к Мейбл Чилтерн.

Мейбл Чилтерн. Как вы поздно!

Лорд Горинг. А вы скучали по мне?

Мейбл Чилтерн. Ужасно!

Лорд Горинг. Жаль, я не знал, а то бы я еще больше задержался. Я люблю, когда по мне скучают.

Мейбл Чилтерн. Какой вы эгоист!

Лорд Горинг. Да, я ужасный эгоист.

Мейбл Чилтерн. Вы всегда рассказываете мне о своих дурных качествах, лорд Горинг!

Лорд Горинг. Я еще и половины вам не рассказал, мисс Мейбл.

Мейбл Чилтерн. А те, о которых вы не рассказали, тоже очень плохие?

Лорд Горинг. Чудовищные! Когда я ночью вспоминаю о них, я сейчас же опять засыпаю.

Мейбл Чилтерн. А мне нравятся ваши дурные качества. Я не хочу, чтобы вы исправлялись.

Лорд Горинг. Как это мило с вашей стороны. Но вы всегда милы. Кстати, я хочу вас спросить. Кто привел сюда эту миссис Чивли? Вон ту, в сиреневом платье, что сейчас вышла с вашим братом?

Мейбл Чилтерн. Она, кажется, приехала с леди Маркби. Почему вы спрашиваете?

Лорд Горинг. Да так просто. Я уже много лет ее не видал.

Мейбл Чилтерн. Что за нелепая причина?

Лорд Горинг. Все причины нелепы.

Мейбл Чилтерн. А что она за женщина?

Лорд Горинг. Она?.. Днем гений, вечером красавица.

Мейбл Чилтерн. Не нравится она мне.

Лорд Горинг. Это показывает, что у вас хороший вкус.

Виконт де Нанжак *(подходит к ним).* А у английской девушки пропасть — нет, как это? — английская девушка — это пропасть на хороший вкус. Настоящая пропасть на хороший вкус.

Лорд Горинг. Да, именно так пишут в газетах.

Виконт де Нанжак. Я читаю все ваши английские газеты. Они очень интересны.

Лорд Горинг. Ну, значит, дорогой мой Нанжак, вы читаете между строк.

Виконт де Нанжак. Я бы очень хотел, но мой учитель английского языка мне запрещает. *(К Мейбл Чилтерн.)* Разрешите проводить вас в музыкальный зал, мисс Чилтерн?

Мейбл Чилтерн *(очень огорчена).* С удовольствием, виконт, с большим удовольствием! *(Оглядывается на лорда Горинга.)* Вы тоже идете в музыкальный зал?

Лорд Горинг. Только если там сейчас нет музыки, мисс Мейбл.

Мейбл Чилтерн *(строго).* Музыка будет по-немецки. Вы все равно не поймете. *(Выходит с виконтом де Нанжак.)*

Лорд Кавершем *(подходит к сыну).* Ну, сэр? А вы что тут делаете? Прожигаете жизнь, по обыкновению? Вам давно пора быть в постели. Нельзя ло-

житься так поздно. Я слышал, вы третьего дня танцевали у леди Реффорд и уехали в четыре часа утра.

Лорд Горинг. Было всего без четверти четыре, отец.

Лорд Кавершем. Не понимаю, как вы выносите теперешнее лондонское общество. Толпа ничтожеств, которые говорят ни о чем!

Лорд Горинг. Я люблю говорить ни о чем, отец. Это единственное, о чем я что-нибудь знаю.

Лорд Кавершем. Вы, кажется, живете только для удовольствия.

Лорд Горинг. А для чего же еще жить, отец? Для счастья? Но ничто так не старит человека, как счастье.

Лорд Кавершем. Вы бессердечны, сэр, совершенно бессердечны.

Лорд Горинг. Ну, что вы отец. Добрый вечер, леди Бэзилдон.

Леди Бэзилдон *(выгибает свои красивые брови)*. И вы тут? Я не знала, что вы посещаете политические салоны.

Лорд Горинг. Я обожаю политические салоны. Это единственное место, где не говорят о политике.

Леди Бэзилдон. Я очень люблю говорить о политике. Иногда целый день говорю. Но терпеть не могу слушать, когда о ней говорят другие. Не понимаю, как эти несчастные в парламенте выдерживают свои бесконечные прения.

Лорд Горинг. Так они же никогда не слушают.

Леди Бэзилдон. Нет, правда?

Лорд Горинг *(самым серьезным тоном)*. Конечно. Ведь слушать — это очень опасно: тебя могут убедить. А человек, который позволяет убедить себя доводами разума, очень неразумное существо.

Леди Бэзилдон. Ах, это объясняет мне многое в мужчинах, чего я раньше не понимала, и многое в женщинах, чего их мужья совсем не ценят.

Миссис Марчмонт *(со вздохом)*. Наши мужья ничего в нас не ценят. За этим приходится обращаться к другим.

Леди Бэзилдон *(с чувством)*. Да, всегда к другим!.. Всегда к другим!

Лорд Горинг *(улыбается)*. И это говорят две женщины, у которых, как вам известно, лучшие мужья во всем Лондоне!

Миссис Марчмонт. В том-то и беда. Мой Реджинальд безнадежно добродетелен. Иногда это

просто невыносимо. В знакомстве с таким человеком нет ни малейшего интереса!

Лорд Горинг. Какой ужас! Об этом надо говорить!

Леди Бэзилдон. Мой Бэзилдон тоже не лучше. Он так любит сидеть дома, как будто он холостяк.

Миссис Марчмонт *(пожимает руку леди Бэзилдон)*. Бедная моя Оливия! Мы с вами вышли замуж за примерных мужей и вот теперь страдаем.

Лорд Горинг. Я думал, что в таких случаях страдают мужья.

Миссис Марчмонт *(оскорбленно выпрямляется)*. Как бы не так! Они совершенно счастливы и довольны. А уж до чего они нам верят — это просто трагедия!

Леди Бэзилдон. Да истинная трагедия!

Лорд Горинг. А может быть, комедия, леди Бэзилдон?

Леди Бэзилдон. Комедия, лорд Горинг? Как вам не стыдно так говорить!

Миссис Марчмонт. Боюсь, что лорд Горинг, как всегда, в стане врагов. Я видела, он разговаривал с этой миссис Чивли.

Лорд Горинг. Она очень красива, эта миссис Чивли.

Леди Бэзилдон *(натянуто)*. Пожалуйста, не хвалите других женщин в нашем присутствии. Могли бы подождать, пока мы ее похвалим.

Лорд Горинг. Я и ждал.

Миссис Марчмонт. Ну так не дождетесь. Мы не собираемся хвалить миссис Чивли. Мне рассказывали — она в понедельник была в опере и сказала Томми Реффорду, что лондонское общество — это сплошь куклы и пешки.

Лорд Горинг. И она права. Мужчины все пешки, а женщины все прелестны, как куколки.

Миссис Марчмонт *(после паузы)*. Вы думаете, она это хотела сказать?

Лорд Горинг. Конечно. И, по-моему, это довольно-таки разумное замечание.

Входит Мейбл Чилтерн.

Мейбл Чилтерн *(подходя к ним)*. Почему вы говорите о миссис Чивли? Все только о ней и говорят. Лорд Горинг сказал... что вы сказали о миссис Чив-

ли, лорд Горинг? А, вспомнила: что днем она гений, а вечером красавица.

Леди Бэзилдон. Какое отвратительное сочетание! Совершенно противоестественное.

Миссис Марчмонт *(мечтательно)*. Я люблю смотреть на гениев и слушать красавцев.

Лорд Горинг. Ну, это уже извращение, миссис Марчмонт!

Миссис Марчмонт *(просияв от удовольствия)*. Как я рада это слышать! Мы с Марчмонтом семь лет женаты, и он ни разу не сказал мне, что я извращена. Мужчины так ненаблюдательны!

Леди Бэзилдон *(поворачиваясь к ней)*. Я всегда говорила, милая Маргарет, что вы самая извращенная женщина во всем Лондоне.

Миссис Марчмонт. Да, но вы ведь всегда так добры ко мне, Оливия!

Мейбл Чилтерн. Скажите, а это извращение, если человек хочет есть? Я ужасно хочу есть. Не поведете ли вы меня ужинать, лорд Горинг?

Лорд Горинг. С удовольствием, мисс Мейбл.

Отходят вместе.

Мейбл Чилтерн. Хороши вы, нечего сказать! Даже ни разу не поговорили со мной за весь вечер.

Лорд Горинг. А как я мог? Вы ушли с этим дипломатическим младенцем.

Мейбл Чилтерн. Вы могли пойти за нами. Навязчивость в данном случае была бы только учтивой. Вы мне сегодня совсем не нравитесь.

Лорд Горинг. А вы мне бесконечно нравитесь.

Мейбл Чилтерн. Ну так показали бы это как-нибудь более заметно!

Уходят вниз по лестнице.

Миссис Марчмонт. Оливия, я как-то странно себя чувствую — такая слабость! Я бы, пожалуй, поужинала. Да, я положительно не прочь поужинать.

Леди Бэзилдон. Я умираю от голода, Маргарет!

Миссис Марчмонт. Мужчины так бессердечны — никогда не думают о таких вещах.

Леди Бэзилдон. У них низменные инстинкты, дорогая. Грубые материалисты!

Виконт де Нанжак вместе с другими выходит из музыкального зала. Внимательно оглядев всех присутствующих, подходит к леди Бэзилдон.

Виконт де Нанжак. Разрешите пригласить вас к ужину, контесса?

Леди Бэзилдон *(холодно)*. Благодарю вас, я никогда не ужинаю, виконт.

Он хочет уйти.

(Видя это, она проворно встает и берет его под руку.)

Но я охотно пройдусь с вами в столовую.

Виконт де Нанжак. Я очень люблю есть! У меня совершенно английские вкусы.

Леди Бэзилдон. Вы и по виду совсем англичанин, виконт. Как две капли воды!

Уходят. К миссис Марчмонт подходит безукоризненно одетый молодой щеголь, мистер Монфорд.

Мистер Монфорд. Хотите ужинать, миссис Марчмонт?

Миссис Марчмонт *(томно)*. Благодарю вас, мистер Монфорд, я никогда не ужинаю. *(Послушно встает и берет его под руку.)* Но я посижу возле вас и буду на вас смотреть.

Мистер Монфорд. Знаете, мне как-то не очень нравится, если на меня смотрят, когда я ем.

Миссис Марчмонт. Ну, я буду смотреть на кого-нибудь другого.

Мистер Монфорд. А уж это мне совсем не нравится.

Миссис Марчмонт *(строго)*. Пожалуйста, не устраивайте мне публично таких ужасных сцен ревности, мистер Монфорд!

Спускаются по лестнице вместе с другими гостями. Навстречу им поднимаются сэр Роберт Чилтерн и миссис Чивли и входят в зал.

Сэр Роберт Чилтерн. Предполагаете погостить у кого-нибудь за городом до вашего отъезда из Англии, миссис Чивли?

Миссис Чивли. О нет! В ваших английских поместьях всегда такая скука. Там даже пытаются острить за завтраком. Бог знает что! Только абсолютные тупицы острят за завтраком. А какой-нибудь фамильный скелет еще читает молитву перед едой. Нет уж, увольте. Мой отъезд из Англии, сэр Роберт, целиком зависит от вас. *(Садится на диванчик.)*

Сэр Роберт Чилтерн *(садится рядом).* Серьезно?

Миссис Чивли. Вполне серьезно. Мне нужно поговорить с вами об одном очень важном политическом и финансовом предприятии. А именно об акционерной компании по сооружению Аргентинского канала.

Сэр Роберт Чилтерн. Неужто вас интересуют такие скучные, практические темы, миссис Чивли?

Миссис Чивли. Я очень люблю скучные, практические темы. Чего я не люблю, это скучных, практических людей. Но это не одно и то же. Кроме того, я знаю, что и вы интересуетесь каналами. Вы ведь были секретарем лорда Рэдли, когда наше правительство скупило акции Суэцкого канала?

Сэр Роберт Чилтерн. Да. Но Суэцкий канал — это совсем другое дело. Это был очень важный и вполне реальный план. Он открывал нам прямую дорогу в Индию. В интересах империи необходимо было взять его в свои руки. А эта аргентинская затея — обыкновенное биржевое мошенничество.

Миссис Чивли. Спекуляция, сэр Роберт! Смелая, блестящая спекуляция!

Сэр Роберт Чилтерн. Поверьте мне, миссис Чивли, чистейшее мошенничество. Будем называть вещи своими именами. Это упрощает дело. У нас в министерстве все известно об этом канале. Я даже направил туда специальную комиссию, чтобы она негласно все разузнала, и они нам сообщили, что земляные работы еще только начаты, а собранные деньги уже неизвестно куда девались. Это вторая Панама — а шансов на успех имеет еще меньше. Надеюсь, вы не вложили в него денег? Вы слишком умны для этого.

Миссис Чивли. Я очень много в него вложила.

Сэр Роберт Чилтерн. Кто вам посоветовал такую глупость?

Миссис Чивли. Ваш бывший друг — и мой.

Сэр Роберт Чилтерн. Кто?

Миссис Чивли. Барон Арнгейм.

Сэр Роберт Чилтерн *(нахмурившись)*. А!.. Да, я помню,— когда он умер, ходили слухи, что он как-то связан с этой аферой.

Миссис Чивли. Это был его последний роман. Точнее — предпоследний.

Сэр Роберт Чилтерн *(встает)*. Но вы еще не видели моих Коро. Мы их повесили в музыкальном зале. Коро так подходит к музыке, правда? Разрешите, я вам их покажу?

Миссис Чивли *(качает головой)*. Нет, я сейчас не в настроении любоваться серебряными сумерками и розовыми рассветами. Я хочу говорить о деле. *(Жестом указывает ему место рядом с собой на диванчике.)*

Сэр Роберт Чилтерн. Боюсь, что могу дать вам только один совет, миссис Чивли,— впредь помещать свои деньги в менее рискованные предприятия. Конечно, судьба этого канала зависит от того, какую позицию займет Англия. И завтра вечером я представлю в парламент доклад комиссии.

Миссис Чивли. Вот этого вы и не должны делать. В ваших собственных интересах — не говоря уже о моих.

Сэр Роберт Чилтерн *(удивленно глядит на нее)*. В моих собственных интересах? Дорогая миссис Чивли, что вы этим хотите сказать? *(Садится рядом с ней.)*

Миссис Чивли. Хорошо, сэр Роберт, будем говорить начистоту. Я хочу, чтобы вы сняли свой доклад в парламенте — на том основании, что комиссия была плохо информирована или небеспристрастна в своих выводах, или по каким хотите причинам. И чтобы вы сказали несколько слов о том, что правительство намерено пересмотреть этот вопрос и что Аргентинский канал, когда его закончат, будет иметь огромное международное значение. Ну, вы знаете, что в таких случаях говорят министры. Несколько общих мест. В наше время ничто не производит такого благоприятного впечатления на слушателей, как хорошее, совершенно затертое общее место. Все вдруг ощущают некое родство душ. Вы сделаете это для меня, сэр Роберт?

Сэр Роберт Чилтерн. Миссис Чивли! Не может быть, чтобы вы всерьез делали мне такое предложение!

Миссис Чивли. И еще как всерьез!

Сэр Роберт Чилтерн *(холодно)*. Разрешите мне все-таки думать, что это шутка.

Миссис Чивли *(говорит очень веско и выразительно)*. Нет, это не шутка. И если вы исполните мою просьбу, я... хорошо вам заплачу.

Сэр Роберт Чилтерн. Заплатите?.. Мне?..

Миссис Чивли. Вам.

Сэр Роберт Чилтерн. Кажется, я вас все-таки не понимаю.

Миссис Чивли *(откидывается на спинку диванчика и смотрит на сэра Роберта)*. Как жаль!.. А я-то приехала сюда из Вены именно для того, чтобы вы меня поняли как следует.

Сэр Роберт Чилтерн. Отказываюсь понимать.

Миссис Чивли *(самым любезным тоном)*. Дорогой мой сэр Роберт, вы же деловой человек, и, стало быть, вас можно купить. В наши дни всякого можно купить. Только некоторые очень дороги. Я, например. Ну а вы, надеюсь, не будете слишком дорожиться.

Сэр Роберт Чилтерн *(встает в негодовании)*. Если позволите, я вызову вашу карету. Вы так долго жили за границей, миссис Чивли,—вы, очевидно, сейчас просто не понимаете, что говорите с английским джентльменом.

Миссис Чивли *(останавливает его, прикоснувшись веером к его руке, и держит так веер, пока говорит)*. Я очень хорошо понимаю, что говорю с человеком, который заложил основу своих успехов тем, что продал государственную тайну биржевому спекулянту.

Сэр Роберт Чилтерн *(прикусив губу)*. Что это значит?..

Миссис Чивли *(встав и глядя ему в лицо)*. Это значит, что мне известно истинное происхождение вашего богатства—и вашей карьеры—и что ваше письмо в моих руках.

Сэр Роберт Чилтерн. Какое письмо?..

Миссис Чивли *(презрительно)*. То, которое вы написали барону Аргейму, когда были секретарем лорда Рэдли. То, в котором вы советуете барону покупать акции Суэцкого канала. А написано оно

было за три дня до того, как правительство объявило о своем решении скупить акции.

Сэр Роберт Чилтерн *(хриплым голосом)*. Это ложь.

Миссис Чивли. Вы думали, письмо уничтожено? Какая наивность! Оно у меня.

Сэр Роберт Чилтерн. Это была просто спекуляция. Билль еще не прошел в парламент. Его могли отвергнуть.

Миссис Чивли. Это было мошенничество, сэр Роберт. Будем называть вещи своими именами. Это упрощает дело. А теперь я хочу продать вам это письмо. И в оплату требую, чтобы вы публично поддержали аргентинский проект. Вы разбогатели на одном канале. Помогите мне и моим друзьям разбогатеть на другом.

Сэр Роберт Чилтерн. Вы хотите, чтобы я... Но это же подлость... подлость!

Миссис Чивли. Нет. Игра. Та игра, сэр Роберт, в которую всем нам рано или поздно приходится играть.

Сэр Роберт Чилтерн. Я не могу это сделать.

Миссис Чивли. То есть вы не можете этого не сделать. Вы отлично знаете, что стоите на краю пропасти. Не вам диктовать условия. Вам остается только их принять. Допустим, вы откажетесь...

Сэр Роберт Чилтерн. Что тогда?

Миссис Чивли. Да, дорогой сэр Роберт, что тогда? Тогда вы погибли, только и всего. Вспомните, до чего вы тут дошли, с вашим пуританством! В прежнее время никто не старался быть лучше своих ближних. Это даже считалось дурным тоном, мещанством. Но теперь вы все помешаны на морали. Каждый должен быть образцом чистоты, неподкупности и прочих семи смертных добродетелей. А результат? Вы все валитесь, как кегли, один за другим. Года не проходит, чтобы кто-нибудь не исчез с горизонта. Раньше скандальная история придавала еще больший шарм человеку или хоть делала его интереснее, а теперь это гибель. А ваш скандальчик будет очень некрасивый. Вам после этого не уцелеть. Если станет известно, что вы в молодости, будучи секретарем такого важного и всеми уважаемого министра, за большие деньги продали государственную тайну,—ну, вас затравят! Носу никуда нельзя будет показать. А с какой стати вам жертвовать всем своим будущим, вместо того чтобы заключить дип-

ломатическое соглашение с врагом? Потому что сейчас я ваш враг, это верно. И я гораздо сильнее вас. Большие батальоны на моей стороне. Вы, правда, занимаете высокое положение, но это-то и делает вас уязвимым. Трудно обороняться. А я атакую. И, заметьте, я не читаю вам мораль. Тут я вас пощадила, скажите мне за это спасибо. Ну так вот. Много лет тому назад вы совершили бесчестный, но очень выгодный для вас поступок. Получили все, чего хотели,— богатство, положение в обществе. А теперь надо за это платить. За все приходится платить, рано или поздно. Вам — вот сейчас. Прежде чем я уйду отсюда, вы должны мне пообещать, что снимете ваш доклад и выступите завтра в парламенте в защиту аргентинского проекта.

Сэр Роберт Чилтерн. Вы требуете невозможного.

Миссис Чивли. А вы сделайте, чтобы оно стало возможным. Вам же ничего другого не остается. Сэр Роберт, вы знаете, что такое ваши английские газеты. Предположим, что я прямо отсюда поеду в редакцию какой-нибудь газеты? Все расскажу и представлю доказательства? Подумайте, как они возрадуются, с каким восторгом стащат вас в грязь и обольют помоями! Какой-нибудь жирный ханжа с самодовольной усмешкой будет писать о вас передовицу, и как он все это размажет и заклеймит вас позором!

Сэр Роберт Чилтерн. Перестаньте!.. Вы хотите, чтобы я снял доклад и произнес короткую речь в палате о том, что этот проект, по-моему, имеет будущее?

Миссис Чивли *(садясь на диван)*. Да, таковы мои условия.

Сэр Роберт Чилтерн *(понизив голос)*. Я дам вам денег — любую сумму, какую вы назначите.

Миссис Чивли. Даже вы, сэр Роберт, недостаточно богаты, чтобы выкупить свое прошлое. Никто этого не может.

Сэр Роберт Чилтерн. Я не сделаю того, что вы просите...

Миссис Чивли. Придется. А если нет... *(Встает.)*

Сэр Роберт Чилтерн *(он растерян и сбит с толку)*. Подождите! А вы-то что мне предлагаете? Вы сказали, что вернете мне письмо?..

Миссис Чивли. Да. И вы можете положиться на мое слово. Завтра вечером в половине двенадцатого я буду в парламенте, на балконе для посетителей. Если к этому времени вы сделаете такое сообщение, какое мне желательно,—а возможностей для этого будет достаточно,—я вручу вам ваше письмо—с благодарностью и наилучшими или хоть наиболее подходящими к случаю пожеланиями. Я веду с вами честную игру. Всегда надо играть честно... когда козыри у тебя на руках. Барон Арнгейм научил меня этому... и еще многому другому.

Сэр Роберт Чилтерн. Дайте мне подумать.

Миссис Чивли. Нельзя. Решайте сейчас.

Сэр Роберт Чилтерн. Неделю! Три дня!

Миссис Чивли. Нет. Я должна сегодня же телеграфировать в Вену.

Сэр Роберт Чилтерн. Господи! Что привело вас на мою дорогу?..

Миссис Чивли. Обстоятельства. *(Направляется к двери.)*

Сэр Роберт Чилтерн. Не уходите. Я согласен. Доклад будет снят. И я устрою, чтобы мне задали вопрос о канале.

Миссис Чивли. Благодарю вас. Я же знала, что мы договоримся. Я сразу поняла ваш характер. Я вас анализировала, хоть вы меня и не обожали. А теперь вызовите, пожалуйста, мою карету, сэр Роберт. Ваши гости уже возвращаются с ужина, а вы, англичане, всегда впадаете в сентиментальность после еды, чего я совершенно не выношу.

Сэр Роберт Чилтерн уходит. Входят гости, среди них леди Чилтерн, леди Маркби, лорд Кавершем, леди Бэзилдон, мистер Марчмонт, виконт де Нанжак, мистер Монфорд.

Леди Маркби. Ну, дорогая миссис Чивли, надеюсь, вы приятно провели время. Сэр Роберт такой занятный собеседник!

Миссис Чивли. Чрезвычайно занятный. Я получила огромное удовольствие от разговора с ним.

Леди Маркби. Он сделал такую блестящую карьеру. И так удачно женился. Леди Чилтерн замечательная женщина. У нее такие строгие принципы. Я уж стара и не берусь служить примером для других—слишком хлопотливо. Но очень уважаю тех, кто это делает. А леди Чилтерн оказывает на людей

прямо-таки облагораживающее влияние. Хотя обеды у нее скучноваты. Но нельзя иметь все, правда? А теперь, милочка, мне пора домой. Заехать к вам завтра?

Миссис Чивли. Буду очень рада.

Леди Маркби. Поедем в пять часов кататься в парк. Там сейчас все выглядит так свежо.

Миссис Чивли. Кроме людей.

Леди Маркби. Да, люди, пожалуй, немножко выдохлись. Я замечала, что в конце сезона у многих делается что-то вроде размягчения мозгов. Но и то лучше, чем высокая интеллигентность. Она очень портит наружность. У интеллигентных девушек почему-то всегда становятся большие носы. И очень трудно потом выдать их замуж — мужчинам не нравится. Доброй ночи, дорогая! *(К леди Чилтерн.)* Доброй ночи, Гертруда! *(Уходит, опираясь на руку лорда Кавершема.)*

Миссис Чивли. Какой у вас прелестный дом, леди Чилтерн! И какой очаровательный вечер я провела! Было так интересно побеседовать с вашим мужем.

Леди Чилтерн. Почему вы хотели познакомиться с моим мужем, миссис Чивли?

Миссис Чивли. Я вам скажу. Мне хотелось заинтересовать его Аргентинским каналом—вы, наверно, о нем слышали. И ваш муж оказался очень податливым — то есть податливым к доводам рассудка. Это так редко в мужчинах. Я мигом его уговорила. Завтра на вечернем заседании он выступит в пользу этого проекта. Мы обе должны пойти в палату и послушать его речь. Это будет событие!

Леди Чилтерн. Вы, наверно, ошиблись. Мой муж не станет поддерживать эту аферу.

Миссис Чивли. Да нет, уверяю вас, это дело решенное. Теперь я уже не жалею, что совершила такую утомительную поездку из Вены. Она увенчалась полным успехом. Но пока это, конечно, секрет.

Леди Чилтерн *(сдержанно)*. Секрет? Между кем и кем?

Миссис Чивли *(с насмешливым блеском в глазах)*. Между мной и вашим мужем.

Сэр Роберт Чилтерн *(подходя к ним)*. Ваша карета подана, миссис Чивли.

Миссис Чивли. Благодарю! Прощайте, леди Чилтерн. Доброй ночи, лорд Горинг! Я остановилась в отеле Кларидж. Может быть, нанесете мне визит?

Лорд Горинг. Если вам угодно, миссис Чивли.

Миссис Чивли. Ах, не будьте так церемонны! Не то мне самой придется нанести вам визит. А в Англии это, кажется, не принято. За границей мы уже более цивилизованны. Вы проводите меня, сэр Роберт? Теперь у нас с вами есть общие интересы, и, я надеюсь, мы будем друзьями! *(Выплывает из зала, опираясь на руку сэра Роберта Чилтерна.)*

Леди Чилтерн идет к лестнице и смотрит им вслед, пока они спускаются по ступенькам. Лицо ее выражает смущение и тревогу. Потом к ней подходит кто-то из гостей, и они вместе уходят в левую дверь.

Мейбл Чилтерн. До чего она противная, эта миссис Чивли!

Лорд Горинг. Вам пора спать, мисс Мейбл.

Мейбл Чилтерн. Лорд Горинг!

Лорд Горинг. Мой отец еще час назад посоветовал мне идти спать. А теперь я вам советую то же самое. Я всегда так поступаю с добрыми советами: передаю их другим. Больше с ними нечего делать — мне самому от них никогда нет толку.

Мейбл Чилтерн. Лорд Горинг, вы всегда высылаете меня из комнаты. Это очень смело с вашей стороны. Тем более что я вовсе не намерена идти спать. *(Идет к диванчику.)* Если желаете, можете сесть рядом и говорить о чем угодно, кроме Королевской академии, миссис Чивли и романов на шотландском диалекте. Эти темы не возвышают душу. *(Замечает на диване какую-то вещицу, завалившуюся за подушки.)* Что это? Смотрите, кто-то потерял бриллиантовую брошку. Какая изящная, правда? *(Показывает лорду Горингу.)* Мне бы такую! Но Гертруда разрешает мне носить только жемчуг, а я его терпеть не могу. В жемчугах я такая скромница, умница, пай-девочка. Интересно, чья эта брошка.

Лорд Горинг. Да, и мне интересно, кто ее обронил.

Мейбл Чилтерн. Красивая брошка!

Лорд Горинг. Да, красивый браслет.

Мейбл Чилтерн. Это не браслет, это брошка.

Лорд Горинг. Ее можно носить и как браслет. *(Берет брошку, достает зеленый бумажник, аккуратно укладывает ее туда и прячет во внутренний карман. Все это он проделывает с полным хладнокровием.)*

Мейбл Чилтерн. Что вы делаете?

Лорд Горинг. Мисс Мейбл, я хочу обратиться к вам с несколько странной просьбой.

Мейбл Чилтерн *(с живостью).* Ах, наконец-то! Я целый вечер этого ждала.

Лорд Горинг *(в первое мгновение сконфужен, но быстро овладевает собой).* Никому не говорите, что я взял эту брошку. А если кто-нибудь напишет или вообще будет ее искать, сейчас же сообщите мне.

Мейбл Чилтерн. Действительно странная просьба.

Лорд Горинг. Видите ли, когда-то, очень давно, я подарил эту брошку одной особе.

Мейбл Чилтерн. Вы?..

Лорд Горинг. Я.

Входит леди Чилтерн, одна. Гости уже разъехались.

Мейбл Чилтерн. В таком случае мне, конечно, ничего не остается, как только пожелать вам спокойной ночи. Доброй ночи, Гертруда! *(Уходит.)*

Леди Чилтерн. Доброй ночи, милочка! *(Лорду Горингу.)* Вы видели, кого к нам привела леди Маркби?

Лорд Горинг. Да. Неприятный сюрприз. Зачем она сюда явилась?

Леди Чилтерн. По-видимому, затем, чтобы соблазнить Роберта и заставить его поддержать дутое предприятие, в котором сама заинтересована. Аргентинский канал.

Лорд Горинг. А! Не поняла, с кем имеет дело.

Леди Чилтерн. Где уж ей понять такую чистую, возвышенную натуру, как мой муж!

Лорд Горинг. Да. Видно, ей туго пришлось, если она вздумала ловить Роберта в свои сети. Удивительно, какие ошибки совершают иной раз умные женщины!

Леди Чилтерн. Вы называете это умом? По-моему, это глупость.

Лорд Горинг. Часто это одно и то же. Спокойной ночи, леди Чилтерн!

Леди Чилтерн. Спокойной ночи!

Входит сэр Роберт Чилтерн.

Сэр Роберт Чилтерн. Уже уходите, Артур? Посидите еще немножко.

Лорд Горинг. К сожалению, не могу. Обещал еще заглянуть к Хартлокам. У них там лиловый венгерский оркестр исполняет лиловую венгерскую музыку. До скорого свиданья. Всего хорошего. *(Уходит.)*

Сэр Роберт Чилтерн. Какая ты сегодня красавица, Гертруда!

Леди Чилтерн. Роберт, скажи, ведь это неправда? Ты не станешь поддерживать эту аргентинскую спекуляцию? Ты на это не способен!

Сэр Роберт Чилтерн *(отшатнулся)*. Кто тебе сказал?

Леди Чилтерн. Эта женщина, которая только что ушла. Миссис Чивли, как она теперь себя называет. Она это говорила с издевкой, как будто смеялась надо мной. Роберт, я знаю эту женщину. А ты не знаешь. Мы вместе учились в школе. Она и тогда была лживой, бесчестной, она дурно влияла на всех, кто верил ей или дружил с ней. Я ненавидела ее и презирала. Она крала вещи. Ее выгнали из школы за воровство. А ты позволяешь ей в чем-то тебя уговаривать!

Сэр Роберт Чилтерн. Гертруда, все это, может быть, и верно, но ведь это было очень давно. Не лучше ли об этом забыть? Миссис Чивли могла с тех пор измениться. Нельзя судить человека только по его прошлому.

Леди Чилтерн *(с глубоким убеждением)*. Наше прошлое — это мы сами. Как же еще судить о людях, если не по их прошлому?

Сэр Роберт Чилтерн. Это жестоко, Гертруда!

Леди Чилтерн. Это справедливо, Роберт. Знаешь ли ты, что она хвастала, будто ты обещал ей поддержать своим влиянием — своим именем! — эту аргентинскую спекуляцию, о которой я знаю с твоих собственных слов, что это бессовестное мошенничество?

Сэр Роберт Чилтерн *(кусает губы)*. Я, может быть, ошибался. Мы все иногда ошибаемся.

Леди Чилтерн. Но ты только вчера говорил мне, что получил доклад комиссии и что она решительно осуждает этот проект!

Сэр Роберт Чилтерн *(ходит взад и вперед по комнате)*. У меня есть основания думать, что члены комиссии были предубеждены или, во всяком случае, плохо информированы. И кроме того, Гертруда, политика и частная жизнь — это разные области. В них действуют разные законы, они преследуют разные цели.

Леди Чилтерн. И в той и в другой — человек должен быть на высоте. Я не вижу разницы.

Сэр Роберт Чилтерн *(останавливается)*. Ну так считай, что в данном случае — в этом чисто практическом вопросе — я изменил свое мнение. Вот и все.

Леди Чилтерн. Все?..

Сэр Роберт Чилтерн *(жестко)*. Да,

Леди Чилтерн. Роберт! Это ужасно, что я задаю тебе такой вопрос, но... ты сказал мне *всю* правду?

Сэр Роберт Чилтерн. Почему ты спрашиваешь?

Леди Чилтерн *(после паузы)*. Почему ты не отвечаешь?

Сэр Роберт Чилтерн *(садится)*. Гертруда, правда — очень сложная вещь, а политика — очень сложный механизм. Там все связано, все цепляется одно за другое. Бывает, что тебе оказали услугу и за это надо отплатить такой же услугой. В политике часто приходится идти на компромисс. Все так делают.

Леди Чилтерн. На компромисс?.. Роберт, почему ты сегодня говоришь совсем не то, что я привыкла от тебя слышать? Почему ты вдруг так изменился?

Сэр Роберт Чилтерн. Я не изменился. Но обстоятельства иногда сильнее человека.

Леди Чилтерн. Никакие обстоятельства не могут быть сильнее нравственного закона.

Сэр Роберт Чилтерн. Ну, а если я скажу тебе...

Леди Чилтерн. Что?

Сэр Роберт Чилтерн. Что я вынужден так поступить. Что это необходимо.

Леди Чилтерн. Не может быть необходимым то, что бесчестно. А если оно необходимо, так что же я

любила в тебе! Но это не так, Роберт, скажи, что это не так! Зачем тебе это делать? Что это тебе даст? Деньги? Но нам не нужны деньги. Да еще такие! Деньги из нечистого источника пятнают человека. Власть? Но власть сама по себе ничто. Только власть делать добро дает удовлетворение. Так зачем же?.. Роберт, скажи, зачем ты хочешь совершить эту низость?

Сэр Роберт Чилтерн. Гертруда, ты не имеешь права так говорить. Я уже объяснил тебе, что это просто разумный компромисс. Не больше.

Леди Чилтерн. Роберт, все это хорошо для других, для тех, кто в жизни ищет только корысти. Но не для тебя, Роберт, не для тебя! Ты не то что другие. Ты всегда стоял особняком. Грязь жизни до тебя не досягала. Для всех, как и для меня, ты был идеалом чести и благородства. Так останься же этим идеалом! Не отказывайся от этого высокого наследия, не разрушай эту башню из слоновой кости. Роберт, мужчина может любить женщину, даже если она ниже его, даже если она запятнана, опозорена, бесчестна. Но для нас, женщин, любовь — это преклонение; и если нет преклонения, нет и любви. Ах, не убивай мою любовь к тебе, не убивай!

Сэр Роберт Чилтерн. Гертруда!

Леди Чилтерн. Я знаю, есть люди с отвратительными тайнами в прошлом,— бывает, что человек когда-то совершил бесчестный поступок, а потом за это надо платить другим бесчестным поступком — о! Не говори мне, что и ты такой! Роберт, есть в твоей жизни какой-нибудь тайный позор или бесчестье? Скажи, скажи мне сейчас же! Потому что тогда...

Сэр Роберт Чилтерн. Что тогда?

Леди Чилтерн. Тогда мы должны расстаться.

Сэр Роберт Чилтерн. Расстаться?..

Леди Чилтерн. Да. Совсем и навсегда. Так будет лучше для нас обоих.

Сэр Роберт Чилтерн. Гертруда, в моей прошлой жизни нет ничего такого, чего тебе нельзя знать.

Леди Чилтерн. Я это знала, Роберт, я была уверена. Но зачем ты сегодня говорил такие ужасные вещи, так непохожие на тебя? Ну хорошо, не будем больше об этом говорить. Ты ведь напишешь миссис Чивли, что не станешь поддерживать этот мошеннический проект? Если ты ей обещал, так возьми обещание назад, только и всего.

Сэр Роберт Чилтерн. Непременно надо написать?

Леди Чилтерн. Как же иначе?

Сэр Роберт Чилтерн. Я могу повидаться с ней и сказать.

Леди Чилтерн. Ты не должен больше видеться с ней. Ни видеться, ни говорить. Она недостойна разговаривать с таким человеком, как ты. Нет, напиши ей — сейчас, сию минуту,— и напиши так, чтобы она поняла, что твое решение неизменно.

Сэр Роберт Чилтерн. Написать сию минуту!..

Леди Чилтерн. Да.

Сэр Роберт Чилтерн. Но уж поздно. Скоро двенадцать.

Леди Чилтерн. Это ничего не значит. Она должна сейчас же узнать, что ошиблась в тебе, что ты не способен ни на что низкое, непорядочное, нечестное. Вот, сядь за этот стол. Напиши, что отказываешься поддерживать этот проект, за который она ратует, потому что считаешь его бесчестным. Так и напиши — бесчестным. Уж ей-то понятно это слово.

Сэр Роберт Чилтерн садится и пишет письмо.

(Берет его и читает.) Да, так будет хорошо. *(Звонит.)* А теперь конверт.

Он медленно надписывает конверт. Входит Мэсон.

Сейчас же отошлите это письмо в отель Кларидж. Ответа не надо.

Мэсон уходит.

(Опускается на колени рядом с мужем и обнимает его.) Роберт, любовь делает человека мудрым. Я чувствую, что сегодня спасла тебя от чего-то, что могло принести тебе страшный вред, из-за чего люди стали бы меньше уважать тебя. Мне кажется, ты сам не понимаешь, насколько благодаря тебе стала чище вся атмосфера нашей политической жизни — благодаря твоей неподкупности, твоему бескорыстию, твоему всегдашнему стремлению к серьезным целям и высоким идеалам! А я это понимаю, и за это я люблю тебя, Роберт!

Сэр Роберт Чилтерн. Люби меня, Гертруда, люби меня всегда!

Леди Чилтерн. Я буду всегда любить тебя, потому что ты всегда будешь достоин моей любви. Как не любить то, что безупречно! *(Целует его и выходит из зала.)*

Сэр Роберт Чилтерн некоторое время ходит взад и вперед; потом садится и закрывает лицо руками. Входит дворецкий и начинает гасить лампы.

Сэр Роберт Чилтерн *(поднимает голову)*. Гасите свет, Мэсон, гасите свет!

Дворецкий гасит лампы. В комнате становится темно. Осталась только люстра над лестницей; свет от нее падает на гобелен, изображающий «Торжество любви».

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Малая гостиная в доме сэра Роберта Чилтерна. Лорд Горинг, одетый по последней моде, полулежит в кресле. Сэр Роберт Чилтерн стоит перед камином, прислонившись спиной к каминной доске. Он, по-видимому, в сильном волнении и тревоге. В течение разговора он несколько раз принимается ходить по комнате.

Лорд Горинг. Дорогой мой Роберт, это очень неприятная история. Очень. Надо было все рассказать жене. Иметь тайны от чужих жен — это в наше время необходимая роскошь. Так по крайней мере мне не раз объясняли в клубе умудренные опытом старцы с лысиной во всю голову — уж они-то должны знать. Но пытаться что-нибудь скрыть от своей жены — это непростительное легкомыслие. Она же все равно узнает. У женщин на этот счет поразительный нюх. Они все видят, кроме очевидного.

Сэр Роберт Чилтерн. Артур, я не мог сказать жене. Когда я мог бы сказать? Вчера? Это значило бы разлучиться с ней навсегда, потерять любовь единственной женщины, которую я боготворю, единственной женщины, которая пробудила любовь в моем сердце. Нет, вчера это было невозможно. Она с ужасом отвернулась бы от меня... с ужасом и презрением.

Лорд Горинг. Леди Чилтерн до такой степени добродетельна?

Сэр Роберт Чилтерн. Да, моя жена до такой степени добродетельна.

Лорд Горинг *(снимает перчатку с левой руки).* Очень жаль. Простите, дорогой, я не то хотел сказать. Гм! Но если так, то мне очень хотелось бы серьезно поговорить с леди Чилтерн. О жизни.

Сэр Роберт Чилтерн. Это бесполезно.

Лорд Горинг. А можно попробовать?

Сэр Роберт Чилтерн. Пожалуйста. Но ничто не заставит ее изменить свои взгляды.

Лорд Горинг. Ну что ж, на худой конец это будет психологический эксперимент.

Сэр Роберт Чилтерн. Такие эксперименты очень опасны.

Лорд Горинг. Все, милый мой, опасно. Кабы не так, не стоило бы и жить... Да. По-моему, Роберт, вы должны были давным-давно все ей рассказать.

Сэр Роберт Чилтерн. Когда? При нашей поломолвке? Так неужели вы думаете, что она вышла бы за меня замуж, если бы знала, откуда пошло мое богатство и с чего началась моя карьера,—если бы знала, что я совершил поступок, который большинство людей назвали бы постыдным и бесчестным?

Лорд Горинг *(медленно).* Да. Люди именно так это и назовут. В этом можно не сомневаться.

Сэр Роберт Чилтерн *(с горечью).* Те самые люди, которые каждый день совершают еще худшие поступки. У которых есть тайны еще похуже моей.

Лорд Горинг. Потому-то они так и любят разоблачать чужие тайны. Это отвлекает внимание от их собственных.

Сэр Роберт Чилтерн. Да кому я в конце концов сделал зло этим поступком? Никому.

Лорд Горинг *(пристально глядя на него).* Только себе, Роберт.

Сэр Роберт Чилтерн *(после молчания).* Ну хорошо. У меня были секретные сведения о некоторых действиях, которые тогдашнее правительство собиралось предпринять. Я их использовал. Но точно так же слагались почти все нынешние крупные состояния. Секретные сведения — их обычное начало.

Лорд Горинг *(постукивая тростью по своему башмаку).* И публичный скандал — их обычный конец.

Сэр Роберт Чилтерн *(ходит по комнате)*. Артур, и вы считаете, что это справедливо — ставить мне сейчас в упрек то, что я сделал восемнадцать лет тому назад? Справедливо, чтобы вся моя карьера рухнула из-за того, что я сделал, когда был чуть ли не мальчишкой? Мне тогда было двадцать два года, я был знатного происхождения и беден — две вины, которых в нашем обществе не прощают. Разве справедливо за ошибку или пусть даже грех молодости — если уж люди желают называть это грехом,— разве справедливо за одно это разбивать такую жизнь, как моя,— уничтожать все, ради чего я столько трудился, разрушать все, что я с такими усилиями создал?

Лорд Горинг. Жизнь никогда не бывает справедливой, Роберт. И, пожалуй, так оно и лучше для большинства из нас.

Сэр Роберт Чилтерн. Всякий, в ком есть честолюбие, вынужден бороться оружием своего времени. Оружие нашего времени — деньги. Кумир нашего времени — деньги. Для того чтобы в наше время чего-нибудь добиться — положения, власти,— нужны деньги. Деньги, деньги — во что бы то ни стало!

Лорд Горинг. Вы слишком низко себя цените, Роберт. Поверьте, вы и без денег добились бы того же.

Сэр Роберт Чилтерн. Да, может быть,—к старости. Когда уже во мне угасла бы жажда власти, когда я уже не сумел бы ею насладиться. Когда я уже был бы дряхлым, усталым, разочарованным. Нет, мне нужен был успех, пока я молод. Когда же он нужен, как не в молодости? Я не мог ждать.

Лорд Горинг. Да, вы добились успеха еще молодым, это верно. Никто в наши дни не делал такой блестящей карьеры. В сорок лет — товарищ министра иностранных дел,— трудно желать большего.

Сэр Роберт Чилтерн. А если теперь у меня все это отнимут? Если я все потеряю из-за безобразного публичного скандала? Если всякая общественная деятельность будет для меня закрыта!..

Лорд Горинг. Роберт, как вы могли продаться за деньги!

Сэр Роберт Чилтерн *(взволнованно)*. Я не продавался за деньги. Я купил успех дорогой ценой. Вот и все.

Лорд Горинг *(серьезно)*. Да, вы дорогой ценой за него заплатили. Но кто вас впервые навел на эту мысль?

Сэр Роберт Чилтерн. Барон Арнгейм.

Лорд Горинг. Этот мерзавец!

Сэр Роберт Чилтерн. Нет, это был человек тонкого и острого ума. Человек с большой культурой, с огромным обаянием, с изысканными манерами. Один из самых умных людей, каких я знал.

Лорд Горинг. Ох, я предпочитаю честных дураков. В пользу глупости можно многое сказать. Я лично преклоняюсь перед глупыми людьми. У меня это, надо полагать, родственное чувство. Но как он за это взялся? Расскажите мне все по порядку.

Сэр Роберт Чилтерн *(бросается в кресло возле письменного стола)*. Однажды вечером, после обеда у лорда Рэдли, барон заговорил об успехе и о том, что для достижения его в наше время есть точные правила, что это совершенно точная наука. Своим вкрадчивым, тихим голосом он излагал нам самую страшную из всех философий — философию силы — и проповедовал нам самое чудесное из всех евангелий — евангелие золота. Должно быть, он заметил, какое впечатление произвел на меня, потому что спустя несколько дней я получил от него письмо, в котором он приглашал меня зайти. Он жил тогда на Парк-лейн в том доме, где сейчас живет лорд Вулком. Я помню, как он меня встретил — со странной улыбкой на своих бледных, изогнутых губах, как повел меня в свою великолепную картинную галерею, показал мне свои гобелены, эмали, драгоценные камни, резные изделия из слоновой кости — дал мне почувствовать всю прелесть роскоши, среди которой жил, а затем сказал, что роскошь — это только фон, только декорация в пьесе, а единственное, ради чего стоит жить,— это власть, власть над другими людьми, власть над миром, что это высшее наслаждение, доступное человеку, и единственная радость, которая никогда не приедается. И что в наше время путь к власти только один — богатство!

Лорд Горинг *(медленно, упирая на каждое слово)*. Очень мелкая философия.

Сэр Роберт Чилтерн. Тогда я так не думал. Да и сейчас не думаю. Богатство дало мне огромную силу. В самом начале жизни оно дало мне свободу, а свобода — это все. Вы никогда не были бедны, и вам

незнакомо честолюбие. Вам не понять, какие горизонты открыл передо мною барон. Людям редко выпадает такая удача.

Лорд Горинг. К счастью для них, если судить по результатам. Но скажите, как он все-таки уговорил вас сделать этот... эту... ну, одним словом, то, что вы сделали?

Сэр Роберт Чилтерн. Уже прощаясь со мною, он сказал, что, если я когда-нибудь смогу доставить ему ценные сведения — никому еще не известные и действительно ценные,— он сделает меня очень богатым человеком. Я был тогда ослеплен блестящими перспективами, которыми он меня поманил, а честолюбие и жажда власти во мне были непомерные. Месяца полтора спустя через мои руки проходили некоторые секретные документы...

Лорд Горинг *(глядя на ковер у своих ног)*. Правительственные документы?

Сэр Роберт Чилтерн. Да.

Лорд Горинг *(вздыхает, потом проводит рукой по лбу и поднимает глаза)*. Не думал я, Роберт, что вы — именно вы — окажетесь таким слабым... и не устоите перед соблазном.

Сэр Роберт Чилтерн. Слабым? А, бросьте. Мне противно слушать эти избитые слова. Противно, когда я сам говорю это о других. Слабым? Вы в самом деле думаете, что только слабые люди поддаются соблазну? Уверяю вас, есть такие страшные соблазны, что для того, чтобы им поддаться, нужна сила, сила и мужество. Поставить всю жизнь на карту, всем рискнуть в одно мгновение — все равно, ради власти или ради удовольствия,— нет, это не слабость! Для этого нужно дьявольское мужество. У меня оно было. В тот же вечер я сел и написал письмо барону Арнгейму — то самое письмо, что сейчас в руках у этой женщины. Он нажил на этом без малого миллион.

Лорд Горинг. А вы?

Сэр Роберт Чилтерн. Я получил от него сто десять тысяч фунтов.

Лорд Горинг. Вы продешевили, Роберт.

Сэр Роберт Чилтерн. Нет. Эти деньги дали мне именно то, чего я хотел: власть над другими людьми. Я тотчас прошел в парламент. Барон и после время от времени давал мне финансовые советы. За пять лет я почти утроил свое состояние. Мне все удавалось,

за что я ни брался. Во всем, связанном с деньгами, мне так везло, что иногда даже страшно становилось. Помню, я где-то прочитал, в какой-то старинной книге, что когда боги хотят погубить человека, они исполняют его желания.

Лорд Горинг. И вы никогда не жалели о том, что сделали?

Сэр Роберт Чилтерн. Нет. Я боролся оружием своего времени — и победил.

Лорд Горинг. Вам казалось, что вы победили.

Сэр Роберт Чилтерн. Да, тогда мне так казалось. (*После продолжительного молчания.*) Вы, верно, презираете меня, Артур, теперь, когда я вам все рассказал.

Лорд Горинг *(с глубоким чувством).* Мне жаль вас, Роберт, жаль от всего сердца.

Сэр Роберт Чилтерн. Не скажу, чтобы я когда-нибудь испытывал угрызения совести. Во всяком случае, не в обычном смысле этого слова. Нет. Но я много раз пытался откупиться... умилостивить судьбу. За эти годы я пожертвовал на благотворительные цели вдвое больше, чем получил тогда от барона Аргейма.

Лорд Горинг *(поднимает к нему глаза).* На благотворительность! Бог мой! Сколько зла вы, должно быть, натворили, Роберт!

Сэр Роберт Чилтерн. Не говорите так, Артур. Не надо.

Лорд Горинг. Простите, Роберт. Я постоянно говорю чего не надо. Должно быть, потому, что обычно говорю то, что думаю. А в наше время это рискованно. Люди все понимают наоборот. Ну, а что касается этой скверной истории, вы можете рассчитывать на мою помощь. Сделаю все, что смогу. Да вы и сами это знаете.

Сэр Роберт Чилтерн. Спасибо, Артур, спасибо. Но что делать? Что тут можно сделать?

Лорд Горинг *(откидывается на спинку кресла, засунув руки в карманы).* Гм! Вообще-то говоря, англичане терпеть не могут, если человек твердит, что он прав, но очень любят, если он кается в своих ошибках. Это у нас неплохая черта. Но в вашем случае, Роберт, покаяние не годится. Эти деньги... вы простите меня, Роберт, но из-за этих денег получается как-то... щекотливо. Кроме того, если вы во всем покаетесь, вы уже никогда не сможете проповедовать

нравственность. А в Англии, если человек не может по крайней мере два раза в неделю разглагольствовать о нравственности перед обширной и вполне безнравственной аудиторией, политическое поприще для него закрыто. В смысле профессии ему остается только ботаника или церковь. Нет, каяться вам нельзя. Это вас погубит.

Сэр Роберт Чилтерн. Да, это меня погубит. Артур, мне остается только одно: бороться до конца!

Лорд Горинг *(встает)*. Я ждал, что вы это скажете, Роберт. Да! Бороться! И начать надо с того, что все рассказать жене.

Сэр Роберт Чилтерн. Этого я не могу.

Лорд Горинг. Роберт, поверьте мне, вы не правы.

Сэр Роберт Чилтерн. Не могу. Это убьет ее любовь ко мне. Лучше расскажите мне об этой женщине, миссис Чивли. Как мне защититься от нее? Вы ведь, кажется, ее раньше знали?

Лорд Горинг. Да.

Сэр Роберт Чилтерн. Хорошо знали?

Лорд Горинг *(поправляет галстук)*. Настолько плохо, что чуть было не женился на ней, когда гостил у Тенби. Наша помолвка продолжалась... дай бог памяти... кажется, трое суток.

Сэр Роберт Чилтерн. А почему расстроилась?

Лорд Горинг *(небрежно)*. Сейчас уж не помню. Да это и не важно. Кстати, вы не пробовали предлагать ей денег? Когда-то она была очень падкой на деньги.

Сэр Роберт Чилтерн. Пробовал. Я предлагал ей любую сумму, какую она назовет. Она отказалась.

Лорд Горинг. А! Выходит, чудесное евангелие золота не всесильно? Богатые не все могут?

Сэр Роберт Чилтерн. Да, выходит, что не все. Вы правы. Артур, я чувствую — мне не избежать публичного позора. Это будет, будет! Раньше я не знал, что такое страх. Теперь знаю. Как будто ледяная рука сжимает тебе сердце. Как будто оно бьется в пустоте и все слабее, слабее... вот-вот остановится...

Лорд Горинг *(ударяет кулаком по столу)*. Роберт, вы должны бороться с ней! Бороться с ней до конца!

Сэр Роберт Чилтерн. Но как?

Лорд Горинг. Пока еще не знаю. Понятия не имею. Но у каждого есть слабое место. Каждый в чем-нибудь да уязвим. *(Подходит к камину и разглядывает себя в зеркале.)* Мой отец говорит, что даже у меня есть недостатки. Может быть. Не знаю.

Сэр Роберт Чилтерн. В борьбе с миссис Чивли я имею право пускать в ход любое оружие? Как вы считаете?

Лорд Горинг *(все еще глядя в зеркало).* На вашем месте я не стал бы проявлять чрезмерную щепетильность. Она сама отнюдь не беззащитная овечка.

Сэр Роберт Чилтерн *(садится к столу и берет перо).* Ну так я сейчас же пошлю шифрованную телеграмму в наше посольство в Вене с просьбой сообщить, что им о ней известно. Может быть, за ней водятся какие-нибудь грешки, разоблачения которых она побоится.

Лорд Горинг *(поправляя цветок в петлице).* По-моему, миссис Чивли одна из тех весьма современных женщин, которые считают, что новый скандальчик им так же к лицу, как новая шляпка, и выставляют то и другое напоказ каждый день на прогулке в парке в пять тридцать вечера. Я уверен, что она обожает скандалы, и если чем огорчается, так только тем, что их у нее еще недостаточно.

Сэр Роберт Чилтерн *(пишет).* Почему вы так думаете?

Лорд Горинг. А видите ли, вчера на ней румян было очень много, а платья очень мало. В женщине это всегда признак отчаяния.

Сэр Роберт Чилтерн *(звонит).* Но телеграфировать в Вену все-таки стоит?

Лорд Горинг. Спросить всегда стоит. Отвечать — не всегда.

Входит Мэсон.

Сэр Роберт Чилтерн. Мистер Траффорд у себя?

Мэсон. Да, сэр Роберт.

Сэр Роберт Чилтерн *(вкладывает записку в конверт и тщательно его заклеивает).* Скажите ему, чтобы сейчас же зашифровал это и отослал. Немедленно.

Мэсон. Слушаю, сэр Роберт.

Сэр Роберт Чилтерн. Постойте. Дайте сюда. *(Что-то надписывает на конверте и возвращает Мэсону.)*

Мэсон уходит с письмом.

Видно, она имела какую-то власть над бароном Аргеймом. Интересно почему.

Лорд Горинг *(усмехаясь)*. М-мда. Интересно.

Сэр Роберт Чилтерн. Я буду бороться с ней насмерть! Только бы моя жена ничего не узнала.

Лорд Горинг *(с силой)*. Вы все равно должны с ней бороться!

Сэр Роберт Чилтерн *(с жестом отчаяния)*. Если жена узнает, мне не для чего будет бороться. Так вот — как только я получу ответ из Вены, я вам сообщу. Надежда очень слабая, но я все-таки надеюсь. Буду бороться с ней ее собственным оружием. Это только справедливо. Уверен, что у нее есть прошлое.

Лорд Горинг. Как у большинства красивых женщин. Вопрос в том, какое? На прошлое тоже есть мода, как и на платья. Возможно, что прошлое миссис Чивли просто несколько слишком... декольтировано. А это теперь модно. Кроме того, дорогой мой Роберт, не очень-то надейтесь, что вам удастся запугать миссис Чивли. Насколько я понимаю, она не из пугливых. Она пережила всех своих кредиторов, и она никогда не теряет голову.

Сэр Роберт Чилтерн. Я сейчас только и живу надеждой. Хватаюсь за соломинку. Я как человек на тонущем корабле. Вода уже поднялась ему до колен, кругом ревет буря... Тсс! Моя жена! Ее голос.

Входит леди Чилтерн, одетая как для прогулки.

Леди Чилтерн. Здравствуйте, лорд Горинг.

Лорд Горинг. Здравствуйте, леди Чилтерн. Вы были в парке?

Леди Чилтерн. Нет, я прямо с заседания либеральной женской ассоциации, где, кстати, твое имя, Роберт, было встречено громкими аплодисментами. А теперь я пришла пить чай. *(Лорду Горингу.)* Вы еще посидите, да? И выпьете с нами чаю.

Лорд Горинг. Немножко еще посижу, спасибо.

Леди Чилтерн. Я сейчас приду, только сниму шляпу.

Лорд Горинг *(очень серьезно)*. Пожалуйста, не снимайте. Она вам так идет. Прелестная шляпка. Надеюсь, либеральная женская ассоциация встретила ее громкими аплодисментами.

Леди Чилтерн *(улыбаясь).* У нас есть дела поважнее, чем разглядывать чужие шляпки, лорд Горинг.

Лорд Горинг. Не может быть! Какие же?

Леди Чилтерн. Ах, очень скучные, очень полезные, но и очень увлекательные дела. Например: фабричное законодательство, восьмичасовой рабочий день, женские избирательные права... одним словом, все для вас совершенно неинтересное. Вот о чем мы говорим на наших заседаниях, лорд Горинг.

Лорд Горинг. И никогда — о шляпках?

Леди Чилтерн *(с притворным негодованием).* Никогда! *(Уходит в дверь, ведущую в ее будуар.)*

Сэр Роберт Чилтерн *(берет лорда Горинга за руку).* Вы настоящий друг, Артур! Настоящий друг!

Лорд Горинг. Пока я еще очень мало сделал для вас, Роберт. Ничем не сумел вам помочь. Я весьма разочарован в себе.

Сэр Роберт Чилтерн. Вы помогли мне сказать правду. Это уже кое-что. До сих пор я никому не смел ее сказать, и она меня душила...

Лорд Горинг. Ну, правда — это такая вещь, от которой я всегда стараюсь как можно скорее избавиться. Дурная привычка, кстати сказать. Очень вредит мне в глазах более пожилых членов клуба. Они говорят, что это у меня от самомнения. Может быть, и так.

Сэр Роберт Чилтерн. Как я хотел бы всегда говорить правду... жить по правде! Да, выше этого ничего нет — жить по правде! *(Вздыхает и идет к двери.)* Мы с вами еще увидимся, Артур?

Лорд Горинг. Конечно. Когда хотите. Сегодня я собираюсь на бал холостяков, если не подвернется ничего поинтересней. Но я загляну к вам завтра утром. А если захотите еще сегодня меня видеть, пошлите записочку ко мне на Керзон-стрит.

Сэр Роберт Чилтерн. Спасибо.

Когда он уже у двери, из будуара выходит леди Чилтерн.

Леди Чилтерн. Ты уходишь, Роберт?

Сэр Роберт Чилтерн. Мне нужно написать несколько писем, дорогая.

Леди Чилтерн *(идет к нему).* Ты слишком много работаешь. Совсем не думаешь о себе, а у тебя такой усталый вид!

Сэр Роберт Чилтерн. Это ничего, дорогая. Пустяки! *(Целует ее и уходит.)*

Леди Чилтерн *(лорду Горингу)*. Садитесь, пожалуйста. Я так рада, что вы зашли. Мне нужно поговорить с вами... Только не о шляпках и не о женской ассоциации. Первое вас слишком интересует, а второе — недостаточно.

Лорд Горинг. Вы хотите поговорить со мною о миссис Чивли?

Леди Чилтерн. Да. Вы угадали. Вчера, после того как вы ушли, я выяснила, что она говорила правду. Разумеется, я сейчас же заставила Роберта написать ей и отказаться от своего обещания.

Лорд Горинг. Да, он мне говорил.

Леди Чилтерн. Если б он сдержал свое обещание, это было бы первое пятно на его незапятнанной репутации. А Роберт должен быть безупречен. Он не то, что другие. Он не может поступать, как другие.

Она смотрит на лорда Горинга. Тот молчит.

Вы не согласны со мной? Вы же лучший друг Роберта. Вы наш самый близкий друг, лорд Горинг. Никто, кроме меня, не знает Роберта лучше, чем вы. У него нет тайн от меня, и, я думаю, у него нет тайн от вас.

Лорд Горинг. Да. от меня у него нет тайн. То есть так мне кажется.

Леди Чилтерн. Так разве я не права в моем мнении о нем? Я знаю, что я права. Но все-таки скажите мне откровенно!

Лорд Горинг *(глядя ей в глаза)*. Совершенно откровенно?

Леди Чилтерн. Конечно. Ведь вам же нечего скрывать?

Лорд Горинг. Нечего. Но, дорогая моя леди Чилтерн, я думаю, если уж позволите мне говорить откровенно, что в практической жизни...

Леди Чилтерн *(с улыбкой)*. О которой вы так мало знаете, лорд Горинг...

Лорд Горинг. О которой я ничего не знаю из собственного опыта, но кое-что знаю из наблюдений над другими людьми. Я думаю, что в практической жизни успех — большой успех — всегда требует некоторой неразборчивости в средствах. Честолюбие всегда несколько неразборчиво в средствах. Если человек твердо решил добраться до вершины, его ничто не

остановит. Надо карабкаться по круче — он будет карабкаться. Надо пройти по грязи...

Леди Чилтерн. Ну?..

Лорд Горинг. Он пройдет по грязи. Я, конечно, говорю так, вообще.

Леди Чилтерн *(с ударением)*. Надеюсь. Почему вы так странно смотрите на меня, лорд Горинг?

Лорд Горинг. Леди Чилтерн, я часто думал... что вы слишком уж строги в своих суждениях. Мне кажется, вы... слишком уж нетерпимы. А ведь если покопаться, так у каждого есть слабости... а то и что-нибудь похуже. Допустим, например, что какой-нибудь видный политический деятель — ну, хотя бы мой отец, или лорд Мертон, или Роберт — когда-то давно написал кому-то опрометчивое письмо...

Леди Чилтерн. Что значит — опрометчивое?

Лорд Горинг. Такое, которое его сильно компрометирует. Я, конечно, разбираю воображаемый случай.

Леди Чилтерн. Роберт не способен на опрометчивый поступок. Тем более на дурной поступок.

Лорд Горинг *(после долгого молчания)*. Всякий способен на опрометчивый поступок. И всякий способен на дурной поступок.

Леди Чилтерн. Вы стали пессимистом, лорд Горинг? А что скажут все прочие денди, ваши подражатели? Им всем придется надеть траур.

Лорд Горинг *(встает)*. Нет, леди Чилтерн, я не пессимист. Да я и не знаю толком, что такое пессимизм. Но я очень хорошо знаю, что понять людей можно, только если иметь к ним милосердие. Жить с людьми можно, только имея к ним милосердие. Потому что любовь, а не немецкая философия — основа жизни. По крайней мере нашей земной жизни. Не знаю, как насчет небесной. И я хочу кое-что сказать вам, леди Чилтерн. Если когда-нибудь вас постигнет беда... если вы окажетесь в трудном положении... помните, что я всегда готов вам помочь. Доверьтесь мне — и я сделаю все, что в моих силах. Напишите мне только два слова — «хочу видеть», и я брошу все и поспешу к вам. Или придите ко мне сами. Но очень прошу вас — сейчас же обратитесь ко мне.

Леди Чилтерн *(удивленно смотрит на него)*. Как серьезно вы это говорите, лорд Горинг! Никогда еще не видела вас серьезным!

Лорд Горинг *(смеется).* Простите, леди Чилтерн. Больше не буду.

Леди Чилтерн. Но вы мне нравитесь, когда вы серьезны.

Входит Мейбл Чилтерн в восхитительном платье.

Мейбл Чилтерн. Милая Гертруда, не говорите таких нелепостей лорду Горингу! Серьезность ему совсем не идет. Здравствуйте, лорд Горинг. И пожалуйста, будьте как можно легкомысленней.

Лорд Горинг *(оборачивается к ней).* Я бы рад, мисс Мейбл... но сегодня что-то не выходит. Выбился из колеи. Да мне уж и пора уходить.

Мейбл Чилтерн. Как раз когда я пришла! Что за ужасные манеры! Вы очень плохо воспитаны.

Лорд Горинг. Очень.

Мейбл Чилтерн. Жаль, что не я вас воспитывала.

Лорд Горинг. И мне жаль.

Мейбл Чилтерн. А теперь уж, наверно, поздно?

Лорд Горинг *(улыбается).* А может, и нет.

Мейбл Чилтерн. Вы завтра поедете кататься?

Лорд Горинг. Да. В десять.

Мейбл Чилтерн. Смотрите не забудьте.

Лорд Горинг. Как я могу забыть! Кстати, леди Чилтерн, сегодня в «Морнинг пост» нет списка ваших вчерашних гостей. Должно быть, их вытеснил отчет о заседании городского совета, или о церковной конференции, или еще что-нибудь столь же скучное. У вас не сохранился список приглашенных? Я бы хотел посмотреть. У меня на то есть особые причины.

Леди Чилтерн. Хорошо, я скажу мистеру Траффорду. Он вам пришлет.

Лорд Горинг. Благодарю вас.

Мейбл Чилтерн. Томми самый полезный человек в Лондоне.

Лорд Горинг *(оборачивается к ней).* А кто самый очаровательный?

Мейбл Чилтерн *(с торжеством).* Я!

Лорд Горинг. Вот умница, что догадались. *(Берет свою шляпу и трость.)* До свидания, леди Чилтерн. Вы не забудете то, что я вам сказал?

Леди Чилтерн. Нет, не забуду. Но я не понимаю, почему вы это сказали.

Лорд Горинг. Я и сам не очень-то понимаю. До свидания, мисс Мейбл.

Мейбл Чилтерн *(с гримаской разочарования).* А я хотела рассказать... у меня сегодня было четыре изумительных приключения. Даже четыре с половиной. Остались бы послушать.

Лорд Горинг. Целых четыре и даже с половиной! Это уж эгоизм с вашей стороны. Ничего не оставить на мою долю!

Мейбл Чилтерн. Но я вовсе не хочу, чтобы у вас были приключения. Это вам вредно.

Лорд Горинг. В первый раз вы жестоки ко мне, мисс Мейбл. Но как мило вы это сказали! Так, значит, завтра в десять.

Мейбл Чилтерн. Ровно в десять.

Лорд Горинг. Ровно. Но не берите с собой мистера Траффорда.

Мейбл Чилтерн *(тряхнув головой).* Нет, Томми я не возьму. Томми сейчас в немилости.

Лорд Горинг. Рад это слышать. *(Кланяется и уходит.)*

Мейбл Чилтерн. Гертруда, поговорили бы вы с Томми Траффордом.

Леди Чилтерн. В чем на этот раз провинился бедный мистер Траффорд? Роберт говорит, что лучшего секретаря у него еще не бывало.

Мейбл Чилтерн. Томми опять сделал мне предложение. Он только это и делает. Вчера он сделал мне предложение во время концерта, когда я была совершенно беззащитна, потому что исполняли какое-то сложное трио и я не смела даже рот открыть. Музыканты ведь такой неразумный народ. Хотят, чтобы мы были немы, как раз когда больше всего хочется быть глухим. А сегодня утром он сделал мне предложение на улице перед этой кошмарной статуей Ахиллеса. Возле этого произведения искусства постоянно происходят какие-нибудь ужасы. Не понимаю, куда смотрит полиция. За вторым завтраком я по блеску в глазах Томми поняла, что он опять собирается сделать мне предложение. Но я вовремя его остановила, заявив, что я биметаллистка. Я, правда, не знаю, что такое биметаллизм. И, по-моему, никто не знает. Но это заставило Томми замолчать на добрых десять минут. Вид у него был совсем растерянный. Еще если б он как-нибудь поинтереснее делал мне предложе-

ние — ну, например, громко, во весь голос,— это хоть произвело бы впечатление на окружающих. А то шепчет на ухо, никому не слышно. Когда Томми впадает в сентиментальность, он сейчас же начинает говорить, как врач у одра больного. Я очень люблю Томми, но у него совершенно устарелая манера делать предложение. Поговорите с ним, Гертруда. Объясните ему, что незачем делать предложение чаще чем раз в неделю, и если уж делать, так по крайней мере во всеуслышание.

Леди Чилтерн. Мейбл, милочка, не болтай вздора. Ты знаешь, Роберт очень высоко ценит мистера Траффорда. Он считает, что у него блестящее будущее.

Мейбл Чилтерн. Вот уж никогда бы не вышла замуж за человека с блестящим будущим!

Леди Чилтерн. Мейбл!

Мейбл Чилтерн. Я знаю, знаю. Вы сами вышли замуж за человека с будущим. Ну так ведь Роберт гений, а у вас такая возвышенная, самоотверженная натура. Вы даже гениев можете выносить. А я ни к чему такому не способна, и Роберт единственный гений, которого я выношу. А как правило, они невыносимы. Очень уж много говорят, правда? Дурная привычка! И всегда думают о себе, когда я хочу, чтобы они думали обо мне. Ох, мне уже пора на репетицию к леди Бэзилдон. Вы не забыли, что мы устраиваем живые картины? Торжество чего-то... не помню чего. Надеюсь, это будет мое торжество. Единственное торжество, которое меня сейчас интересует. *(Целует леди Чилтерн и уходит, но тут же бегом возвращается.)* Гертруда, знаете, кто к вам приехал? Эта противная миссис Чивли! В сногсшибательном платье. Вы ее приглашали?

Леди Чилтерн *(встает)*. Миссис Чивли? Ко мне? Не может быть!

Мейбл Чилтерн. А я вам говорю, это она — в натуральную величину, хотя и не совсем в натуральном виде. Она уже поднимается по лестнице.

Леди Чилтерн. Ты иди, Мейбл, не задерживайся. Не забывай, что тебя ждет леди Бэзилдон.

Мейбл Чилтерн. Я только поздороваюсь с леди Маркби. Она такая милая. Я люблю, когда она меня бранит.

Входит Мэсон.

Мэсон *(докладывает).* Леди Маркби. Миссис Чивли.

Входят леди Маркби и миссис Чивли.

Леди Чилтерн *(идет им навстречу).* Дорогая леди Маркби, как я рада вас видеть! *(Пожимает руку леди Маркби и холодно кланяется миссис Чивли.)* Садитесь, пожалуйста, миссис Чивли.

Миссис Чивли. Благодарю вас. А это мисс Чилтерн? Я очень хотела бы с ней познакомиться.

Леди Чилтерн. Мейбл, миссис Чивли хочет познакомиться с тобой.

Мейбл Чилтерн коротко кивает.

Миссис Чивли *(садится).* Вчера на вас было прелестное платье, мисс Чилтерн. Такое простенькое... и приличное.

Мейбл Чилтерн. Неужели? Непременно скажу моей портнихе. То-то она удивится! До свидания, леди Маркби!

Леди Маркби. Уже уходите?

Мейбл Чилтерн. К сожалению. Спешу на репетицию. Я там должна стоять на голове в каких-то живых картинах.

Леди Маркби. На голове, дитя мое? Не советую. Это, кажется, очень вредно. *(Садится на диван рядом с леди Чилтерн.)*

Мейбл Чилтерн. Но это с благотворительной целью, леди Маркби. В пользу недостойных бедняков. Единственная категория бедняков, которым я сочувствую. Я у них секретарь, а Томми Траффорд — казначей.

Миссис Чивли. А лорд Горинг?

Мейбл Чилтерн. Лорд Горинг — председатель.

Миссис Чивли. Самый подходящий человек для этой роли — если только он не изменился с тех пор, как я его знала.

Леди Маркби *(задумчиво).* Вы очень современная девица, Мейбл. Пожалуй, даже чересчур современная. А это опасно. Можно вдруг выйти из моды. Я видела тому много примеров.

Мейбл Чилтерн. Какая ужасная перспектива!

Леди Маркби. Ах, милочка, вам-то нечего бояться. Вы всегда будете хорошенькой. А это самая прочная мода. И единственная, которую установила Англия.

Мейбл Чилтерн *(делает реверанс)*. Благодарю вас, леди Маркби, за Англию... и за себя. *(Уходит.)*

Леди Маркби *(обращаясь к леди Чилтерн)*. Милая Гертруда, мы, собственно, заехали узнать, не нашлась ли бриллиантовая брошка миссис Чивли.

Леди Чилтерн. У нас?

Миссис Чивли. Да. Я хватилась ее, когда вернулась к себе в отель, и подумала — может быть, я ее здесь обронила.

Леди Чилтерн. Я ничего об этом не слышала. Но сейчас позову дворецкого и спрошу. *(Звонит.)*

Миссис Чивли. Ах, ради бога, не беспокойтесь, леди Чилтерн. Наверно, я потеряла ее в театре, еще до того, как приехала к вам.

Леди Маркби. Да, наверно, в театре. Мы все теперь так суетимся и толкаемся, что удивительно, как на нас еще хоть что-нибудь остается к концу вечера. Мне всегда кажется, когда я выхожу из чьей-нибудь гостиной, что на мне ровно ничего не осталось, кроме обрывков приличной репутации, и только одно это мешает представителям низших классов делать иронические замечания, заглядывая в окна кареты. По-моему, светское общество страдает от перенаселения. Надо бы организовать правильную эмиграцию. Выдавать им подъемные, что ли. Кто-нибудь должен этим заняться. Это будет очень полезное дело.

Миссис Чивли. Я совершенно с вами согласна, леди Маркби. Я шесть лет не была в Лондоне, и, должна сказать, светское общество стало с тех пор ужасно пестрым. Всюду встречаешь каких-то странных субъектов.

Леди Маркби. Сущая правда, милочка. Но, знаете, с ними можно не знакомиться. Я, например, незнакома с доброй половиной из тех, кто бывает у меня в доме. И вряд ли хотела бы познакомиться, судя по тому, что я о них слышу.

Входит Мэсон.

Леди Чилтерн. Какая она на вид, эта брошка, что вы потеряли, миссис Чивли?

Миссис Чивли. Змейка из бриллиантов, а в голове у нее рубин. Довольно крупный.

Леди Маркби. А не сапфир? Вы, кажется, говорили — сапфир.

Миссис Чивли *(улыбаясь)*. Нет, леди Маркби. Рубин.

Леди Маркби *(кивает)*. А-а, рубин. Очень... мило.

Леди Чилтерн. Мэсон, когда убирали сегодня утром, не находилась бриллиантовая брошка с рубином?

Мэсон. Нет, миледи.

Миссис Чивли. Право же, это не важно, леди Чилтерн. Мне так совестно, что я вас затрудняю.

Леди Чилтерн *(холодно)*. Какое же затруднение. Это все, Мэсон. Можете подавать чай.

Мэсон уходит.

Леди Маркби. Всегда так досадно, когда что-нибудь теряешь. Помню, раз в Бате, много лет назад, я потеряла в курзале очень красивый браслет с камеей, который мне подарил сэр Джон. И больше он, кажется, ничего мне не дарил. За последнее время он очень изменился к худшему. Эта ужасная палата общин невероятно портит наших мужей. Нет ничего губительнее для семейного счастья, чем парламентская деятельность. То есть не было, пока не придумали этот еще худший кошмар, который называется более высокое образование для женщин.

Леди Чилтерн *(улыбается)*. В нашем доме это ересь, леди Маркби. Роберт горячий сторонник более высокого образования для женщин. И я тоже.

Миссис Чивли. Более высокое образование у мужчин — вот на что я хотела бы поглядеть. Им его так недостает.

Леди Маркби. Вы совершенно правы, милочка. Но боюсь, что это безнадежно. По-моему, мужчина не способен к развитию. Он уже достиг высшей точки — и это не бог знает как высоко, не правда ли? А что касается женщин — ну, вы, Гертруда, принадлежите к молодому поколению, и, наверно, все это правильно, раз вы это одобряете. В мое время было иначе. Нас учили ничего не понимать. В этом и заключалась прежняя система воспитания. И это было очень занятно. Мы с сестрой столько должны были не

понимать — даже перечислить невозможно. Я всегда сбивалась. А современные женщины, говорят, все понимают.

Миссис Чивли. Кроме своих мужей. Это единственное, чего не понимают современные женщины.

Леди Маркби. И очень хорошо, что не понимают. А то вряд ли уцелел бы хоть один счастливый брак. К вам, Гертруда, это, конечно, не относится. У вас примерный супруг. Хотела бы я о себе сказать то же самое! Но с тех пор как сэр Джон стал регулярно посещать все парламентские заседания, чего в доброе старое время он никогда не делал, у него выработался совершенно чудовищный язык. Ему все кажется, что он в парламенте, и поэтому, когда он начинает рассуждать о положении сельскохозяйственных рабочих, или о методистской церкви, или еще о чем-нибудь, столь же непристойном, мне приходится высылать слуг из комнаты. Ведь неприятно видеть, как твой собственный дворецкий, прослуживший у тебя двадцать три года, краснеет, стоя возле буфета, а лакеи корчатся по углам, словно акробаты в цирке. И не знают, чем все это кончится, если только сэра Джона не введут немедленно в палату лордов. Тогда уж он перестанет интересоваться политикой, правда? Палата лордов такое здравомыслящее учреждение. Настоящие джентльмены. Но сейчас сэр Джон — это тяжкое испытание. Не дальше как сегодня за завтраком он вдруг стал в позу перед камином и принялся во весь голос взывать к английскому народу. Я, конечно, сейчас же встала из-за стола, как только допила вторую чашку чаю. Но его скандальные речи были слышны всему дому. Неужели и ваш Роберт такой?

Леди Чилтерн. Но я сама очень интересуюсь политикой, леди Маркби. Я очень люблю, когда Роберт говорит о политике.

Леди Маркби. Неужели? Ну, я все-таки надеюсь, что он хоть не так увлекается Синими книгами. Сэра Джона от них не оторвешь. А это, по-моему, никому не может быть полезно.

Миссис Чивли *(томно)*. Я никогда не читала Синих книг. Я предпочитаю книги... в желтых обложках.

Леди Маркби *(с полной наивностью)*. Ну да, желтый гораздо более веселый цвет. Я в молодости часто носила желтое. И теперь бы носила, но

сэр Джон постоянно делает такие бестактные замечания о моих туалетах. А что мужчины в этом понимают!..

Миссис Чивли. Наоборот, леди Маркби, они-то и есть настоящие судьи.

Леди Маркби. Да-а?.. Гм! Вот уж не сказала бы, если судить по тем шляпам, что они носят.

Входит дворецкий в сопровождении лакея. Они расставляют чайный прибор на столике возле леди Чилтерн.

Леди Чилтерн. Можно предложить вам чаю, миссис Чивли?

Миссис Чивли. Благодарю вас.

Лакей подает ей чашку на подносе.

Леди Чилтерн. А вам, леди Маркби?

Леди Маркби. Нет, дорогая, спасибо.

Слуги уходят.

Дело в том, что я обещала заглянуть на минутку к бедной леди Бранкастер. У нее ужасное несчастье. Ее дочь — и ведь такая милая девушка, вполне благовоспитанная! — выходит замуж за помощника приходского священника в Шропшире. Грустно, очень грустно. Не понимаю я этого теперешнего увлечения сельским духовенством. В мое время они, конечно, иногда попадались нам на глаза — они же там всюду шныряют, как кролики,— но мы не обращали на них ни малейшего внимания. А теперь, говорят, светское общество в провинции ими просто кишит. Я считаю, что это неуважение к религии. А старший сын леди Бранкастер поссорился с отцом, и мне рассказывали, что, когда они встречаются в клубе, лорд Бранкастер всегда прячется за финансовым листком «Таймса». Но теперь это сплошь да рядом, так что всем клубам на Сент-Джеймс-стрит пришлось увеличить подписку на «Таймс» — столько развелось сыновей, которые не желают иметь ничего общего со своими отцами, и столько отцов, которые не разговаривают с сыновьями. По-моему, это очень плохо.

Миссис Чивли. По-моему, тоже. Отцы могли бы многому научиться от своих сыновей.

Леди Маркби. Вы думаете? Чему же?

Миссис Чивли. Искусству жить. Это единственное изящное искусство, созданное нашим поколением.

Леди Маркби. Ох, насчет *этого* искусства лорд Бранкастер и сам не промах. Его бедная жена еще не все знает! *(К леди Чилтерн.)* Вы ведь знакомы с леди Бранкастер, милочка?

Леди Чилтерн. Очень мало. Она прошлой осенью была у Лэнгтонов, когда и мы тоже там гостили.

Леди Маркби. Ну, значит, вы ее видели. Как все тучные женщины, она выглядит так, словно счастливее ее нет на свете. А между тем у них в семье столько трагедий! Не одна эта история со священником. Ее родная сестра, миссис Джекилл, тоже была очень несчастлива в браке и, к сожалению, не по своей вине. И так отчаялась под конец, что даже пошла... вот не помню, не то в монастырь, не то в оперетку. Ах нет, она занялась декоративными вышивками. В общем, потеряла всякий вкус к жизни *(Встает.)* А теперь, Гертруда, разрешите, я вам подкину миссис Чивли, а через четверть часа за ней заеду. А может быть, дорогая миссис Чивли, вы посидите в коляске, пока я буду у леди Бранкастер? Мне ведь только выразить ей свое соболезнование, так что я не задержусь.

Миссис Чивли. Я ничего не имею против того, чтобы посидеть в коляске, если будет кому на меня смотреть.

Леди Маркби. Да вот, говорят, этот священник там все время крутится.

Миссис Чивли. Спасибо. Я никогда не любила... пресных блюд.

Леди Чилтерн *(встает)*. Я буду очень рада, если миссис Чивли посидит у нас. Мне хотелось бы с ней поговорить.

Миссис Чивли. Благодарю вас, леди Чилтерн, вы так любезны! Я тоже буду счастлива с вами побеседовать.

Леди Маркби. Ну да, у вас же есть общие воспоминания. О детстве, о школьных годах. Так приятно! До свидания, милая Гертруда. Вы будете сегодня у леди Бонар? Она откопала какого-то нового гения. Он... вот забыла, что он делает. Кажется, ничего. Это большое облегчение, правда?

Леди Чилтерн. Мы с Робертом сегодня обедаем дома, а я и после никуда не поеду. Роберт, конечно, должен быть на вечернем заседании в парламенте. Но там не будет ничего интересного.

Леди Маркби. Обедаете дома? Наедине? Благоразумно ли это? Ах, я все забываю, что ваш муж исключение. Мой — общее правило. А ничто так не старит женщину, как все время иметь перед глазами общее правило. *(Уходит.)*

Миссис Чивли. Замечательная женщина эта леди Маркби, правда? Наговорит с три короба, а ничего не скажет. Она прямо создана быть оратором. Гораздо больше, чем ее муж, хоть он и типичный англичанин, неизменно скучный и по большей части грубый.

Леди Чилтерн продолжает стоять и ничего не отвечает. Долгая пауза. Затем глаза обеих женщин встречаются. Леди Чилтерн бледна, лицо строгое. Миссис Чивли усмехается.

Леди Чилтерн. Миссис Чивли, скажу вам откровенно: если бы я знала, кто вы, я вчера не пригласила бы вас к себе.

Миссис Чивли *(с вызывающей улыбкой).* Неужели?

Леди Чилтерн. Я не могла бы это сделать.

Миссис Чивли. Я вижу, вы за все эти годы ничуть не изменились, Гертруда.

Леди Чилтерн. Я никогда не меняюсь.

Миссис Чивли *(поднимает брови).* Так, значит, жизнь вас ничему не научила?

Леди Чилтерн. Она научила меня помнить, что человек, некогда совершивший бесчестный поступок, может опять совершить такой поступок и что таких людей надо избегать.

Миссис Чивли. И вы ко всем применяете это правило?

Леди Чилтерн. Ко всем без исключения.

Миссис Чивли. В таком случае мне очень жаль вас, Гертруда. Очень жаль.

Леди Чилтерн. Теперь вы, надеюсь, видите, что по многим причинам дальнейшее знакомство между нами невозможно.

Миссис Чивли *(откидывается в кресле).* Осуждаете меня, Гертруда? Да? Пожалуйста. Сколько вам угодно. Я не обижаюсь. Ведь это только поза, в которую мы становимся перед теми, кого не любим. Вы меня не любите, я знаю. А я всегда вас ненавидела. И все-таки пришла сюда, чтобы оказать вам услугу.

Леди Чилтерн *(презрительно)*. Должно быть, вроде той услуги, что вы вчера хотели оказать моему мужу? Слава богу, я избавила его от ваших услуг.

Миссис Чивли *(вскакивает)*. Так это вы заставили его написать мне это наглое письмо? Вы заставили его нарушить слово?

Леди Чилтерн. Да.

Миссис Чивли. Так сделайте же так, чтобы он его сдержал. Даю вам срок до завтрашнего утра. Если к этому времени он не заявит публично о своей готовности поддержать этот блестящий проект, в котором я заинтересована...

Леди Чилтерн. Эту мошенническую спекуляцию...

Миссис Чивли. Называйте ее как хотите. Ваш муж у меня в руках, и, если в вас есть хоть капля разума, вы заставите его сделать то, что я велю.

Леди Чилтерн *(идет к ней)*. Вы очень дерзки. Что общего у моего мужа с вами? С такой женщиной, как вы?

Миссис Чивли *(с горьким смехом)*. Да то, что мы с ним одного поля ягоды. Ваш муж сам бесчестный обманщик, вот почему нам с ним так легко столковаться. Между ним и вами — пропасть. А мы с ним ближе, чем друзья. Мы враги, скованные одной цепью. Одним и тем же преступлением.

Леди Чилтерн. Как вы смеете равнять себя с моим мужем? Как вы смеете грозить ему — или мне? Уходите из моего дома! Вы недостойны переступать мой порог!

Сзади входит сэр Роберт Чилтерн, слышит последние слова жены и видит, к кому они обращены. Он бледнеет как полотно.

Миссис Чивли. Вашего дома! Дома, купленного ценой бесчестья. Дома, в котором за все заплачено деньгами, полученными за предательство. *(Оборачивается и видит сэра Роберта Чилтерна.)* Спросите его, откуда у него богатство! Пусть он вам расскажет, как продал министерский секрет биржевому спекулянту. Узнайте от него, чему вы обязаны своим положением!

Леди Чилтерн. Это неправда! Роберт! Это неправда!

Миссис Чивли *(указывает на него пальцем).* Посмотрите на него! Что же он не отрицает, а? Не смеет!

Сэр Роберт Чилтерн. Уходите. Сейчас же. Вы уж сделали все, что могли.

Миссис Чивли. Все? Ну нет, я еще с вами не кончила. Ни с вами, ни с ней. Даю вам обоим срок до завтра. Если до завтра, до двенадцати часов дня, не будет сделано то, что я приказываю, весь мир узнает правду о карьере Роберта Чилтерна.

Сэр Роберт Чилтерн звонит. Входит Мэсон.

Сэр Роберт Чилтерн. Проводите миссис Чивли.

Миссис Чивли вздрагивает, как от удара. Затем с преувеличенной вежливостью кланяется леди Чилтерн; та не отвечает на поклон. Проходя мимо сэра Роберта Чилтерна, который стоит ближе к двери, миссис Чивли на мгновение останавливается и смотрит ему в лицо.

Потом выходит.

Слуга идет сзади и притворяет за собой дверь.

Супруги остаются одни. Леди Чилтерн стоит в оцепенении. Потом оборачивается и смотрит на мужа странным взглядом, как будто видит его впервые.

Леди Чилтерн. Ты продал государственную тайну за деньги. Ты начал жизнь с обмана. Ты построил свою карьеру на бесчестье. Скажи, что это неправда! Солги мне! Солги! Скажи, что это неправда!

Сэр Роберт Чилтерн. Это правда. Эта женщина сказала правду. Но, Гертруда, выслушай меня! Ты не знаешь, какое это было искушение... Позволь мне все рассказать! *(Идет к ней.)*

Леди Чилтерн. Не подходи ко мне. Не трогай меня. Ты вымарал меня в грязи. Все эти годы ты носил маску. Лживую, раскрашенную маску! Ты продался за деньги. Вором, вором быть и то лучше! Ты продал себя тому, кто дал больше. Тебя купили с аукциона. Ты лгал всему миру. А мне ты не хочешь солгать!..

Сэр Роберт Чилтерн. *(бросаясь к ней).* Гертруда! Гертруда!

Леди Чилтерн *(отстраняет его вытянутыми вперед руками).* Не говори... не говори ничего. Я не могу слышать твой голос... он пробуждает во мне воспоминания... страшные воспоминания... обо

всем, за что я тебя любила... о всех словах, которые ты мне говорил... и за которые я тебя полюбила. Я не хочу об этом помнить, теперь все это... мерзко мне. А как я тебя любила! Я молилась на тебя! Ты был для меня что-то высшее, вне повседневной жизни,— чистое, благородное, честное, без единого пятнышка. Я верила: мир стал лучше оттого, что ты живешь в нем, добродетель не пустое слово, потому что ты есть на свете. А теперь... Подумать только, кого я избрала своим идеалом! Идеалом всей моей жизни!

Сэр Роберт Чилтерн. Вот это и есть твоя ошибка. Твое заблуждение! Как у всех женщин. Почему вы, женщины, не можете любить нас такими, как мы есть, со всеми нашими недостатками? Зачем вы ставите нас на пьедестал? У нас у всех ноги из глины, как у женщин, так и у мужчин; но мужчина любит женщину, зная все ее слабости, все ее причуды и несовершенства,— и, может быть, за них-то он ее больше всего и любит. И это правильно. Потому что не тот нуждается в любви, кто силен, а тот, кто слаб. Вот когда мы раним себя или другие нас ранят, тогда должна прийти любовь и исцелить наши раны. А иначе зачем любовь? Истинная любовь прощает все преступления, кроме преступления против любви. Она освящает всякую жизнь, кроме жизни без любви. Такова любовь мужчины. Она шире, добрее, человечнее, чем любовь женщины. Вы думаете, что делаете из нас идеал. А вы только творите себе ложные кумиры. Ты из меня сотворила себе ложный кумир. А у меня недостало мужества сойти вниз, показать тебе мои раны, признаться в своих слабостях. Я боялся потерять твою любовь — и недаром,— потому что вот же я ее потерял! А чем все это кончилось? Вчера ты разбила мне жизнь. Да, разбила! То, чего требовала эта женщина, ничто по сравнению с тем, что она предлагала. Она предлагала мне безопасность, спокойствие, жизнь без страха. Грех моей юности, который я считал похороненным, вдруг встал передо мной — страшный, омерзительный — и схватил меня за горло. Я мог убить его, загнать обратно в могилу, изгладить самую память о нем, сжечь единственное свидетельство против меня. Ты мне помешала. Ты, ты, не кто другой, как ты, ты это знаешь. И теперь у меня нет ничего впереди — только публичный позор, гибель всех надежд, стыд, смех

толпы: одинокая жизнь где-нибудь в глухом углу, с клеймом позора и, может быть, такая же одинокая смерть средь общего презрения. Нет уж, пусть лучше женщины не делают из нас идеала! Пусть не воздвигают нам алтарей и не преклоняют перед нами колени! А не то они погубят еще много человеческих жизней — так же как ты, которую я так страстно любил, погубила мою жизнь! *(Уходит.)*

Леди Чилтерн бросается за ним, но дверь захлопывается. Бледная, растерянная, без сил, она стоит, качаясь, как стебель в воде. Ее простертые руки трепещут, как цветы на ветру. Потом она опускается на пол перед диваном и прячет лицо в подушки. Ее рыдания звучат жалобно и беспомощно, как плач ребенка.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Библиотека в доме лорда Горинга. Мебель и внутреннее убранство в стиле Адам. Направо дверь в холл, налево — в курительную. В задней стене двустворчатая дверь в гостиную. Топится камин. Дворецкий Фиппс раскладывает газеты на письменном столе. Главная отличительная черта Фиппса — бесстрастие: некоторые энтузиасты даже называют его идеальным дворецким. Сфинкс более разговорчив и общителен, чем он. Фиппс — это маска с безукоризненными манерами. О его умственной и эмоциональной жизни ничего не известно. Он воплощение господства формы.

Входит лорд Горинг. Он во фраке, с бутоньеркой в петлице, в цилиндре и белых перчатках, на плечи накинут плащ, в руках трость в стиле Людовика XVI — не упущен ни единый атрибут современной моды. Видно, что он с ней теснейшим образом связан, сам ее создает и, таким образом, возвышается над нею. В истории человеческой мысли он первый философ, умеющий хорошо одеваться.

Лорд Горинг. Что, принесли уже мою вторую бутоньерку, Фиппс?

Фиппс. Да, милорд. *(Берет у него цилиндр, трость и плащ и подает на подносе новую бутоньерку.)*

Лорд Горинг. Довольно изящная! В настоящее время, Фиппс, из всех сколько-нибудь приметных людей в Лондоне только я один ношу бутоньерки.

Фиппс. Да, милорд. Я это заметил.

Лорд Горинг *(вынимает старую бутоньерку из петлицы)*. Видите ли, Фиппс, модно то, что носишь ты сам. А немодно то, что носят другие.

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг. Так же как вульгарность — это просто-напросто поведение других людей.

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг *(вдевает новую бутоньерку в петлицу)*. А ложь — это правда других людей.

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг. Другие — это вообще кошмарная публика. Единственное хорошее общество — это ты сам.

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг. Любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь, Фиппс.

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг *(глядится в зеркало)*. Мне все-таки не совсем нравится эта бутоньерка, Фиппс. Чуточку старит меня. Я выгляжу с ней почти как мужчина в цвете лет. А, Фиппс?

Фиппс. Я не нахожу никаких перемен в вашей внешности, милорд.

Лорд Горинг. Не находите, Фиппс?

Фиппс. Нет, милорд.

Лорд Горинг. А я нахожу. Да. Положительно. Распорядитесь, чтобы впредь по четвергам, для вечера, мне составляли более легкомысленные бутоньерки.

Фиппс. Я поговорю с хозяйкой цветочного магазина, милорд. У нее недавно умер кто-то из родственников. Возможно, этим объясняется недостаток легкомыслия в ее бутоньерках.

Лорд Горинг. Удивительное это свойство у наших английских низших сословий — у них вечно умирают родственники.

Фиппс. Да, милорд. Им необыкновенно везет в этом отношении.

Лорд Горинг. *(оборачивается и смотрит на него. Фиппс сохраняет невозмутимость)*. Гм!.. Письма были, Фиппс?

Фиппс. Три, милорд. *(Подает письма на подносе.)*

Лорд Горинг *(берет их)*. Через двадцать минут мне нужен будет кеб, Фиппс.

Фиппс. Слушаю, милорд. *(Идет к двери.)*

Лорд Горинг *(показывает ему письмо в розовом конверте)*. Э-гм! Фиппс! Когда пришло это письмо?

Фиппс. Его принес посыльный сейчас же после вашего отъезда в клуб, милорд.

Лорд Горинг. Хорошо. Можете идти.

Фиппс уходит.

Почерк леди Чилтерн и розовая бумага леди Чилтерн. Странно! Я ждал, что Роберт напишет. А что может мне писать леди Чилтерн? *(Садится к столу, вскрывает письмо и читает.)* «Верю. Хочу видеть. Приду. Гертруда». *(Откладывает письмо, удивленно подняв брови. Снова берет его и медленно перечитывает.)* «Верю. Хочу видеть. Приду». Так. Значит, она все узнала! Бедняжка! Бедняжка! *(Вынимает часы, смотрит на них.)* Однако поздний час для визита. Десять часов! А я собирался к Беркширам. Придется отложить. Ну, это не важно. Всегда приятно не прийти туда, где тебя ждут. А в клубе холостяков меня не ждут, вот я туда и поеду. Да. Постараюсь уговорить ее, чтобы она не покидала мужа. Ее место возле мужа. Как и всякой жены. Беда, когда у женщины высоко развито моральное чувство. От этого брак и стал таким безнадежным, однобоким учреждением. Десять часов. Вероятно, скоро придет. Надо сказать Фиппсу, что ни для кого другого меня нет дома. *(Идет к звонку.)*

Входит Фиппс.

Фиппс. Лорд Кавершем.

Лорд Горинг. Господи, ну почему родители всегда являются не вовремя? Это какой-то просчет природы.

Входит лорд Кавершем.

Дорогой отец, как я рад вас видеть! *(Идет ему навстречу.)*

Лорд Кавершем. Помогите мне снять пальто.

Лорд Горинг. Стоит ли вам раздеваться, отец?

Лорд Кавершем. Конечно, стоит, сэр. Какое тут самое удобное кресло?

Лорд Горинг. Вот это. Я всегда сам в нем сижу, когда у меня гости.

Лорд Кавершем. Благодарю. Надеюсь, тут нет сквозняков?

Лорд Горинг. Нет, отец.

Лорд Кавершем *(садится)*. Рад это слышать. Не выношу сквозняков. Дома у нас никогда не бывает сквозняков.

Лорд Горинг. Но иногда бывают бури, не правда ли?

Лорд Кавершем. А? Что? Не понимаю, что вы хотите сказать. Мне нужно серьезно поговорить с вами, сэр.

Лорд Горинг. Ну что вы, отец! В такой час?

Лорд Кавершем. Сейчас десять. Чем вам плох этот час? По-моему, час очень хороший.

Лорд Горинг. Простите, отец, но сегодня не мой день для серьезных разговоров. Очень сожалею, но... не мой день.

Лорд Кавершем. Это еще что значит, сэр?

Лорд Горинг. Во время сезона я веду серьезные разговоры только по первым вторникам каждого месяца, от четырех до семи.

Лорд Кавершем. Ну так считайте, что сегодня вторник. Считайте, что вторник.

Лорд Горинг. Но сейчас уже больше семи, отец, а мой доктор запретил мне вести серьезные разговоры после семи часов вечера. От этого я потом разговариваю во сне.

Лорд Кавершем. Разговариваете во сне? Ну и что? Какое это имеет значение? Вы ведь не женаты.

Лорд Горинг. Да, отец, я не женат.

Лорд Кавершем. Гм! Об этом я и хотел с вами поговорить. Вы должны жениться. Немедленно! В вашем возрасте, сэр, я уже три месяца был безутешным вдовцом и уже начинал ухаживать за вашей матерью. Да вы просто обязаны жениться. Это ваш долг, сэр! Нельзя жить только для удовольствия! В наше время все порядочные люди женятся. Холостяки больше не в моде. Дискредитированная публика. О них слишком много известно. Вам нужна жена. Посмотрите, чего достиг ваш друг Роберт Чилтерн — честностью, усердным трудом и разумной женитьбой на хорошей женщине! Почему вы не делаете, как он? Почему не возьмете его себе за образец?

Лорд Горинг. Пожалуй, я так и сделаю, отец.

Лорд Кавершем. Очень будет хорошо. Тогда я упокоюсь. А сейчас я отравляю жизнь вашей бедной матери — и все из-за вас. Вы бессердечны, сэр, совершенно бессердечны.

Лорд Горинг. Ну что вы, отец.

Лорд Кавершем. Давно пора вам жениться. Вам уже тридцать четыре года, сэр.

Лорд Горинг. Да, отец. Но я всегда говорю, что мне тридцать два. Даже тридцать один с половиной — когда у меня хорошая бутоньерка. Эта недостаточно... легкомысленна.

Лорд Кавершем. Вздор. Вам тридцать четыре, сэр. И, кроме того, в этой комнате сквозняк. Это еще ухудшает ваше поведение. Почему вы сказали, что здесь нет сквозняка? Здесь сквозит, я чувствую.

Лорд Горинг. Я тоже. Ужасный сквозняк. Давайте я лучше зайду к вам завтра. И мы обо всем поговорим. Разрешите, я вам подам пальто.

Лорд Кавершем. Нет, сэр. Я пришел сюда с определенным намерением и не уйду, пока его не выполню. Хотя бы даже ценой моего здоровья. Или вашего. Оставьте мое пальто, сэр.

Лорд Горинг. Хорошо, отец. Но перейдем по крайней мере в другую комнату. *(Звонит.)* В этой страшно сквозит.

Входит Фиппс.

Фиппс, вы затопили камин в курительной?

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг. Пойдемте туда, отец. Вы так чихаете, что у меня сердце разрывается.

Лорд Кавершем. Надеюсь, я имею право чихать, если мне нравится?

Лорд Горинг *(виноватым тоном).* Без сомнения, отец. Я только хотел выразить вам свое сочувствие.

Лорд Кавершем. На что мне ваше сочувствие. Этого добра на свете и так слишком много.

Лорд Горинг. Совершенно согласен с вами, отец. Если бы люди меньше сочувствовали друг другу, меньше было бы неприятностей.

Лорд Кавершем *(направляясь в курительную).* Это парадокс, сэр. Ненавижу парадоксы.

Лорд Горинг. Я тоже, отец. В наше время что ни человек, то парадокс. Это очень скучно. Всех насквозь видно как стеклышко.

Лорд Кавершем *(оборачивается и смотрит на сына из-под нависших бровей).* Вы всегда понимаете то, что говорите?

Лорд Горинг *(после некоторого колебания).* Да, отец. Если внимательно слушаю.

Лорд Кавершем *(возмущенно)*. Если внимательно слушаете!.. Ха! Нахальный щенок! *(Ворча себе под нос, уходит в курительную.)*

Входит Фиппс.

Лорд Горинг. Фиппс, ко мне скоро должна прийти дама. По делу. Когда она придет, проводите ее в гостиную. Понятно?

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг. У нее ко мне очень важное дело, Фиппс.

Фиппс. Понимаю, милорд.

Лорд Горинг. И больше никого не принимать. Ни под каким видом.

Фиппс. Понимаю, милорд.

Слышен звонок.

Лорд Горинг. А! Это, наверно, она. Я сам ее встречу. *(Идет к двери.)*

В эту минуту из курительной выглядывает лорд Кавершем.

Лорд Кавершем. Ну, сэр? Долго я вас буду дожидаться?

Лорд Горинг *(в смущении)*. Я сейчас, отец. Простите.

Лорд Кавершем скрывается.

Так помните, Фиппс,—прямо в гостиную.

Фиппс. Слушаю, милорд.

Лорд Горинг уходит в курительную. Лакей Гарольд вводит миссис Чивли. Она вся в зеленом с серебром и, более чем когда-либо, змееподобна. На плечах черное атласное манто, подбитое шелком цвета увядшей розы.

Гарольд. Как прикажете о вас доложить, сударыня?

Миссис Чивли *(Фиппсу, который подходит к ней)*. А где же лорд Горинг? Мне сказали, он дома.

Фиппс. Его милость сейчас заняты с лордом Кавершемом, сударыня. *(Обращает на Гарольда холодный, уничтожающий взгляд, и тот немедленно ретируется.)*

Миссис Чивли *(про себя)*. Какой примерный сын!

Фиппс. Его милость велел мне проводить вас в гостиную, сударыня. И просить вас — не будете ли вы так добры подождать минутку. Он сейчас туда придет.

Миссис Чивли *(удивлена)*. Лорд Горинг меня ждал?

Фиппс. Да, сударыня.

Миссис Чивли. Вы не ошибаетесь?

Фиппс. Его милость велел мне, если придет дама, просить ее подождать в гостиной. *(Идет к дверям в гостиную и распахивает их.)* Я имею вполне точные указания.

Миссис Чивли *(про себя)*. Какая заботливость! Ждать нежданного — это поистине современный ум! *(Идет к двери и заглядывает в гостиную.)* Ух! До чего в них всегда неуютно, в этих холостяцких гостиных! Придется мне все тут переделать.

Фиппс берет лампу с письменного стола и хочет нести ее в гостиную.

Нет, не надо лампы. Слишком резкий свет. Лучше зажгите несколько свечей.

Фиппс *(ставит лампу обратно)*. Слушаю, сударыня.

Миссис Чивли. Надеюсь, у свечей приятные абажуры?

Фиппс. Пока никто не жаловался, сударыня. *(Переходит в гостиную и начинает зажигать свечи.)*

Миссис Чивли *(про себя)*. Интересно, какую это даму он ждет. Вот бы застигнуть его на любовном свидании! У мужчин всегда такой глупый вид, когда они попадаются. А они вечно попадаются. *(Оглядывает комнату и подходит к письменному столу.)* А эта комната недурна. И картины какие интересные. Ну-ка посмотрим, что у него тут за переписка. *(Перебирает бумаги на столе.)* Фу, какая скука! Счета и визитные карточки. Долги и вдовствующие герцогини! А кто это пишет ему на розовой бумаге? Смешно — розовая записочка! Похоже на начало мещанского романа. Роман не должен начинаться с излияния чувств. Он должен начинаться с трезвого расчета и кончаться дарственной записью. *(Откладывает письма, потом снова их берет.)* А ведь я знаю этот почерк. Это почерк Гертруды Чилтерн. Я его хорошо помню. Десять заповедей в каждом росчерке пера и высоконравственность в каждой строчке. Интересно, что

она ему пишет. Наверно, какие-нибудь гадости обо мне. До чего я ненавижу эту женщину! *(Читает.)* «Верю. Хочу видеть. Приду. Гертруда». «Верю. Хочу видеть. Приду...» *(Лицо ее освещается торжеством. Она уже хочет украсть письмо.)*

Но в эту минуту входит Фиппс.

Фиппс. Свечи в гостиной зажжены, сударыня, как вы велели.

Миссис Чивли. Благодарю. (*Поспешно встает, сунув письмо под большой отделанный серебром бювар, лежащий на столе.)*

Фиппс. Надеюсь, абажуры вам понравятся, сударыня. Это лучшие, какие у нас есть. Его милость всегда при них одевается к обеду.

Миссис Чивли *(с улыбкой).* Ну, тогда они, конечно, само совершенство.

Фиппс *(с важностью).* Благодарю вас, сударыня.

Миссис Чивли удаляется в гостиную. Фиппс затворяет за ней дверь и уходит. Затем дверь приотворяется, миссис Чивли выходит и крадучись идет к столу. Внезапно из курительной доносятся громкие голоса. Миссис Чивли бледнеет и застывает на месте. Голоса становятся еще слышнее, и она, кусая губы, вновь скрывается в гостиной. Входят лорд Горинг и лорд Кавершем.

Лорд Горинг *(протестуя).* Но, дорогой мой отец, если уж я должен жениться, то хоть позвольте мне самому выбрать время, место и жену. В особенности жену.

Лорд Кавершем *(сухо).* Ничего подобного, сэр. Вы не сумеете выбрать. Это я буду решать, а не вы. Тут замешаны имущественные интересы. А чувства тут ни при чем. Чувства в браке приходят позже.

Лорд Горинг. Да. Когда муж и жена ничего уже не чувствуют друг к другу, кроме отвращения. *(Подает пальто лорду Кавершему.)*

Лорд Кавершем. Конечно, сэр. То есть, конечно, нет, сэр. Вы сегодня глупости болтаете. Я только хотел сказать, что главное в браке — здравый смысл.

Лорд Горинг. Но женщины, обладающие здравым смыслом, все почему-то дурнушки. Вы не замечали? Я, конечно, так говорю с чужих слов.

Лорд Кавершем. Ни одна женщина, красавица или дурнушка, не обладает здравым смыслом. Здравый смысл — это преимущество мужского пола.

Лорд Горинг. Да. И мы, мужчины, настолько скромны, что никогда им не пользуемся.

Лорд Кавершем. Я пользуюсь, сэр. Только им и ничем другим.

Лорд Горинг. Да, так и мама мне говорила.

Лорд Кавершем. В этом секрет ее счастья, сэр. Вы бессердечны, сэр, совершенно бессердечны.

Лорд Горинг. Ну что вы, отец.

Выходят. Через мгновение лорд Горинг, весьма смущенный, возвращается. С ним сэр Роберт Чилтерн.

Сэр Роберт Чилтерн. Дорогой мой Артур, вот хорошо, что вы как раз вышли! Ваш дворецкий с чего-то взял, что вас нет дома. Очень странно!

Лорд Горинг. Да видите ли, Роберт, я сегодня очень занят, ну и велел ему всем говорить, что меня нет. Мой отец и тот сегодня встретил у меня довольно холодный прием. Так что даже все время жаловался на сквозняки.

Сэр Роберт Чилтерн. Но меня вы должны принять, Артур. Вы мой лучший друг. А завтра, может быть, будете единственным моим другом. Моя жена все узнала.

Лорд Горинг. А! Я так и думал!

Сэр Роберт Чилтерн *(смотрит на него)*. Вы так думали? Почему?

Лорд Горинг *(после некоторого колебания)*. Да так, догадался по выражению вашего лица, когда вы вошли. А кто ей сказал?

Сэр Роберт Чилтерн. Сама миссис Чивли. И теперь женщина, которую я люблю, знает, что моя карьера началась с обмана и бесчестья, что я построил свою жизнь на песке позора, что я, как обыкновенный торгаш, продал тайну, которую мне доверили как человеку чести. Слава богу, лорд Рэдли вовремя умер, не узнав, что я его предал. Лучше бы я сам тогда умер, чем поддаться искушению и так низко пасть! *(Закрывает лицо руками.)*

Лорд Горинг *(после паузы)*. А из Вены еще не ответили?

Сэр Роберт Чилтерн. Ответили. Сегодня в восемь часов я получил телеграмму от первого секретаря посольства.

Лорд Горинг. Ну?

Сэр Роберт Чилтерн. Против нее ничего нет. Наоборот, в тамошнем обществе она довольно видная фигура. Всем, правда, известно, что барон Арнгейм оставил ей бóльшую часть своего огромного состояния. Но, кроме этого, мне ничего не удалось узнать.

Лорд Горинг. Значит, она не шпионка?

Сэр Роберт Чилтерн. Э, кому теперь нужны шпионы. Вымирающая профессия. За них теперь все делают газеты.

Лорд Горинг. И даже очень неплохо делают.

Сэр Роберт Чилтерн. Артур, я умираю от жажды. Можно, я позвоню, чтобы мне чего-нибудь принесли? Рейнвейна с зельтерской?

Лорд Горинг. Конечно. Позвольте, я сам. *(Звонит.)*

Сэр Роберт Чилтерн. Спасибо. Я не знаю, что мне делать, Артур, я не знаю, что мне делать, и вы мой единственный друг. Но зато какой друг! Друг, которому можно верить. Ведь вам я могу верить, Артур?

Входит Фиппс.

Лорд Горинг. Ну конечно же, дорогой мой Роберт. *(Фиппсу.)* Принесите рейнвейна с зельтерской.

Фиппс. Слушаю, милорд.

Лорд Горинг. Ах да! Фиппс!

Фиппс. Что прикажете, милорд?

Лорд Горинг. Извините, Роберт, я вас оставлю на минутку. Мне нужно распорядиться.

Сэр Роберт Чилтерн. Пожалуйста.

Лорд Горинг. Когда эта дама придет, скажите, что меня сегодня нет и не будет. Скажите, что меня срочно вызвали и я уехал из города. Понимаете?

Фиппс. Дама в гостиной, милорд. Ведь вы велели проводить ее в гостиную, милорд.

Лорд Горинг. Вы поступили совершенно правильно, Фиппс.

Фиппс уходит.

Вот так история! Ну, ничего. Выпутаюсь. Сделаю ей внушение сквозь дверь. Трудное, однако, положение.

Сэр Роберт Чилтерн. Артур, скажите, что мне делать? У меня сейчас такое чувство, как будто все кругом развалилось... все спуталось. Я как корабль без руля в ночи без звезд.

Лорд Горинг. Роберт, вы ведь любите свою жену?

Сэр Роберт Чилтерн. Я люблю ее больше всего на свете. Раньше я думал, что главное в жизни — честолюбие. Это неверно. Главное в жизни любовь. Любовь — это все. И я люблю свою жену. Но я опозорен в ее глазах. Я унижен в ее глазах. Она узнала, каков я есть. И осудила бесповоротно.

Лорд Горинг. Но неужели она не может простить вас? Разве сама она никогда не оступалась? Может быть, и сама она когда-нибудь, под влиянием минуты, совершила опрометчивый или нескромный поступок?

Сэр Роберт Чилтерн. Моя жена? Никогда! Она не знает, что такое слабость или искушение. Я — прах земной, как все мужчины. А она вознесена высоко над нами, как большинство хороших женщин. И она безжалостна в своей правоте, холодна, сурова и не ведает сострадания. Но я люблю ее, Артур. У нас нет детей, и мне некого любить, кроме нее, и меня некому любить. Если бы бог дал нам ребенка, может быть, она была бы добрее ко мне. Но мой дом пуст. А она — она разорвала мне сердце пополам. Не будем говорить об этом. Сегодня я был очень груб с ней. Но когда грешники разговаривают со святыми, они, наверно, всегда бывают грубы. Я ей бог знает чего наговорил — правду, в общем, но такую низменную правду, мужскую. Не будем говорить об этом.

Лорд Горинг. Ваша жена простит вас. Может быть, сейчас, вот в эту минуту, она уже вас простила. Она любит вас, Роберт. Как же она может не простить?

Сэр Роберт Чилтерн. Дай бог! Дай бог! *(Закрывает лицо руками.)* Но я хочу еще что-то сказать вам, Артур.

Входит Фиппс с подносом.

Фиппс *(подавая сэру Роберту Чилтерну)*. Рейнвейн с зельтерской, сэр.

Сэр Роберт Чилтерн. Спасибо.

Лорд Горинг. Коляска ждет вас, Роберт?

Сэр Роберт Чилтерн. Нет, я пришел пешком из клуба.

Лорд Горинг. Сэр Роберт возьмет мой кеб, Фиппс.

Фиппс. Слушаю, милорд. *(Уходит.)*

Лорд Горинг. Вы не обижаетесь, Роберт, что я вас выгоняю?

Сэр Роберт Чилтерн. Потерпите еще пять минут, Артур. Слушайте. Я решил, что́ скажу сегодня в палате. Прения по вопросу об Аргентинском канале начинаются в одиннадцать.

В гостиной падает стул.

Что это?

Лорд Горинг. Ничего.

Сэр Роберт Чилтерн. Я слышал — в комнате рядом упал стул. Там кто-то подслушивает.

Лорд Горинг. Нет, нет. Там никого нет.

Сэр Роберт Чилтерн. Там кто-то есть. В комнате свет, дверь приотворена. Кто-то подслушал все тайны моей жизни. Артур, что это значит?

Лорд Горинг. Роберт, вы волнуетесь, расстроены, вам послышалось. Я вам говорю — там никого нет. Сядьте, Роберт.

Сэр Роберт Чилтерн. Вы даете мне слово, что там никого нет?

Лорд Горинг. Да.

Сэр Роберт Чилтерн. Ваше честное слово? *(Садится.)*

Лорд Горинг. Да.

Сэр Роберт Чилтерн *(встает)*. Артур, дайте, я сам посмотрю.

Лорд Горинг. Нет. Нет.

Сэр Роберт Чилтерн. Если там никого нет, почему мне нельзя посмотреть? Артур, позвольте, я сам пойду и удостоверюсь. Я должен быть уверен, что никакой соглядатай не проник в тайну моей жизни. Вы не знаете, что я переживаю.

Лорд Горинг. Роберт, перестаньте. Я сказал, что там никого нет,— и довольно.

Сэр Роберт Чилтерн *(бросается к дверям в гостиную)*. Нет, не довольно! Я желаю войти в эту комнату. Вы сказали, там никого нет, так почему же вы меня не пускаете?

Лорд Горинг. Ради бога, не надо! Там кто-то есть. Кто-то, кого вы не должны видеть.

Сэр Роберт Чилтерн. А! Так я и знал!

Лорд Горинг. Я запрещаю вам входить в эту комнату!

Сэр Роберт Чилтерн. Прочь с дороги! На карте моя жизнь! И плевать мне, что я кого-то там не должен видеть. Я узна́ю, кому я открыл свою тайну и свой позор! *(Входит в гостиную.)*

Лорд Горинг. Боже мой! Там его жена!

Сэр Роберт Чилтерн возвращается. Лицо его выражает презрение и гнев.

Сэр Роберт Чилтерн. Как вы объясните присутствие здесь этой женщины?

Лорд Горинг. Роберт, клянусь вам, она чиста и невинна перед вами.

Сэр Роберт Чилтерн. Подлая, низкая тварь!

Лорд Горинг. Не говорите так, Роберт! Она пришла сюда только ради вас. Только затем, чтобы посоветоваться со мною, как спасти вас. Она любит только вас и никого другого.

Сэр Роберт Чилтерн. Вы с ума сошли. Какое мне дело до ваших интрижек с этой женщиной. Пусть остается вашей любовницей. Прекрасная будет парочка! Она — бесстыжая, развратная, а вы — вероломный друг, предатель, хуже врага...

Лорд Горинг. Это неправда, Роберт. Видит бог, это неправда. Пойдемте. При вас и при ней я все объясню.

Сэр Роберт Чилтерн. Пропустите меня, сэр. Довольно вы уже мне лгали! Вы — и ваше честное слово!.. *(Уходит.)*

Лорд Горинг устремляется к дверям гостиной. Навстречу ему выходит миссис Чивли, сияя насмешливой улыбкой.

Миссис Чивли *(делает ему реверанс)*. Добрый вечер, лорд Горинг.

Лорд Горинг. Миссис Чивли! Бог мой!.. Позвольте узнать, что вы делали в моей гостиной?

Миссис Чивли. Подслушивала. Обожаю подслушивать сквозь замочные скважины. Узнаешь столько интересного.

Лорд Горинг. А вам не кажется, что это значит — искушать провидение?

Миссис Чивли. Ах, его уже столько раз искушали. Оно уж, наверно, привыкло. *(Жестом предлагает ему снять с нее манто, что он и делает.)*

Лорд Горинг. Очень рад, что вы зашли. Я хочу дать вам добрый совет.

Миссис Чивли. Ради бога, не надо. Никогда не надо дарить женщине то, чего она не может носить по вечерам.

Лорд Горинг. Я вижу, вы так же упрямы, как когда-то.

Миссис Чивли. Больше! Я очень усовершенствовалась. Приобрела опыт.

Лорд Горинг. Слишком большой опыт — опасная вещь. Не угодно ли папиросу? Половина красивых женщин в Лондоне курит. Лично я предпочитаю другую половину.

Миссис Чивли. Спасибо, я не курю. Это не понравилось бы моей портнихе. А первый долг женщины — угождать своей портнихе. В чем состоит ее второй долг, до сих пор не выяснено.

Лорд Горинг. Вы пришли, чтобы продать мне письмо Роберта Чилтерна?

Миссис Чивли. Предложить его вам — на некоторых условиях. Почему вы догадались?

Лорд Горинг. Потому что вы об этом молчите. Оно с вами?

Миссис Чивли. О нет. В хорошо сшитых платьях нет карманов.

Лорд Горинг. Ваша цена?

Миссис Чивли. До чего же вы англичанин! Англичанин думает, что чековая книжка все решает. Милый мой Артур, у меня денег гораздо больше, чем у вас. Почти столько же, как у Роберта Чилтерна. Мне нужны не деньги.

Лорд Горинг. А что же, миссис Чивли?

Миссис Чивли. Почему вы не зовете меня Лорой?

Лорд Горинг. Не люблю этого имени.

Миссис Чивли. А когда-то любили.

Лорд Горинг. Да. Именно поэтому теперь не люблю.

Миссис Чивли жестом приглашает его сесть рядом с собой. Он улыбается и садится.

Миссис Чивли. Артур, когда-то вы были влюблены в меня.

Лорд Горинг. Да.

Миссис Чивли. И просили меня быть вашей женой.

Лорд Горинг. Это был естественный результат моей влюбленности.

Миссис Чивли. А потом бросили меня — и все из-за того, что будто бы видели, как покойный лорд Мортлейк очень уж страстно флиртовал со мной в зимнем саду у Тенби.

Лорд Горинг. Насколько я помню, мой адвокат уладил с вами это дело на известных условиях... которые вы сами продиктовали.

Миссис Чивли. Я тогда была бедна. А вы богаты.

Лорд Горинг. Совершенно верно. И поэтому вы притворялись, что меня любите.

Миссис Чивли *(пожимает плечами)*. Потешный был старик этот лорд Мортлейк! У него были только две темы для разговора: его подагра и его жена. И я никогда не могла понять, о которой из двух идет речь. Он так страшно ругал и ту и другую. В общем, вы очень глупо сделали, Артур. Лорд Мортлейк был для меня только развлечение. Одно из тех унылых развлечений, которым поневоле предаешься, когда гостишь в английском помещичьем доме. Мало ли чего там не сделаешь от скуки! За это никого нельзя винить.

Лорд Горинг. Да. Многие так считают.

Миссис Чивли. Я любила вас, Артур.

Лорд Горинг. Дорогая миссис Чивли, вы всегда были слишком умны, чтобы кого-нибудь любить.

Миссис Чивли. А вот вас любила. И вы меня любили. Не спорьте, любили. А любовь — удивительное чувство. Если мужчина когда-то любил женщину, ведь он все сделает для нее, правда? Кроме только одного: продолжать любить ее. *(Касается его руки.)*

Лорд Горинг *(осторожно убирает руку)*. Да. Все, кроме этого.

Миссис Чивли *(после молчания)*. Мне надоело жить за границей. Я хочу вернуться в Лондон. Иметь здесь уютный дом. Устраивать приемы. Если б можно было англичан научить говорить, а ирландцев слушать, лондонское общество стало бы вполне цивилизованным. Кроме того, я уже вступила в романтический возраст. Когда я вчера увидела вас у Чил-

тернов, я поняла, Артур, что если кого любила, так только вас. Так вот, утром того дня, когда мы с вами поженимся, я вам отдам письмо Роберта Чилтерна. Таково мое предложение. Даже сейчас отдам, если вы обещаете на мне жениться.

Лорд Горинг. Сейчас?

Миссис Чивли *(улыбается)*. Завтра.

Лорд Горинг. Вы это серьезно?

Миссис Чивли. Вполне.

Лорд Горинг. Из меня выйдет плохой муж.

Миссис Чивли. Я не боюсь плохих мужей. У меня уже два было. Они меня ужас как забавляли.

Лорд Горинг. Вы хотите сказать, что сами ужас как забавлялись?

Миссис Чивли. Что вы знаете о моей замужней жизни?

Лорд Горинг. Ничего. Но я читаю в ней как в книге.

Миссис Чивли. Какой еще книге?

Лорд Горинг. Книге Числ.

Миссис Чивли. По-вашему, это деликатно — оскорблять женщину, когда она пришла к вам в дом?

Лорд Горинг. Когда женщина столь очарова-

тельна, как вы, миссис Чивли, пол для нее не защита. Это вызов, который она бросает мужчине.

Миссис Чивли. Вы, кажется, думаете, что сказали мне комплимент. Но, милый мой Артур, женщин нельзя обезоружить комплиментами. Мужчин — да. В этом разница.

Лорд Горинг. Насколько я знаю женщин, их ничем не обезоружишь.

Миссис Чивли *(помолчав)*. Так, значит, вы скорее согласны видеть, как ваш лучший друг, Роберт Чилтерн, гибнет, чем жениться на женщине, далеко еще не лишенной привлекательности? Я думала, вы возвыситесь до самопожертвования. Подумайте, как было бы хорошо! Вы тогда могли бы весь остаток жизни восхищаться собой.

Лорд Горинг. Ну, это я и так делаю. А самопожертвование следовало бы запретить законом. Оно развращает тех, кому приносят жертву. Они всегда сбиваются с пути.

Миссис Чивли. Как будто можно чем-нибудь развратить Роберта Чилтерна! Вы забываете, что я знаю его истинную сущность.

Лорд Горинг. То, что вы о нем знаете, это не его истинная сущность. Это опрометчивый поступок, совершенный им в юности,— дурной поступок, согласен, скверный поступок, согласен, недостойный его поступок... и потому не его истинная сущность.

Миссис Чивли. Как вы, мужчины, всегда защищаете друг друга!

Лорд Горинг. Как вы, женщины, всегда нападаете друг на друга!

Миссис Чивли *(раздраженно)*. Я нападаю только на одну женщину. На Гертруду Чилтерн. Я ее ненавижу. Сейчас еще больше, чем всегда.

Лорд Горинг. Должно быть, потому, что превратили ее жизнь в трагедию.

Миссис Чивли *(с насмешкой)*. Ах, в жизни женщины есть только одна настоящая трагедия. То, что для нее прошлое — это всегда ее любовник, а будущее — это, как правило, ее муж.

Лорд Горинг. Леди Чилтерн не имеет понятия о той жизни, на которую вы намекаете.

Миссис Чивли. Женщина, которая носит перчатки размером семь и три четверти, вообще ни о чем не имеет понятия. Вы знаете, что Гертруда всегда носила перчатки семь и три четверти? Это, вероятно, одна из причин, почему у нас с ней нет ничего общего... Ну что же, Артур, значит, наше романтическое свидание кончено. Но вы согласны, что оно все-таки романтическое? Подумайте, за право быть вашей женой я готова была пожертвовать моим главным выигрышем, венцом моей дипломатической карьеры! Вы отказались. Хорошо. Если сэр Роберт не поддержит мой аргентинский проект, я его разоблачу. Voilà tout[1].

Лорд Горинг. Не делайте этого. Это подло, низко, бессовестно.

Миссис Чивли *(пожимает плечами)*. Ах, к чему такие громкие слова. Они же ничего не значат. Это коммерческая сделка. Только и всего. И нечего припутывать сюда сантименты. Я предложила Роберту Чилтерну кое-что у меня купить. Он считает, что я прошу слишком дорого. Ну что ж, обществу он заплатит дороже. И больше не о чем говорить.

---

[1] Вот и все *(фр.)*.

А теперь мне пора. Прощайте! Вы не хотите пожать мне руку?..

Лорд Горинг. Вам? Нет. Я бы еще простил вам ваши махинации с Робертом Чилтерном — эту отвратительную коммерческую сделку, достойную нашего отвратительного коммерческого века. Но вы, кажется, забыли, что осмелились здесь говорить о любви... Вы, чьи уста оскверняют самое имя любви, вы, для кого любовь — книга за семью печатями, вы сегодня пришли в дом одной из самых благородных и честных женщин, какие есть на свете, пришли нарочно для того, чтобы унизить ее мужа в ее глазах, чтобы убить ее любовь к нему, влить яд в ее сердце и внести раздор в ее жизнь, разбить ее кумир и, может быть, растлить ее душу! Этого я не могу вам простить. Это гнусно. Этому нет прощения.

Миссис Чивли. Артур, вы несправедливы ко мне. Уверяю вас, вы несправедливы! Я вовсе не затем к ним пошла, чтобы посмеяться над Гертрудой. Даже в мыслях не было. Мы с леди Маркби заехали, только чтобы спросить об одной вещице — драгоценности, которую я вчера где-то потеряла,— и думала, что, может быть, у Чилтернов. Если не верите, спросите леди Маркби. Она подтвердит. Потом, когда леди Маркби уехала, у нас, правда, вышла неприятная сцена. Но Гертруда сама ее вызвала своими дерзостями и насмешками. А я — ну, может, во мне и была капелька злости,— но главное, я хотела узнать, не нашлась ли моя брошь. А с этого и началось.

Лорд Горинг. Бриллиантовая змейка с рубином?

Миссис Чивли. Да. Почему вы знаете?

Лорд Горинг. Потому что она нашлась. Я сам ее и нашел, но, уходя, забыл сказать дворецкому. *(Идет к письменному столу и начинает выдвигать ящики.)* Она в этом ящике. Нет, в этом. Эта брошка, да? *(Показывает ее миссис Чивли.)*

Миссис Чивли. Да. Как я рада, что она нашлась. Это... подарок.

Лорд Горинг. Вы ее наденете?

Миссис Чивли. Конечно. Если вы мне приколете.

Лорд Горинг внезапно защелкивает браслет на ее руке.

Что вы делаете?.. Я и не знала, что ее можно носить как браслет.

Лорд Горинг. Не знали?

Миссис Чивли *(вытягивает свою красивую руку, любуясь).* Нет. Но так тоже неплохо. Посмотрите, как он хорош на мне!

Лорд Горинг. Да. Гораздо лучше, чем когда я в последний раз его видел.

Миссис Чивли. Когда вы его видели?

Лорд Горинг *(невозмутимо).* Десять лет назад. На леди Беркшир, у которой вы его украли.

Миссис Чивли *(отшатывается).* Что?.. Что вы этим хотите сказать?

Лорд Горинг. Я хочу сказать, что вы украли этот браслет у моей кузины, Мэри Беркшир, которой я подарил его к свадьбе. Подозрение пало на служанку, ее выгнали с позором. Вчера я его сразу узнал. И решил ничего не говорить, пока не найду вора. Теперь я нашел воровку и слышал ее признание.

Миссис Чивли *(вскидывает голову).* Это неправда.

Лорд Горинг. Нет, правда. Сами знаете. Да у вас сейчас на лице написано — воровка!

Миссис Чивли. Я буду все отрицать с начала до конца. Скажу, что никогда не видела этого мерзкого браслета. Никогда и в руках не держала.

Миссис Чивли пытается снять браслет. Лорд Горинг смотрит на нее с улыбкой. Пальцы ее тщетно дергают браслет. У нее вырывается проклятие.

Лорд Горинг. Воровство тем невыгодно, миссис Чивли, что иной раз сам не представляешь себе, что ты украл. Этот браслет нельзя снять, если не знаешь, где пружинка. А вы, я вижу, не знаете. Ее не так легко найти.

Миссис Чивли. Подлец! Скотина! *(Опять старается расстегнуть браслет, но безуспешно.)*

Лорд Горинг. К чему такие громкие слова. Они же ничего не значат.

Миссис Чивли *(в ярости, с невнятными выкриками, рвет браслет. Потом останавливается и смотрит на лорда Горинга).* Что вы намерены делать?

Лорд Горинг. Позвонить дворецкому. Он образцовый слуга, сейчас же приходит на звонок. А когда он придет, я пошлю его за полицией.

Миссис Чивли *(дрожа)*. За полицией?.. Зачем?

Лорд Горинг. Завтра Беркширы привлекут вас к суду. А пока что я заявлю в полицию. Она для того и существует.

Миссис Чивли *(подавлена страхом. Лицо ее искажено, рот перекосился. С нее спала маска. В эту минуту на нее страшно смотреть)*. Не надо! Я все сделаю, что вы хотите. Все на свете.

Лорд Горинг. Отдайте письмо Роберта Чилтерна.

Миссис Чивли. Нет!.. Подождите. Дайте мне подумать.

Лорд Горинг. Отдайте письмо Роберта Чилтерна.

Миссис Чивли. Его нет со мной. Я отдам вам завтра.

Лорд Горинг. Ложь! Давайте сейчас.

Миссис Чивли достает письмо и протягивает ему. Она бледна как смерть.

Это оно?

Миссис Чивли *(хрипло)*. Да.

Лорд Горинг *(берет письмо, просматривает его, вздыхает и сжигает его над лампой)*. Приятно, миссис Чивли, что такая элегантная женщина, как вы, не лишена все же здравого смысла. Поздравляю вас.

Миссис Чивли *(замечает на столе письмо леди Чилтерн — уголок его высовывается из-под бювара)*. Дайте мне, пожалуйста, воды.

Лорд Горинг. Сию минуту.

Лорд Горинг идет в другой конец комнаты и наливает стакан воды. Пока он стоит спиной, миссис Чивли выкрадывает письмо. Когда он вновь подходит к ней со стаканом, она жестом его отстраняет.

Миссис Чивли. Спасибо, не надо. Вы поможете мне одеться?

Лорд Горинг. С удовольствием. *(Подает ей манто.)*

Миссис Чивли. Благодарю. Я больше никогда не буду делать зло Роберту Чилтерну.

Лорд Горинг. Вы, к счастью, не можете, миссис Чивли.

Миссис Чивли. Даже если б могла, я бы не стала. Наоборот, я хочу оказать ему большую услугу.

Лорд Горинг. Рад это слышать. В вас, очевидно, произошел душевный переворот.

Миссис Чивли. Да. Мне просто больно видеть, что такого честного человека, истинного английского джентльмена, так бессовестно обманывают. И поэтому...

Лорд Горинг. Ну?

Миссис Чивли. Да видите ли, у меня в кармане каким-то образом очутился прелюбопытный документ. Последние слова и предсмертная исповедь Гертруды Чилтерн.

Лорд Горинг. Что это значит?

Миссис Чивли *(с ноткой злобного торжества в голосе).* Это значит, что я намерена послать Роберту Чилтерну любовное письмо, которое вам написала его жена.

Лорд Горинг. Любовное письмо?..

Миссис Чивли *(со смехом).* «Верю. Хочу видеть. Приду. Гертруда».

Лорд Горинг *(делает шаг к столу, хватает конверт, видит, что он пуст. Оборачивается).* Несчастная! Не можете не воровать! Отдайте письмо. Не то я отниму силой. Не выйдете из комнаты, пока не отдадите. *(Бросается к ней.)*

Но миссис Чивли в тот же миг нажимает кнопку электрического звонка на столе. Пронзительный звон раскатывается по дому. Входит Фиппс.

Миссис Чивли *(после паузы).* Лорд Горинг позвонил, чтобы вы меня проводили. Спокойной ночи, лорд Горинг! *(Уходит в сопровождении Фиппса. Лицо ее сияет злобной радостью. Глаза искрятся. К ней словно вернулась молодость. Ее прощальный взгляд быстр как стрела.)*

Лорд Горинг стоит, кусая губы; потом закуривает папиросу.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Обстановка как во втором действии.

Лорд Горинг стоит спиной к камину, засунув руки в карманы, со скучающим видом.

Лорд Горинг *(достает часы, разглядывает их, потом звонит).* Экая досада. Никого нет, не с кем поговорить. А у меня столько интересных новостей. Я сейчас как экстренный выпуск какой-нибудь газеты.

Входит лакей Джеймс.

Джеймс. Сэр Роберт еще в министерстве иностранных дел, милорд.

Лорд Горинг. А леди Чилтерн еще не сходила вниз?

Джеймс. Ее милость у себя. Мисс Чилтерн только что вернулась с прогулки верхом.

Лорд Горинг *(про себя).* А, ну это уже кое-что.

Джеймс. Лорд Кавершем дожидается сэра Роберта в библиотеке. Я сказал ему, что вы здесь, милорд.

Лорд Горинг. Благодарю вас. Не будете ли вы добры сказать ему, что я уже ушел?

Джеймс *(с поклоном).* Будет сделано, милорд. *(Уходит.)*

Лорд Горинг. Три дня подряд встречаться со своим отцом — нет, это уж слишком, даже для самого любящего сына. Чересчур много радостных волнений. Не дай бог, он еще сюда явится. Отцов вообще не должно быть ни видно, ни слышно. Только на этой основе можно построить прочную семью. Матери другое дело. Матери — душки. *(Садится в кресло, берет газету и начинает читать.)*

Входит лорд Кавершем.

Лорд Кавершем. Ну, сэр, что вы тут делаете? Тратите время зря, по обыкновению?

Лорд Горинг *(бросает газету и встает).* Дорогой мой отец, когда человек приходит в гости, он тратит время хозяев, а не свое.

Лорд Кавершем. Вы подумали о том, что я вам вчера говорил?

Лорд Горинг. Только об этом и думаю.

Лорд Кавершем. Ну и что же? Вы уже помолвлены?

Лорд Горинг *(благодушно)*. Пока еще нет, но к завтраку, вероятно, буду.

Лорд Кавершем *(саркастически)*. Можете отложить до обеда, если это для вас удобнее.

Лорд Горинг. Очень благодарен, но я уж решил закончить это дело до завтрака.

Лорд Кавершем. Гм!.. Никогда не могу понять, серьезно вы говорите или нет.

Лорд Горинг. Я это тоже не всегда понимаю, отец.

Пауза.

Лорд Кавершем. Сегодняшний «Таймс» читали?

Лорд Горинг *(беспечно)*. «Таймс»? Ну нет. Я читаю исключительно «Морнинг пост». Единственное, что надо знать человеку,— это где сейчас та или другая герцогиня. Все остальное только засоряет мозг.

Лорд Кавершем. Как! Вы не читали передовицы в «Таймс» о карьере Роберта Чилтерна?

Лорд Горинг. Бог мой! Нет. Что там сказано?..

Лорд Кавершем. Что там сказано? Конечно, все самое похвальное. Вчерашняя речь Чилтерна об Аргентинском канале — это блеск! Вершина ораторского искусства. Таких речей не было в палате со времени Каннинга.

Лорд Горинг. А-а! Не знаю, кто такой Каннинг. И не интересуюсь знать. И что же... Роберт Чилтерн... поддержал этот проект?..

Лорд Кавершем. Поддержал! Плохо же вы его знаете. Он его разнес в пух и прах. Разгромил! И попутно всю нынешнюю систему финансирования подобных предприятий. Это выступление будет поворотным пунктом в его карьере. Так говорит «Таймс». Нет, вы должны прочитать эту статью. *(Развертывает «Таймс».)* «Сэр Роберт Чилтерн... самый выдающийся из наших молодых государственных деятелей... Блестящий оратор... Безупречная репутация... Известная всем честность и неподкупность... Воплощение всего лучшего в английской общественной жизни... Разительный контраст с низким моральным уровнем иностранных политиков...» Про вас такого не скажу, сэр.

Лорд Горинг. Боже упаси! Я к этому не стремлюсь, отец. Но как я рад это слышать о Роберте Чилтерне. Я прямо в восторге. Это показывает, что у него есть мужество.

Лорд Кавершем. Больше, сэр! Гений!

Лорд Горинг. Я предпочитаю мужество. Гениями сейчас хоть пруд пруди. А мужество — редкость.

Лорд Кавершем. Почему вы сами не пройдете в парламент?

Лорд Горинг. Дорогой отец, только скучные люди проходят в парламент. И только тупицы там преуспевают.

Лорд Кавершем. Почему не займетесь чем-нибудь полезным?

Лорд Горинг. Я еще слишком молод, отец.

Лорд Кавершем *(сухо)*. Терпеть не могу, когда человек носится со своей молодостью. Все сейчас прикидываются молодыми. Дурацкая мода!

Лорд Горинг. Молодость — это не мода, отец. Молодость — это искусство.

Лорд Кавершем. Почему вы не сделаете предложения этой хорошенькой мисс Чилтерн?

Лорд Горинг. У меня слабые нервы. Особенно по утрам.

Лорд Кавершем. Ну да, у вас нет никаких шансов, что она его примет.

Лорд Горинг. Я еще не знаю, как я сегодня котируюсь.

Лорд Кавершем. Дурочка будет, если примет.

Лорд Горинг. А я именно хочу жениться на дурочке. Умная жена за полгода довела бы меня до полного идиотизма.

Лорд Кавершем. Вы ее не стоите.

Лорд Горинг. Если бы мы, мужчины, женились только на тех женщинах, которых стоим, плохо бы нам пришлось!

Входит Мейбл Чилтерн.

Мейбл Чилтерн. Ах!.. Здравствуйте, лорд Кавершем! А как здоровье леди Кавершем?

Лорд Кавершем. Леди Кавершем чувствует себя... как обычно. Как обычно.

Лорд Горинг. Доброе утро, мисс Мейбл!

Мейбл Чилтерн *(совершенно его игнорирует и обращается исключительно к лорду Кавершему).* А как поживают шляпки леди Кавершем? Им не хуже?

Лорд Кавершем. Недавно было резкое ухудшение. Тяжелый рецидив.

Лорд Горинг. Доброе утро, мисс Мейбл!

Мейбл Чилтерн *(по-прежнему обращаясь только к лорду Кавершему).* Надеюсь, не потребуется операция?

Лорд Кавершем *(усмехаясь ее задору).* Если потребуется, мы дадим наркоз леди Кавершем. Иначе она не позволит коснуться ни единого перышка.

Лорд Горинг *(с нажимом).* Доброе утро, мисс Мейбл.

Мейбл Чилтерн *(оборачивается, с притворным удивлением).* Ах, это вы тут? Вы, конечно, понимаете, что, после того как вы опоздали на свидание, я уж больше никогда не буду с вами говорить?

Лорд Горинг. Не будьте так жестоки, мисс Мейбл! Вы единственный человек в Лондоне, которого я с таким удовольствием... заставляю себя слушать.

Мейбл Чилтерн. Знаете, я не верю ни единому слову из того, что вы мне говорите... или я вам.

Лорд Кавершем. И вы совершенно правы, моя дорогая, совершенно правы... То есть в том, что касается его.

Мейбл Чилтерн. Вы не могли бы заставить своего сына хоть изредка вести себя прилично — ну просто для разнообразия?

Лорд Кавершем. К сожалению, мисс Чилтерн, я не имею ни малейшего влияния на своего сына. И это очень грустно. А то я знаю, что я заставил бы его сделать.

Мейбл Чилтерн. Он, очевидно, из тех крайне слабовольных натур, которые не поддаются никакому влиянию.

Лорд Кавершем. Он бессердечен, совершенно бессердечен.

Лорд Горинг. Я, кажется, тут лишний?

Мейбл Чилтерн. Вам полезно почувствовать себя лишним и узнать, что люди говорят о вас за вашей спиной.

Лорд Горинг. Но я совсем не хочу знать, что люди говорят за моей спиной. Это слишком мне льстит.

Лорд Кавершем. Я вижу, дорогая моя, мне пора с вами проститься.

Мейбл Чилтерн. Неужели вы оставите меня вдвоем с лордом Горингом? Да еще в такой ранний час!

Лорд Кавершем. Боюсь, я не могу взять его с собой на Даунинг-стрит. Премьер-министр сегодня не принимает безработных. *(Пожимает руку Мейбл Чилтерн, берет свою трость и шляпу и уходит, бросив негодующий взгляд на лорда Горинга.)*

Мейбл Чилтерн *(берет розы и начинает вставлять их в вазу на столе).* Люди, которые не приходят на свидание, отвратительны.

Лорд Горинг. Просто негодяи.

Мейбл Чилтерн. Рада, что вы это признаете. Но не понимаю, почему у вас при этом такой довольный вид.

Лорд Горинг. Ничего не могу сделать. У меня всегда довольный вид, когда я с вами.

Мейбл Чилтерн *(огорченно).* Тогда, вероятно, мой долг — остаться с вами?

Лорд Горинг. Разумеется.

Мейбл Чилтерн. Но я никогда не делаю того, что является моим долгом. Из принципа. Всякая обязанность меня угнетает. Так что очень жаль, но я вынуждена вас покинуть.

Лорд Горинг. Ради бога, не уходите, мисс Мейбл. Мне нужно сказать вам что-то очень важное.

Мейбл Чилтерн *(в восторге).* Вы хотите сделать мне предложение?

Лорд Горинг *(слегка ошарашен).* Я... То есть... Ну да, хочу.

Мейбл Чилтерн *(со вздохом удовольствия).* Как я рада! Сегодня это уже второе.

Лорд Горинг *(возмущенно).* Сегодня уже второе? Какой нахальный осел... какой беспардонный наглец осмелился сделать вам предложение раньше меня?

Мейбл Чилтерн. Томми Траффорд, кто же еще! Это его день. Во время сезона он всегда делает мне предложение по вторникам и четвергам.

Лорд Горинг. Надеюсь, вы ему отказали?

Мейбл Чилтерн. Я всегда отказываю Томми Траффорду. Потому-то он и не перестает делать мне предложение. Но сегодня я так была на вас сердита, что чуть было не согласилась. Хороший был бы

урок вам обоим. Авось оба научились бы вести себя приличней.

Лорд Горинг. Провались Томми Траффорд! Томми просто осел. Я люблю вас.

Мейбл Чилтерн. Я знаю. И считаю, что вам давно уж надо было это сказать. Кажется, в случаях у вас не было недостатка!

Лорд Горинг. Ну будьте же серьезны, Мейбл! Умоляю вас!

Мейбл Чилтерн. Мужчина всегда говорит это девушке, пока на ней не женился. А после уж никогда не говорит.

Лорд Горинг *(хватает ее за руку)*. Мейбл, я сказал, что люблю вас. А вы... любите меня хоть немножко?

Мейбл Чилтерн. Ах, глупенький Артур! Если б вы хоть чуточку были умнее — хоть самую капельку,— вы давно бы знали, что я вас обожаю. Все в Лондоне это знают, кроме вас. Ведь это просто скандал — до чего я вас обожаю. Последние полгода я только и делала, что всем говорила, как я вас обожаю. Удивляюсь, что вы еще разговариваете со мной. Я же совсем погубила свою репутацию. Во всяком случае, я сейчас так счастлива, что, наверно, у меня нет никакой репутации!

Лорд Горинг хватает ее в объятия и осыпает поцелуями. Потом наступает блаженное затишье.

Лорд Горинг. Милая! Знаешь, я так боялся, что ты мне откажешь!

Мейбл Чилтерн *(поднимая к нему глаза)*. Но, Артур, неужели тебе когда-нибудь отказывали? Не могу себе представить, чтобы кто-нибудь мог тебе отказать!

Лорд Горинг *(после новых поцелуев)*. Я, конечно, мизинца твоего не стою, Мейбл.

Мейбл Чилтерн *(прижимаясь к нему)*. Я очень рада, милый. А то я боялась — вдруг ты именно стоишь... мизинца.

Лорд Горинг *(с некоторым колебанием)*. И... и... мне уже немного за тридцать.

Мейбл Чилтерн. Милый, ты выглядишь на целый месяц моложе.

Лорд Горинг *(в восторге)*. Какая ты прелесть, что так говоришь! И еще, Мейбл, должен откровенно признаться: я ужасно расточителен.

Мейбл Чилтерн. Так ведь и я тоже, Артур. Так что у нас будет полное согласие. А теперь я должна пойти поздороваться с Гертрудой.

Лорд Горинг. Неужели должна?.. *(Целует ее.)*

Мейбл Чилтерн. Да.

Лорд Горинг. Так скажи ей, что мне необходимо ее видеть. По важному делу. Я тут целое утро жду, чтобы поговорить либо с ней, либо с Робертом.

Мейбл Чилтерн. Как? Ты, значит, пришел по делу? А не специально затем, чтобы сделать мне предложение?

Лорд Горинг *(победоносно)*. Нет, это был порыв вдохновения.

Мейбл Чилтерн. Рада это слышать. Ну, побудь здесь. Я вернусь через пять минут. И не поддавайся никаким соблазнам, пока меня не будет.

Лорд Горинг. Милая Мейбл, когда тебя нет, нет и соблазнов. Это ужасно, между прочим,-- я так от тебя завишу.

Входит леди Чилтерн.

Леди Чилтерн. С добрым утром, милочка. Какая ты сегодня хорошенькая!

Мейбл Чилтерн. А вы сегодня какая бледная, Гертруда. Но это вам идет.

Леди Чилтерн. Доброе утро, лорд Горинг!

Лорд Горинг *(с поклоном)*. Доброе утро, леди Чилтерн.

Мейбл Чилтерн *(вполголоса, лорду Горингу)*. Я буду в зимнем саду. Под второй пальмой слева.

Лорд Горинг. Второй слева?

Мейбл Чилтерн *(с веселой насмешкой)*. Ну да! Под нашей обычной. *(Посылает ему воздушный поцелуй тайком от леди Чилтерн и уходит.)*

Лорд Горинг. Леди Чилтерн, у меня есть для вас хорошие вести. Вчера вечером миссис Чивли отдала мне письмо Роберта, и я его сжег. Роберту больше ничто не угрожает.

Леди Чилтерн *(опускается на диван)*. Не угрожает! О! Господи, как я рада. Какое счастье, что у Роберта есть такой друг, как вы! Вы спасли его... спасли нас.

Лорд Горинг. Но теперь другому человеку угрожает опасность.

Леди Чилтерн. Кому?

Лорд Горинг *(садится рядом с ней).* Вам.

Леди Чилтерн. Мне? Опасность? Каким образом?

Лорд Горинг. Опасность — это, пожалуй, слишком сильно сказано. Я неправильно выразился. Но есть все-таки одно обстоятельство, которое может вас встревожить. Меня оно ужасно тревожит. Вчера вечером вы написали мне письмо — прекрасное, трогательное письмо, в котором просили меня о помощи. Вы написали мне как одному из своих старых друзей — одному из старых друзей вашего мужа. Миссис Чивли выкрала это письмо у меня из комнаты.

Леди Чилтерн, Да на что оно ей? Почему это вас тревожит?

Лорд Горинг *(встает).* Леди Чилтерн, я буду с вами откровенен. Миссис Чивли вкладывает в это письмо некоторый особый смысл. И намерена послать это письмо вашему мужу.

Леди Чилтерн. Да какой особый смысл она в него вкладывает?.. О! Нет! Только не это! Только не это! Если я — в трудную минуту — написала, что верю вам, что приду... чтобы вы посоветовали мне... помогли... Неужели есть на свете такие ужасные женщины?.. И она хочет послать мужу? Расскажите мне все! Все, как было.

Лорд Горинг. Миссис Чивли спряталась в комнате рядом с библиотекой. Я об этом не знал. Я думал, там вы,— ждете, чтобы поговорить со мной. Вдруг пришел Роберт. В той комнате упал стул. Роберт ворвался туда и увидел... эту особу. У нас с ним произошел крупный разговор. Я все еще думал, что там вы. Он ушел в ярости. В конце концов миссис Чивли завладела вашим письмом — попросту выкрала его, хотя не понимаю, когда и как.

Леди Чилтерн. В котором часу это было?

Лорд Горинг. В половине одиннадцатого. Я считаю, что мы должны сейчас же все рассказать Роберту.

Леди Чилтерн *(смотрит на него с изумлением, почти с ужасом).* Вы хотите, чтобы я сказала Роберту, что вы ждали меня, а не миссис Чивли? И думали,

что это я прячусь у вас в доме в половине одиннадцатого ночи? Вы хотите, чтобы я это ему сказала?

Лорд Горинг. По-моему, лучше, если он будет знать всю правду.

Леди Чилтерн *(встает)*. Я не могу! Не могу!

Лорд Горинг. Ну давайте я скажу.

Леди Чилтерн. Нет.

Лорд Горинг *(серьезно)*. Вы не правы, леди Чилтерн.

Леди Чилтерн. Нет. Это письмо надо перехватить. Вот и все. Но как? Письма приходят чуть ли не каждый час. Секретарь их вскрывает и передает Роберту. Я не смею просить слуг, чтобы мне приносили его письма. Это невозможно. Ах, да скажите же, что мне делать?..

Лорд Горинг. Успокойтесь, леди Чилтерн. И ответьте мне на несколько вопросов. Вы говорите — письма вскрывает секретарь?

Леди Чилтерн. Да.

Лорд Горинг. А кто сегодня дежурит? Мистер Траффорд?

Леди Чилтерн. Нет. Кажется, мистер Монфорд.

Лорд Горинг. Вы можете ему довериться?

Леди Чилтерн *(с жестом отчаяния)*. Почем я знаю!..

Лорд Горинг. Но если вы его о чем-нибудь попросите, он сделает?

Леди Чилтерн. Вероятно.

Лорд Горинг. Ваше письмо было на розовой бумаге. Ведь он может узнать его, не читая? По цвету?

Леди Чилтерн. Вероятно.

Лорд Горинг. Он сейчас здесь?

Леди Чилтерн. Да.

Лорд Горинг. Так я пойду к нему и скажу, что в течение дня на имя Роберта придет письмо на розовой бумаге и что это письмо ни в коем случае не должно попасть ему в руки. *(Идет к двери и отворяет ее.)* О! Роберт сам идет сюда с письмом. Оно уже пришло.

Леди Чилтерн *(с криком боли)*. Ах! Вы спасли его жизнь, но что вы сделали с моей!

Входит сэр Роберт Чилтерн. В руке он держит письмо и читает его. Он направляется прямо к жене, не замечая лорда Горинга.

Сэр Роберт Чилтерн. «Верю. Хочу видеть. Приду. Гертруда». Любовь моя! Это правда? Ты веришь мне, ты хочешь меня видеть? Но зачем ты пишешь — приду? Это я должен прийти к тебе, а не ты ко мне — если б я знал, я давно бы пришел! Гертруда, твое письмо вдохнуло в меня такую силу! Теперь я ничего не боюсь, что бы со мной ни случилось! Ты хочешь меня видеть, Гертруда?

Лорд Горинг за спиной сэра Роберта Чилтерна делает знаки леди Чилтерн, умоляя ее воспользоваться таким оборотом событий и не рассеивать заблуждения мужа.

Леди Чилтерн. Да.

Сэр Роберт Чилтерн. Ты веришь мне, Гертруда?

Леди Чилтерн. Да.

Сэр Роберт Чилтерн. Ах!.. Но почему ты не прибавила, что любишь меня?

Леди Чилтерн *(протягивая ему руку)*. Потому что я... люблю тебя.

Лорд Горинг уходит в зимний сад.

Сэр Роберт Чилтерн *(целует жену)*. Гертруда, ты не знаешь, что я чувствую. Когда Монфорд передал мне твое письмо через стол,— он его вскрыл по ошибке, не заметил, должно быть, чей почерк на конверте,— и я прочитал,— с этого мгновения я уже не думал о том, какое мне грозит разоблачение, какой страшный позор, я думал только о том, что ты все еще меня любишь!

Леди Чилтерн. Тебе ничто не грозит, Роберт,— не будет ни разоблачений, ни позора. Миссис Чивли отдала то письмо лорду Горингу, и он его уничтожил.

Сэр Роберт Чилтерн. Это верно, Гертруда?

Леди Чилтерн. Да. Лорд Горинг мне только что сам сказал.

Сэр Роберт Чилтерн. Значит, я спасен! Ах, какое это дивное чувство — не бояться! Двое суток я жил в смертельном страхе. А теперь я спасен. Скажи, как именно Артур уничтожил это письмо? Что он с ним сделал?

Леди Чилтерн. Сжег.

Сэр Роберт Чилтерн. Жаль, я не видел, как единственный грех моей юности обращался в пепел. Сколько есть людей на свете, которым тоже хотелось бы обратить в пепел свое прошлое! Артур еще здесь?

Леди Чилтерн. Да. Он в зимнем саду.

Сэр Роберт Чилтерн. Я рад, что вчера произнес эту речь в палате. Когда я говорил, я был уверен, что обрушиваю на себя позор и гибель. Но получилось иначе.

Леди Чилтерн. Новые почести получились и еще больший успех.

Сэр Роберт Чилтерн. Да, кажется, так. Я этого даже боюсь. Потому что, Гертруда... хоть мне теперь и не грозит разоблачение... и единственное свидетельство против меня уничтожено... наверно, я все-таки должен отказаться от политической карьеры? *(Вопросительно и тревожно смотрит на жену.)*

Леди Чилтерн *(горячо)*. Да, Роберт, да! Это твой долг.

Сэр Роберт Чилтерн. Столько потерять!

Леди Чилтерн. Ты еще больше приобретешь, Роберт.

Сэр Роберт Чилтерн *(ходит взад и вперед по комнате с тревожным выражением лица. Потом подходит к жене и кладет руку ей на плечо)*. И ты согласна жить со мной за границей или где-нибудь в глуши, в деревне,—вдали от Лондона, вдали от света? Ты не пожалеешь?

Леди Чилтерн. Нет, Роберт. Никогда.

Сэр Роберт Чилтерн *(с грустью)*. А твои честолюбивые мечты? Ведь ты мечтала об успехе—для меня?

Леди Чилтерн. Ах, мои мечты!.. Теперь я только об одном мечтаю: чтобы мы любили друг друга. А честолюбие... Ты видишь, куда оно тебя завело. Не надо больше честолюбия.

Из зимнего сада выходит лорд Горинг с сияющим лицом и новой бутоньеркой в петлице, которую кто-то для него составил.

Сэр Роберт Чилтерн *(идет ему навстречу)*. Артур, как я вам признателен за все, что вы для меня сделали! Чем мне вас отблагодарить! *(Пожимает ему руку.)*

Лорд Горинг. А я вам скажу. Вы это можете, дорогой,—даже сейчас, сию минуту. Только что под второй пальмой слева—нашей обычной... то есть в зимнем саду...

Входит Мэсон.

Мэсон. Лорд Кавершем.

Лорд Горинг. Мой драгоценный родитель прямотаки завел привычку являться в самый неподходящий момент! Это бессердечно с его стороны, совершенно бессердечно!

Входит лорд Кавершем. Мэсон уходит.

Лорд Кавершем. Доброе утро, леди Чилтерн! Примите мои горячие поздравления, Чилтерн. Вы вчера произнесли блестящую речь. Я только что от премьера. Вам предлагают портфель министра.

Сэр Роберт Чилтерн *(радуясь и торжествуя).* Портфель министра!

Лорд Кавершем. Да. Вот письмо премьера. *(Подает ему письмо.)*

Сэр Роберт Чилтерн *(берет письмо и читает).* Портфель министра!

Лорд Кавершем. Да. И вы его вполне заслужили. У вас есть то, что нам сейчас так необходимо в нашей общественной жизни,—безупречная репутация, высокий моральный уровень, твердые принципы. *(Лорду Горингу.)* Все, чего у вас нет, сэр, и никогда не будет.

Лорд Горинг. Я не люблю принципов, отец. Мне больше нравятся предрассудки.

Сэр Роберт Чилтерн *(уже готов принять предложение премьер-министра, но встречается взглядом с женой, видит ее ясные, правдивые глаза и понимает, что это невозможно).* Я не могу принять это предложение, лорд Кавершем. Я вынужден отказаться.

Лорд Кавершем. Отказаться!..

Сэр Роберт Чилтерн. Я решил уйти от политики.

Лорд Кавершем *(в гневе).* Отказаться от портфеля министра и уйти от политики! В жизни не слыхал такой чепухи! Черт знает что! Простите, леди Чилтерн. Прошу прощения, Чилтерн. *(Лорду Горингу.)* Что вы ухмыляетесь, сэр?

Лорд Горинг. Даже не думаю, отец.

Лорд Кавершем. Леди Чилтерн, вы разумная женщина, самая разумная в Лондоне, самая разумная из всех, кого я встречал. Вы не позволите мужу сделать такую... говорить такое... Вразумите его хоть вы, леди Чилтерн!

Леди Чилтерн. Я считаю, лорд Кавершем, что мой муж прав в своем решении. Я его одобряю.

Лорд Кавершем. Одобряете?.. Гос-с-споди помилуй!

Леди Чилтерн *(берет мужа за руку).* Я уважаю его за это. Преклоняюсь перед ним. Как никогда раньше. Он даже лучше, чем я думала. *(Сэру Роберту Чилтерну.)* Ты ведь напишешь премьер-министру? Сейчас же, не откладывая? Не надо колебаться, Роберт.

Сэр Роберт Чилтерн *(с оттенком горечи).* Да раз уж так, то к чему откладывать. Дважды таких предложений не делают! Извините, лорд Кавершем, я вас покину на минутку.

Леди Чилтерн. Я пойду с тобой, Роберт. Можно?

Сэр Роберт Чилтерн. Пойдем, Гертруда.

Уходят.

Лорд Кавершем. Что это с ними, а? Тут что-нибудь? *(Постукивает себя пальцем по лбу.)* Идиотизм? Очевидно, наследственное. Да еще оба сразу. И муж и жена. Прискорбно. Весьма прискорбно. А ведь они даже не из старинного рода. Не понимаю!

Лорд Горинг. Это не идиотизм, отец.

Лорд Кавершем. А что же?

Лорд Горинг *(после раздумья).* Да вот то самое, что сейчас называют высоким моральным уровнем.

Лорд Кавершем. Терпеть не могу новомодных словечек. Пятьдесят лет назад мы это называли идиотизмом. Не желаю больше оставаться в этом доме.

Лорд Горинг *(берет его за локоть).* Подождите, отец. Пройдите, пожалуйста, вон в ту дверь. Под третьей пальмой слева... нашей обычной.

Лорд Кавершем. Что, сэр?

Лорд Горинг. Простите, отец, я забыл — в зимний сад, отец, пройдите, пожалуйста, в зимний сад. Там ждет одна молодая девица, с которой вам необходимо поговорить.

Лорд Кавершем. О чем, сэр?

Лорд Горинг. Обо мне, отец.

Лорд Кавершем *(мрачно)*. Эта тема не располагает к красноречию.

Лорд Горинг. Нет, конечно. Но эта молодая девица, как я. Она не любит красноречия в других. Считает это несколько... дурным тоном.

Лорд Кавершем уходит в зимний сад.
Входит леди Чилтерн.

Леди Чилтерн, зачем вы играете на руку миссис Чивли?

Леди Чилтерн *(поражена)*. Я вас не понимаю.

Лорд Горинг. Миссис Чивли пыталась разбить жизнь вашего мужа. Поставить его в такое положение, что ему пришлось бы либо стать изгнанником, либо пойти против совести. От этого второго несчастья вы его спасли. На первое вы его теперь сами толкаете. Зачем вы делаете то, что хотела сделать миссис Чивли, но ей не удалось?

Леди Чилтерн. Лорд Горинг, я...

Лорд Горинг *(собирается с духом для предстоящей ему задачи; в нем обнаруживается философ, скрытый под внешностью денди)*. Леди Чилтерн, разрешите мне сказать. Вчера вы написали мне письмо, в котором говорили, что верите мне и просите у меня помощи. Сейчас как раз та минута, когда вам действительно нужна моя помощь, когда вы должны мне поверить и принять мой совет. Вы любите Роберта. Так неужели вы хотите убить его любовь к вам? Чем станет его жизнь, если вы отнимете у него плоды его честолюбия и славу большой политической карьеры, отрежете ему все пути к общественному действию, обречете его на бесплодие и поражение — его, созданного для побед и успеха? Назначение женщины не в том, чтобы судить нас, а в том, чтобы нас прощать, когда мы нуждаемся в прощении. Ее дело миловать, а не карать. Зачем вам наказывать его за грех, совершенный им в юности, когда он еще не знал вас, не знал самого себя? Жизнь мужчины имеет иную цену, чем жизнь женщины. У него шире поле деятельности, крупнее масштабы, он посягает на большее и большего может добиться. Женщина живет чувством, увлекаемая его круговоротом. Мужчина живет интеллектом, двигаясь вперед к намеченной цели. Леди Чил-

терн, не совершайте такой ужасной ошибки. Если женщина сумела внушить любовь мужчине и сама его любит, она сделала все, что нужно от нее миру, все, чего он может от нее потребовать.

Леди Чилтерн *(смущена и колеблется)*. Но мой муж сам хочет уйти от политики. Он считает, что это его долг. Он первый это сказал.

Лорд Горинг. Да, чтобы сохранить вашу любовь, он сейчас готов на все — даже выбросить за борт всю свою карьеру. Он приносит вам страшную жертву. Послушайте моего совета, леди Чилтерн, не принимайте от него такой огромной жертвы. Иначе вы потом горько раскаетесь. Никто из нас, ни мужчина, ни женщина, не должен принимать таких жертв. Мы их недостойны. А Роберт, кроме того, уже достаточно наказан.

Леди Чилтерн. Мы оба наказаны. Я ставила его слишком высоко.

Лорд Горинг *(с глубоким чувством)*. Так не ставьте его теперь слишком низко. Если он упал с алтаря, не топите его в болоте. Он захлебнется в этой стоячей воде. Его призвание — власть. Отнимите это — и все в нем замрет, даже его любовь к вам. Леди Чилтерн, вы сейчас держите в руках жизнь вашего мужа, вы держите в руках любовь вашего мужа. Не разрушайте и то и другое.

Входит сэр Роберт Чилтерн.

Сэр Роберт Чилтерн. Гертруда, я написал. Прочитать тебе?

Леди Чилтерн. Дай, я сама.

Сэр Роберт подает ей письмо. Она читает, потом страстным жестом разрывает письмо.

Сэр Роберт Чилтерн. Что ты делаешь?..

Леди Чилтерн. Жизнь мужчины имеет иную цену, чем жизнь женщины. У него шире поле деятельности, крупнее масштабы, он посягает на большее и большего может добиться. Мы живем чувством, увлекаемые его круговоротом. Мужчина живет интеллектом, двигаясь вперед к намеченной цели. Этому — и еще многому другому — меня только что научил лорд Горинг. И я не стану портить тебе жизнь, и не позволю тебе ее испортить — я не приму от тебя этой жертвы, этой ненужной жертвы!

Сэр Роберт Чилтерн. Гертруда! Гертруда!

Леди Чилтерн. Ты забудешь. Мужчины легко забывают. А я простила. Это и есть наше участие в жизни мира. Теперь я это понимаю.

Сэр Роберт Чилтерн *(глубоко взволнованный, обнимает ее).* Жена моя! Жена моя! *(Лорду Горингу.)* Артур, мне суждено вечно быть у вас в долгу!

Лорд Горинг. Ну что вы, Роберт. Не у меня вы в долгу — у леди Чилтерн.

Сэр Роберт Чилтерн. Нет, я вам многим обязан. А теперь скажите — о чем вы хотели у меня просить, когда вошел лорд Кавершем?

Лорд Горинг. Роберт, вы опекун своей сестры. Мне нужно ваше согласие на брак с ней. Вот и все.

Леди Чилтерн. Ах, как я рада! Как я рада! *(Пожимает руку лорду Горингу.)*

Лорд Горинг. Благодарю вас, леди Чилтерн.

Сэр Роберт Чилтерн *(в смущении).* Вы хотите жениться на моей сестре?

Лорд Горинг. Да.

Сэр Роберт Чилтерн *(с твердостью).* Артур, мне очень жаль, но это невозможно. Я обязан заботиться о счастье Мейбл. А я не верю, что с вами она будет счастлива. Я не могу принести ее в жертву.

Лорд Горинг. В жертву?..

Сэр Роберт Чилтерн. Да! Это значило бы загубить ее жизнь. Брак без любви — страшная вещь. Но есть нечто худшее, чем даже брак без любви. Это брак, в котором есть любовь, но только с одной стороны; есть верность, но только с одной стороны; есть преданность, но только с одной стороны. В таком браке одно из сердец непременно будет разбито.

Лорд Горинг. Но я люблю Мейбл. В моей жизни нет никакой другой женщины.

Леди Чилтерн. Роберт, если они любят друг друга, почему бы им не пожениться?

Сэр Роберт Чилтерн. Артур не может дать Мейбл такую любовь, какой она заслуживает.

Лорд Горинг. Какие у вас основания так думать?

Сэр Роберт Чилтерн *(помолчав).* Вы в самом деле хотите, чтобы я сказал?

Лорд Горинг. Конечно.

Сэр Роберт Чилтерн. Хорошо. Будь по-вашему. Когда я вчера зашел к вам, я обнаружил, что у вас в соседней комнате спрятана миссис Чивли.

Это было в одиннадцатом часу ночи. Я не хочу входить в подробности. Мне нет дела до ваших отношений с миссис Чивли, я это еще вчера сказал. Когда-то вы собирались на ней жениться. Очевидно, те чувства, которые вы к ней тогда питали, теперь вновь ожили. Вчера вы говорили о ней как о женщине чистой и невинной, как о женщине, которую вы уважаете и чтите. Пусть так. Но я не могу вверить вам жизнь моей сестры. Не имею права. Это было бы несправедливо — чудовищно несправедливо по отношению к ней.

Лорд Горинг. Мне больше нечего сказать.

Леди Чилтерн. Роберт, вчера вечером лорд Горинг ждал не миссис Чивли.

Сэр Роберт Чилтерн. Не миссис Чивли? А кого же?

Лорд Горинг. Леди Чилтерн!

Леди Чилтерн. Твою жену. Роберт, вчера лорд Горинг сказал мне — еще днем, когда был у нас,— что, если меня когда-нибудь постигнет беда, я могу обратиться к нему за помощью, как к нашему давнишнему и самому близкому другу. Потом, после этой ужасной сцены, что разыгралась тут, в этой комнате, я написала ему письмо, в котором говорила, что верю ему, что мне нужно его видеть, что я приду к нему за помощью и советом.

Сэр Роберт достает письмо из кармана.

Да, это самое письмо. В конце концов я не пошла к лорду Горингу. Я решила, что только мы сами можем себе помочь. Это гордость во мне говорила. И как раз в это время, пока он меня ждал, пришла миссис Чивли. Она выкрала мое письмо и сегодня послала его тебе — для того чтобы ты подумал... чтобы ты заподозрил... Нет, я не могу сказать, какое подозрение она хотела тебе внушить!..

Сэр Роберт Чилтерн. Как? Неужели я так низко пал в твоих глазах? Неужели ты могла хоть на миг подумать, что я способен в тебе усомниться? Гертруда, ты для меня живой образ всего самого лучшего, самого чистого, что есть на земле, грех не может тебя коснуться. Артур, идите к Мейбл, и дай вам бог счастья! Нет, подождите... В этом письме нет обращения. Неизвестно, кому оно адресовано. Миссис Чивли при всей своей хитрости этого, видно, не заметила. Тут должно стоять имя.

Леди Чилтерн. Дай я поставлю твое. Это тебе я верю, это ты мне нужен. Только ты — и никто другой.

Лорд Горинг. Позвольте, леди Чилтерн, это мое письмо. Я хочу получить его обратно.

Леди Чилтерн *(улыбаясь)*. Нет. Вместо него вы получите Мейбл. *(Берет письмо и надписывает на нем имя своего мужа.)*

Лорд Горинг. Если только она не передумала. Ведь уже двадцать минут прошло с тех пор, как я ее видел.

Входят Мейбл Чилтерн и лорд Кавершем.

Мейбл Чилтерн. Лорд Горинг, беседовать с вашим отцом гораздо интереснее, чем с вами. Впредь я буду говорить только с ним. И всегда под нашей обычной пальмой.

Лорд Горинг. Милая! *(Целует ее.)*

Лорд Кавершем. Что это значит, сэр? Неужели эта милая, умная девушка сделала такую глупость — согласилась стать вашей женой?

Лорд Горинг. Конечно, отец. А Чилтерн сделал умную вещь — согласился стать министром.

Лорд Кавершем. Очень рад это слышать, Чилтерн... поздравляю вас. И если Англия не пойдет прахом и не попадет в руки радикалов, вы еще когда-нибудь будете премьером.

Входит Мэсон.

Мэсон. Завтрак подан, миледи.

Мэсон уходит.

Мейбл Чилтерн. Вы ведь позавтракаете с нами, лорд Кавершем?

Лорд Кавершем. С удовольствием. А потом отвезу вас на Даунинг-стрит, Чилтерн. У вас блестящее будущее, блестящее! *(Лорду Горингу.)* Хотел бы я сказать то же самое о вас, сэр. Но боюсь, что ваше будущее ограничится домашним кругом.

Лорд Горинг. И очень хорошо. Я лучшего не желаю.

Лорд Кавершем. И если вы не будете для этой девочки идеальным мужем, я вас лишу наследства.

Мейбл Чилтерн. Идеальным мужем! Но я совсем не хочу, чтобы он был идеальным мужем.

Это что-то такое... ненастоящее. Чего и нет на этом свете, а разве только на том.

Лорд Кавершем. А чем вы хотите чтобы он был?

Мейбл Чилтерн. Пусть будет чем хочет. А я сама хочу только одного... быть ему настоящей женой.

Лорд Кавершем. И, честное слово, в этом есть большая доля здравого смысла, леди Чилтерн.

Все уходят, кроме сэра Роберта Чилтерна. Он опускается на стул и сидит задумавшись. Немного погодя входит леди Чилтерн.

Леди Чилтерн *(подходит к нему сзади и наклоняется над спинкой его стула).* Разве ты не пойдешь завтракать, Роберт?

Сэр Роберт Чилтерн *(берет ее за руку).* Гертруда, что ты чувствуешь ко мне — любовь или только жалость?

Леди Чилтерн *(целует его).* Любовь, Роберт. Любовь — и только любовь. Для нас обоих начинается новая жизнь.

Занавес

КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ

легкомысленная комедия
для серьезных людей

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Джон Уординг, *землевладелец, почетный мировой судья.*
Алджернон Монкриф.
Его преподобие каноник Чезюбл, *доктор богословия.*
Мерримен, *дворецкий.*
Лэйн, *лакей Монкрифа.*
Леди Брэкнелл.
Гвендолен Ферфакс, *ее дочь.*
Сесили Кардью.
Мисс Призм, *ее гувернантка.*

Место действия:

Действие первое — квартира Алджернона Монкрифа на Хаф-Мун-стрит, Вест-Энд.
Действие второе — сад в поместье м-ра Уординга, Вултон.
Действие третье — гостиная в поместье м-ра Уординга. Вултон.
Время действия — наши дни.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Гостиная в квартире Алджернона на Хаф-Мун-стрит. Комната обставлена роскошно и со вкусом. Из соседней комнаты слышатся звуки фортепьяно. Лэйн накрывает стол к чаю. Музыка умолкает, и входит Алджернон.

Алджернон. Вы слышали, что я играл, Лэйн?

Лэйн. Я считаю невежливым подслушивать, сэр.

Алджернон. Очень жаль. Конечно, вас жаль, Лэйн. Я играю не очень точно — точность доступна всякому,— но я играю с удивительной экспрессией. И поскольку дело касается фортепьяно — чувство, вот в чем моя сила. Научную точность я приберегаю для жизни.

Лэйн. Да, сэр.

Алджернон. А уж если говорить о науке жизни, Лэйн, вы приготовили сандвичи с огурцом для леди Брэкнелл?

Лэйн. Да, сэр. *(Протягивает блюдо с сандвичами.)*

Алджернон *(осматривает их, берет два и садится на диван).* Да... кстати, Лэйн, я вижу по вашим записям, что в четверг, когда у меня обедали лорд Шормэн и мистер Уординг, в счет поставлено восемь бутылок шампанского.

Лэйн. Да, сэр; восемь бутылок и пинта пива.

Алджернон. Почему это у холостяков шампанское, как правило, выпивают лакеи? Это я просто для сведения.

Лэйн. Отношу это за счет высокого качества вина, сэр. Я часто отмечал, что в семейных домах шампанское редко бывает хороших марок.

Алджернон. Боже мой, Лэйн! Неужели семейная жизнь так развращает нравы?

Лэйн. Возможно, в семейной жизни много приятного, сэр. Правда, в этом отношении у меня самого опыт небольшой. Я был женат только один раз. И то в результате недоразумения, возникшего между мной и одной молодой особой.

Алджернон *(томно)*. Право же, ваша семейная жизнь меня не очень интересует, Лэйн.

Лэйн. Конечно, сэр, это не очень интересно. Я и сам об этом никогда не вспоминаю.

Алджернон. Вполне естественно! Можете идти, Лэйн, благодарю вас.

Лэйн. Благодарю *вас*, сэр.

Лэйн уходит.

Алджернон. Взгляды Лэйна на семейную жизнь не слишком-то нравственны. Ну, а если низшие сословия не будут подавать нам пример, какая от них польза? У них, по-видимому, нет никакого чувства моральной ответственности.

Входит Лэйн.

Лэйн. Мистер Эрнест Уординг.

Входит Джек. Лэйн уходит.

Алджернон. Как дела, дорогой Эрнест? Что привело тебя в город?

Джек. Развлечения, развлечения! А что же еще? Как всегда, жуешь, Алджи?

Алджернон *(сухо)*. Насколько мне известно, в хорошем обществе в пять часов принято слегка подкрепляться. Где ты пропадал с самого четверга?

Джек *(располагается на диване)*. За городом.

Алджернон. А что ты делал за городом?

Джек *(снимая перчатки)*. В городе — развлекаешься сам. За городом развлекаешь других. Такая скука!

Алджернон. А кого именно ты развлекаешь?

Джек *(небрежно)*. А! Соседей, соседей.

Алджернон. И симпатичные у вас там соседи, в Шропшире?

Джек. Невыносимые. Я никогда с ними не разговариваю.

Алджернон. Да, этим ты им, конечно, доставляешь большое развлечение. *(Подходит к столу и берет сандвич.)* Кстати, я не ошибся, это действительно Шропшир?

Джек. Что? Шропшир? Да, конечно. Но послушай. Почему этот сервиз? Почему сандвичи с огурцами? К чему такая расточительность у столь молодого человека? Кого ты ждешь к чаю?

Алджернон. Никого, кроме тети Августы и Гвендолен.

Джек. Отлично!

Алджернон. Да, все это очень хорошо, но боюсь, тетя Августа не очень-то одобрит твое присутствие.

Джек. А собственно, почему?

Алджернон. Милый Джек, твоя манера флиртовать с Гвендолен совершенно неприлична. Не меньше чем манера Гвендолен флиртовать с тобой.

Джек. Я люблю Гвендолен. Я и в город вернулся, чтобы сделать ей предложение.

Алджернон. Ты же говорил — чтобы развлечься... А ведь это дело.

Джек. В тебе нет ни капли романтики.

Алджернон. Не нахожу никакой романтики в предложении. Быть влюбленным — это действительно романтично. Но предложить руку и сердце? Предложение могут принять. Да обычно и принимают. Тогда прощай все очарование. Суть романтики в неопределенности. Если мне суждено жениться, я, конечно, постараюсь позабыть, что я женат.

Джек. Ну, в этом я не сомневаюсь, дружище. Бракоразводный суд был создан специально для людей с плохой памятью.

Алджернон. А! Что толку рассуждать о разводах. Разводы совершаются на небесах.

Джек протягивает руку за сандвичем.

(Тотчас же одергивает его.) Пожалуйста, не трогай сандвичей с огурцом. Они специально для тети Августы. *(Берет сандвичи и ест.)*

Джек. Но ты же все время их ешь.

Алджернон. Это совсем другое дело. Она моя тетка. *(Достает другое блюдо.)* Вот хлеб с маслом. Он для Гвендолен. Гвендолен обожает хлеб с маслом.

Джек *(придвигаясь к столу и берясь за хлеб с маслом).* А хлеб действительно очень вкусный.

Алджернон. Но только, дружище, не вздумай уплести все без остатка. Ты ведешь себя так, словно Гвендолен уже твоя жена. А она еще не твоя жена, да и вряд ли будет.

Джек. Почему ты так думаешь?

Алджернон. Видишь ли, девушки никогда не выходят замуж за тех, с кем флиртуют. Они считают, что это не принято.

Джек. Какая чушь!

Алджернон. Вовсе нет. Истинная правда. И в этом разгадка, почему всюду столько холостяков. А кроме того, я не дам разрешения.

Джек. Ты не дашь разрешения?!

Алджернон. Милый Джек, Гвендолен — моя кузина. И я разрешу тебе жениться на ней, только когда ты объяснишь мне, в каких ты отношениях с Сесили. *(Звонит.)*

Джек. Сесили! О чем ты говоришь? Какая Сесили? Я не знаю никакой Сесили.

Входит Лэйн.

Алджернон. Лэйн, принесите портсигар, который мистер Уординг забыл у нас в курительной, когда обедал на той неделе.

Лэйн. Слушаю, сэр. *(Уходит.)*

Джек. Значит, мой портсигар все время был у тебя? Но почему же ты меня не известил об этом? А я-то бомбардирую Скотленд-Ярд запросами. Я уже готов был предложить большую награду тому, кто найдет его.

Алджернон. Ну что же, вот и выплати ее мне. Деньги мне сейчас нужны до зарезу.

Джек. Какой смысл предлагать награду за уже найденную вещь?

Лэйн вносит портсигар на подносе. Алджернон сразу берет его. Лэйн уходит.

Алджернон. Не очень-то благородно с твоей стороны, Эрнест. *(Раскрывает портсигар и разглядывает его.)* Но, судя по надписи, это вовсе и не твой портсигар.

Джек. Разумеется, мой. *(Протягивает руку.)* Ты сотни раз видел его у меня в руках и, во всяком случае, не должен читать, что там написано. Джентльмену не следует читать надписи в чужом портсигаре.

Алджернон. Всякие правила насчет того, что следует и чего не следует читать, просто нелепы. Современная культура более чем наполовину зиждется на том, чего не следует читать.

Джек. Пусть будет по-твоему. Я вовсе не собираюсь дискутировать о современной культуре. Это не предмет для частной беседы. Я просто хочу получить свой портсигар.

Алджернон. Да, но портсигар вовсе не твой. Это подарок некоей Сесили, а ты сказал, что не знаешь никакой Сесили.

Джек. Ну, если хочешь знать, у меня есть тетка, которую зовут Сесили.

Алджернон. Тетка!

Джек. Да. Чудесная старушка. Живет в Тэнбридж-Уэллс. Ну, давай сюда портсигар, Алджернон.

Алджернон *(отступая за диван).* Но почему она называет себя маленькой Сесили, если она твоя тетка и живет в Тэнбридж-Уэллс? *(Читает.)* «От маленькой Сесили. В знак нежной любви...»

Джек *(подступая к дивану и упираясь в него коленом).* Ну что в этом непонятного? Есть тетки большие, есть тетки маленькие. Уж это, кажется, можно предоставить на усмотрение самой тетки. Ты думаешь, что все тетки непременно похожи на твою? Какая ерунда! А теперь отдай мой портсигар! *(Преследует Алджернона.)*

Алджернон. Так. Но почему это твоя тетка зовет тебя дядей? «От маленькой Сесили. В знак нежной любви дорогому дяде Джеку». Допустим, тетушка может быть маленькой, но почему тетушке, независимо от ее размера и роста, называть собственного племянника дядей, этого я в толк не возьму. А кроме того, тебя зовут вовсе не Джек, а Эрнест.

Джек. Вовсе не Эрнест, а Джек.

Алджернон. А ведь ты всегда говорил мне, что тебя зовут Эрнест! Я представлял тебя всем как Эрнеста. Ты отзывался на имя Эрнест. Ты серьезен, как настоящий Эрнест. Никому на свете так не подходит имя Эрнест. Что за нелепость отказываться от такого имени! Наконец, оно стоит на твоих визитных карточках. Вот. *(Берет визитную карточку из портсигара.)* «Мистер Эрнест Уординг, Б-4, Олбени». Я сохраню это как доказательство, что твое имя Эрнест, на случай если ты вздумаешь отпираться

при мне, при Гвендолен или при ком угодно. *(Кладет визитную карточку в карман.)*

Джек. Ну что ж, в городе меня зовут Эрнест, в деревне — Джек, а портсигар мне подарили в деревне.

Алджернон. И все-таки это не объяснение, почему твоя маленькая тетушка Сесили из Тэнбридж-Уэллс называет тебя дорогим дядей Джеком. Полно, дружище, лучше уж выкладывай все сразу.

Джек. Дорогой Алджи, ты уговариваешь меня точь-в-точь как дантист. Что может быть пошлее, чем говорить так, не будучи дантистом. Это вводит в заблуждение.

Алджернон. А дантисты именно это и делают. Ну, не упрямься, расскажи все как есть. Признаюсь, я всегда подозревал в тебе тайного и ревностного бенбериста и теперь окончательно убедился в этом.

Джек. Бенберист? А что это значит?

Алджернон. Я тебе тотчас же объясню, что значит этот незаменимый термин, как только ты объяснишь мне, почему ты Эрнест в городе и Джек в деревне.

Джек. Отдай сначала портсигар.

Алджернон. Изволь. *(Передает ему портсигар.)* А теперь объясняй, только постарайся как можно неправдоподобнее. *(Садится на диван.)*

Джек. Дорогой мой, здесь нет ничего неправдоподобного. Все очень просто. Покойный мистер Томас Кардью, который усыновил меня, когда я был совсем маленьким, в своем завещании назначил меня опекуном своей внучки мисс Сесили Кардью. Сесили называет меня дядей из чувства уважения, которое ты, видимо, не способен оценить, и живет в моем загородном доме под надзором почтенной гувернантки мисс Призм.

Алджернон. А между прочим, где этот твой загородный дом?

Джек. Тебе это не к чему знать, мой милый. Не надейся на приглашение... Во всяком случае, могу сказать, что это не в Шропшире.

Алджернон. Я так и думал, мой милый. Я два раза бенберировал по всему Шропширу. Но все-таки почему же ты Эрнест в городе и Джек в деревне?

Джек. Дорогой Алджи, я надеюсь, что ты поймешь истинные причины. Ты для этого недостаточно серьезен. Когда вдруг оказываешься опекуном, приходится рассуждать обо всем в высоконравственном духе. Это становится твоим долгом. А так как высоконравственный дух отнюдь не способствует ни здоровью, ни благополучию, то, чтобы вырваться в город, я всегда говорю, что еду к своему младшему брату Эрнесту, который живет в Олбени и то и дело попадает в страшные передряги. Вот, мой дорогой Алджи, вся правда, и притом чистая правда.

Алджернон. Вся правда редко бывает чистой. Иначе современная жизнь была бы невыносимо скучна. А современная литература и вообще не могла бы существовать.

Джек. И мы ничего бы от этого не потеряли.

Алджернон. Литературная критика вовсе не твое призвание, дружище. Не становись на этот путь. Предоставь это тем, кто не обучался в университете. Они с таким успехом занимаются этим в газетах. По натуре ты прирожденный бенберист. Я имел все основания называть тебя так. Ты один из самых законченных бенберистов на свете.

Джек. Объясни, бога ради, что ты хочешь сказать.

Алджернон. Ты выдумал очень полезного младшего брата по имени Эрнест, для того чтобы иметь повод навещать его в городе, когда тебе вздумается. Я выдумал неоценимого вечно больного мистера Бенбери, для того чтобы навещать его в деревне, когда мне вздумается. Мистер Бенбери — это сущая находка. Если бы не его слабое здоровье, я не мог бы, например, сегодня пообедать с тобой у Виллиса, так как тетя Августа пригласила меня на сегодня еще неделю назад.

Джек. Да я и не приглашал тебя обедать.

Алджернон. Ну еще бы, ты удивительно забывчив. И напрасно. Нет ничего хуже, как не получать приглашений.

Джек. Ты бы лучше отобедал у твоей тети Августы.

Алджернон. Не имею ни малейшего желания. Начать с того, что я обедал у нее в понедельник, а обедать с родственниками достаточно и один раз в неделю. А кроме того, когда я там обедаю, со мной обращаются как с родственником, и я оказываюсь

то вовсе без дамы, то сразу с двумя. И, наконец, я прекрасно знаю, с кем меня собираются посадить сегодня. Сегодня меня посадят с Мэри Фаркэр, а она все время флиртует через стол с собственным мужем. Это очень неприятно. Я сказал бы — даже неприлично... А это, между прочим, входит в моду. Просто безобразие, сколько женщин в Лондоне флиртует с собственными мужьями. Это очень противно. Все равно что на людях стирать чистое белье. Кроме того, теперь, когда я убедился, что ты заядлый бенберист, я, естественно, хочу с тобой поговорить об этом. Изложить тебе все правила?

Джек. Да никакой я не бенберист. Если Гвендолен согласится, я тут же прикончу своего братца; впрочем, я покончу с ним в любом случае. Сесили что-то слишком заинтересована им. Это несносно. Так что от Эрнеста я отделаюсь. И тебе я искренне советую сделать то же с мистером... ну с твоим больным другом, забыл, как его там.

Алджернон. Ничто не заставит меня расстаться с мистером Бенбери, и если ты когда-нибудь женишься, что представляется мне маловероятным, то советую и тебе познакомиться с мистером Бенбери. Женатый человек, если он не знаком с мистером Бенбери, готовит себе очень скучную жизнь.

Джек. Глупости. Если я женюсь на такой очаровательной девушке, как Гвендолен, а она единственная девушка, на которой я хотел бы жениться, то поверь, я и знать не захочу твоего мистера Бенбери.

Алджернон. Тогда твоя жена захочет. Ты, должно быть, не отдаешь себе отчета в том, что в семейной жизни втроем весело, а вдоем скучно.

Джек *(назидательно)*. Мой дорогой Алджи! Безнравственная французская драма насаждает эту теорию уже полвека.

Алджернон. Да, и счастливая английская семья усвоила ее за четверть века.

Джек. Ради бога, не старайся быть циником. Это так легко.

Алджернон. Ничто не легко в наши дни, мой друг. Во всем такая жестокая конкуренция. *(Слышен продолжительный звонок.)* Вот, должно быть, тетя Августа. Только родственники и кредиторы звонят так по-вагнеровски. Так вот, если я займу ее на десять минут, чтобы тебе на свободе сделать предло-

жение Гвендолен, могу я рассчитывать сегодня на обед у Виллиса?

Джек. Если так — конечно.

Алджернон. Но только без твоих шуточек. Ненавижу, когда несерьезно относятся к еде. Это неосновательные люди, и притом пошлые.

Входит Лэйн.

Лэйн. Леди Брэкнелл и мисс Ферфакс.

Алджернон идет встречать их. Входят леди Брэкнелл и Гвендолен.

Леди Брэкнелл. Здравствуй, мой милый Алджернон. Надеюсь, ты хорошо себя ведешь?

Алджернон. Я хорошо себя чувствую, тетя Августа.

Леди Брэкнелл. Это вовсе не то же самое. Более того, это редко совпадает... *(Замечает Джека и весьма холодно кивает ему.)*

Алджернон *(к Гвендолен).* Черт возьми, как ты элегантна. Не правда ли, мистер Уординг?

Джек. Вы просто совершенство, мисс Ферфакс.

Гвендолен. О! Надеюсь, что нет. Это лишило бы меня возможности совершенствоваться, а я намерена совершенствоваться во многих отношениях.

Гвендолен и Джек усаживаются в уголке.

Леди Брэкнелл. Извини, что мы запоздали, Алджернон, но мне надо было навестить милую леди Харбери. Я не была у нее с тех пор, как умер бедный ее муж. И я никогда не видела, чтобы женщина так изменилась. Она выглядит на двадцать лет моложе. А теперь я бы выпила чашку чаю и отведала твоих знаменитых сандвичей с огурцом.

Алджернон. Ну разумеется, тетя Августа. *(Идет к столику.)*

Леди Брэкнелл. Иди к нам, Гвендолен.

Гвендолен. Но, мама, мне и тут хорошо.

Алджернон *(при виде пустого блюда).* Силы небесные! Лэйн! Где же сандвичи с огурцом? Я ведь их специально заказывал!

Лэйн *(невозмутимо).* Сегодня на рынке не было огурцов, сэр. Я два раза ходил.

Алджернон. Не было огурцов?

Лэйн. Нет, сэр. Даже за наличные.

Алджернон. Хорошо, Лэйн, благодарю вас.

Лэйн. Благодарю *вас,* сэр. *(Уходит.)*

Алджернон. К моему величайшему сожалению, тетя Августа, огурцов не оказалось, даже за наличные.

Леди Брэкнелл. Ну, ничего, Алджернон. Леди Харбери угостила меня пышками. Она, по-видимому, сейчас ни в чем себе не отказывает.

Алджернон. Я слышал, что волосы у нее стали совсем золотые от горя.

Леди Брэкнелл. Да, цвет волос у нее изменился, хотя, право, не скажу, отчего именно.

Алджернон подает ей чашку чаю.

Спасибо, мой милый. А у меня для тебя сюрприз. За обедом я хочу посадить тебя с Мэри Фаркэр. Такая прелестная женщина и так внимательна к своему мужу. Приятно смотреть на них.

Алджернон. Боюсь, тетя Августа, что я вынужден буду пожертвовать удовольствием обедать у вас сегодня.

Леди Брэкнелл *(хмурясь).* Надеюсь, ты передумаешь, Алджернон. Это расстроит мне весь стол. Ведь твоему дядюшке придется обедать у себя. К счастью, он уже к этому привык.

Алджернон. Мне очень досадно, и, конечно, я очень огорчен, но я только что получил телеграмму с известием, что мой бедный друг Бенбери снова опасно болен. *(Переглянувшись с Джеком.)* Там все ждут моего приезда.

Леди Брэкнелл. Странно. Этот твой мистер Бенбери, как видно, очень слаб здоровьем.

Алджернон. Да, бедный мистер Бенбери совсем инвалид.

Леди Брэкнелл. Я должна сказать тебе, Алджернон, что, по-моему, мистеру Бенбери пора уже решить, жить ему или умирать. Колебаться в таком важном вопросе просто глупо. Я по крайней мере не увлекаюсь современной модой на инвалидов. Я считаю ее нездоровой. Поощрять болезни едва ли следует. Быть здоровым — это наш первейший долг. Я не устаю повторять это твоему бедному дяде, но он не обращает на мои слова никакого внимания... по крайней мере судя по состоянию его здоровья. Ты меня очень обяжешь, если от моего имени попросишь мистера Бенбери поправиться к субботе, потому что я рассчитываю на твою помощь в составлении музы-

кальной программы. У меня это последний вечер в сезоне, и надо же дать какие-то темы для разговора, особенно в конце сезона, когда все уже выговорились, сказали все, что у них было за душой, а ведь чаще всего запас этот очень невелик.

Алджернон. Я передам ваше пожелание мистеру Бенбери, тетя Августа, если только он еще в сознании, и ручаюсь вам, что он постарается поправиться к субботе. Конечно, с музыкой много трудностей. Если музыка хорошая — ее никто не слушает, а если плохая — невозможно вести разговор. Но я покажу вам программу, которую я наметил. Пройдемте в кабинет.

Леди Брэкнелл. Спасибо, Алджернон, что помнишь свою тетку. *(Встает и идет за Алджерноном.)* Я уверена, что программа будет прелестная, если ее слегка почистить. Французских шансонеток я не допущу. Гости всегда либо находят их неприличными и возмущаются, и это такое мещанство, либо смеются, а это еще хуже. Я пришла к убеждению, что немецкий язык звучит гораздо приличнее. Гвендолен, идем со мной.

Гвендолен. Иду, мама.

Леди Брэкнелл и Алджернон выходят. Гвендолен остается на месте.

Джек. Не правда ли, сегодня чудесная погода, мисс Ферфакс.

Гвендолен. Пожалуйста, не говорите со мной о погоде, мистер Уординг. Каждый раз, когда мужчины говорят со мной о погоде, я знаю, что на уме у них совсем другое. И это действует мне на нервы.

Джек. Я хочу сказать о другом.

Гвендолен. Ну вот видите. Я никогда не ошибаюсь.

Джек. И мне хотелось бы воспользоваться отсутствием леди Брэкнелл, чтобы...

Гвендолен. И я бы вам это посоветовала. У мамы есть привычка неожиданно появляться в комнате. Об этом мне уже приходилось ей говорить.

Джек *(нервно)*. Мисс Ферфакс, с той самой минуты, как я вас увидел, я восторгался вами больше, чем всякой другой девушкой... какую я встречал... с тех пор как я встретил вас.

Гвендолен. Я это прекрасно знаю. Жаль только, что хотя бы на людях вы не показываете этого

более явно. Мне вы всегда очень нравились. Даже до того, как мы с вами встретились, я была к вам неравнодушна.

Джек смотрит на нее с изумлением.

Мы живем, как вы, надеюсь, знаете, мистер Уординг, в век идеалов. Это постоянно утверждают самые фешенебельные журналы, и, насколько я могу судить, это стало темой проповедей в самых захолустных церквах. Так вот, моей мечтой всегда было полюбить человека, которого зовут Эрнест. В этом имени есть нечто внушающее абсолютное доверие. Как только Алджернон сказал мне, что у него есть друг Эрнест, я сейчас же поняла, что мне суждено полюбить вас.

Джек. И вы действительно любите меня, Гвендолен?

Гвендолен. Страстно!

Джек. Милая! Вы не знаете, какое это для меня счастье.

Гвендолен. Мой Эрнест!

Джек. А скажите, вы действительно не смогли бы полюбить меня, если бы меня звали не Эрнест?

Гвендолен. Но вас ведь зовут Эрнест.

Джек. Да, конечно. Но если бы меня звали как-нибудь иначе? Неужели вы меня не полюбили бы?

Гвендолен *(не задумываясь)*. Ну, это ведь только метафизическое рассуждение, и, как прочие метафизические рассуждения, оно не имеет ровно никакой связи с реальной жизнью, такой, какой мы ее знаем.

Джек. Сказать по правде, мне совсем не нравится имя Эрнест... По-моему, оно мне вовсе не подходит.

Гвендолен. Оно подходит вам больше, чем кому-либо. Чудесное имя. В нем есть какая-то музыка. Оно вызывает вибрации.

Джек. Но, право же, Гвендолен, по-моему, есть много имен гораздо лучше. Джек, например,—прекрасное имя.

Гвендолен. Джек? Нет, оно вовсе не музыкально. Джек—нет, это не волнует, не вызывает никаких вибраций... Я знала нескольких Джеков, и все они были один другого ординарнее. А кроме того, Джек—ведь это уменьшительное от Джон. И мне

искренне жаль всякую женщину, которая вышла бы замуж за человека по имени Джон. Она, вероятно, никогда не испытает упоительного наслаждения — побыть хоть минутку одной. Нет, единственное надежное имя — это Эрнест.

Джек. Гвендолен, мне необходимо сейчас же креститься... то есть я хотел сказать — жениться. Нельзя терять ни минуты.

Гвендолен. Жениться, мистер Уординг?

Джек *(в изумлении)*. Ну да... конечно. Я люблю вас, и вы дали мне основание думать, мисс Ферфакс, что вы не совсем равнодушны ко мне.

Гвендолен. Я обожаю вас. Но вы еще не делали мне предложения. О женитьбе не было ни слова. Этот вопрос даже не поднимался.

Джек. Но... но вы разрешите сделать вам предложение?

Гвендолен. Я думаю, сейчас для этого самый подходящий случай. И чтобы избавить вас от возможного разочарования, мистер Уординг, я должна вам заявить с полной искренностью, что я твердо решила ответить вам согласием.

Джек. Гвендолен!

Гвендолен. Да, мистер Уординг, так что же вы хотите мне сказать?

Джек. Вы же знаете все, что я могу вам сказать.

Гвендолен. Да, но вы не говорите.

Джек. Гвендолен, вы согласны стать моей женой? *(Становится на колени.)*

Гвендолен. Конечно, согласна, милый. Как долго вы собирались! Я думаю, вам не часто приходилось делать предложение.

Джек. Но, дорогая, я никого на свете не любил, кроме вас.

Гвендолен. Да, но мужчины часто делают предложение просто для практики. Вот, например, мой брат Джеральд. Все мои подруги говорят мне это. Какие у вас чудесные голубые глаза, Эрнест. Совершенно, совершенно голубые. Надеюсь, вы всегда будете смотреть на меня вот так, особенно при людях.

Входит леди Брэкнелл.

Леди Брэкнелл. Мистер Уординг! Встаньте! Что за полусогбенное положение! Это в высшей степени неприлично!

Гвендолен. Мама!

Джек пытается встать. Она его удерживает.

Пожалуйста, обождите в той комнате. Вам здесь нечего делать. Кроме того, мистер Уординг еще не кончил.

Леди Брэкнелл. Чего не кончил, осмелюсь спросить?

Гвендолен. Я помолвлена с мистером Уордингом, мама.

Они встают оба.

Леди Брэкнелл. Извини, пожалуйста, но ты еще ни с кем не помолвлена. Когда придет время, я или твой отец, если только здоровье ему позволит, сообщим тебе о твоей помолвке. Помолвка для молодой девушки должна быть неожиданностью, приятной или неприятной — это уже другой вопрос. И нельзя позволять молодой девушке решать такие вещи самостоятельно... Теперь, мистер Уординг, я хочу задать вам несколько вопросов. А ты, Гвендолен, подождешь меня внизу в карете.

Гвендолен *(с упреком)*. Мама!

Леди Брэкнелл. В карету, Гвендолен!

Гвендолен идет к двери. На пороге они с Джеком обмениваются воздушным поцелуем за спиной у леди Брэкнелл.

(Озирается в недоумении, словно не понимая, что это за звук. Потом оборачивается.) В карету!

Гвендолен. Да, мама. *(Уходит, оглядываясь на Джека.)*

Леди Брэкнелл. *(усаживаясь.)* Вы можете сесть, мистер Уординг. *(Роется в кармане, ища записную книжечку и карандаш.)*

Джек. Благодарю вас, леди Брэкнелл, я лучше постою.

Леди Брэкнелл *(вооружившись книжкой и карандашом)*. Вынуждена отметить: вы не значитесь в моем списке женихов, хотя он в точности совпадает со списком герцогини Болтон. Мы с ней в этом смысле работаем вместе. Однако я готова внести вас в список, если ваши ответы будут соответствовать требованиям заботливой матери. Вы курите?

Джек. Должен признаться, курю.

Леди Брэкнелл. Рада слышать. Каждому мужчине нужно какое-нибудь занятие. И так уж в Лондоне слишком много бездельников. Сколько вам лет?

Джек. Двадцать девять.

Леди Брэкнелл. Самый подходящий возраст для женитьбы. Я всегда придерживалась того мнения, что мужчина, желающий вступить в брак, должен знать все или ничего. Что вы знаете?

Джек *(после некоторого колебания)*. Ничего, леди Брэкнелл.

Леди Брэкнелл. Рада слышать это. Я не одобряю всего, что нарушает естественное неведение. Неведение подобно нежному экзотическому цветку: дотроньтесь до него, и он завянет. Все теории современного образования в корне порочны. К счастью, по крайней мере у нас, в Англии, образование не оставляет никаких следов. Иначе оно было бы чрезвычайно опасно для высших классов и, быть может, привело бы к террористическим актам на Гровенор-сквер. Ваш доход?

Джек. От семи до восьми тысяч в год.

Леди Брэкнелл *(делая пометки в книжке)*. В акциях или в земельной ренте?

Джек. Главным образом в акциях.

Леди Брэкнелл. Это лучше. Всю жизнь платишь налоги, и после смерти с тебя их берут, а в результате земля не дает ни дохода, ни удовольствия. Правда, она дает положение в обществе, но не дает возможности пользоваться им. Такова моя точка зрения на землю.

Джек. У меня есть загородный дом, ну, и при нем земля — около полутора тысяч акров; но не это основной источник моего дохода. Мне кажется, что пользу из моего поместья извлекают только браконьеры.

Леди Брэкнелл. Загородный дом! А сколько в нем спален? Впрочем, это мы выясним позднее. Надеюсь, у вас есть дом и в городе? Такая простая, неиспорченная девушка, как Гвендолен, не может жить в деревне.

Джек. У меня дом на Белгрэйв-сквер, но его из года в год арендует леди Блоксхэм. Конечно, я могу отказать ей, предупредив за полгода.

Леди Брэкнелл. Леди Блоксхэм? Я такой не знаю.

Джек. Она редко выезжает. Она уже довольно пожилая.

Леди Брэкнелл. Ну, в наше время это едва ли может служить гарантией порядочного поведения. А какой номер на Белгрэйв-сквер?

Джек. Сто сорок девять.

Леди Брэкнелл *(покачивая головой)*. Не модная сторона. Так я и знала, что не обойдется без дефекта. Но это легко изменить.

Джек. Что именно — моду или сторону?

Леди Брэкнелл. *(строго)*. Если понадобится — и то и другое. А каковы ваши политические взгляды?

Джек. Признаться, у меня их нет. Я либерал-юнионист.

Леди Брэкнелл. Ну, их можно считать консерваторами. Их даже приглашают на обеды. Во всяком случае, на вечера. А теперь перейдем к менее существенному. Родители ваши живы?

Джек. Нет. Я потерял обоих родителей.

Леди Брэкнелл. Потерю одного из родителей еще можно рассматривать как несчастье, но потерять обоих, мистер Уординг, похоже на небрежность. Кто был ваш отец? Видимо, он был человек состоятельный. Был ли он, как выражаются радикалы, представителем крупной буржуазии или же происходил из аристократической семьи?

Джек. Боюсь, не смогу ответить вам на этот вопрос. Дело в том, леди Брэкнелл, что я неточно выразился, сказав, что я потерял родителей. Вернее было бы сказать, что родители меня потеряли... По правде говоря, я не заню своего происхождения. Я... найденыш.

Леди Брэкнелл. Найденыш!

Джек. Покойный мистер Томас Кардью, весьма добросердечный и щедрый старик, нашел меня и дал мне фамилию Уординг, потому что у него в кармане был тогда билет первого класса до Уординга. Уординг, как вы знаете, морской курорт в Сассексе.

Леди Брэкнелл. И где же этот добросердечный джентльмен с билетом первого класса до Уординга нашел вас?

Джек *(серьезно)*. В саквояже.

Леди Брэкнелл. В саквояже?

Джек *(очень серьезно)*. Да, леди Брэкнелл. Я был найден в саквояже — довольно большом черном

кожаном саквояже с прочными ручками,— короче говоря, в самом обыкновенном саквояже.

Леди Брэкнелл. И где именно этот мистер Джемс или Томас Кардью нашел этот самый обыкновенный саквояж?

Джек. В камере хранения на вокзале Виктория. Ему выдали этот саквояж по ошибке вместо его собственного.

Леди Брэкнелл. В камере хранения на вокзале Виктория?

Джек. Да, на Брайтонской платформе.

Леди Брэкнелл. Платформа не имеет значения. Мистер Уординг, должна вам признаться, я несколько смущена тем, что вы мне сообщили. Родиться или пусть даже воспитываться в саквояже, независимо от того, какие у него ручки, представляется мне забвением всех правил приличия. Это напоминает мне худшие эксцессы времен французской революции. Я полагаю, вам известно, к чему привело это злосчастное возмущение. А что касается места, где был найден саквояж, то хотя камера хранения и может хранить тайны нарушения общественной морали — что, вероятно, и бывало не раз,— но едва ли она может обеспечить прочное положение в обществе.

Джек. Но что же мне делать? Не сомневайтесь, что я готов на все, лишь бы обеспечить счастье Гвендолен.

Леди Брэкнелл. Я очень рекомендую вам, мистер Уординг, как можно скорей обзавестись родственниками — постараться во что бы то ни стало достать себе хотя бы одного из родителей — все равно, мать или отца,— и сделать это еще до окончания сезона.

Джек. Но, право же я не знаю, как за это взяться. Саквояж я могу предъявить в любую минуту. Он у меня в гардеробной, в деревне. Может быть, этого вам будет достаточно, леди Брэкнелл?

Леди Брэкнелл. Мне, сэр! Какое это имеет отношение ко мне? Неужели вы воображаете, что мы с лордом Брэкнелл допустим, чтобы наша единственная дочь — девушка, на воспитание которой положено столько забот,— была отдана в камеру хранения и обручена с саквояжем? Прощайте, мистер Уординг! *(Исполненная негодования, величаво выплывает из комнаты.)*

Джек. Прощайте!

В соседней комнате Алджернон играет свадебный марш.

(В бешенстве подходит к дверям.) Бога ради, прекрати эту идиотскую музыку, Алджернон! Ты совершенно невыносим.

Марш обрывается, и, улыбаясь, вбегает Алджернон.

Алджернон. А что, разве не вышло, дружище? Неужели Гвендолен отказала тебе? С ней это бывает. Она всем отказывает. Такой уж у нее характер.

Джек. Нет! С Гвендолен все в порядке. Что касается Гвендолен, то мы можем считать себя помолвленными. Ее мамаша — вот в чем загвоздка. Никогда не видывал такой мегеры... Я, собственно, не знаю, что такое мегера, но леди Брэкнелл сущая мегера. Во всяком случае, она чудовище, и вовсе не мифическое, а это гораздо хуже... Прости меня, Алджернон, я, конечно, не должен был так отзываться при тебе о твоей тетке.

Алджернон. Дорогой мой, обожаю, когда так отзываются о моих родных. Это единственный способ как-то примириться с их существованием. Родственники — скучнейший народ, они не имеют ни малейшего понятия о том, как надо жить, и никак не могут догадаться, когда им следует умереть.

Джек. Ну, это чепуха!

Алджернон. Нисколько.

Джек. Я вовсе не намерен с тобой спорить. Ты всегда обо всем споришь.

Алджернон. Да все на свете для этого и создано.

Джек. Ну, знаешь ли, если так считать, то лучше застрелиться... *(Пауза.)* А ты не думаешь, Алджи, что лет через полтораста Гвендолен станет очень похожа на свою мать?

Алджернон. Все женщины со временем становятся похожи на своих матерей. В этом их трагедия. Ни один мужчина не бывает похож на свою мать. В этом его трагедия.

Джек. Это что, остроумно?

Алджернон. Это отлично сказано и настолько же верно, насколько любой афоризм нашего цивилизованного века.

Джек. Я сыт по горло остроумием. Теперь все остроумны. Шага нельзя ступить, чтобы не встретить умного человека. Это становится поистине общест-

венным бедствием. Чего бы я не дал за несколько настоящих дураков. Но их нет.

Алджернон. Они есть. Сколько угодно.

Джек. Хотел бы повстречаться с ними. О чем они говорят?

Алджернон. Дураки? Само собой, об умных людях.

Джек. Какие дураки!

Алджернон. А кстати, ты сказал Гвендолен всю правду про то, что ты Эрнест в городе и Джек в деревне?

Джек *(покровительственным тоном)*. Дорогой мой, вся правда — это совсем не то, что следует говорить красивой, милой, очаровательной девушке. Что у тебя за превратные представления о том, как вести себя с женщиной!

Алджернон. Единственный способ вести себя с женщиной — это ухаживать за ней, если она красива, или за другой, если она некрасива.

Джек. Ну, это чепуха!

Алджернон. А все-таки как быть с твоим братцем? С беспутным Эрнестом?

Джек. Не пройдет недели, и я навсегда разделаюсь с ним. Я объявлю, что он умер в Париже от апоплексического удара. Ведь многие скоропостижно умирают от удра, не так ли?

Алджернон. Да, но это наследственное, мой милый. Это поражает целые семьи. Не лучше ли острая простуда?

Джек. А ты уверен, что острая простуда — это не наследственное?

Алджернон. Ну конечно, уверен.

Джек. Хорошо. Мой бедный брат Эрнест скоропостижно скончался в Париже от острой простуды. И кончено.

Алджернон. Но мне казалось, ты говорил... Ты говорил, что мисс Кардью не на шутку заинтересована твоим братом Эрнестом? Как она перенесет такую утрату?

Джек. Ну, это не важно. Сесили, смею тебя уверить, не мечтательница. У нее превосходный аппетит, она любит большие прогулки и вовсе не примерная ученица.

Алджернон. А мне хотелось бы познакомиться с Сесили.

Джек. Постараюсь этого не допустить. Она очень хорошенькая, и ей только что исполнилось восемнадцать.

Алджернон. А ты сказал Гвендолен, что у тебя есть очень хорошенькая воспитанница, которой только что исполнилось восемнадцать?

Джек. К чему разглашать такие подробности? Сесили и Гвендолен непременно подружатся. Поручусь чем угодно, что через полчаса после встречи они назовут друг друга сестрами.

Алджернон. Женщины приходят к этому только после того, как обзовут друг друга совсем иными именами. Ну, а теперь, дружище, надо сейчас же переодеться. Иначе мы не захватим хорошего столика у Виллиса. Ведь уже скоро семь.

Джек *(раздраженно)*. У тебя постоянно скоро семь.

Алджернон. Ну да, я голоден.

Джек. А когда ты не бываешь голоден?

Алджернон. Куда мы после обеда? В театр?

Джек. Нет, ненавижу слушать глупости.

Алджернон. Ну тогда в клуб.

Джек. Ни за что. Ненавижу болтать глупости.

Алджернон. Ну тогда к десяти в варьете.

Джек. Не выношу смотреть глупости. Уволь!

Алджернон. Ну так что же нам делать?

Джек. Ничего.

Алджернон. Это очень трудное занятие. Но я не против того, чтобы потрудиться, если только это не ради какой-то цели.

Входит Лэйн.

Лэйн. Мисс Ферфакс.

Входит Гвендолен. Лэйн уходит.

Алджернон. Гвендолен! Какими судьбами?

Гвендолен. Алджи, пожалуйста, отвернись. Я должна по секрету поговорить с мистером Уордингом.

Алджернон. Знаешь, Гвендолен, в сущности, я не должен разрешать тебе этого.

Гвендолен. Алджи, ты всегда занимаешь аморальную позицию по отношению к самым простым вещам. Ты еще слишком молод для этого.

Алджернон отходит к камину.

Джек. Любимая!

Гвендолен. Эрнест, мы никогда не сможем пожениться. Судя по выражению маминого лица, этому не бывать. Теперь родители очень редко считаются с тем, что говорят им дети. Былое уважение к юности быстро отмирает. Какое-либо влияние на маму я утратила уже в трехлетнем возрасте. Но даже если она помешает нам стать мужем и женой и я выйду еще за кого-нибудь, и даже не один раз,— ничто не сможет изменить моей вечной любви к вам.

Джек. Гвендолен, дорогая!

Гвендолен. История вашего романтического происхождения, которую мама рассказала мне в самом непривлекательном виде, потрясла меня до глубины души. Ваше имя мне стало еще дороже. А ваше простодушие для меня просто непостижимо. Ваш городской адрес в Олбени у меня есть. А какой ваш адрес в деревне?

Джек. Поместье Вултон. Хартфордшир.

Алджернон, который прислушивается к разговору, улыбается и записывает адрес на манжете. Потом берет со стола железнодорожное расписание.

Гвендолен. Надеюсь, почтовая связь у вас налажена. Возможно, нам придется прибегнуть к отчаянным мерам. Это, конечно, потребует серьезного обсуждения. Я буду сноситься с вами ежедневно.

Джек. Душа моя!

Гвендолен. Сколько вы еще пробудете в городе?

Джек. До понедельника.

Гвендолен. Прекрасно! Алджи, можешь повернуться.

Алджернон. А я уже повернулся.

Гвендолен. Можешь также позвонить.

Джек. Вы позволите мне проводить вас до кареты, дорогая?

Гвендолен. Само собой.

Джек *(вошедшему Лэйну)*. Я провожу мисс Ферфакс.

Лэйн. Слушаю, сэр.

Джек и Гвендолен уходят. Лэйн держит на подносе несколько писем. Видимо, это счета, потому что Алджернон, взглянув на конверты, рвет их на кусочки.

Алджернон. Стакан хересу, Лэйн.

Лэйн. Слушаю, сэр.

Алджернон. Завтра, Лэйн, я отправляюсь бенбе-рировать.

Лэйн. Слушаю, сэр.

Алджернон. Вероятно, я не вернусь до понедельника. Уложите фрак, смокинг и все для поездки к мистеру Бенбери.

Лэйн. Слушаю, сэр. *(Подает херес.)*

Алджернон. Надеюсь, завтра будет хорошая погода, Лэйн.

Лэйн. Погода никогда не бывает хорошей, сэр.

Алджернон. Лэйн, вы законченный пессимист.

Лэйн. Стараюсь по мере сил, сэр.

Входит Джек. Лэйн уходит.

Джек. Вот разумная, мыслящая девушка. Единственная в моей жизни.

Алджернон без удержу хохочет.

Чего это ты так веселишься?

Алджернон. Просто вспомнил о бедном мистере Бенбери.

Джек. Если ты не одумаешься, Алджи, помяни мое слово, попадешь ты с этим Бенбери в переделку!

Алджернон. А мне это как раз нравится. Иначе скучно было бы жить на свете.

Джек. Какая чушь, Алджи. От тебя слышишь одни глупости.

Алджернон. А от кого их не услышишь?

Джек с возмущением глядит на него, потом выходит. Алджернон закуривает папиросу, читает адрес на манжете и улыбается.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сад в поместье м-ра Уордингa. Серая каменная лестница ведет к дому. По-старомодному распланированный сад, полный роз. Время — июль. В тени большого тиса соломенные стулья, стол, заваленный книгами. Мисс Призм сидит за столом. Сесили в глубине поливает цветы.

Мисс Призм. Сесили, Сесили! Такое утилитарное занятие, как поливка цветов, это скорее обязанность Мольтона, чем ваша. Особенно сейчас, когда вас ожидают интеллектуальные наслаждения. Ваша немецкая грамматика у вас на столе. Раскройте страницу пятнадцатую. Мы повторим вчерашний урок.

Сесили *(подходя очень медленно)*. Но я ненавижу немецкий. Противный язык. После немецкого урока у меня всегда ужасный вид.

Мисс Призм. Дитя мое, вы знаете, как озабочен ваш опекун тем, чтобы вы продолжали свое образование. Уезжая вчера в город, он особенно обращал мое внимание на немецкий язык. И каждый раз, уезжая в город, он напоминает о немецком языке.

Сесили. Дорогой дядя Джек такой серьезный! Иногда я боюсь, что он не совсем здоров.

Мисс Призм *(выпрямляясь)*. Ваш опекун совершенно здоров, и строгость его поведения особенно похвальна в таком сравнительно молодом человеке. Я не знаю никого, кто превосходил бы его в сознании долга и ответственности.

Сесили. Может быть, поэтому он и скучает, когда мы остаемся тут втроем.

Мисс Призм. Сесили! Вы меня удивляете. У мистера Уордингa много забот. Праздная и легкомысленная болтовня ему не к лицу. Вы же знаете, какие огорчения доставляет ему его несчастный младший брат.

Сесили. Я хотела бы, чтобы дядя позволил этому несчастному младшему брату хоть иногда гостить у нас. Мы бы могли оказать на него хорошее влияние, мисс Призм. Я уверена, что вы, во всяком случае, могли бы. Вы знаете немецкий и геологию, а такие познания могут перевоспитать человека. *(Что-то записывает в своем дневнике.)*

Мисс Призм *(покачивая головой).* Не думаю, чтобы даже я могла оказать влияние на человека, который, по словам собственного брата, обладает таким слабым и неустойчивым характером. Да я и не уверена, что взялась бы за его исправление. Я вовсе не одобряю современной мании мгновенно превращать дурного человека в хорошего. Что он посеял, пускай и пожнет. Закройте ваш дневник, Сесили. Вообще вам совсем не следует вести дневник.

Сесили. Я веду дневник для того, чтобы поверять ему самые удивительные тайны моей жизни. Без записей я, вероятно, позабыла бы их.

Мисс Призм. Память, моя милая,— вот дневник, которого у нас никто не отнимет.

Сесили. Да, но обычно запоминаются события, которых на самом деле не было и не могло быть. Я думаю, именно памяти мы обязаны трехтомными романами, которые нам присылают из библиотеки.

Мисс Призм. Не хулите трехтомные романы, Сесили. Я сама когда-то сочинила такой роман.

Сесили. Нет, в самом деле, мисс Призм? Какая вы умная! И, надеюсь, конец был несчастливый? Я не люблю романов со счастливым концом. Они меня положительно угнетают.

Мисс Призм. Для хороших там все кончалось хорошо, а для плохих плохо. Это и называется беллетристикой.

Сесили. Может быть, и так. Но это несправедливо. А ваш роман был напечатан?

Мисс Призм. Увы! Нет. Рукопись, к несчастью, была мною утрачена.

Сесили делает удивленный жест.

Я хочу сказать — забыта, потеряна. Но примемся за работу, дитя мое, время уходит у нас на пустые разговоры.

Сесили *(с улыбкой).* А вот и доктор Чезюбл идет к нам.

Мисс Призм *(встав и идя навстречу).* Доктор Чезюбл! Как приятно вас видеть!

Входит каноник Чезюбл.

Чезюбл. Ну, как мы сегодня поживаем? Надеюсь, вы в добром здравии, мисс Призм?

Сесили. Мисс Призм только что жаловалась на головную боль. Мне кажется, ей помогла бы небольшая прогулка с вами, доктор.

Мисс Призм. Сесили! Но я вовсе не жаловалась на головную боль.

Сесили. Да, мисс Призм, но я чувствую, что голова у вас болит. Когда вошел доктор Чезюбл, я думала как раз об этом, а не об уроке немецкого языка.

Чезюбл. Надеюсь, Сесили, что вы внимательно относитесь к вашим урокам?

Сесили. Боюсь, что не очень.

Чезюбл. Не понимаю. Если бы мне посчастливилось быть учеником мисс Призм, я бы не отрывался от ее уст.

Мисс Призм негодует.

Я говорю метафорически — моя метафора заимствована у пчел. Да! Мистер Уординг, я полагаю, еще не вернулся из города?

Мисс Призм. Мы ждем его не раньше понедельника.

Чезюбл. Да, верно, ведь он предпочитает проводить воскресные дни в Лондоне. Не в пример его несчастному младшему брату, он не из тех, для кого единственная цель — развлечения. Но я не стану больше мешать Эгерии и ее ученице.

Мисс Призм. Эгерия? Меня зовут Летиция, доктор.

Чезюбл *(отвешивая поклон)*. Классическая аллюзия, не более того: заимствована из языческих авторов. Я, без сомнения, увижу вас вечером в церкви?

Мисс Призм. Я все-таки, пожалуй, немножко пройдусь с вами, доктор. Голова у меня действительно побаливает, и прогулка мне поможет.

Чезюбл. С удовольствием, мисс Призм, с величайшим удовольствием. Мы пройдем до школы и обратно.

Мисс Призм. Восхитительно! Сесили, в мое отсутствие вы приготовите политическую экономию. Главу о падении рупии можете опустить. Это чересчур злободневно. Даже финансовые проблемы имеют

драматический резонанс. *(Уходит по дорожке, сопровождаемая доктором Чезюблом.)*

Сесили *(хватает одну книгу за другой и швыряет их обратно на стол).* Ненавижу политическую экономию! Ненавижу географию. Ненавижу, ненавижу немецкий.

Входит Мерримен с визитной карточкой на подносе.

Мерримен. Сейчас со станции прибыл мистер Эрнест Уординг. С ним его чемоданы.

Сесили *(берет карточку и читает).* «Мистер Эрнест Уординг, Б-4, Олбени, зап.». Несчастный брат дяди Джека! Вы ему сказали, что мистер Уординг в Лондоне?

Мерримен. Да, мисс. Он, по-видимому, очень огорчился. Я заметил, что вы с мисс Призм сейчас в саду. Он сказал, что хотел бы побеседовать с вами.

Сесили. Просите мистера Эрнеста Уординга сюда. Я думаю, надо сказать экономке, чтобы она приготовила для него комнату.

Мерримен. Слушаю, мисс. *(Уходит.)*

Сесили. Никогда в жизни я не встречала по-настоящему беспутного человека! Мне страшно. А вдруг он такой же, как все?

Входит Алджернон, очень веселый и добродушный.

Да, такой же!

Алджернон *(приподнимая шляпу).* Так это вы моя маленькая кузина Сесили?

Сесили. Тут какая-то ошибка. Я совсем не маленькая. Напротив, для своих лет я даже слишком высока.

Алджернон несколько смущен.

Но я действительно ваша кузина Сесили. А вы, судя по визитной карточке, брат дяди Джека, кузен Эрнест, мой беспутный кузен Эрнест.

Алджернон. Но я вовсе не беспутный, кузина. Пожалуйста, не думайте, что я беспутный.

Сесили. Если это не так, то вы самым непозволительным образом вводили нас в заблуждение. Надеюсь, вы не ведете двойной жизни, прикидываясь беспутным, когда на самом деле вы добродетельны. Это было бы лицемерием.

Алджернон *(глядя на нее с изумлением).* Гм! Конечно, я бывал весьма легкомысленным.

Сесили. Очень рада, что вы это признаете.

Алджернон. Если вы уж заговорили об этом, должен признаться, что шалил я достаточно.

Сесили. Не думаю, что вам следует этим хвастаться, хотя, вероятно, это вам доставляло удовольствие.

Алджернон. Для меня гораздо большее удовольствие быть здесь, с вами.

Сесили. Я вообще не понимаю, как вы здесь очутились. Дядя Джек вернется только в понедельник.

Алджернон. Очень жаль. Я должен уехать в понедельник первым же поездом. У меня деловое свидание, и мне очень хотелось бы... избежать его.

Сесили. А вы не могли бы избежать его где-нибудь в Лондоне?

Алджернон. Нет, свидание назначено в Лондоне.

Сесили. Конечно, я понимаю, как важно не выполнить деловое обещание, если хочешь сохранить чувство красоты и полноты жизни, но все-таки вам лучше дождаться приезда дяди Джека. Я знаю, он хотел поговорить с вами относительно вашей эмиграции.

Алджернон. Относительно чего?

Сесили. Вашей эмиграции. Он поехал покупать вам дорожный костюм.

Алджернон. Никогда не поручил бы Джеку покупать мне костюм. Он не способен выбрать даже галстук.

Сесили. Но вам едва ли понадобятся галстуки. Ведь дядя Джек отправляет вас в Австралию.

Алджернон. В Австралию! Лучше на тот свет!

Сесили. Да, в среду за обедом он сказал, что вам предстоит выбирать между этим светом, тем светом и Австралией.

Алджернон. Вот как! Но сведения, которыми я располагаю об Австралии и о том свете, не очень заманчивы. Для меня и этот свет хорош, кузина.

Сесили. Да, но достаточно ли вы хороши для него?

Алджернон. Боюсь, что нет. Поэтому я и хочу, чтобы вы взялись за мое исправление. Это могло бы стать вашим призванием,— конечно, если б вы этого захотели, кузина.

Сесили. Боюсь, что сегодня у меня на это нет времени.

Алджернон. Ну тогда хотите, чтобы я сам исправился сегодня же?

Сесили. Едва ли это вам по силам. Но почему не попробовать?

Алджернон. Непременно попробую. Я уже чувствую, что становлюсь лучше.

Сесили. Но вид у вас стал хуже.

Алджернон. Это потому, что я голоден.

Сесили. Ах, как это мне не пришло в голову! Конечно, тот, кто собирается возродиться к новой жизни, нуждается в регулярном и здоровом питании. Пройдемте в дом.

Алджернон. Благодарю вас. Но можно мне цветок в петлицу? Без цветка в петлице мне и обед не в обед.

Сесили. Марешаль Ниель? *(Берется за ножницы.)*

Алджернон. Нет, лучше пунцовую.

Сесили. Почему? *(Срезает пунцовую розу.)*

Алджернон. Потому что вы похожи на пунцовую розу, Сесили.

Сесили. Я думаю, вам не следует так говорить со мной. Мисс Призм никогда со мной так не говорит.

Алджернон. Значит, мисс Призм просто близорукая старушка.

Сесили вдевает розу ему в петлицу.

Вы на редкость хорошенькая девушка, Сесили.

Сесили. Мисс Призм говорит, что красота — это только ловушка.

Алджернон. Это ловушка, в которую с радостью попался бы всякий здравомыслящий человек.

Сесили. Ну, я вовсе не хотела бы поймать здравомыслящего человека. О чем с ним разговаривать?

Они уходят в дом. Возвращаются мисс Призм и доктор Чезюбл.

Мисс Призм. Вы слишком одиноки, дорогой доктор. Вам следовало бы жениться. Мизантроп — это я еще понимаю, но женотропа понять не могу.

Чезюбл *(филологическое чувство которого потрясено)*. Поверьте, я не заслуживаю такого неологизма. Как теория, так и практика церкви первых веков христианства высказывалась против брака.

Мисс Призм *(нравоучительно)*. Поэтому церковь первых веков христианства и не дожила до

нашего времени. И вы, должно быть, не отдаете себе отчета, дорогой доктор, что, упорно отказываясь от женитьбы, человек является всеобщим соблазном. Мужчинам следует быть осмотрительнее, слабых духом безбрачие способно сбить с пути истинного.

Чезюбл. Но разве женатый мужчина менее привлекателен?

Мисс Призм. Женатый мужчина привлекателен только для своей жены.

Чезюбл. Увы, даже для нее, как говорят, не всегда.

Мисс Призм. Это зависит от интеллектуального уровня женщины. Зрелый возраст в этом смысле всего надежней. Спелости можно довериться. А молодые женщины — это еще зеленый плод.

Доктор Чезюбл делает удивленный жест.

Я говорю агрикультурно. Моя метафора заимствована из садоводства. Но где же Сесили?

Чезюбл. Может быть, она тоже пошла пройтись до школы и обратно?

Из глубины сада медленно приближается Джек. Он облачен в глубокий траур, с крепом на шляпе и в черных перчатках.

Мисс Призм. Мистер Уординг!

Чезюбл. Мистер Уординг!

Мисс Призм. Какой сюрприз! А мы вас не ждали раньше понедельника.

Джек *(с трагической миной жмет руку мисс Призм)*. Да, я вернулся раньше, чем предполагал. Доктор Чезюбл, здравствуйте.

Чезюбл. Дорогой мистер Уординг! Надеюсь, это скорбное одеяние не означает какой-нибудь ужасной утраты?

Джек. Мой брат.

Мисс Призм. Новые долги и безрассудства?

Чезюбл. В тенетах зла и наслаждения?

Джек *(качая головой)*. Умер.

Чезюбл. Ваш брат Эрнест умер?

Джек. Да, умер. Совсем умер.

Мисс Призм. Какой урок для него! Надеюсь, это ему пойдет на пользу.

Чезюбл. Мистер Уординг, приношу вам мои искренние соболезнования. Для вас остается по крайней

мере утешением, что вы были самым великодушным и щедрым из братьев.

Джек. Брат Эрнест! У него было много недостатков, но это тяжкий удар.

Чезюбл. Весьма тяжкий. Вы были с ним до конца?

Джек. Нет. Он умер за границей! В Париже. Вчера вечером пришла телеграмма от управляющего Гранд-отеля.

Чезюбл. И в ней упоминается причина смерти?

Джек. По-видимому, острая простуда.

Мисс Призм. Что посеешь, то и пожнешь.

Чезюбл *(воздевая руки горе)*. Милосердие, дорогая мисс Призм, милосердие! Никто из нас не совершенен. Я сам в высшей степени подвержен простуде. А погребение предполагается здесь, у нас?

Джек. Нет. Он, кажется, завещал, чтобы его похоронили в Париже.

Чезюбл. В Париже! *(Покачивает головой.)* Да! Значит, он до самого конца не проявил достаточной серьезности. Вам, конечно, желательно, чтобы я упомянул об этой семейной драме в моей воскресной проповеди?

Джек горячо пожимает ему руку.

Моя проповедь о манне небесной в пустыне пригодна для любого события, радостного или, как в данном случае, печального.

Все вздыхают.

Я произносил ее на празднике урожая, при крещении, конфирмации, в дни скорби и в дни ликования. В последний раз я произнес ее в соборе на молебствии в пользу Общества предотвращения недовольства среди высших классов. Присутствовавший при этом епископ был поражен злободневностью некоторых моих аналогий.

Джек. А кстати! Вы, кажется, упомянули крещение, доктор Чезюбл. Вы, конечно, умеете крестить?

Доктор Чезюбл в недоумении.

Я хочу сказать, вам часто приходится крестить?

Мисс Призм. К сожалению, в нашем приходе это одна из главных обязанностей пастора. Я часто говорила по этому поводу с беднейшими из прихожан. Но они, как видно, понятия не имеют об экономии.

Чезюбл. Смею спросить, мистер Уординг, разве вы заинтересованы в судьбе какого-нибудь ребенка? Ведь сколько мне известно, брат ваш был холост?

Джек. Да.

Мисс Призм *(с горечью)*. Таковы обычно все живущие исключительно ради собственного удовольствия.

Джек. Дело касается не ребенка, дорогой доктор. Хотя я и очень люблю детей. Нет! В данном случае я сам хотел бы подвергнуться обряду крещения, и не позднее чем сегодня,— конечно, если вы свободны.

Чезюбл. Но, мистер Уординг, ведь вас уже крестили.

Джек. Не помню.

Чезюбл. Значит, у вас на этот счет имеются сомнения?

Джек. Если нет, так будут. Но, конечно, я не хотел бы затруднять вас. Может быть, мне уже поздно креститься?

Чезюбл. Нисколько. Окропление и даже погружение взрослых предусмотрено каноническими правилами.

Джек. Погружение?

Чезюбл. Не беспокойтесь. Окропления будет вполне достаточно. Оно даже предпочтительно. Погода у нас такая ненадежная. И в котором часу вы предполагаете совершить обряд?

Джек. Да я мог бы заглянуть часов около пяти, если вам удобно.

Чезюбл. Вполне! Вполне! Как раз около этого часа я собираюсь совершить еще два крещения. Это двойня, недавно рожденная у одного из ваших арендаторов. У Дженкинса, того, знаете, возчика и весьма работящего человека.

Джек. Мне совсем не улыбается креститься заодно с другими младенцами. Это было бы ребячеством. Не лучше ли тогда в половине шестого?

Чезюбл. Чудесно! Чудесно! *(Вынимая часы.)* А теперь, мистер Уординг, позвольте мне покинуть сию обитель скорби. И я от всей души посоветовал бы вам не сгибаться под бременем горя. То, что представляется нам тяжкими испытаниями, иногда на самом деле — скрытое благо.

Мисс Призм. Мне оно кажется очень даже явным благом.

Из дома выходит Сесили.

Сесили. Дядя Джек! Как хорошо, что вы вернулись. Но что за ужасный костюм? Скорее идите переоденьтесь!

Мисс Призм. Сесили!

Чезюбл. Дитя мое! Дитя мое!

Сесили подходит к Джеку, он с грустью целует ее в лоб.

Сесили. В чем дело, дядя? Улыбнитесь. У вас такой вид, словно зубы болят, а у меня для вас есть сюрприз. Кто бы вы думали сейчас у нас в столовой? Ваш брат!

Джек. Кто?

Сесили. Ваш брат, Эрнест. Он приехал за полчаса до вас.

Джек. Что за чушь! У меня нет никакого брата.

Сесили. О, не надо так говорить! Как бы дурно он ни вел себя в прошлом, он все-таки ваш брат. Зачем вы так суровы? Не надо отрекаться от него. Я сейчас позову его сюда. И вы пожмете ему руку, не правда ли, дядя Джек? *(Бежит в дом.)*

Чезюбл. Какое радостное известие!

Мисс Призм. Теперь, когда мы уже примирились с утратой, его возвращение вызывает особую тревогу.

Джек. Мой брат в столовой? Ничего не понимаю. Какая-то нелепость.

Входит Алджернон за руку с Сесили.
Они медленно идут к Джеку.

Силы небесные! *(Делает знак Алджернону, чтобы тот ушел.)*

Алджернон. Дорогой брат, я приехал из Лондона, чтобы сказать тебе, что я очень сожалею о всех причиненных тебе огорчениях и что я намерен в будущем жить совсем по-иному.

Джек бросает на него грозный взгляд и не берет протянутой руки.

Сесили. Дядя Джек, неужели вы оттолкнете руку вашего брата?

Джек. Ничто не заставит меня пожать ему руку. Его приезд сюда — просто безобразие. Он знает сам почему.

Сесили. Дядя Джек, будьте снисходительны. В каждом есть крупица добра. Эрнест сейчас рассказывал мне о своем бедном больном друге Бенбери, которого он часто навещает. И, конечно, есть доброе чувство в том, кто отказывается от всех удовольствий Лондона для того, чтобы сидеть у одра больного.

Джек. Как! Он тебе рассказывал о Бенбери?

Сесили. Да, он рассказал мне о бедном Бенбери и его ужасной болезни.

Джек. Бенбери! Я не желаю, чтобы он говорил с тобой о Бенбери и вообще о чем бы то ни было. Это слишком!

Алджернон. Признаюсь, виноват. Но я не могу не сознаться, что холодность брата Джона для меня особенно тяжела. Я надеялся на более сердечный прием, особенно в мой первый приезд сюда.

Сесили. Дядя Джек, если вы не протянете руку Эрнесту, я вам этого никогда не прощу!

Джек. Никогда не простишь?

Сесили. Никогда, никогда, никогда!

Джек. Ну хорошо, в последний раз. *(Пожимает руку Алджернону и угрожающе глядит на него.)*

Чезюбл. Как утешительно видеть такое искреннее примирение. Теперь, я думаю, нам следует оставить братьев наедине.

Мисс Призм. Сесили, идемте со мной.

Сесили. Сейчас, мисс Призм. Я рада, что помогла их примирению.

Чезюбл. Сегодня вы совершили благородный поступок, дитя мое.

Мисс Призм. Не будем поспешны в наших суждениях.

Сесили. Я очень счастлива!

Все, кроме Джека и Алджернона, уходят.

Джек. Алджи, перестань озорничать. Ты должен убраться отсюда сейчас же. Здесь я не разрешаю бенберировать!

Входит Мерримен.

Мерримен. Я поместил вещи мистера Эрнеста в комнату рядом с вашей, сэр. Полагаю, так и следует, сэр?

Джек. Что?

Мерримен. Чемоданы мистера Эрнеста, сэр. Я внес их в комнату рядом с вашей спальней и распаковал.

Джек. Его чемоданы?

Мерримен. Да, сэр. Три чемодана, несессер, две шляпные картонки и большая корзина с провизией.

Алджернон. Боюсь, на этот раз я не смогу пробыть больше недели.

Джек. Мерримен, велите сейчас же подать кабриолет. Мистера Эрнеста срочно вызывают в город.

Мерримен. Слушаю, сэр. *(Уходит в дом.)*

Алджернон. Какой ты выдумщик, Джек. Никто меня не вызывает в город.

Джек. Нет, вызывает.

Алджернон. Понятия не имею, кто именно.

Джек. Твой долг джентльмена.

Алджернон. Мой долг джентльмена никогда не мешает моим удовольствиям.

Джек. Готов тебе поверить.

Алджернон. А Сесили — прелестна.

Джек. Не смей в таком тоне говорить о мисс Кардью. Мне это не нравится.

Алджернон. А мне, например, не нравится твой костюм. Ты просто смешон. Почему ты не пойдешь и не переоденешься? Чистое ребячество носить траур по человеку, который собирается целую неделю провести у тебя в качестве гостя. Это просто нелепо!

Джек. Ты ни в коем случае не пробудешь у меня целую неделю ни в качестве гостя, ни в ином качестве. Ты должен уехать поездом четыре пять.

Алджернон. Я ни в коем случае не оставлю тебя, пока ты в трауре. Это было бы не по-дружески. Если бы я был в трауре, ты, полагаю, не покинул бы меня? Я бы счел тебя черствым человеком, если бы ты поступил иначе.

Джек. А если я переоденусь, тогда ты уедешь?

Алджернон. Да, если только ты не будешь очень копаться. Ты всегда страшно копаешься перед зеркалом, и всегда без особого толку.

Джек. Уж во всяком случае это лучше, чем быть всегда расфуфыренным вроде тебя.

Алджернон. Если я слишком хорошо одет, я искупаю это тем, что я слишком хорошо воспитан.

Джек. Твое тщеславие смехотворно, твое поведение оскорбительно, а твое присутствие в моем саду нелепо. Однако ты еще поспеешь на поезд четыре пять и, надеюсь, совершишь приятную поездку в город. На этот раз твое бенберирование не увенчалось успехом. *(Идет в дом.)*

Алджернон. А по-моему, увенчалось, да еще каким. Я влюблен в Сесили, а это самое главное.

В глубине сада появляется Сесили, она берет лейку и начинает поливать цветы.

Но я должен повидать ее до отъезда и условиться о следующей встрече. А, вот она!

Сесили. Я пришла полить розы. Я думала, вы с дядей Джеком.

Алджернон. Он пошел распорядиться, чтобы мне подали кабриолет.

Сесили. Вы поедете с ним кататься?

Алджернон. Нет, он хочет отослать меня.

Сесили. Так, значит, нам предстоит разлука?

Алджернон. Боюсь, что да. И мне это очень грустно.

Сесили. Всегда грустно расставаться с теми, с кем только что познакомился. С отсутствием старых друзей можно легко примириться. Но даже недолгая разлука с теми, кого только что узнал, почти невыносима.

Алджернон. Спасибо за эти слова.

Входит Мерримен.

Мерримен. Экипаж подан, сэр.

Алджернон умоляюще глядит на Сесили.

Сесили. Пусть подождет, Мерримен, ну, минут... минут пять.

Мерримен. Слушаю, мисс. *(Уходит.)*

Алджернон. Надеюсь, Сесили, я не оскорблю вас, если скажу честно и прямо, что в моих глазах вы зримое воплощение предельного совершенства.

Сесили. Ваша искренность делает вам честь, Эрнест. Если вы позволите, я запишу ваши слова

в свой дневник. *(Идет к столу и начинает записывать.)*

Алджернон. Так вы действительно ведете дневник? Чего бы я не дал за то, чтобы заглянуть в него. Можно?

Сесили. О нет! *(Прикрывает его рукой.)* Видите ли, это всего только запись мыслей и переживаний очень молодой девушки, и, следовательно, это предназначено для печати. Вот когда мой дневник появится отдельным изданием, тогда непременно купите его. Но прошу вас, Эрнест, продолжайте. Я очень люблю писать под диктовку. Я дописала до «предельного совершенства». Продолжайте. Я готова.

Алджернон *(несколько озадаченно).* Хм! Хм!

Сесили. Не кашляйте, Эрнест. Когда диктуешь, надо говорить медленно и не кашлять. А к тому же я не знаю, как записать кашель. *(Записывает, по мере того как Алджернон говорит.)*

Алджернон *(говорит очень быстро).* Сесили, как только я увидел вашу поразительную и несравненную красоту, я осмелился полюбить вас безумно, страстно, преданно, безнадежно.

Сесили. По-моему, вам не следует говорить мне, что вы любите меня безумно, страстно, преданно, безнадежно. А кроме того, безнадежно сюда вовсе не подходит.

Алджернон. Сесили!

Входит Мерримен.

Мерримен. Экипаж ожидает вас, сэр.

Алджернон. Скажите, чтобы его подали через неделю в это же время.

Мерримен *(смотрит на Сесили, которая не опровергает слов Алджернона).* Слушаю, сэр.

Мерримен уходит.

Сесили. Дядя Джек будет сердиться, когда узнает, что вы уедете только через неделю в это же время.

Алджернон. Мне нет дела до Джека. Мне нет дела ни до кого, кроме вас. Я люблю вас, Сесили. Согласны вы быть моей женой?

Сесили. Какой вы глупый! Конечно. Мы ведь обручены уже около трех месяцев.

Алджернон. Около трех месяцев?!

Сесили. Да, в четверг будет ровно три месяца.

Алджернон. Но каким образом это произошло?

Сесили. С тех пор как дядя Джек признался нам, что у него есть младший брат, беспутный и порочный, вы стали, конечно, предметом наших разговоров с мисс Призм. И, конечно, тот, о ком так много говорят, становится особенно привлекательным. Должно же в нем быть что-то выдающееся. Может быть, это очень глупо с моей стороны, но я полюбила вас, Эрнест.

Алджернон. Милая! Но все-таки когда состоялось обручение?

Сесили. Четырнадцатого февраля. Не в силах больше вынести того, что вы даже не знаете о моем существовании, я решила так или иначе уладить этот вопрос и после долгих колебаний обручилась с вами под этим старым милым деревом. На другой день я купила вот это колечко, ваш подарок, и этот браслет с узлом верности и дала обещание не снимать их.

Алджернон. Так, значит, это мои подарки? А ведь недурны, правда?

Сесили. У вас очень хороший вкус, Эрнест. За это я вам всегда прощала ваш беспутный образ жизни. А вот шкатулка, в которой я храню ваши милые письма. (*Нагибается за шкатулкой, открывает ее и достает пачку писем, перевязанных голубой ленточкой.*)

Алджернон. Мои письма? Но, моя дорогая Сесили, я никогда не писал вам писем.

Сесили. Не надо напоминать мне об этом. Я слишком хорошо помню, что мне пришлось писать ваши письма за вас. Я писала их три раза в неделю, а иногда и чаще.

Алджернон. Позвольте мне прочитать их, Сесили.

Сесили. Ни в коем случае. Вы слишком возгордились бы. (*Убирает шкатулку.*) Три письма, которые вы написали мне после нашего разрыва, так хороши и в них так много орфографических ошибок, что я до сих пор не могу удержаться от слез, когда перечитываю их.

Алджернон. Но разве наша помолвка расстроилась?

Сесили. Ну, конечно. Двадцать второго марта. Вот, можете посмотреть дневник. *(Показывает дневник.)* «Сегодня я расторгла нашу помолвку с Эрнестом. Чувствую, что так будет лучше. Погода по-прежнему чудесная».

Алджернон. Но почему, почему вы решились на это? Что я сделал? Я ничего такого не сделал, Сесили! Меня в самом деле очень огорчает то, что вы расторгли нашу помолвку. Да еще в такую чудесную погоду.

Сесили. Какая же это по-настоящему прочная помолвка, если ее не расторгнуть хоть раз. Но я простила вас уже на той же неделе.

Алджернон *(подходя к ней и становясь на колени)*. Вы ангел, Сесили!

Сесили. Мой милый сумасброд!

Он целует ее, она ерошит его волосы.

Надеюсь, волосы у вас вьются сами?

Алджернон. Да, дорогая, с небольшой помощью парикмахера.

Сесили. Я так рада.

Алджернон. Больше вы никогда не расторгнете нашей помолвки, Сесили?

Сесили. Мне кажется, что теперь, когда я вас узнала, я этого не смогла бы. А к тому же ваше имя...

Алджернон *(нервно)*. Да, конечно.

Сесили. Не смейтесь надо мной, милый, но моей девической мечтой всегда было выйти за человека, которого зовут Эрнест.

Алджернон встает. Сесили тоже.

В этом имени есть нечто внушающее абсолютное доверие. Я так жалею бедных женщин, мужья которых носят другие имена.

Алджернон. Но, дорогое дитя мое, неужели вы хотите сказать, что не полюбили бы меня, если бы меня звали по-другому?

Сесили. Как, например?

Алджернон. Ну, все равно, хотя бы — Алджернон.

Сесили. Но мне вовсе не нравится имя Алджернон.

Алджернон. Послушайте, дорогая, милая, любимая девочка. Я не вижу причин, почему бы

вам возражать против имени Алджернон. Это вовсе не плохое имя. Более того, это довольно аристократическое имя. Половина ответчиков по делам о банкротстве носит это имя. Нет, шутки в сторону, Сесили... *(Подходя ближе.)* Если бы меня звали Алджи, неужели вы не могли бы полюбить меня?

Сесили *(вставая).* Я могла бы уважать вас, Эрнест. Я могла бы восхищаться вами, но, боюсь, что не смогла бы все свои чувства безраздельно отдать только вам.

Алджернон. Гм! Сесили! *(Хватаясь за шляпу.)* Ваш пастор, вероятно, вполне сведущ по части церковных обрядов и церемоний?

Сесили. О, конечно, доктор Чезюбл весьма сведущий человек. Он не написал ни одной книги, так что вы можете себе представить, сколько у него сведений в голове.

Алджернон. Я должен сейчас же повидаться с ним... и поговорить о неотложном крещении... я хочу сказать — о неотложном деле.

Сесили. О!

Алджернон. Я вернусь не позже чем через полчаса.

Сесили. Принимая во внимание, что мы с вами обручены с четырнадцатого февраля и что встретились мы только сегодня, я думаю, что вам не следовало бы покидать меня на такой продолжительный срок. Нельзя ли через двадцать минут?

Алджернон. Я мигом вернусь! *(Целует ее и убегает через сад.)*

Сесили. Какой он порывистый! И какие у него волосы! Нужно записать, что он сделал мне предложение.

Входит Мерримен.

Мерримен. Некая мисс Ферфакс хочет видеть мистера Уордингa. Говорит, что он нужен ей по очень важному делу.

Сесили. А разве мистер Уординг не у себя в кабинете?

Мерримен. Мистер Уординг недавно прошел по направлению к дому доктора Чезюбла.

Сесили. Попросите эту леди сюда. Мистер Уординг, вероятно, скоро вернется. И принесите, пожалуйста, чаю.

Мерримен. Слушаю, мисс. *(Выходит.)*

Сесили. Мисс Ферфакс? Вероятно, одна из тех пожилых дам, которые вместе с дядей Джеком занимаются благотворительными делами в Лондоне. Не люблю дам-филантропок. Они слишком много на себя берут.

Входит Мерримен.

Мерримен. Мисс Ферфакс.

Входит Гвендолен. Мерримен уходит.

Сесили *(идя ей навстречу)*. Позвольте вам представиться. Меня зовут Сесили Кардью.

Гвендолен. Сесили Кардью? *(Идет к ней и пожимает руку)*. Какое милое имя! Я уверена, мы с вами подружимся. Вы мне и сейчас ужасно нравитесь. А первое впечатление меня никогда не обманывает.

Сесили. Как это мило с вашей стороны, мы ведь с вами так сравнительно недавно знакомы. Пожалуйста, садитесь.

Гвендолен *(все еще стоя)*. Можно мне называть вас Сесили?

Сесили. Ну конечно!

Гвендолен. А меня зовите просто Гвендолен.

Сесили. Если вам это приятно.

Гвендолен. Значит, решено? Не так ли?

Сесили. Надеюсь.

Пауза. Обе одновременно садятся.

Гвендолен. Теперь, я думаю, самое подходящее время объяснить вам, кто я такая. Мой отец — лорд Брэкнелл. Вы, должно быть, никогда не слышали о папе, не правда ли?

Сесили. Нет, не слыхала.

Гвендолен. К счастью, он совершенно неизвестен за пределами тесного семейного круга. Это вполне естественно. Сферой деятельности для мужчины, по-моему, должен быть домашний очаг. И как только мужчины начинают пренебрегать своими се-

мейными обязанностями, они становятся такими изнеженными. А я этого не люблю. Это делает мужчину слишком привлекательным. Моя мама, которая смотрит на воспитание крайне сурово, развила во мне большую близорукость: это входит в ее систему. Так что вы не возражаете, Сесили, если я буду смотреть на вас в лорнет?

Сесили. Нет, что вы, Гвендолен, я очень люблю, когда на меня смотрят!

Гвендолен *(тщательно обозрев Сесили через лорнет).* Вы здесь гостите, не так ли?

Сесили. О, нет. Я здесь живу.

Гвендолен *(строго).* Вот как? Тогда здесь находится, конечно, ваша матушка или хотя бы какая-нибудь пожилая родственница?

Сесили. Нет. У меня нет матери; да и родственниц никаких нет.

Гвендолен. Что вы говорите?

Сесили. Мой дорогой опекун с помощью мисс Призм взял на себя тяжкий труд заботиться о моем воспитании.

Гвендолен. Ваш опекун?

Сесили. Да, я воспитанница мистера Уордингa.

Гвендолен. Странно! Он никогда не говорил мне, что у него есть воспитанница. Какая скрытность! Он становится интереснее с каждым часом. Но я не сказала бы, что эта новость вызывает у меня восторг. *(Встает и направляется к Сесили.)* Вы мне очень нравитесь, Сесили. Вы мне понравились с первого взгляда, но должна сказать, что сейчас, когда я узнала, что вы воспитанница мистера Уордингa, я бы хотела, чтобы вы были... ну, чуточку постарше и чуточку менее привлекательной. И знаете, если уж говорить откровенно...

Сесили. Говорите! Я думаю, если собираются сказать неприятное, надо говорить откровенно.

Гвендолен. Так вот, говоря откровенно, Сесили, я хотела бы, чтобы вам было не меньше чем сорок два года, а с виду и того больше. У Эрнеста честный и прямой характер. Он воплощенная искренность и честь. Неверность для него так же невозможна, как и обман. Но даже самые благородные мужчины до чрезвычайности подвержены женским чарам.

Новая история, как и древняя, дает тому множество плачевных примеров. Если бы это было иначе, то историю было бы невозможно читать.

Сесили. Простите, Гвендолен, вы, кажется, сказали — Эрнест?

Гвендолен. Да.

Сесили. Но мой опекун вовсе не мистер Эрнест Уординг — это его брат, старший брат.

Гвендолен *(снова усаживаясь).* Эрнест никогда не говорил мне, что у него есть брат.

Сесили. Как ни грустно, но они долгое время не ладили.

Гвендолен. Тогда понятно. А к тому же я никогда не слыхала, чтобы мужчины говорили о своих братьях. Тема эта для них, по-видимому, крайне неприятна. Сесили, вы успокоили меня. Я уже начинала тревожиться. Как ужасно было бы, если бы облако омрачило такую дружбу, как наша. Но вы совершенно, совершенно уверены, что ваш опекун не мистер Эрнест Уординг?

Сесили. Совершенно уверена. *(Пауза.)* Дело в том, что я сама собираюсь его опекать.

Гвендолен *(не веря ушам).* Что вы сказали?

Сесили *(смущенно и как бы по секрету).* Дорогая Гвендолен, у меня нет никаких оснований держать это в тайне. Ведь даже наша местная газета объявит на будущей неделе о моей помолвке с мистером Эрнестом Уордингом.

Гвендолен *(вставая, очень вежливо).* Милочка моя, тут какое-то недоразумение. Мистер Эрнест Уординг обручен со мной. И об этом будет объявлено в «Морнинг пост» не позднее субботы.

Сесили *(вставая и не менее вежливо).* Боюсь, вы ошибаетесь. Эрнест сделал мне предложение всего десять минут назад. *(Показывает дневник.)*

Гвендолен *(внимательно читает дневник сквозь лорнет).* Очень странно, потому что он просил меня быть его женой не далее как вчера в пять тридцать пополудни. Если вы хотите удостовериться в этом, пожалуйста. *(Достает свой дневник.)* Я никуда не выезжаю без дневника. В поезде всегда надо иметь для чтения что-нибудь захватывающее. Весьма сожалею, дорогая Сесили, если это вас огорчит, но боюсь, что я первая.

Сесили. Я была бы очень огорчена, дорогая Гвендолен, если бы причинила вам душевную или физическую боль, но все же приходится разъяснить вам, что Эрнест явно передумал после того, как сделал вам предложение.

Гвендолен *(размышляя вслух).* Если кто-то вынудил моего бедного жениха дать какие-то опрометчивые обещания, я считаю своим долгом немедленно и со всей решимостью прийти к нему на помощь.

Сесили *(задумчиво и грустно).* В какую бы предательскую ловушку ни попал мой дорогой мальчик, я никогда не попрекну его этим после свадьбы.

Гвендолен. Не на меня ли вы намекаете, мисс Кардью, упоминая о ловушке? Вы чересчур самонадеянны. Говорить правду в подобных случаях не только моральная потребность. Это удовольствие.

Сесили. Не меня ли вы обвиняете, мисс Ферфакс, в том, что я вынудила у Эрнеста признание? Как вы смеете? Теперь не время носить маску внешних приличий. Если я вижу лопату, я и называю ее лопатой.

Гвендолен *(насмешливо).* Рада довести до вашего сведения, что я никогда в жизни не видела лопаты. Совершенно ясно, что мы вращаемся в различных социальных сферах.

Входит Мерримен, за ним лакей с подносом, скатертью и подставкой для чайника, Сесили уже готова возразить, но присутствие слуг заставляет ее сдержаться, так же как и Гвендолен.

Мерримен. Чай накрывать здесь, как всегда, мисс?

Сесили *(сурово, но спокойно).* Да, как всегда.

Мерримен начинает освобождать стол и накрывать к чаю. Продолжительная пауза. Сесили и Гвендолен яростно глядят друг на друга.

Гвендолен. Есть у вас тут интересные прогулки, мисс Кардью?

Сесили. О да, сколько угодно. С вершины одного из соседних холмов видно пять графств.

Гвендолен. Пять графств! Я бы этого не вынесла. Ненавижу тесноту!

Сесили *(очень любезно).* Именно поэтому вы, вероятно, живете в Лондоне.

Гвендолен *(закусывает губу и нервно постукивает зонтиком по ноге, озираясь).* Очень милый садик, мисс Кардью.

Сесили. Рада, что он вам нравится, мисс Ферфакс.

Гвендолен. Я и не предполагала, что в деревне могут быть цветы.

Сесили. О, цветов тут столько же, сколько в Лондоне людей.

Гвендолен. Лично я не могу понять, как можно жить в деревне,—конечно, если ты не полное ничтожество. На меня деревня всегда нагоняет скуку.

Сесили. Да? Это как раз то, что газеты называют сельскохозяйственной депрессией. Мне кажется, аристократы именно сейчас особенно часто страдают от этой болезни. Как мне рассказывали, среди них это своего рода эпидемия. Не угодно ли чаю, мисс Ферфакс?

Гвендолен *(с подчеркнутой вежливостью).* Благодарствуйте. *(В сторону.)* Несносная девчонка! Но мне хочется чаю.

Сесили *(очень любезно).* Сахару?

Гвендолен *(надменно).* Нет, благодарю вас. Сахар сейчас не в моде.

Сесили *(сердито смотрит на нее, берет щипцы и кладет в чашку четыре куска сахара, сурово).* Вам пирога или хлеба с маслом?

Гвендолен *(со скучающим видом).* Хлеба, пожалуйста. В хороших домах сейчас не принято подавать сладкие пироги.

Сесили *(отрезает большой кусок сладкого пирога и кладет на тарелочку).* Передайте это мисс Ферфакс.

Мерримен выполняет приказание и уходит, сопровождаемый лакеем.

Гвендолен *(пьет чай и морщится. Отставив чашку, она протягивает руку за хлебом и видит, что это пирог; вскакивает в негодовании).* Вы наложили мне полную чашку сахара, и хотя я совершенно ясно просила у вас хлеба, вы подсунули мне пирог. Всем известны моя деликатность и мягкость характера,

но предупреждаю вас, мисс Кардью, вы заходите слишком далеко.

Сесили *(в свою очередь вставая)*. Чтобы спасти моего бедного, ни в чем не повинного, доверчивого мальчика от происков коварной женщины, я готова на все!

Гвендолен. С той самой минуты, как я увидела вас, вы мне внушили недоверие. Я почувствовала, что вы притворщица и обманщица. Меня вам не провести. Мое первое впечатление никогда меня не обманывает.

Сесили. Мне кажется, мисс Ферфакс, я злоупотребляю вашим драгоценным временем. Вам, вероятно, предстоит сделать еще несколько таких же визитов в нашем графстве.

Входит Джек.

Гвендолен *(заметив его)*. Эрнест! Мой Эрнест!

Джек. Гвендолен!.. Милая! *(Хочет поцеловать ее.)*

Гвендолен *(отстраняясь)*. Минуточку! Могу ли я спросить — обручены ли вы с этой молодой леди? *(Указывает на Сесили.)*

Джек *(смеясь)*. С милой крошкой Сесили? Ну, конечно, нет. Как могла возникнуть такая мысль в вашей хорошенькой головке?

Гвендолен. Благодарю вас. Теперь можно. *(Подставляет щеку.)*

Сесили *(очень мягко)*. Я так и знала, что тут какое-то недоразумение, мисс Ферфакс. Джентльмен, который сейчас обнимает вас за талию, это мой дорогой опекун, мистер Джон Уординг.

Гвендолен. Как вы сказали?

Сесили. Да, это дядя Джек.

Гвендолен *(отступая)*. Джек! О!

Входит Алджернон.

Сесили. А вот это Эрнест!

Алджернон *(никого не замечая, идет прямо к Сесили)*. Любимая моя! *(Хочет ее поцеловать.)*

Сесили (отступая). Минуточку, Эрнест. Могу ли я спросить вас — вы обручены с этой молодой леди?

Алджернон *(озираясь)*. С какой леди? Силы небесные, Гвендолен!

Сесили. Вот именно, силы небесные, Гвендолен. С этой самой Гвендолен!

Алджернон (*смеясь*). Ну, конечно, нет. Как могла возникнуть такая мысль в вашей хорошенькой головке?

Сесили. Благодарю вас. (*Подставляет щеку для поцелуя.*) Теперь можно.

Алджернон целует ее.

Гвендолен. Я чувствовала, что тут что-то не так, мисс Кардью. Джентльмен, который сейчас обнимает вас,—мой кузен, мистер Алджернон Монкриф.

Сесили (*отстраняясь от Алджернона*). Алджернон Монкриф? О!

Девушки идут друг к другу и обнимаются за талию, как бы ища защиты друг у друга.

Сесили. Так вас зовут Алджернон?

Алджернон. Не могу отрицать.

Сесили. О!

Гвендолен. Вас действительно зовут Джон?

Джек (*горделиво*). При желании я мог бы это отрицать. При желании я мог бы отрицать все, что угодно. Но меня действительно зовут Джон. И уже много лет.

Сесили (*обращаясь к Гвендолен*). Мы обе жестоко обмануты.

Гвендолен. Бедная моя оскорбленная Сесили!

Сесили. Дорогая обиженная Гвендолен!

Гвендолен (*медленно и веско*). Называй меня сестрой, хочешь?

Они обнимаются. Джек и Алджернон вздыхают и прохаживаются по дорожке.

Сесили (*спохватившись*). Есть один вопрос, который я хотела бы задать моему опекуну.

Гвендолен. Прекрасная идея! Мистер Уординг, я хотела бы задать вам один вопрос. Где ваш брат Эрнест? Мы обе обручены с вашим братом Эрнестом, и нам весьма важно знать, где сейчас находится ваш брат Эрнест.

Джек *(медленно и запинаясь).* Гвендолен, Сесили... Мне очень жаль, но надо открыть вам всю правду. Я в первый раз в жизни оказался в таком затруднительном положении, мне никогда не приходилось говорить правду. Но я признаюсь вам по чистой совести, что у меня нет никакого брата Эрнеста. У меня вообще нет брата. Никогда в жизни у меня не было брата, и у меня нет ни малейшего желания обзаводиться им в будущем.

Сесили *(с изумлением).* Никакого брата?

Джек *(весело).* Ровно никакого.

Гвендолен *(сурово).* И никогда не было?

Джек. Никогда.

Гвендолен. Боюсь, Сесили, что обе мы ни с кем не обручены.

Сесили. Как неприятно для молодой девушки оказаться в таком положении. Не правда ли?

Гвендолен. Пойдемте в дом. Они едва ли осмелятся последовать за нами.

Сесили. Ну что вы, мужчины так трусливы.

Полные презрения, они уходят в дом.

Джек. Так это безобразие и есть то, что ты называешь бенберированием?

Алджернон. Да, и притом исключительно удачным. Так замечательно бенберировать мне еще ни разу в жизни не приходилось.

Джек. Так вот, бенберировать здесь ты не имеешь права.

Алджернон. Но это же нелепо. Каждый имеет право бенберировать там, где ему вздумается. Всякий серьезный бенберист знает это.

Джек. Серьезный бенберист! Боже мой!

Алджернон. Надо же в чем-то быть серьезным, если хочешь наслаждаться жизнью. Я, например, бенберирую серьезно. В чем ты серьезен, этого я не успел установить. Полагаю — во всем. У тебя такая ординарная натура.

Джек. Что мне нравится во всей этой истории — это то, что твой друг Бенбери лопнул. Теперь тебе не удастся так часто спасаться в деревне, дорогой мой. Оно и к лучшему.

Алджернон. Твой братец тоже слегка полинял, дорогой Джек. Теперь тебе не удастся пропадать в Лондоне, как ты это проделывал раньше. Это тоже неплохо.

Джек. А что касается твоего поведения с мисс Кардью, то я должен тебе заявить, что обольщать такую милую, простую, невинную девушку совершенно недопустимо. Не говоря уже о том, что она под моей опекой.

Алджернон. А я не вижу никакого оправдания тому, что ты обманываешь такую блестящую, умную и многоопытную молодую леди, как мисс Ферфакс. Не говоря уже о том, что она моя кузина.

Джек. Я хотел обручиться с Гвендолен, вот и все. Я люблю ее.

Алджернон. Ну и я просто хотел обручиться с Сесили. Я ее обожаю.

Джек. Но у тебя нет никаких шансов жениться на мисс Кардью.

Алджернон. Еще менее вероятно то, что тебе удастся обручиться с мисс Ферфакс.

Джек. Это не твое дело.

Алджернон. Будь это моим делом, я бы и говорить не стал. (*Принимается за сдобные лепешки.*) Говорить о собственных делах очень вульгарно. Этим занимаются только биржевые маклеры, да и то больше на званых обедах.

Джек. И как тебе не стыдно преспокойно уплетать лепешки, когда мы оба попали в такую беду? Бессердечный эгоист!

Алджернон. Но не могу же я есть лепешки волнуясь. Я бы запачкал маслом манжеты. Лепешки надо есть спокойно. Это единственный способ есть лепешки.

Джек. А я говорю, что при таких обстоятельствах вообще бессердечно есть лепешки.

Алджернон. Когда я расстроен, единственное, что меня успокаивает, это еда. Люди, которые меня хорошо знают, могут засвидетельствовать, что при крупных неприятностях я отказываю себе во всем, кроме еды и питья. Вот и сейчас я ем лепешки потому, что несчастлив. Ну, и кроме того, я очень люблю деревенские лепешки. (*Встает.*)

Джек (*встает*). Но это еще не причина, чтобы уничтожить их все без остатка. (*Отнимает у Алджернона блюдо с лепешками.*)

Алджернон (*подставляя ему пирог*). Может быть, ты возьмешь пирога? Я не люблю пироги.

Джек. Черт возьми! Неужели человек не может есть свои собственные лепешки в своем собственном саду?

Алджернон. Но ты только что утверждал, что есть лепешки — бессердечно.

Джек. Я говорил, что при данных обстоятельствах это бе́ссердечно с твоей стороны. А это совсем другое дело.

Алджернон. Может быть! Но лепешки-то ведь те же самые. (*Отбирает у Джека блюдо с лепешками.*)

Джек. Алджи, прошу тебя, уезжай.

Алджернон. Не можешь ты выпроводить меня без обеда. Это немыслимо. Я никогда не ухожу, не пообедав. На это способны лишь вегетарианцы. А кроме того, я только что договорился с доктором Чезюблом. Он окрестит меня, и без четверти шесть я стану Эрнестом.

Джек. Дорогой мой, чем скорей ты выкинешь из головы эту блажь, тем лучше. Я сегодня утром договорился с доктором Чезюблом, в половине шестого он окрестит меня и, разумеется, даст мне имя Эрнест. Гвендолен этого требует. Не можем мы оба принять имя Эрнест. Это нелепо. Кроме того, я имею право креститься. Нет никаких доказательств, что меня когда-либо крестили. Весьма вероятно, что меня и не крестили, доктор Чезюбл того же мнения. А с тобой дело обстоит совсем иначе. Ты-то уж наверно был крещен.

Алджернон. Да, но с тех пор меня ни разу не крестили.

Джек. Положим, но один раз ты был крещен. Вот что важно.

Алджернон. Это верно. И теперь я знаю, что могу это перенести. А если ты не уверен, что уже подвергался этой операции, то это для тебя очень рискованно. Это может причинить тебе большой вред. Не забывай, что всего неделю назад твой ближайший родственник чуть не скончался в Париже от острой простуды.

Джек. Да, но ты сам сказал, что простуда — болезнь не наследственная.

Алджернон. Так считали прежде, это верно, но так ли это сейчас? Наука идет вперед гигантскими шагами.

Джек (*отбирая блюдо с лепешками*). Глупости, ты всегда говоришь глупости!

Алджернон. Джек, ты опять принялся за лепешки! А как же я? Там только две и осталось. (*Берет их.*) Я же сказал тебе, что люблю лепешки.

Джек. А я ненавижу сладкий пирог.

Алджернон. С какой же стати ты позволяешь угощать твоих гостей пирогом? Странное у тебя представление о гостеприимстве.

Джек. Алджернон, я уже говорил тебе — уезжай. Я не хочу, чтобы ты оставался. Почему ты не уходишь?

Алджернон. Я еще не допил чай, и надо же мне доесть лепешку.

Джек со стоном опускается в кресло. Алджернон продолжает есть.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Гостиная в поместье м-ра Уординга. Гвендолен и Сесили, стоя у окна, смотрят в сад.

Гвендолен. То, что они сразу не пошли за нами в дом, как можно было ожидать, доказывает, по-моему, что у них еще сохранилась капля стыда.

Сесили. Они едят лепешки. Это похоже на раскаяние.

Гвендолен (*помолчав*). Они, видимо, не замечают нас. Может быть, вы попробуете кашлянуть?

Сесили. Но у меня нет кашля.

Гвендолен. Они смотрят на нас. Какая дерзость!

Сесили. Они идут сюда. Как самонадеянно с их стороны!

Гвендолен. Будем хранить горделивое молчание.

Сесили. Конечно. Ничего другого не остается.

Входит Джек, за ним Алджернон. Они насвистывают мотив какой-то ужасающей арии из английской оперы.

Гвендолен. Горделивое молчание приводит к печальным результатам.

Сесили. Очень печальным.

Гвендолен. Но мы не можем заговорить первыми.

Сесили. Конечно, нет.

Гвендолен. Мистер Уординг, у меня к вам личный вопрос. Многое зависит от вашего ответа.

Сесили. Гвендолен, ваш здравый смысл меня просто восхищает. Мистер Монкриф, будьте добры ответить мне на следующий вопрос. Для чего вы пытались выдать себя за брата моего опекуна?

Алджернон. Чтобы иметь предлог познакомиться с вами.

Сесили (*обращаясь к Гвендолен*). Мне кажется, это удовлетворительное объяснение. Как по-вашему?

Гвендолен. Да, моя дорогая, если только ему можно верить.

Сесили. Я не верю. Но это не умаляет удивительного благородства его ответа.

Гвендолен. Это так. В важных вопросах главное не искренность, а стиль. Мистер Уординг, чем вы объясните вашу попытку выдумать себе брата? Не затем ли вы на это пошли, чтобы иметь предлог как можно чаще бывать в Лондоне и видеть меня?

Джек. Неужели вы можете сомневаться в этом, мисс Ферфакс?

Гвендолен. У меня на этот счет большие сомнения. Но я решила ими пренебречь. Сейчас не время для скептицизма в духе немецких философов. (*Подходит к Сесили.*) Их объяснения кажутся мне удовлетворительными, особенно объяснение мистера Уординга. Оно звучит правдиво.

Сесили. Мне более чем достаточно того, что сказал мистер Монкриф. Один его голос внушает мне абсолютное доверие.

Гвендолен. Так вы думаете — мы можем просить их?

Сесили. Да. То есть нет.

Гвендолен. Верно! Я совсем позабыла. На карту поставлен принцип, и нам нельзя уступать. Но кто из нас скажет им это? Обязанность не из приятных.

Сесили. А не можем ли мы сказать это вместе?

Гвендолен. Прекрасная идея! Я почти всегда говорю одновременно со своим собеседником. Только держите такт.

Сесили. Хорошо.

Гвендолен отбивает такт рукой.

Гвендолен и Сесили (*говоря вместе*). Неодолимым препятствием по-прежнему являются ваши имена. Так и знайте!

Джек и Алджернон (*говоря вместе*). Наши имена? И только-то? Но нас окрестят сегодня же.

Гвендолен (*Джеку*). И вы ради меня идете на такое испытание?

Джек. Иду!

Сесили (*Алджернону*). Чтобы сделать мне приятное, вы согласны это перенести?

Алджернон. Согласен!

Гвендолен. Как глупы все разговоры о равенстве полов. Когда дело доходит до самопожертвования, мужчины неизмеримо выше нас.

Джек. Вот именно! (*Пожимает руку Алджернону.*)

Сесили. Да, порой они проявляют такое физическое мужество, о каком мы, женщины, и понятия не имеем.

Гвендолен (*Джеку*). Милый!

Алджернон (*Сесили*). Милая!

Все четверо обнимаются. Входит Мерримен. Поняв ситуацию, он вежливо покашливает.

Мерримен. Хм! Хм! Леди Брэкнелл.

Джек. Силы небесные!..

Входит леди Брэкнелл. Влюбленные испуганно отстраняются друг от друга. Мерримен уходит.

Леди Брэкнелл. Гвендолен! Что это значит?
Гвендолен. То, что я помолвлена с мистером Уордингом. Только и всего, мама.

Леди Брэкнелл. Поди сюда, сядь. Сядь сейчас же. Нерешительность — это признак душевного упадка у молодых и физического угасания у пожилых. *(Повертываясь к Джеку.)* Поставленная в известность о внезапном исчезновении моей дочери ее доверенной горничной, чье усердие я раз и навсегда обеспечила посредством небольшой денежной мзды, я тотчас же последовала за ней в товарном поезде. Ее бедный отец воображает, что она находится сейчас на несколько затянувшейся популярной лекции о влиянии, которое рента оказывает на развитие мысли. И это очень хорошо. Я не намерена разуверять его. Я стараюсь никогда не разуверять его ни в чем. Я бы считала это недостойным себя. Но вы, конечно, понимаете, что обязаны отныне прекратить всякие отношения с моей дочерью. И немедленно! В этом вопросе, как, впрочем, и во всех других, я не пойду ни на какие уступки.

Джек. Я обручен с Гвендолен, леди Брэкнелл.

Леди Брэкнелл. Ничего подобного, сэр. А что касается Алджернона... Алджернон!

Алджернон. Да, тетя Августа?

Леди Брэкнелл. Скажи мне, не в этом ли доме обитает твой больной друг мистер Бенбери?

Алджернон *(запинаясь)*. Да нет, Бенбери живет не здесь. Сейчас Бенбери здесь нет. По правде говоря, Бенбери умер.

Леди Брэкнелл. Умер? А когда именно скончался мистер Бенбери? Судя по всему, он умер скоропостижно.

Алджернон *(беззаботно)*. О, Бенбери я сегодня убил. Я хочу сказать — бедняга Бенбери умер сегодня днем.

Леди Брэкнелл. А что было причиной его смерти?

Алджернон. Бенбери?.. Он... Он лопнул, взорвался...

Леди Брэкнелл. Взорвался? Может быть, он стал жертвой террористического акта? А я не предполагала, что мистер Бенбери интересуется со-

циальными проблемами. Ну, а если так, поделом ему за такие нездоровые интересы.

Алджернон. Дорогая тетя Августа, я хочу сказать, что его вывели на чистую воду. То есть доктора установили, что жить он больше не может, вот Бенбери и умер.

Леди Брэкнелл. По-видимому, он придавал слишком большое значение диагнозу своих врачей. Но, во всяком случае, я рада, что он наконец-то избрал какую-то определенную линию поведения и до конца не был лишен медицинской помощи. Но теперь, когда мы наконец избавились от этого мистера Бенбери, могу я спросить, мистер Уординг, что это за молодая особа, которую сейчас держит за руку мой племянник Алджернон совершенно неподобающим, с моей точки зрения, образом.

Джек. Эта леди — мисс Сесили Кардью, моя воспитанница.

Леди Брэкнелл холодно кланяется Сесили.

Алджернон. Я помолвлен с Сесили, тетя Августа.

Леди Брэкнелл. Как ты сказал?

Сесили. Мистер Монкриф и я помолвлены, леди Брэкнелл.

Леди Брэкнелл *(вздрогнув, проходит к дивану и садится).* Не знаю, может быть, воздух этой части Хартфоршира действует как-то особенно возбуждающе, но только число обручений, здесь заключенных, кажется мне много выше той нормы, которую предписывает нам статистическая наука. Я считаю, с моей стороны уместно будет задать несколько предварительных вопросов. Мистер Уординг, мисс Кардью тоже имеет отношение к одному из главных лондонских вокзалов? Мне нужны только факты. До вчерашнего дня я не предполагала, что есть фамилии или лица, происхождение которых ведет начало от конечной станции.

Джек *(вне себя от ярости, но сдерживается, звонко и холодно).* Мисс Кардью — внучка покойного мистера Томаса Кардью — Белгрэйв-сквер 149, Ю.-З.; Джервез-парк, Доркинг в Сэррее; и Спорран, Файфшир, Северная Англия.

Леди Брэкнелл. Это звучит внушительно. Три адреса всегда вызывают доверие к их обладателю, даже если это поставщик. Но где гарантия, что адреса не вымышлены?

Джек. Я нарочно сохранил «Придворный альманах» за те годы. Они доступны для вашего обозрения, леди Брэкнелл.

Леди Брэкнелл *(угрюмо).* Мне попадались странные опечатки в этом издании.

Джек. Делами мисс Кардью занимается фирма Маркби, Маркби и Маркби.

Леди Брэкнелл. Маркби, Маркби и Маркби. Фирма, пользующаяся авторитетом в своем кругу. Мне даже говорили, что одного из господ Маркби иногда встречают на званых обедах. Ну что ж, пока это весьма удовлетворительно.

Джек *(крайне раздраженно).* Как это мило с вашей стороны, леди Брэкнелл. К вашему сведению, могу добавить, что я располагаю свидетельствами о рождении мисс Кардью и ее крещении, справками о кори, коклюше, прививке оспы, принятии причастия, а также о краснухе и желтухе.

Леди Брэкнелл. О, какая богатая приключениями жизнь, даже, может быть, слишком бурная для такой молодой особы. Я, со своей стороны, не одобряю преждевременной опытности. *(Встает, смотрит на часы.)* Гвендолен, время нашего отъезда приближается. Нам нельзя терять ни минуты. Хотя это всего-навсего проформа, мистер Уординг, но я должна еще осведомиться, не располагает ли мисс Кардью каким-либо состоянием.

Джек. Да. Около ста тридцати тысяч фунтов в государственной ренте. Вот и все. Прощайте, леди Брэкнелл. Очень приятно было поговорить с вами.

Леди Брэкнелл *(снова усаживается).* Минуточку, минуточку, мистер Уординг. Сто тридцать тысяч! И в государственной ренте. Мисс Кардью при ближайшем рассмотрении представляется мне весьма привлекательной особой. В наше время немногие девушки обладают по-настоящему солидными качествами, долговечными и даже улучшающимися от времени. К сожалению, должна сказать, что мы живем в по-

верхностный век. *(Обращаясь к Сесили.)* Подойдите, милочка.

Сесили подходит.

Бедное дитя, платье у вас такое простенькое и волосы почти такие же, какими их создала природа. Но это все поправимо. Опытная французская камеристка в очень короткий срок добьется удивительных результатов. Помню, я рекомендовала камеристку леди Лансинг-младшей, и через три месяца ее не узнавал собственный ее муж.

Джек. А через шесть месяцев ее уже никто не мог узнать.

Леди Брэкнелл *(бросает грозный взгляд на Джека, а потом с заученной улыбкой обращается к Сесили).* Пожалуйста, повернитесь, дитя мое.

Сесили поворачивается к ней спиной.

Нет, нет, в профиль.

Сесили становится в профиль.

Именно этого я и ожидала. В вашем профиле есть данные. С таким профилем можно иметь успех в обществе. Два наиболее уязвимых пункта нашего времени — это отсутствие принципов и отсутствие профиля. Подбородок чуть повыше, дорогая моя. Стиль в значительной степени зависит от того, как держать подбородок. Теперь его держат очень высоко, Алджернон!

Алджернон. Да, тетя Августа!

Леди Брэкнелл. С таким профилем мисс Кардью может рассчитывать на успех в обществе.

Алджернон. Сесили самая милая, дорогая, прелестная девушка во всем свете. И какое мне дело до ее успехов в обществе.

Леди Брэкнелл. Никогда не говори неуважительно об обществе, Алджернон. Так поступают только те, кому закрыт доступ в высший свет. *(Обращается к Сесили.)* Дитя мое, вы, конечно, знаете, что у Алджернона нет ничего, кроме долгов. Но я не сторонница браков по расчету. Когда я выходила за лорда Брэкнелла, у меня не было никакого приданого. Однако я и мысли не допускала, что это

может послужить препятствием. Поэтому я думаю, что могу благословить ваш брак.

Алджернон. Благодарю вас, тетя Августа!

Леди Брэкнелл. Сесили, поцелуйте меня, дорогая.

Сесили *(целует)*. Благодарю вас, леди Брэкнелл.

Леди Брэкнелл. Можете впредь называть меня тетя Августа.

Сесили. Благодарю вас, тетя Августа.

Леди Брэкнелл. Свадьбу, я думаю, не стоит откладывать.

Алджернон. Благодарю вас, тетя Августа.

Сесили. Благодарю вас, тетя Августа.

Леди Брэкнелл. Я, по правде говоря, не одобряю длительных помолвок. Это дает возможность узнать характер другой стороны, что, по-моему, не рекомендуется.

Джек. Прошу прощения, что прерываю вас, леди Брэкнелл, но ни о какой помолвке в данном случае не может быть и речи. Я опекун мисс Кардью, и до совершеннолетия она не может выйти замуж без моего согласия. А дать такое согласие я решительно отказываюсь.

Леди Брэкнелл. По какой причине, смею вас спросить? Алджернон вполне подходящий, более того — завидный жених. У него нет ни гроша, а с виду он кажется миллионером. Чего же лучше?

Джек. Мне очень жаль, но приходится говорить в открытую, леди Брэкнелл. Дело в том, что я решительно не одобряю моральный облик вашего племянника. Я подозреваю, что он двуличен.

Алджернон и Сесили смотрят на него изумленно и негодующе.

Леди Брэкнелл. Двуличен? Мой племянник Алджернон? Немыслимо! Он учился в Оксфорде!

Джек. Боюсь, что в этом не может быть никакого сомнения. Сегодня, во время моей недолгой отлучки в Лондон по весьма важному для меня личному делу, он проник в мой дом, прикинувшись моим братом. Прикрываясь вымышленным именем, он выпил, как мне только что стало известно от дворецкого, целую бутылку моего «Перье-Жуэ-Брю» тысяча восемьсот

восемьдесят девятого года; вино, которое я хранил специально для собственного пользования. Продолжая свою недостойную игру, он в один день покорил сердце моей единственной воспитанницы. Оставшись пить чай, он уничтожил все лепешки до единой. И поведение его тем более непростительно, что он все время прекрасно знал, что у меня нет брата, что у меня никогда не было брата и что я не имею ни малейшего желания обзаводиться каким бы то ни было братом. Я совершенно определенно сказал ему об этом еще вчера.

Леди Брэкнелл. Гм! Мистер Уординг, всесторонне обсудив этот вопрос, я решила оставить без всякого внимания обиды, нанесенные вам моим племянником.

Джек. Весьма великодушно с вашей стороны, леди Брэкнелл. Но мое решение неизменно. Я отказываюсь дать согласие.

Леди Брэкнелл *(обращаясь к Сесили)*. Подойдите ко мне, милое дитя.

Сесили подходит.

Сколько вам лет, дорогая?

Сесили. По правде сказать, мне только восемнадцать, но на вечерах я всегда говорю — двадцать.

Леди Брэкнелл. Вы совершенно правы, внося эту маленькую поправку. Женщина никогда не должна быть слишком точной в определении своего возраста. Это отзывает педантством... *(Раздумчиво.)* Восемнадцать, но двадцать на вечерах. Ну что ж, не так уж долго ждать совершеннолетия и полной свободы от опеки. Не думаю, чтобы согласие вашего опекуна имело бы такое значение.

Джек. Простите, я снова прерву вас, леди Брэкнелл. Но я считаю своим долгом сообщить вам, что по завещанию деда мисс Кардью, срок опеки над нею установлен до тридцатипятилетнего возраста.

Леди Брэкнелл. Ну это не кажется мне серьезным препятствием. Тридцать пять — это возраст расцвета. Лондонское общество полно женщин самого знатного происхождения, которые по собственному желанию много лет кряду остаются тридцатипятилетними. Леди Дамблтон, например. Сколько мне

известно, ей все еще тридцать пять с тех самых пор, как ей исполнилось сорок, а это было уже много лет назад. Я не вижу причин, почему бы нашей дорогой Сесили не быть еще более привлекательной в указанном вами возрасте. К тому времени ее состояние значительно увеличится.

Сесили. Алджи, вы можете ждать, пока мне исполнится тридцать пять лет?

Алджернон. Ну, конечно, могу, Сесили. Вы знаете, что могу.

Сесили. Да, я так и чувствовала, но я-то не смогу ждать. Я не люблю ждать кого-нибудь даже пять минут. Это меня всегда раздражает. Сама я не отличаюсь точностью, это правда, но в других люблю пунктуальность и ждать — пусть даже нашей свадьбы — для меня невыносимо.

Алджернон. Так что же делать, Сесили?

Сесили. Не знаю, мистер Монкриф.

Леди Брэкнелл. Дорогой мистер Уординг, так как мисс Кардью положительно утверждает, что она не может ждать до тридцати пяти лет,— замечание, которое, должна сказать, свидетельствует о несколько нетерпеливом характере,— я просила бы вас пересмотреть ваше решение.

Джек. Но дорогая леди Брэкнелл, вопрос этот всецело зависит от вас. В ту самую минуту, как вы согласитесь на мой брак с Гвендолен, я с великой радостью разрешу вашему племяннику сочетаться браком с моей воспитанницей.

Леди Брэкнелл *(вставая и горделиво выпрямляясь)*. Вы прекрасно знаете: то, что вы предложили,— немыслимо.

Джек. Тогда безбрачие — вот наш удел.

Леди Брэкнелл. Не такую судьбу мы готовили для Гвендолен. Алджернон, конечно, может решать за себя. *(Достает часы.)* Идем, дорогая.

Гвендолен встает.

Мы уже пропустили пять, а то и шесть поездов. Если мы пропустим еще один — это может вызвать нежелательные толки на станции.

Входит доктор Чезюбл.

Чезюбл. Все готово для обряда крещения.

Леди Брэкнелл. Крещения, сэр? Не преждевременно ли?

Чезюбл *(со смущенным видом указывая на Джека и Алджернона).* Оба эти джентльмена выразили желание немедленно подвергнуться крещению.

Леди Брэкнелл. В их возрасте? Это смехотворная и безбожная затея. Алджернон, я запрещаю тебе креститься. И слышать не хочу о таких авантюрах. Лорд Брэкнелл был бы весьма недоволен, если бы узнал, на что ты тратишь время и деньги.

Чезюбл. Значит ли это, что сегодня крещения не будет?

Джек. Судя по тому, как обернулись обстоятельства, досточтимый доктор, я не считаю, что это имело бы практическое значение.

Чезюбл. Меня весьма огорчает, что вы это говорите, мистер Уординг. Это отдает еретическими взглядами анабаптистов, взглядами, которые я полностью опроверг в четырех моих неопубликованных проповедях. Однако, так как вы сейчас, по-видимому, полностью погружены в заботы мира сего, я тотчас же возвращусь в церковь. Меня только что известили, что мисс Призм уже полтора часа дожидается меня в ризнице.

Леди Брэкнелл *(вздрагивая).* Мисс Призм? Вы, кажется, упомянули о мисс Призм?

Чезюбл. Да, леди Брэкнелл. Мне сейчас предстоит встреча с мисс Призм.

Леди Брэкнелл. Позвольте задержать вас на одну минуту. Этот вопрос может оказаться чрезвычайно важным для лорда Брэкнелла и для меня самой. Не является ли упомянутая вами мисс Призм женщиной отталкивающей наружности, но притом выдающей себя за воспитательницу.

Чезюбл *(со сдержанным негодованием).* Это одна из самых воспитанных леди и само воплощение респектабельности.

Леди Брэкнелл. Ну, значит, это она и есть! Могу ли я осведомиться, какое положение занимает она в вашем доме?

Чезюбл *(сурово).* Я холост, сударыня.

Джек *(вмешиваясь)*. Мисс Призм, леди Брэкнелл, вот уже три года является высокочтимой гувернанткой и высокоценимой компаньонкой мисс Кардью.

Леди Брэкнелл. Несмотря на все ваши отзывы, я должна с ней немедленно повидаться. Пошлите за ней!

Чезюбл *(оглядываясь)*. Она идет; она уже близко.

Поспешно входит мисс Призм.

Мисс Призм. Мне сказали, что вы ждете меня в ризнице, дорогой каноник. Я ожидала вас там почти два часа. *(Замечает леди Брэкнелл, которая пронизывает ее взглядом. Мисс Призм бледнеет и вздрагивает. Она боязливо озирается, словно готовясь к бегству.)*

Леди Брэкнелл *(жестоким прокурорским тоном)*. Присм!

Мисс Призм смиренно опускает голову.

Сюда, Присм!

Мисс Призм, крадучись, приближается.

Присм! Где ребенок?

Всеобщая растерянность. Доктор Чезюбл в ужасе отступает. Алджернон и Джек заслоняют Сесили и Гвендолен, подчеркнуто стараясь оградить их слух от подробностей ужасающего разоблачения.

Двадцать восемь лет назад, Присм, вы оставили дом лорда Брэкнелла, сто четыре по Гровенор-стрит, имея на попечении детскую коляску, содержавшую младенца мужского пола. Вы не вернулись. Через несколько недель усилиями уголовной полиции коляска была обнаружена однажды ночью в уединенном уголке Бэйсуотера. В ней нашли рукопись трехтомного романа, до тошноты сентиментального.

Мисс Призм негодующе вздрагивает.

Но ребенка там не было!

Все смотрят на мисс Призм.

Присм, где ребенок?

Пауза.

Мисс Призм. Леди Брэкнелл, я со стыдом признаю, что я не знаю. О! Если бы я знала! Вот как все это произошло. В то утро, навсегда запечатлевшееся в моей памяти, я, по обыкновению, собиралась вывезти дитя в коляске на прогулку. Со мной был довольно старый, объемистый саквояж, куда я намеревалась положить рукопись беллетристического произведения, сочиненного мною в редкие часы досуга. По непостижимой рассеянности, которую я до сих пор не могу себе простить, я положила рукопись в коляску, а ребенка в саквояж.

Джек *(слушавший ее с большим вниманием)*. Но куда же вы дели саквояж?

Мисс Призм. Ах, не спрашивайте, мистер Уординг!

Джек. Мисс Призм, это для меня чрезвычайно важно. Я настаиваю, чтобы вы сказали, куда девался саквояж с ребенком.

Мисс Призм. Я оставила его в камере хранения одного из самых крупных вокзалов Лондона.

Джек. Какого вокзала?

Мисс Призм *(в полном изнеможении)*. Виктория. Брайтонская платформа. *(Падает в кресло.)*

Джек. Я должен вас на минуту покинуть. Гвендолен, подождите меня.

Гвендолен. Если вы ненадолго, я готова ждать вас всю жизнь.

Джек убегает в крайнем волнении.

Чезюбл. Что все это может означать, как вы думаете, леди Брэкнелл?

Леди Брэкнелл. Боюсь что-нибудь предположить, доктор Чезюбл. Едва ли надо говорить вам, что в аристократических семьях не допускают странных совпадений. Они считаются нереспектабельными.

Над головой у них слышен шум, словно кто-то передвигает сундуки. Все смотрят вверх.

Сесили. Дядя Джек необычайно взволнован.

Чезюбл. У вашего опекуна очень эмоциональная натура.

Леди Брэкнелл. Весьма неприятный шум. Как будто он там с кем-то дерется. Я ненавижу драки, независимо от повода. Они всегда вульгарны и нередко доказательны.

Чезюбл *(глядя вверх).* Вот, все прекратилось.

Шум раздается с новой силой.

Леди Брэкнелл. Хотела бы я, чтобы он пришел наконец к какому-нибудь выводу.

Гвендолен. Это ожидание ужасно. Я не хочу, чтобы оно кончалось.

Входит Джек. В руках у него черный кожаный саквояж.

Джек *(подбегая к мисс Призм).* Этот, мисс Призм? Поглядите получше, прежде чем ответить. От вашего ответа зависит судьба нескольких человек.

Мисс Призм *(спокойно).* Похоже, что мой. Да. Вот царапина, полученная при катастрофе с омнибусом на Гауэр-стрит в лучшие дни моей юности. А вот на подкладке пятно от лопнувшей бутылки безалкогольного напитка — это случилось со мной в Лимингтоне. А вот на замочке мои инициалы. Я и забыла, что из каких-то экстравагантных побуждений велела выгравировать их на замке. Да, саквояж действительно мой. Очень рада, что он так неожиданно нашелся. Мне все эти годы так его не хватало!

Джек *(торжественно).* Мисс Призм, нашелся не только саквояж. Я — младенец, которого вы в нем потеряли.

Мисс Призм *(пораженная).* Вы?

Джек *(обнимая ее).* Да... мама!

Мисс Призм *(вырываясь и в полном негодовании).* Мистер Уординг! Я девица!

Джек. Девица? Признаюсь, это для меня большой удар. Но в конце концов кто посмеет бросить камень в женщину, которая столько выстрадала? Неужели раскаяние не искупает минуты увлечения? Почему должен быть один закон для мужчин и другой для женщин? Мама, я прощаю тебя. *(Снова пытается обнять ее.)*

Мисс Призм *(еще в большем негодовании).* Мистер Уординг, здесь какое-то недоразумение. *(Указывая на леди Брэкнелл.)* Ее сиятельство может сказать вам, кто вы такой на самом деле.

Джек *(помолчав).* Леди Брэкнелл! Простите, что докучаю вам, но скажите мне, кто я такой?

Леди Брэкнелл. Боюсь, эти сведения придутся вам не по вкусу. Вы сын моей покойной сестры, миссис Монкриф, и, следовательно, старший брат Алджернона.

Джек. Старший брат Алджи! Так, значит, у меня все-таки есть брат! Я так и знал, что у меня есть брат. Я всегда говорил, что у меня есть брат. Сесили, как могла ты сомневаться, что у меня есть брат? *(Хватает Алджернона за плечи.)* Доктор Чезюбл,—мой беспутный братец. Мисс Призм,—мой беспутный братец. Гвендолен,—мой беспутный братец. Алджи, негодник, ты теперь обязан относиться ко мне с бóльшим уважением. Ты никогда в жизни не относился ко мне как к старшему брату.

Алджернон. Да, каюсь, дружище. Я старался, но у меня не было практики. *(Пожимает руку Джеку.)*

Гвендолен *(Джеку).* Родной мой! Но кто же вы, если стали кем-то другим? Как вас теперь зовут?

Джек. Силы небесные!.. Про это я совсем забыл. Ваше решение относительно моего имени остается неизменным?

Гвендолен. Я неизменна во всем, кроме своих чувств.

Сесили. Какой у вас благородный характер, Гвендолен.

Джек. С этим вопросом надо покончить сейчас же. Минуточку, тетя Августа. К тому времени, как мисс Призм потеряла меня вместе со своим саквояжем, я, вероятно, был уже крещен?

Леди Брэкнелл. Все жизненные блага, которые можно приобрести за деньги, были вам предоставлены вашими любящими и заботливыми родителями, в том числе, конечно, и крещение.

Джек. Значит, я был крещен? Это ясно. Но какое же мне дали имя? Я готов к самому худшему.

Леди Брэкнелл. Как старший сын вы, разумеется, получили имя отца.

Джек *(сердится)*. Да, но как звали моего отца?

Леди Брэкнелл *(задумчиво)*. Сейчас не могу припомнить, как звали вашего батюшку, генерала Монкрифа. Не сомневаюсь, однако, что его все же как-нибудь звали. Он был чудак, это правда. Но только в преклонных летах. И под влиянием индийского климата, женитьбы, несварения желудка и прочего в этом роде.

Джек. Алджи, ты-то можешь вспомнить, как звали нашего отца?

Алджернон. Дорогой мой, мне ни разу не пришлось беседовать с ним. Он умер, когда мне еще и году не было.

Джек. Его имя, должно быть, в армейских справочниках того времени. Не так ли, тетя Августа?

Леди Брэкнелл. Генерал был человеком весьма мирного характера во всем, кроме семейной жизни. Но я не сомневаюсь, что имя его значится в любом военном альманахе.

Джек. Армейские списки за последние сорок лет — это украшение моей библиотеки. Мне бы надо было без устали штудировать эти воинские скрижали. *(Бросается к книжным полкам и выхватывает одну книгу за другой.)* Значит, М... генералы... Магли, Максбом, Маллам,— какие ужасные фамилии — Маркби, Миксби, Моббз, Монкриф! Лейтенант — в тысяча восемьсот сороковом. Капитан, подполковник, полковник, генерал — в тысяча восемьсот шестьдесят девятом. Зовут — Эрнест-Джон. *(Не торопясь ставит книгу на место; очень спокойно.)* Я всегда говорил вам, Гвендолен, что меня зовут Эрнест, не так ли? Ну, я и на самом деле Эрнест. Как тому и следовало быть!

Леди Брэкнелл. Да, теперь я припоминаю, что генерала звали Эрнест. Я так и знала, что у меня есть особая причина не любить это имя.

Гвендолен. Эрнест! Мой Эрнест! Я с самого начала чувствовала, что у вас не может быть другого имени.

Джек. Гвендолен! Как это ужасно для человека — вдруг узнать, что всю свою жизнь он говорил правду, сущую правду. Вы прощаете мне этот грех?

Гвендолен. Прощаю. Потому что вы непременно изменитесь.

Джек. Милая!

Чезюбл *(к мисс Призм)*. Летиция! *(Обнимает ее.)*

Мисс Призм *(восторженно)*. Фредерик! Наконец-то!

Алджернон. Сесили! *(Обнимает ее.)* Наконец-то!

Джек. Гвендолен! *(Обнимает ее.)* Наконец-то!

Леди Брэкнелл. Дорогой мой племянник, вы, кажется, проявляете признаки легкомыслия.

Джек. Что вы, тетя Августа, наоборот, впервые в жизни я понял, как важно Эрнесту быть серьезным!

Немая картина.

Занавес

РОМАН ЖИЗНИ ОСКАРА УАЙЛЬДА

«Хотите знать, в чем заключается величайшая драма моей жизни? — спросил Оскар Уайльд в роковом для него 1895 году. — Она в том, что свой гений я вложил в мою жизнь, и только талант — в мои произведения». Но дело в том, что жизнь наравне с литературой воспринималась им как высший и труднейший вид искусства, выразить в котором себя в полной мере можно, лишь найдя соответствующую форму и стиль. Задачу художника да и каждого человека он видел в том, чтобы стать творцом своей жизни, и биография самого Уайльда поистине походит на роман, происшедший в действительности. Роман с интригующим сюжетом и ошеломляющей развязкой, которая бросает неожиданный отблеск на все казавшееся порой легкомысленным повествование, поднимая его до уровня высокой драмы.

Хронологические рамки романа — вторая половина XIX столетия. Место действия — преимущественно столица Англии, но временами оно переносится на европейский или североамериканский континент. Пролог развертывается в Дублине, где 16 октября 1854 года появился на свет Оскар Уайльд.

«Трилистнику закон не позволяет на почве ирландской расти!» — гласит ставшая поговоркой строка из старой уличной баллады. Но именно на этой почве вырос «трилистник» таких знаменитостей английской словесности, как Оскар Уайльд, Бернард Шоу и Джеймс Джойс.

Хотя Уайльд творил на языке Шекспира и талант его развивался в русле английской культурной традиции, он всегда сохранял верность своим корням и оставался «очень ирландским ирландцем», как выразился его земляк и почти сверстник Бернард Шоу.

Глубочайшую любовь к Ирландии привили ему в родительском доме. Его отец, сэр Уильям Уайльд, был личностью весьма примечательной в Дублине. Опытный хирург и превосходный окулист, он имел широкую врачебную практику, приносившую немалый доход, издавал фундаментальные труды — причем не только по медицине. С увлечением занимался он археологией и этнографией, описывал шедевры старинной ирландской архитектуры и искусства, собирал фольклор.

Патриотизм мужа в полной мере разделяла супруга Уильяма Уайльда, леди Франческа, выступавшая в печати со стихами и публицистическими статьями, которые подписывала красноречивым псевдонимом «Сперанца» (Надежда). Весна Народов, революционной волной прокатившаяся по Европе в 1848 году, побудила Сперанцу бросить клич молодежи с оружием в руках отвоевать свободу Ирландии. Английские власти начали судебное преследование редактора журнала, опубликовавшего этот мятежный призыв, а имя отважной «подстрекательницы» сразу стало известным на всю страну. Однако волнения были подавлены, и относительно обретения Ирландией независимости тогда на время вновь пришлось «оставить всякую надежду». Реминисценция из Данте тут представляется вполне уместной, поскольку Сперанца уверяла, будто создатель «Божественной комедии» — ее дальний предок, а ее девичья фамилия Элджи происходит непосредственно от Алигьери, претерпев столь разительные перемены в написании. Но если мало правдоподобно, что корни генеалогического древа Франчески Элджи уходят столь далеко, то не вызывает никаких сомнений ее близкое родство с другим писателем — прославившим себя романом «Мельмот Скиталец» — Чарлзом Робертом Мэтьюрином, которому она приходилась внучатой племянницей.

Страстная и поэтическая натура этой женщины проявилась и в том, как она нарекла своего младшего сына: Оскар Фингал О'Флаэрти Уиллс. Из столь пышной вереницы имен Уайльд пользовался впоследствии только первым.

Оскар и Фингал — герои знаменитых макферсоновских «Поэм Оссиана». Бесстрашный король Фингал — отец легендарного воина и «барда минувших времен» Оссиана, а «повелитель мечей» Оскар — его сын, то есть внук Фингала. Джеймс Макферсон предпринял свою грандиозную мистификацию во славу родной Шотландии, но при работе он пользовался преданиями и сагами, которые были сложены на территории «зеленого Эрина», как называли в старину Ирландию. Вот почему госпожа Уайльд выбрала из

«Оссиана» своему сыну имена, напоминавшие о славе предков и как бы предрекавшие ему судьбу поэта.

Когда Оскару исполнилось одиннадцать лет, его отдали в ту же королевскую школу Портора, где учился его старший брат Уилли. Школа эта была основана в древнем североирландском городе Эннискиллен и пользовалась солидной репутацией.

Там Оскар открыл для себя прелесть античного мира и упивался штудированием древнегреческих авторов. Так зародился тот культ «нового эллинизма», который будет позже исповедовать Уайльд и который виделся ему в гармонии личности, в торжестве преобразующего творческого духа над косной материей.

При окончании школы он получил высшее отличие за знания по классической филологии и право поступить стипендиатом в дублинский Тринити-колледж. За три года пребывания в колледже Оскар зарекомендовал себя одним из самых многообещающих студентов, постоянно выигрывал конкурсы на лучшее сочинение и был удостоен золотой медали за работу на заданную тему о фрагментах греческих комедиографов, что дало ему возможность продолжить образование в привилегированном Оксфордском университете.

Оксфорд открывает в его жизни новую главу. Он слушал лекции популярных профессоров Джона Рескина и Уолтера Патера, знатоков европейской живописи и зодчества, философии и поэзии, талантливых литераторов, чьи трактаты и публичные выступления никого не оставляли равнодушным, шокируя одних и вызывая безудержный восторг у других. Они далеко не во всем соглашались в своих оценках и теоретических воззрениях (так, Патер провозглашал художественным идеалом итальянский Ренессанс, тогда как Рескин предпочитал культуру средневековья и предшественников Рафаэля), но оба сходились в пылком романтическом протесте против пошлости капиталистической действительности, враждебной всему прекрасному. Эти два паладина Красоты в профессорских мантиях оказали большое воздействие на формирование вкусов и взглядов молодого Уайльда.

К оксфордскому периоду относятся его первые поэтические опыты. Он слагает стансы в память умершей на девятом году жизни сестры Изолы («Ступай легко: ведь обитает // Она под снегом там. // Шепчи нежней: она внимает // Лесным цветам...»); пишет сонеты, навеянные путешествиями по Италии и Греции, предпринятыми во время каникул. Наиболее ранняя из его публикаций, появившаяся в 1875 году в дублинском студенческом журнале,— опять-таки дань увлечению античностью: это перевод хора дев-облаков из комедии

Аристофана «Облака». Стихов у него вскоре набирается столько, что в 1881 году они выходят отдельным изданием. Уайльдовская поэзия той поры в значительной степени подражательна, в ней слышны отзвуки классиков и современников, но наряду с этим проступают уже завораживающая сила воображения, изысканная декоративность и чеканность слога, способность к виртуозной стилизации, умение передавать тончайшие оттенки чувств.

«Я сделал свой выбор: я прожил свои стихи...»,— писал Уайльд в лирическом «Цветке любви», и он действительно стремился внести в свою жизнь как можно больше поэзии, видя в ней, и вообще в искусстве, противоядие против отравленного жестоким практицизмом прозаического буржуазного уклада. В меру скромных средств, выделявшихся ему отцом, он начинает проявлять особую заботу о том, чтобы окружать себя красивыми вещами. Еще в его студенческом жилище, а потом и в лондонской квартире, снятой после окончания Оксфорда, появляются ковры, картины, занятные безделушки, книги в нарядных переплетах, изящный голубой фарфор. Он отпускает себе длинные волосы, тщательно следит за своей наружностью, экстравагантно одевается.

«Только поверхностные люди не судят по внешности»,— считает Уайльд, и его внешний вид служит дерзким вызовом чопорному викторианскому обществу, в которое он вступал с решимостью бальзаковского Люсьена де Рюбампре. Он всегда придавал исключительное значение одежде, написал о ней несколько газетных статей (шутливо заявляя, что стать реформатором в этой области важнее, чем стать реформатором в религии) и — как уверяли его недоброжелатели — именно своей одеждой, а не стихами добился известности. Костюм, который помог начинающему поэту завоевать Лондон, выглядел следующим образом: короткая бархатная куртка, отороченная тесьмой, тончайшая шелковая рубашка с широким отложным воротником, мягкий зеленый галстук, штаны из атласной ткани до колен, черные чулки и лакированные туфли с пряжками. Дополнялся этот привлекавший всеобщее внимание наряд беретом, иногда — свободно ниспадавшим чайльдгарольдовским плащом, а также подсолнечником или лилией в руке.

В таком маскарадном облачении Уайльд отважно появлялся время от времени на людях, изрядно шокируя многих. Однако он помышлял о большем — о подлинной славе. Поэтому с кричащим одеянием вскоре настала пора распроститься,— на смену пришли безукоризненные сюртуки и фраки, и впредь он неизменно был «как dandy лондонский одет». Дело не ограничивалось внешним

лоском — Уайльду присущ был тот внутренний дендизм байроновского толка, природу которого великолепно объяснил обожаемый им собрат по духу Шарль Бодлер: «Неразумно сводить дендизм к преувеличенному пристрастию к нарядам и внешней элегантности. Для истинного денди все эти материальные атрибуты — лишь символ аристократического превосходства его духа... Как бы ни назывались эти люди — щеголями, франтами, светскими львами или денди,— все они сходны по своей сути. Все причастны к протесту и бунту, все воплощают в себе наилучшую сторону человеческой гордости — очень редкую в наши дни потребность сражаться с пошлостью и искоренять ее... Дендизм появляется преимущественно в переходные эпохи, когда демократия еще не достигла подлинного могущества, а аристократия лишь отчасти утратила достоинство и почву под ногами...»[1].

Именно таков был дендизм Оскара Уайльда и такова была эпоха, в которую он жил и которую по имени правившей тогда королевы-долгожительницы зовут в Англии Викторианской. Ему было душно в атмосфере этой кризисной эпохи, он тяготился ее лицемерной моралью, проповедовавшей «семь смертных добродетелей», и презирал как снобизм терявшей свои господствующие позиции аристократии, так и фальшивые ценности все горделивее поднимавших голову буржуа. Антибуржуазный протест прорывался уже в его ранних стихах:

Империя на глиняных ногах —
Наш островок: ему уже не сродно
Теперь все то, что гордо, благородно,
И лавр его похитил некий враг;

И не звенит тот голос на холмах,
Что о свободе пел: а ты свободна,
Моя душа! Беги, ты не пригодна
В торгашеском гнезде, где на лотках

Торгуют мудростью, благоговеньем,
А чернь идет с угрюмым озлобленьем
На светлое наследие веков...

(Перевод Н. Гумилева)

---

[1] Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986, с. 304—305.

Но все же протест этот вылился тогда у Уайльда главным образом в форме эстетизма — так называлось возглавленное им движение, составной частью пропаганды которого и был вычурный костюм. В эстетизме, по сути, нашел свое воплощение идущий от Рескина и Патера наивный призыв поклоняться Красоте во всех ее проявлениях в противовес уродствам бездуховного бытия в век, пропитанный утилитаризмом. У Оскара Уайльда появились приверженцы, которые с огромным удовольствием слушали его велеречивые рассуждения на этот счет и пытались подражать ему. Юмористический журнал «Панч» начал помещать шаржи и эпиграммы на длинноволосого провозвестника эстетизма в коротких панталонах, который казался на редкость удачной мишенью для насмешек. Однако Уайльд рано понял «механизм славы» и потому нисколько не сетовал ни по поводу этих карикатур, ни по поводу того, что в лондонских театрах появились одна за другой несколько комических пьес, герои которых пародировали его манеру поведения. Особенно способствовала его популярности имевшая колоссальный успех оперетта «Терпение». Так, прежде чем завоевать сцену как драматург, Уайльд завоевал ее в качестве персонажа.

К тому времени он уже попробовал свои силы и в драматургии. Попытка эта не была особенно удачной, но для нас она весьма любопытна как одно из проявлений стойкого интереса Уайльда к России. Свидетельства этого интереса обнаруживаются и в его рассказе «Преступление лорда Артура Сэвила» и в его эссе, критических заметках, письмах, где встречаются весьма уважительные отзывы о Толстом, Тургеневе и особенно о Достоевском. Он высоко ценил русскую литературу за ту пронзительную ноту сострадания к людям, что звучит в ней.

Уайльд не только одним из первых на Западе воздал должное достижениям великих русских романистов, но и внимательно следил за развитием революционного движения в России в 1880—1890 годы. На двадцатипятилетнего Уайльда сильное впечатление произвели доходившие до него сведения о рисовавшейся ему в самом романтическом свете деятельности людей, которые боролись в то время с русским самодержавием,— народовольцев. В итоге появилась на свет первая пьеса «Вера, или Нигилисты». Незрелость этой мелодрамы очевидна, хотя некоторые места уже выдают руку будущего автора «Саломеи», а кое-какие удачные реплики перекочуют в позднейшие произведения. Уайльд закончил «Веру...» в 1880 году и отпечатал несколько экземпляров пьесы за собственный счет, чтобы раздать друзьям и знакомым из театрального мира. Но в

следующем году очередное покушение народовольцев на жизнь Александра II увенчалось успехом, и мысль о постановке драмы с цареубийством на английской сцене пришлось оставить, поскольку королевская фамилия состояла в родстве с домом Романовых.

Впервые «Вера, или Нигилисты» была поставлена в 1883 году в Нью-Йорке благодаря тому, что Уайльду удалось заинтересовать ею американскую актрису Мэри Прескотт. В адресованном ей письме молодой поэт и драматург так объяснял свой замысел: «Я старался выразить в пределах, допускаемых искусством, то титаническое стремление народов к свободе, которое в современной Европе грозит тронам и делает неустойчивыми правительства от Испании до России, от северных морей до южных. Но это пьеса не о политике, а о страсти. Она посвящена не политическим теориям, а просто мужчинам и женщинам; и нынешняя нигилистическая Россия со всем ужасом ее тирании и чудом ее мучеников — это огненный, жаркий фон, на котором живут и любят люди, явившиеся мне в воображении. С таким чувством эта пьеса писалась, и так ее надо играть...»[1].

Уайльд специально приезжал на премьеру, но «Вера...» успеха не имела, и ее быстро сняли с репертуара. То был уже второй его визит в Америку. Причиной первого приезда тоже была пьеса, но только не его собственная, а та самая оперетта «Терпение», где фигурировал похожий на него «идиллический поэт» и которую после благосклонного приема лондонскими зрителями решили поставить в Соединенных Штатах. Занятная сама по себе, оперетта немало теряла в восприятии бродвейской публики из-за того, что та понятия не имела об эстетизме и его молодом вожде. И вот предприимчивый импресарио решил пригласить Уайльда в Нью-Йорк в качестве живой рекламы.

Слово «паблисити» еще не имело той магической силы, которую приобрело оно в XX веке, но Оскар Уайльд уже тогда понимал, что «если неприятно, когда о тебе много говорят, то еще хуже, когда о тебе совсем не говорят». Начинающему литератору никак нельзя было пренебречь подвернувшимся шансом умножить свою известность. Он надеялся сделать в Америке рекламу не только оперетте, но и себе. Расчет этот полностью оправдался.

Американская глава занимает немаловажное место в биографии Уайльда. Он прибыл в Нью-Йорк 2 января 1882 года на борту

---

[1] Цит. по: Montgomery Hyde H. Oscar Wilde. A biography. London, 1976, p. 89.

лайнера «Аризона», сообщив при таможенном досмотре, но явно адресуясь к собравшимся газетчикам, что ему не о чем заявить в декларации, кроме своего гения. С таким «контрабандным товаром» озадаченному таможеннику сталкиваться еще не приходилось, и Уайльду дозволено было ступить на берег Нового Света. Это был для него действительно совершенно новый мир, но он превосходно в нем освоился. Уайльд открывал для себя Америку, Америка открывала его.

Настоящую сенсацию произвело появление лондонского «эстета» в театре на представлении «Терпения»: он пришел в ставшем легендарным бархатном пиджаке и коротких штанах — и точно так был одет его «двойник» на сцене. Уайльду удалось заинтриговать американцев. С ним был заключен контракт на чтение лекций, и он провел целый год в Соединенных Штатах, выступив во многих городах. Уайльд рассказывал о новом Ренессансе в английском искусстве XIX века, о полотнах Тернера, о стихах Китса и Суинберна, об идеях Рескина и Патера, о членах «Прерафаэлитского братства» во главе с Данте Габриэлем Россетти. Он призывал всех чаще замечать Красоту вокруг себя и больше внимания уделять эстетике повседневного быта, «ибо Искусство — не игрушка и не прихоть, но непременное условие человеческой жизни... Это наглядное воспитание морали. Научиться любить Природу легче всего посредством Искусства. Оно облагораживает любой полевой цветок. И мальчик, который видит, как прекрасна летящая птица, вырезанная из дерева или написанная на холсте, возможно, не швырнет традиционного камня в птицу живую. Нам необходима духовность в обыденной жизни...».

Он мог с легкостью иронизировать над всем, но в отношении к Искусству, в могущество которого свято верил, оставался предельно серьезен (что не помешало ему завершить преамбулу к «Дориану Грею» словами: «Всякое искусство совершенно бесполезно»,— без этого Уайльд не был бы Уайльдом). Американцы с изумлением услышали от него: «Я полагаю, что искусство, создавая для всех народов одну общую духовную атмосферу, могло бы,— если уж не осенить весь мир серебряными крыльями мира,— то хоть сблизить людей настолько, чтобы они не резали друг друга из-за пустого каприза, из-за глупости какого-нибудь короля или министра, как это бывает в Европе»[1].

---

[1] Уайльд О. Полное собр. соч., т. IV. СПб., 1912, с. 140.

На столь глубокие суждения вряд ли был способен герой оперетты «Терпение». Оставаясь тонким ценителем Красоты, Оскар Уайльд быстро вырастал из коротких штанов эстетизма, но великодушно оставлял публике воспоминание о них. А вскоре после возвращения в Европу обрезал и длинные волосы, сделав себе прическу как у римского императора Нерона, бюст которого понравился ему в Лувре.

Он мог выбрать себе прическу à la Нерон, мог заказать трость с набалдашником из слоновой кости и белую «рясу» для работы — копии тех, что были у Бальзака; мог заимствовать идеи Джона Рескина и подражать голосу Сары Бернар; его самолюбию льстило работать за столом, прежде принадлежавшим Томасу Карлейлю; он мог испытывать сильные литературные влияния,— но врожденный артистизм, безукоризненное чувство стиля и самобытность дарования позволяли ему в итоге оставаться оригинальным.

Эта оригинальность располагала к нему, а порою просто притягивала многих людей, в том числе весьма взыскательных. За океаном с ним благосклонно беседовали два величайших поэта Америки — Уолт Уитмен и Генри Лонгфелло. В свой первый же приезд в Париж (в 1883 году) он свел знакомство с такими светилами французской поэзии и прозы, как Виктор Гюго и Поль Верлен, Альфонс Доде и Эмиль Золя, а также с живописцами Эдгаром Дега и Камилем Писарро; позже круг его французских знакомств еще больше расширился, включив в себя Стефана Малларме и Марселя Пруста, Реми де Гурмона и Жана Мореаса, Пьера Луиса и Андре Жида.

Оскар Уайльд выступал во всех жанрах, кроме скучного. Но, судя по воспоминаниям современников, наиболее впечатляющ и великолепен он был в жанре разговорном, на который не скупился тратить свой талант. Его невероятное остроумие, фейерверки извергавшихся им парадоксов, неистощимая выдумка и умение очаровывать людей привели к тому, что он прослыл «Шехерезадой салонов» и старательно поддерживал эту репутацию. Блестки ума, без конца расточавшиеся им, требовали огромного напряжения, и далеко не все его не только отдельные отточенные фразы, но и целые устные новеллы, притчи, стихотворения в прозе оказались потом занесенными на бумагу — им самим или друзьями. Достаточно было всего нескольких слушателей, чтобы в полную силу начинал бить фонтан его творческой энергии.

«Человек, который может овладеть разговором за лондонским обедом, может овладеть всем миром»,— сказано в его пьесе «Жен-

щина, не стоящая внимания». И Уайльд царил на всех званых обедах, на которых бывал (а количество приглашений стремительно нарастало по мере того, как он входил в моду). В совершенстве усвоив уроки светской «школы злословия» («В разговоре следует касаться всего, не сосредоточиваясь ни на чем»), он расточал вокруг тонкий яд иронии, сыпал бисером афоризмов, позволял себе роскошь быть восхитительно непоследовательным и противоречить самому себе, легко убеждал в уместности неуместного и во вздорности многих общепринятых мнений, ненароком воспарял от непринужденной застольной болтовни к эффектным философским максимам. Своенравно жонглируя словами и мыслями, он шел на светский раут с бутоньеркой в петлице, как избалованный вниманием зрителей актер выходит на сцену, зная, что к нему прикованы все взоры, но необходимо подбросить пару новых поленьев в костер всеобщего поклонения.

Его прозвали «королем жизни», «принцем Парадоксом». «Правда жизни открывается нам именно в форме парадоксов. Чтобы постигнуть Действительность, надо видеть, как она балансирует на канате. И только посмотрев все те акробатические штуки, какие проделывает Истина, мы можем правильно судить о ней»,— заявлял автор «Портрета Дориана Грея». Надо сказать, что не он один использовал в английской литературе парадокс как средство постижения Истины и проверки истертых «прописных истин»,— к этому средству охотно прибегали также Шоу и Честертон, а в наше время — Грэм Грин.

Уайльд постоянно забавлялся сам и забавлял других тем, что заставлял банальность постоять на голове или пройти по туго натянутому канату своей дерзкой мысли. Или брал фразу, ставшую крылатой, и выворачивал ее, как перчатку, наизнанку. Все кругом твердят: «Браки совершаются на небесах». Он не преминет бросить: «Разводы совершаются на небесах». Американцы убеждены: «Время — деньги». Он даст свой вариант: «Время — потеря денег». Демонстрируя, как важно быть несерьезным, он сплошь и рядом изрекает далеко не безобидные сентенции, доводя до абсурда убогую жизненную философию тех, кто «всё видит, кроме очевидного». Как бы в шутку он нешуточно посягает на краеугольные основы общества, где «ложь — это правда других людей», а «долг — это то, чего мы требуем от других и не делаем сами».

Остро реагируя на противоречия окружающей действительности, Уайльд и сам весь соткан из противоречий. В своих высказываниях он предстает то сентиментальным циником, то аморальным

моралистом, то мечтательным скептиком; призывает видеть смешное в печальном и ощущать трагический оттенок в комедии; естественность для него — трудная поза, ничегонеделание — самое тяжкое в мире занятие, маска — интереснее лица, театр — реальнее жизни; по его мнению, жизнь больше подражает искусству, нежели искусство подражает жизни. Но за холодным бенгальским огнем его словесных эскапад чувствуется горячее, страстное желание взорвать, опрокинуть или по крайней мере поколебать незыблемость ханжеской морали и вульгарных — часто взятых напрокат — представлений о мире, которых придерживались самодовольные «хозяева жизни» в «век, лишенный души».

Принцип парадокса положен в основу и большинства произведений Оскара Уайльда. По этому принципу построены, например, «Кентервильское привидение», где не люди шарахаются от призрака, а грубый материализм семьи американского посла делает невыносимым существование роскошного английского призрака; «Преступление лорда Артура Сэвила», где чувство порядочности толкает молодого аристократа на убийство, а жертвой собственного предсказания оказывается незадачливый хиромант; «Натурщик-миллионер», где выясняется, что человек, позировавший художнику в живописных лохмотьях нищего, на самом деле богатейший банкир, и он сторицей вознаграждает юношу, который, будучи введен в заблуждение этим жалким рубищем, отдает ему свой последний золотой; «Сфинкс без загадки», где придуманная тайна разрушает реальную судьбу женщины. Эти четыре рассказа были написаны в одном и том же 1887 году, с которого начинается наиболее плодотворный период в творческой биографии Оскара Уайльда.

К тому времени он был уже три года как женат на Констанции Ллойд, которая родила ему двух сыновей. Уайльду перевалило за тридцать, а он все еще оставался, по сути, автором лишь небольшой поэтической тетради да двух малоудачных пьес (второй была начатая еще в Америке псевдоисторическая драма в стихах «Герцогиня Падуанская»). Деньги на жизнь он зарабатывал в основном лекциями и газетными обзорами. Чтобы увеличить свой доход и сделать его более регулярным, согласился стать редактором журнала «Женский мир» и поначалу с энтузиазмом принялся за дело, но постепенно остыл и через два года ушел из журнала.

Ценой немалых усилий ему удалось прослыть «королем жизни», но пришла пора доказать, что король не гол, как в сказке любимого им Андерсена. И Оскар Уайльд с блеском доказывает это. Продол-

жая носить на людях столь нравящуюся им маску томной праздности и поддерживать созданный им самим миф о себе как о воинствующем гедонисте, он усердно трудится, создает за восемь лет почти все произведения, обеспечившие ему почетное место в истории мировой литературы. Это две книги сказок — «Счастливый Принц» и «Гранатовый домик», новелла «Портрет г-на У. Г.», примыкающая к циклу рассказов 1887 года, сборник «Замыслы», куда вошли уайльдовские статьи об искусстве (в том числе программные трактаты в форме диалогов «Упадок лжи» и «Критик как художник»), роман «Портрет Дориана Грея», четыре комедии — «Веер леди Уиндермир», «Женщина, не стоящая внимания», «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным», написанная по-французски драма «Саломея», другая одноактная драма в том же духе «Святая блудница, или Женщина, покрытая драгоценностями» (полный текст ее утрачен) и оставшаяся незаконченной «Флорентинская трагедия».

Публикация рассказа «Портрет г-на У. Г.» наделала много шума и нельзя сказать — «из ничего». Дело в том, что этим произведением Оскар Уайльд включился в полемику относительно одной из самых жгучих тайн шекспировского наследия. Главная загадка «Сонетов» Шекспира связана с тем, кому они адресованы. Выпуская в 1609 году эти 154 шедевра, издатель Томас Торп снабдил книгу посвящением некоему мистеру W. H., назвав его тем единственным, кому они обязаны своим появлением на свет. Кого только не пытались подогнать под заветные инициалы — даже самого Шекспира (William Himself)! За истекшие столетия накопилось немало не только серьезных, но и курьезных гипотез, предлагавших «ключ» к сонетам Шекспира, однако окончательная разгадка так пока и не найдена.

Кто же они такие — ветреные, вероломные, но бесконечно дорогие ему — друг поэта и дама, прозванная впоследствии «Смуглой леди сонетов»? Ни одного закоренелого преступника не разыскивал с таким рвением Скотланд-ярд, с каким пытались решить эту задачу «с двумя неизвестными» шерлоки холмсы от литературы. Они упорно примеряли имеющиеся скудные сведения к реальным историческим персонажам, в окружении которых находился Шекспир, пытались рассыпанные им в стихах намеки сложить в законченные словесные портреты. Мимо столь увлекательного занятия не могли, разумеется, пройти не только профессиональные детективы-литературоведы и историки, но и сыщики-любители — писатели Оскар Уайльд, а вслед за ним и Бернард Шоу.

«Портрет г-на У. Г.» — это прелестное полуэссе, полумистификация, заключенная в изящную рамку уайльдовской прозы, где адресатом сонетов объявлен Уильям Гьюз (Хьюз), юноша-актер, исполнявший по тогдашнему обычаю женские роли. А то обстоятельство, что лицедей с подобным именем не значится в списках шекспировской труппы, со свойственной Уайльду любовью к парадоксам выдается за немаловажный аргумент в пользу этой теории.

Кому-нибудь, быть может, покажется странным, что однотомник Оскара Уайльда включен в серию «Мир приключений». Но, думается, это вполне оправданно. Мало кто из больших писателей так любил приключения в жизни и в литературе. «Когда он уставал играть с нами, то утихомиривал нас, рассказывая сказки или приключенческие истории, которых у него было в запасе бесконечное множество. Он был большим поклонником Жюля Верна и Стивенсона, а также Киплинга — тех вещей, где с наибольшей силой проявилось его воображение. Последним подарком, который я получил от него, была «Книга Джунглей», а перед этим он вручил мне «Остров сокровищ» и жюльверновские «Пять недель на воздушном шаре»...» — вспоминал младший сын Оскара Уайльда Вивиан. Пристрастие Уайльда ко всему необычному, выходящему за пределы будничного, серого, монотонного, сказалось и в творчестве. Не говорю уже о сказках, по существу, все его произведения — в прозе и в драматургии — по-настоящему остросюжетны. Однако, помимо упругой пружины напряженного, порою прямотаки детективного сюжета, уайльдовские произведения увлекают читателя приключениями высшего порядка — приключениями мысли, пройти вслед за которой по прихотливым лабиринтам его парадоксов значит испытать тот же восторг и замирание сердца, как при виде канатоходца, грациозно скользящего над бездной и словно не замечающего ее. «Суть мысли, как и суть жизни,— это ее постоянное движение вперед»,— говорил Уайльд.

Он выступал против бескрылого натурализма, против «газетного реализма» и в присущей ему вызывающей манере облекал свой протест в сетование по поводу «упадка лжи» в искусстве: «Одной из главных причин, которым можно приписать удивительно пошлый характер огромной части литературы нашего века, без сомнения, является упадок лганья как искусства, как науки, как общественного развлечения. Старинные историки преподносят нам восхитительный вымысел в форме фактов; современный романист преподносит нам скучные факты под видом вымысла».

Любопытно сопоставить это суждение с мнением Стендаля, высказанным в статье о Вальтере Скотте: «Всякое произведение искусства есть прекрасная ложь»[1]. Таким определением автор «Красного и черного» полемически подчеркнул специфику искусства, которому надлежит далеко не стенографически воспроизводить действительность, и слово «ложь» здесь исполнено особого смысла. Точно так же Уайльд под «упадком лжи» понимал недостаточную долю творческого воображения (которое считал концентрированным опытом человечества) во многих произведениях тогдашней литературы — причем не только английской, но и французской — и упрекал за этот недостаток даже таких не чуждых экзотики писателей, как Киплинг и «мастер мечтательной прозы» Стивенсон: по его мнению, превращение доктора Джекила похоже на эксперимент из медицинского журнала.

Летом 1890 года Уайльд опубликовал в журнальном варианте еще более «странную историю», чем стивенсоновская «История доктора Джекила и мистера Хайда» — «Портрет Дориана Грея», где дал полную волю своей неистощимой фантазии рассказчика и страсти к парадоксам. Этот его единственный роман (дополненный для книжного издания) написан не на бумаге, а, образно выражаясь, на «шагреневой коже»: судьба Дориана Грея весьма походит на судьбу бальзаковского Рафаэля де Валантена. Как Бальзаку волшебный лоскут шагрени, так и Уайльду портрет, наделенный магическим свойством, понадобился для того, чтобы дать символическое обобщение своих размышлений над сутью бытия. Попытка вывести художественную формулу смысла человеческой жизни при помощи внедрения элемента фантастики ставит роман Уайльда в один ряд не только с «Шагреневой кожей» Бальзака, но также с «Фаустом» Гете и «Мельмотом Скитальцем» Мэтьюрина, с творениями Э. Т. А. Гофмана и Эдгара По. Ближайшая родословная «Дориана Грея» вобрала в себя еще одну книгу, на которую прямо указано в тексте, где она названа «отравляющей», — «Наоборот» (1884) Гюисманса. Этот роман французского писателя, повествующий о бегстве его героя, герцога Дез Эссента, от пресной действительности в пряный мир чувственных наслаждений, стал чуть ли не «евангелием от декаданса».

Творчество Уайльда тоже не раз пытались целиком причислить к кругу тех упадочных явлений в культуре и философии сумеречной эпохи конца XIX — начала XX века, которые принято обозна-

---

[1] Стендаль. Собр. соч. в 15 томах, т. VII. М., 1959, с. 317.

чать термином «декаданс». Но умонастроению Уайльда чужды безнадежность и чувство отвращения к жизни, он не смаковал «красоту угасания», а испытывал восторг при встрече с красотой цветущей, полнокровной и отчаяние, боль — при виде того, как ее попирают или пренебрегают ею. Недаром дендизм он определил как «утверждение абсолютной современности Красоты». На зыбкой почве болезненно воспринимавшихся им мерзостей буржуазной действительности «конца века» взращивал он не эфемерные пустоцветы декаданса, а броские — в духе времени — «цветы зла», рассеивающие семена добра.

Исповедовавшаяся им религия Красоты была отчасти позой, но Уайльд принадлежал к тому типу щедро одаренных артистических натур, для кого нет ничего естественнее позы, кто всю жизнь играет какую-то роль, ежеминутно ощущая себя на сцене «человеческой комедии». Избранная им роль апостола эстетизма позволяла высказывать откровенно еретические для добропорядочного викторианца мысли. Глубоко человечная сущность его мироощущения и творчества четко вырисовывается под легким флером игры ума и слов, эпатирующих деклараций и парадоксов. У него есть критический этюд «Истина масок»,— маска Оскара Уайльда скрывала живой и трепетный лик Поэта.

Он заявлял, что эстетика выше этики, что художник не моралист. Но вопреки этому многие созданные им произведения содержат художественно убедительный урок нравственности. Таковы его сказки (особенно «Молодой Король», «Счастливый Принц», «Рыбак и его Душа»), в которых присутствует не только восхитительная «ложь» настоящего искусства, но и прозрачный «намек» — учиться любви и состраданию к людям, преодолевать эгоизм. Таков в конечном итоге и «Портрет Дориана Грея», где вовсе не заключена проповедь индивидуализма и аморализма, как полагали еще при жизни автора иные критики, а показано жизненное крушение человека, следующего этим установкам.

Пусть порою Уайльд путал Красоту с красивостью, но обитал он не в башне из слоновой кости и не в сказочном «гранатовом домике»: он жил в реальном мире, и его остро занимало все, что происходило вокруг. Этот рафинированный эстет выступал за то, чтобы «Красота больше не была ограничена беспорядочным собранием коллекционера или пылью музея, но стала, как и должна стать, естественным национальным достоянием всех».

Оскар Уайльд охотно преподносил сюрпризы своим современникам. Одним из таких сюрпризов стала публикация в феврале 1891

года — в промежуток между появлениями журнальной и книжной версий «Дориана Грея» — его обширного эссе «Душа человека при социализме». То, что данное эссе написал автор этого романа, могло быть полной неожиданностью для читателей; но в том, что оно принадлежит перу драматурга, дебютировавшего пьесой «Вера, или Нигилисты», есть определенная закономерность (в эссе, кстати, тоже возникает тема России и русской литературы).

Его можно назвать «салонным социалистом», как это сделал К. И. Чуковский в очерке о нем; легко обнаружить наивность и неверность каких-то его представлений о социализме. Однако нельзя отрицать того факта, что Оскар Уайльд был не только знаком с передовыми идеями своего времени, но и в известной мере разделял их. Он не столь последователен тут, как его друг, поэт и художник Уильям Моррис, но весьма показательно, что мучительные поиски идеала привели именно к мыслям о социализме этого рыцаря Красоты, ибо торжество ее да и полное раскрытие каждой личности были невозможны в том обществе, к которому он принадлежал.

Достаточно привести лишь несколько выдержек из публицистического трактата Уайльда «Душа человека при социализме», чтобы убедиться, насколько далеко ушел он здесь от некогда провозглашавшихся им постулатов «чистого» эстетизма: «Истинная задача — переустройство общества на таких началах, при которых бедность была бы невозможна... Социализм, коммунизм, — назовите это как хотите, — обратив частную собственность в общественную и заменив конкуренцию кооперацией, возродит общество к естественному состоянию абсолютно здорового организма и обеспечит материальное благополучие каждому члену общества... Обладание частной собственностью нередко действует развращающе, и здесь, конечно, одна из причин, вследствие которых социализм стремится избавиться от этого института... Нищета, а не порочность — мать современных преступлений... В настоящее время люди хотят уничтожить бедность и те страдания, которые она влечет за собой... Они полагаются на социализм и на науку как на средства к достижению этого... И человек добьется этого. Ибо человек стремится не к страданию или удовольствию, а просто к жизни. Он стремится жить интенсивно, полно, совершенно. Когда ему можно будет достичь этого, не притесняя других и не испытывая на себе никакого гнета, и когда все виды его деятельности будут ему по душе, он станет могучее, здоровее, культурнее, он станет более самим собою»[1].

[1] Уайльд О. Собр. соч., т. II. СПб., 1912, с. 309—340.

Социалистическое общество рисовалось ему в самых привлекательных чертах. Пытаясь вообразить картину будущей развитой цивилизации, построенной по законам красоты, справедливости и всеобщего счастья, Уайльд вместе с тем отдавал себе отчет в утопичности иных своих представлений. «Это Утопия? — полемически вопрошал он читателя.— Но не стоит и смотреть на карту, раз на ней не обозначена Утопия, ибо это та страна, на берега которой всегда высаживается человечество. А высадившись, оно начинает осматриваться по сторонам и, увидя лучшую страну, снова поднимает паруса. Осуществление утопий и есть Прогресс».

В уайльдовском диалоге «Критик как художник» сказано: «Преступника общество нередко прощает, мечтателя — никогда». В свое время феодальное английское общество не простило Томаса Мора, возмечтавшего об Утопии и сложившего голову на плахе. Викторианская Англия не простила Оскара Уайльда, превратив мечтателя в преступника.

Она не простила ему таланта, славы, дерзости быть не похожим на других — всего того, что так выводит из себя посредственность. Калибан обрушил свою ярость на зеркало, которое упорно не хотело ему льстить и не без издевки отражало его уродство. Уайльд сочинял себя как роман, но когда выяснилось, что он серьезнее, чем хочет казаться, благопристойное общество попросту захлопнуло его как надоевшую книгу. Была найдена щель в доспехах «короля жизни», и ханжи с ликованием вонзили в нее отравленную стрелу своего правосудия.

Самое поразительное, что Уайльд как бы предвидел трагический финал романа своей жизни и сознательно шел к нему. Когда Андре Моруа читал лекцию студентам Кембриджского университета «О биографии как художественном произведении», он напомнил там, как Оскар Уайльд в одной из своих бесед «заметил, что жизнь, для того, чтобы быть прекрасной, должна окончиться неудачей, и привел в пример жизнь Наполеона, доказав, что, не будь ссылки на остров Святой Елены, она утратила бы весь свой трагизм»[1].

Для самого Оскара Уайльда островом Святой Елены стала Редингская тюрьма, куда его заточили после нашумевшего судебного процесса по обвинению в безнравственности. Гром грянул в 1895 году, когда писатель находился в зените своей популярности: его книги шли нарасхват, пьесы давали полный сбор, каждая статья

---

[1] Цит. по: Писатели Франции о литературе. М., 1978, с. 123—124.

немедленно становилось предметом обсуждения в прессе и в гостиных. Облик Оскара Уайльда той поры — всего за несколько дней перед катастрофой — увековечила ироничная кисть Анри де Тулуз-Лотрека. На этом полотне, словно на портрете Дориана Грея, запечатлена, кажется, сама истерзанная душа, а не только импозантная внешность светского льва, в потухших глазах которого застыла неизбывная тоска.

Писатель знал, что тучи сгущаются над его головой, у него была возможность тайком бежать из Англии, но гордый дух ирландских предков не позволил ему так поступить. Он прошел сквозь позор судилища (на котором в качестве аргументов обвинителей фигурировали не только его письма, но и художественные произведения, включая «Дориана Грея», афоризмы) и на два года сошел в тюремный ад. «В моей жизни было два великих поворотных момента: когда мой отец послал меня в Оксфорд и когда общество послало меня в тюрьму»,— скажет саркастически потом Уайльд. С ним обращались как с обыкновенным заключенным, не делая никаких поблажек: наравне со всеми щипал он истрезанными в кровь пальцами пеньку и дробил камни, безропотно сносил лишения, особенно тягостные для этой утонченной натуры. Тюрьма подточила его физические силы, угнетала морально, но не убила в нем художника и мыслителя. На многое она даже открыла ему глаза. «Я знаю, что в день моего выхода из тюрьмы я только перейду из одной темницы в другую, и временами весь мир кажется мне не больше моей камеры и полным ужаса, как она...— писал он своему преданному другу Роберту Россу.— Право, Робби, жизнь в тюрьме заставляет видеть людей и вещи такими, какие они есть в действительности».

В Рединге Уайльд сочиняет свои «Записки из Мертвого дома» — тюремную исповедь, которая будет опубликована после его смерти под названием «De profundis» («Из бездны»). Он оглядывается тут на прежнюю жизнь, пересматривает свои старые взгляды и формулирует новые: «Страданье и все, чему оно может научить,— вот мой новый мир...» По-прежнему сквозит в его словах непримиримость к вульгарности и обывательщине: «Обывательский дух в жизни — это не просто неспособность понимать Искусство. Такие чудесные люди, как рыбаки, пастухи, пахари, крестьяне и им подобные, ничего не знают об искусстве, а они — воистину соль земли. Обыватель — это тот, кто помогает и содействует тяжким, косным, слепым механическим силам Общества, кто неспособен

разглядеть силы динамические — ни в человеке, ни в каком-либо начинании».

Сам Уайльд, превратившись в арестанта С. З. З., ощущал в себе готовность к переменам, страстно желал сразу после освобождения вновь утвердить себя как художник: «Если мне удастся создать хотя бы одно прекрасное произведение искусства, я сумею лишить злословие яда, а трусость — язвительной усмешки и вырву с корнем язык, поносящий меня... Само собой разумеется, что мои страдания я не могу изобразить в том виде, какой они приняли в жизни. Искусство начинается лишь там, где кончается Подражание. Но в моем творчестве должно появиться нечто новое,— может быть, более полная гармония слов или более богатый ритм, более необычные цветовые эффекты, более строгий архитектурный стиль,— во всяком случае, какое-то новое эстетическое достоинство».

И такое произведение ему дано было создать, когда после выхода из тюрьмы он поселился во Франции под именем Себастьяна Мельмота (избрав себе псевдоним в честь героя романа Ч. Р. Мэтьюрина). Этим произведением стала «Баллада Редингской тюрьмы», литые строфы которой навеяны не только судьбой конногвардейца, казненного за убийство на почве ревности, но и собственными тюремными переживаниями автора:

Здесь в келье — сумрак, в сердце — полночь,
Здесь всюду — мрак и сон.
Колеса вертим, паклю щиплем,
Но каждый заключен
В аду отдельном, и молчанье
Страшней, чем медный звон...

(Перевод В. Брюсова)

Эта баллада, явившая новую грань его таланта, достойно увенчала творческий путь Оскара Уайльда. Он начал со стихов и закончил ими, подтвердив свое право на высокое звание Поэта. Скончался он в Париже 30 ноября 1900 года, не дожив всего месяца до заката того «вывихнутого» века, одним из ярчайших представителей которого стал.

Уайльд делил книги на три категории: те, что есть смысл однажды прочесть, те, что следует перечитывать, и те, что вовсе читать не надо. Причем третью категорию он провозгласил наибо-

лее важной с точки зрения интересов публики, которой необходимо знать, что из необозримого книжного репертуара не заслуживает внимания: «В самом деле, именно это крайне необходимо в наш век, который читает так много, что не успевает восхищаться, и пишет так много, что не успевает задуматься».

Высказанное столетие назад, это суждение приобрело, пожалуй, еще большую значимость в век двадцатый, когда неизмеримо вырос «Монблан» книг, перед которым находится современный человек, и лишь тот, кто обладает должными «альпинистскими» навыками, способен взойти на его вершину. И каждый, совершивший такое восхождение, убеждается, что произведения Оскара Уайльда, безусловно, относятся по его классификации ко второй, самой ценной категории книг — тех, которые следует читать и перечитывать.

Святослав БЭЛЗА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ. Роман. *Перевод М. Абкиной*..... 5

РАССКАЗЫ

Преступление лорда Артура Сэвила. *Перевод Д. Аграчева*..... 227
Портрет г-на У. Г. *Перевод С. Силищева*..... 261

ПЬЕСЫ

Идеальный муж. *Перевод О. Холмской*..... 297
Как важно быть серьезным. *Перевод И. Кашкина*..... 391
Святослав Бэлза. Роман жизни Оскара Уайльда..... 458

Уайльд О.

У 12 Портрет Дориана Грея. Роман. Рассказы. Пьесы: Пер. с англ. /Послесл. С. И. Бэлзы; Ил. А. П. Мелик-Саркисяна.—М.: Правда, 1987.—480 с., ил.

В сборник включены остросюжетные рассказы Оскара Уайльда (1854—1900), роман «Портрет Дориана Грея», в котором писатель развенчал безнравственное эстетство господствующих классов, и пьесы «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным».

У $\frac{4703000000—1351}{080(02)—87}$ 1351—87 84.4 Вл

Оскар УАЙЛЬД

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ

РАССКАЗЫ

ПЬЕСЫ

Редактор
Н. А. Галахова

Оформление художника
Г. А. Раковского

Художественный редактор
Г. О. Барбашинова

Технический редактор
Е. Н. Щукина

ИБ 1351

Сдано в набор 22.08.86. Подписано к печати 04.05.87.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Эксельсиор». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,62. Уч.-изд. л. 29,39
Тираж 500000 экз. (3-й завод: 250001—375000 экз.).
Заказ № 1100. Цена 2 руб. 50 коп.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865. ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Тюменская правда»
Тюменского обкома КПСС. 625002, г. Тюмень, Осипенко, 81.

2 р. 50 к.